

Н О В Ы Й
М И Р

2



1968

2

Н О В Ы Й
М И Р

1968

ИЗВЕСТИЯ МИРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 2

Февраль, 1968 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ ОРЛОВ — Четыре стихотворения	3
М. ИСАКОВСКИЙ — Из новых стихотворений	6
ФЕДОР АБРАМОВ — Две зимы и три лета, роман. Продолжение	10
МИКЛОШ РАДНОТИ — Стихи разных лет. Предисловие Антала Гидаша. Перевел с венгерского Николай Чуковский	70
В. ШВЕРУБОВИЧ — Люди театра (Из воспоминаний). Окончание	74
В. БЕЛОВ — Мазурик, рассказ	123

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К пятидесятилетию Вооруженных Сил СССР

Д. А. ДРАГУНСКИЙ — В конце войны	133
С. БЛАНК, Д. ШИНБЕРГ — По дну Ладоги	160
А. ЖЕЛОХОВЦЕВ — «Культурная революция» с близкого расстояния (Записки очевидца). Продолжение	204

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ТВАРДОВСКИЙ — О поэзии Маршака	233
-----------------------------------	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	252
Л. Лазарев. Путь военной литературы.— А. Кондратович. Юноша из Острогжска.— Ф. Светов. Специфика иллюстративности.— В. Швейцер. Памятник Пушкину.— А. Л. Штейн. Рыцарь театрального реализма.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	271
В. Яшков, С. Осокин. Морские богатыри.— В. Выгодский. Метод и практика.— Н. Трифонов. Дилетантизм и неряшливость.— И. Миндлин. Реформация католицизма.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Незабываемое. Воспоминания о Великой Отечественной войне.— Борис Четвериков. Навстречу солнцу.— А. Н. Геласимова. Записки подпольщицы.— Михаил Водопьянов. Друзья в небе.— Елена Благинина. Окна в сад.— Николай Хохлов. За воротами слез.— А. Рубакин. Рубакин (Лоцман книжного моря).— Ант. Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

БАЛЛАДА О ПАРЛАМЕНТЕРЕ

Армиями оставленный,
Веря в добро и чудо,
Стоит капитан Остапенко —
Один на дороге в Буду.
Друзья его позабыли,
Жизнь его стала былью.
Белой походной пылью
Годы его покрыли.

А за Дунаем синим
С почтою голубиной,
С молниями соборов —
Сахарно-белый город.
Красные трубы Пешта,
Арки мостов чугунных.
Стоит капитан безгрешный —
Русоволосый, юный.

Ревут в сорок пятом танки,
Пламя над всем Дунаем,
А капитан, как ангел,
Городу мир предлагает —
В стираной гимнастерке,
Один, даже без нагана.
Восемь дивизий Хорти
Целятся в грудь капитана.

Годы, праздники, будни
Плывут себе по Дунаю.
Пляшут мальчишки в Буде,
И он им мир предлагает.
Мир секретарше мэра
В руке с угольком помады,
Пенсионерам в скверах,
Памятникам и оградкам.

Где-то на дальних реках
Снова бушует пламя...
Мир предлагая веку,

В камень врос сапогами —
 Армиями оставленный,
 С верой в добро и чудо
 Стоит капитан Остапенко —
 Один на дороге в Буду.

* * *

Вечернее мычание коров —
 Деревни нашей древняя молитва —
 Хозяек вызывает со дворов,
 Ворота раскрывает и калитки.
 Они идут. Им улица узка.
 Бык впереди, как будто холм горбатый,
 А на рогах дожди и облака
 Иль чистый пламень тихого заката.
 Аркадия, пастушечья страна,
 По улице течет живой рекою,
 Тяжелые качая вымена —
 Колокола домашнего покоя.
 Подойники ответно им звенят,
 Петух крылом на полотенце машет,
 Коричневые кринки встали в ряд,
 Стол хлебом-солью, как престол, украшен.
 Поет струя парного молока.
 Вы слышите, как цвинькают синицы
 И вспыхивают вдруг издалека,
 Из детства залетевшие зарницы.
 Строители дорог и городов,
 Солдаты и пилоты космодромов,
 Вам всем она с младенческих годов,
 Как песня колыбельная, знакома —
 Та песенка подойника — без слов,
 И руки материнские над нею
 У розовых с шерстинками сосков,
 Полынью отдающих и шалфеем.
 Вы слышите, строители веков,
 В местах, ничем другим не знаменитых,
 Вечернее мычание коров,
 Деревни нашей древнюю молитву?

* * *

Мы, дети природы, забыли природу.
 Она нам не враг и не друг.
 На лоне ее не бываем по году,
 А годы — костры на ветру.
 Режут города нам в притихшие души
 Неоном, бетоном, стеклом.
 Ракетные скорости кровь нашу сушат,
 И мы забываем о том,
 Что где-то на сине-зеленой опушке
 Стоят неподвижно дубы.
 Там дрема ромашки, там слезы кукушки
 И вздох журавлиной трубы.

М. ИСАКОВСКИЙ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

В ДНИ ОСЕНИ

А. И. Исаковской

Не жаркие, не летние
Встают из-за реки —
Осенние, последние,
Останние деньки.

Еще и солнце радует,
И синий воздух чист.
Но падает и падает
С деревьев мертвый лист.

Еще рябины алые
Всё ждут к себе девчат.
Но гуси запоздалые
«Прости-прощай!» кричат.

Еще нигде не вьюжится,
И всходы — зелены.
Но все пруды и лужицы
Уже застеклены.

И рощи запустелые
Мне глухо шепчут вслед,
Что скоро мухи белые
Закроют белый свет...

Нет, я не огорчаюсь,
Напрасно не скорблю:
Я лишь хожу, прощаюсь
Со всем, что так люблю!

Хожу, как в годы ранние,—
Хожу, брожу, смотрю.
Но только «до свидания!»
Уже не говорю.

НА ЗАРЕЧЬЕ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ...

На заречье прошлым летом,
Помнишь, ты бродил в лугах?
Ты — на том, а я — на этом,—
Мы на разных берегах.

Ты бродил. И так хотелось,
Чтоб меня ты вспомнил вдруг.
Не пилося мне и не елось,
Не спалось и не сиделось,
Ни на что мне не гляделось,
Лишь на твой заречный луг.

Я следила зорким глазом,
Я ждала, не шла домой.
Ну, а ты — ни ра-, ни разу
Не ступил на берег мой.

Я ждала с надеждой доброй,
А пройдешь — вздыхала вслед,
Вслед тебе, студент-географ,
Я — девчонка-культпросвет.

В берег бьет река волнѣми —
Бьет в один и бьет в другой.
Бьет. Но нет моста меж нами,
Нет надежды никакой...

Вот и нынче — где ж ты сгинул? —
Обещался, что весной
С первым клином журавлиным,
С первым пеньем соловьиным
Возвратишься в край родной.

Журавли-то возвратились,
Прилетели соловьи.
А куда ж запропалились,
Где каникулы твои?

И одно меня тревожит:
Не туда, не в те края
Завлекла тебя, быть может,
География твоя.

Чтоб тебя увидеть снова
Не во сне, а наяву,
Я уже не тихим словом,
Полным голосом зову.

Я зову. И — нет ответа.
Только — эхо в тех лугах...
Ты — на том, а я — на этом,—
Мы на разных берегах.

КАСАТКА

Приходи скорее, вечер,
Все дороги вычерни,
Все дороги вычерни,
Все тропинки вычеркни.
А печаль мою о милом
Всю из сердца вычерпни.

Для чего мне те дороги,
Где любовь кончается,
Где со мной мое любимство
Больше не встречается?

Только все ж оставь мне, вечер,
Хоть одну грустиночку,
Не укутывай в потемки
Хоть одну тропиночку.

Как по ней на круг сегодня
Он пойдет с трехрядкою,
Может быть, меня приветит,
Назовет касаткою.

ГОРОД МОЙ...

Город мой над рекою Десною —
Разве ж я позабуду его?.. —
В этом городе древнем весною
Потерял я себя самого.

Теплым вечером, в час предзакатный,
В городском многолюдном саду
Потерял я себя безвозвратно
И никак до сих пор не найду.

Вам лишь только об этой печали,
Вам одной рассказал я тогда.
— Что ж, ищите, — вы мне отвечали, —
Коль случилась такая беда.

И хотя, покоряясь рассудку,
С вами в ряд продолжал я идти,
Но снести вашу горькую шутку
Невозможно мне было почти...

Через месяц я с вами простился
В том же самом саду, у берез...
Далекó я от вас очутился,
Далекó — за три тысячи верст.

Здесь теперь, на уральских заводах,
Все ищу я себя, чудака...
Я ищу уже целых три года,
Но — увы! — безнадежно пока;

В третий раз и пишу вам отсюда,
Болью сердца пишу своего...
Я в любое поверил бы чудо,
Лишь бы вы совершили его!

Внуково-Васильевское, 1967.



ФЕДОР АБРАМОВ

★

ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА*

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

— Эхэ-хэ-эй! Нет ли тут у вас одного пекашинского чувака? Чё-чё? Нету? А почем ваши утушки — белые шейки? Чё? Непродажные? Но-но, прикройся! Пушай сами скажут. У нас, между прочим, равноправие...

Егорша побрел дальше. В одной руке веточка ивовая — от оводов, в другой — через плечо — пиджак. Не тяжелая ноша. А пот лил с него градом. И не только от жары.

В последние две недели он покачал в себя горячего. Сперва дома по случаю возвращения с курсов трактористов, потом в родном Заозерье на встречах у дяди.

Вот тут они развернулись. Музыка — две гармони (его тальянка да дядин трофей со светлыми перламутровыми планками), закусь — баран на столе, а винцо, какое винцо! Не сучок, не табуретник доморощенный, а коньяк-виноград, злое солнышко. Дядя привез этого добра из Германии целую канистру, и сколько можно было еще заправляться, да Егорша сказал себе: стоп! Пора в район. Пора насчет работенки подходящей пошуровать, а то чего доброго и с «правами» за пень встанешь: ведь тракторов в районе покамест нету. Вот так он и попал из-за праздничного стола на райцентровский воскресник по сплаву.

Правда, его никто не неволил — он мог и день и два отлеживаться на сеновале у начальника райтопа, старого знакомого по отцу. Да надо же соображать немножко! Голова-то день и поболит — не отвалится, а когда еще подвернется такой случай, чтобы все районное начальство было в сборе? И Егорша недолго думая — багор в руки, гармонь за плечо, да в первых рядах на Выхтемскую косу, на самый боевой участок лесного фронта.

Проклятье, божье наказание для пинежан эта Выхтемская коса! Всегда на ней лес, какая бы вода в реке ни была. В маловодье понятно: древесина садится на песок и тут никакими бонами не спасешься. Но на ней, на этой косе, и в сырое лето не бывает безработицы. В сырое лето вода кругом разольется — мосты наставит в кустарниках да в низинах. Вот и выходит, что на Выхтемской косе всегда худо: и в дождь и в вёдро.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

— Эй! — закричал опять Егорша, поравнявшись с новой кучкой сплавщиков, на этот раз состоящей почти исключительно из мужиков и подростков. — Есть пекашинские?

— Нету. Дальше они.

Егорша посмотрел вдаль на крохотных человечков, бродивших возле желтой песчаной сыпи посреди реки, и выругался.

Ах, олухи пекашинские! Не могли отвертеться. Загнали-таки на Артюгину плешь, от которой еще в войну все, как от чумы, отпихивались. Потому что ревматизм тут верный. Негде обогреться и обсушиться, ежели сверху дождь. А в такую жару, как нынешняя, тоже не курорт. Сгоришь к чертовой матери. Шкура клочьями сползет. И поэтому раньше, в те годы, как делали? Требовали, чтобы кадровых рабочих на Артюгину плешь занаряжали. Неужели Мишка забыл про это?

Егорша еще не меньше полукилометра отшагал по жаре, по скрипучему, раскаленному песку, затем бросил пиджак на пружинистый ивняк, сполоснул лицо, прополоскал горло и только тогда, сложив руки ковшиком, прокричал на реку.

Мишка, по счастью, услышал сразу.

— Иду-у-у!

И вот уже отделилась от острова знакомая сутуловатая фигура и — тяп-тяп по песчаной отмели. И были видны белые, сверкающие на солнце ступни, и отсюда, с берега, казалось: человек идет по воде.

— Ты, как Христос, расхаживаешь, — сказал Егорша и, очень довольный этим неожиданным для самого себя сравнением, рассмеялся.

— Христос, мать его за ногу! — Михаил, выйдя из воды, с трудом разогнулся.

— Что, опять водяная болезнь?

— Да, замучили чирьи.

Они легли в тень под ивняк.

От Михаила пахло сырью, прелой одеждой. Кожа на ногах, размытая водой, была белесо-розоватая, дряблая. Он болезненно шурился и мигал. Это от солнца, от слепящего зеркала воды — чисто сплавная болезнь.

— Дозволь доложить, — начал Егорша шутливо, но в то же время и не без гордости, — тракторист Суханов-Ставров вернулся с десяти-месячных курсов. Вот моя книжица.

Он полез в один карман, полез в другой, и вдруг лицо его сделалось белым, как мука.

— Неужели я их где-то выронил?

— Чего выронил?

— Права! — закричал, зверея, Егорша и быстро-быстро начал разгружать карманы.

На песок полетели-посыпались разные вещи: светлая алюминиевая расческа, химический карандаш, две авторучки — Егорша любил при случае выдать себя за начальника, паспорт, комсомольский билет...

— Вспомнил! Я их у дяди оставил. Ну да! Я еще когда показывал, сказал тетке: убери подальше, тут моя жизнь. Чего ты губы вбок? Думаешь, заливаю? Потерять права — все равно что голову потерять. Так нам говорили на курсах.

— Егор-ша-а-а... — донесся издалека женский голос.

Вялости и усталости у Егорши как не бывало. Он живо приподнялся на локоть, глянул вниз по реке.

Белый платок трепыхался в конце косы, под застругами. Потом еще один вскинулся.

— Мне сигналият, — сказал Егорша. — Роздых кончился, а бо начальство подошло, художественную часть требует. Я ведь, знаешь, как сюда?

На одном плече багор, на другом гармонь. Сам Подрезов приказал: «Ты, говорит, Суханов, подъем перво-наперво мне обеспечь». Цени. Все бросил, а пошел друга разыскивать...

Егорша снова растянулся на песке, подмигнул с намеком:

— А голосок-то узнал?

— Какой голосок?

— Но-но, вбивай, Ерема, кривые гвозди. Гадюка! Все секретники... Мы с Дуняркой обохотались тогда об этом деле. Я это вкатываюсь к ней насчет подкрепленья — вдребезги с одним корешом прогорел, не на что в училище убраться, и вот Дунярка меня етим самым раз по кумполу: «А ты знаешь, говорит, что моя тетушка-то учудила? Первого пекашинского мужика захороводила».

— Как там наши? — спросил Михаил.

— Чего? Наши? Ты меня с фарватера не сбивай. Сперва предоставь полную отчетность. В смысле картошки дров поджарить...— Егорша хохотнул.— Я, между прочим, по дороге сюда спрашивал. Не отрицает...

— Был, говорю, у наших? — снова резко и нетерпеливо оборвал его Михаил.

Егорша старательно облизал пересохшие губы. Внутри у него все кипело и клокотало. Кто они в конце концов с Мишкой? Друзья? Или первые встречные-поперечные? Он, Егорша, ради друга все бросил, на жару махнул, а тут пришел — и дверь на замке. Подумаешь, важная государственная тайна — с бабой переспал. Но Егорша сдержался и ответил спокойно, даже с потугой на остроту:

— А чего наши... Все пока кверху головой.

— Мне ничего не наказывали?

— А как им наказывать? Я ведь нынче через Заозерье трассу в райцентр пролагал...

— Значит, и Першина не видел?

— Видел. Но, между прочим, тебе привета не передавал.

— А на кой черт мне его привет?

— Не скажи. Председатель!

— Он лучше бы, гад, замену мне давал. На две недели посылал сюда, а сегодня у нас какое?

— А чего тебе? Живи. Думаешь, кисельные берега ждут тебя дома?

Михаил не ответил. Он смотрел за реку, на пестрый луг, по которому медленно со стрекотом ползала конная косилка.

Так вот в чем дело, догадался Егорша. Пожня, сенокос у него на уме. И бесполезно теперь о чем-либо с ним толковать. Не поймет, не услышит. Как глухарь на токовище.

И Егорше, пожалуй, впервые за много-много лет их дружбы вдруг стало скучно и неинтересно со своим приятелем.

2

Ребята звон подняли на всю улицу:

— Миша, Миша пришел!

А мать-то, мать-то обрадовалась! Слезой умылась, встречая его у крыльца.

И только Лизка все сразу поняла, все уразумела.

— Ладно и сделал, что ушел. Как не уйти! Бывало, об эту пору какие зароды стояли, а нынче что?

Он сел на нижнюю ступеньку крыльца, так, чтобы голова оказалась в тени, а если бы ему сейчас приказали забраться на крыльцо, то еще неизвестно, как бы это у него получилось.

Тридцать километров отшагал он по жаре, да с чирьями на теле, да босиком — вдребезги разбил, искровенил ноги. Нельзя, ни в коем случае нельзя было отправляться босиком в такую дорогу после двухнедельного брожения в воде.

Но по правде говоря, он не столько переживал сейчас из-за ног, сколько из-за сапог. Ноги — что. На ногах новая кожа вырастет, а вот на сапогах не вырастет. Сапоги съела Выхтема. По существу только голенища он и принес в корзине, а головки сгнили, сопрели от жары и сырости.

Михаилу стало немного полегче, когда Лизка принесла тазик с холодной водой и помогла ему вымыть ноги. Затем на сбитые, израненные места она положила свежий подорожник и обмотала ступни ветошью.

Первую и самую главную новость выложила Татьяна.

— Муки-то нам не дали,— сказала она сердито.

Оказывается, на днях тем, кто едет на дальний сенокос, правление выписало по три килограмма ячменной муки, а им ни шиша. Почему?

— Вот то-то и оно, что почему,— заговорила Лизка.— Я уж ему, борову, вчера доказывала.

— Кому? Председателю?

— Ну. Нарочно ходила в правление. Мама наша разве пойдет. Что, говорю, у нас разве Михаил-то не поедет на пожню? Всю страду будешь держать у реки? «А когда поедет, тогда и получит». А мы, говорю, с мамой не робим? Я три года телят обряжаю. Да пропади они пропадом и телята, говорю, коли на то пошло. А тут как раз в контору Павел Клевакин вошел — только что с Германии приехал. Добра, говорят, всякого воз целый привез. Ну и вот: получай, Павел, пятнадцать килограмм муки. Тот даже и не просил. Почто, спрашиваю, так? «А пого, что закон такой есть. Полагается. Всем, кто с войны возвращается, мука положена». Ну тут я и слова сказать не могу. Залилась слезами. Какой же это закон, думаю? У нас папа жизнь положил, а нам ни зернышка, а тут здоровый мужик к семье вернулся, да ему же еще и мука.

— Ладно,— сказал Михаил.— Чего впустую кулаками размахивать.

— Да ведь как не размахивать,— возразила Лизка, ширкая носом.— Он, дьявол, на нас взъелся — житья нету. А из-за чего? Что мы ему исделали? Три человека в колхозе робят — ну-ко, много ли таких домов в Пекашине?

Тут Лизка немного покривила душой. На самом-то деле она знала, из-за чего взъелся на них председатель.

Из-за критики. Из-за того, что он, Михаил, против шерсти погладил Першина.

Дело было нынешней весной. Михаил в числе первых выехал из лесу на посевную. Выехал с радостью, с надеждой: ну-ко, новый председатель, покажем, как надо настоящий урожай с весны закладывать.

И вот тут-то вдруг выясняется: в колхозе нет семян. Семена наполовину скормлены лошадям в лесу.

Орали, кричали много, из района приезжало начальство, а что толку? Ответил за это Першин?

«За неправильное использование семенного фонда председателю т. Першину поставить на вид».

«За успешное выполнение плана вывозки леса объявить товарищу Першину Д. П. благодарность с вручением денежной премии в сумме 1500 рублей».

Да, такое вот вышло решение. Михаил сам обе бумаги читал. И что же после этого удивляться, что Першин залютовал, начал на каждом шагу прижимать тех, кто хотел спросить с него за семена?

Больше всего Михаилу хотелось сейчас забраться на поветь да отлежаться в холодке на траве, да потом — в баню, на полук. И все это нетрудно бы сделать, все в своих силах: поветь рядом, баню — стоит только сказать — мигом затопят.

Но он посидел-посидел на крыльце и побрел в контору. Черт его знает, что там теперь делает Першин. Может, пока он тут расслаживается, Першин уж все провода оборвал, с милицией его разыскивает. Такой у них председатель. Ему ты на мозоль наступил, а он тебе за это ногу рвет напрочь.

3

Все вышло так, как думал Михаил. Правда, через милицию Першин его не разыскивал, во всяком случае при нем не заводил речь об этом, а все остальное — точь-в-точь, тютелька в тютельку.

— Ты откуда это сбежал, а? Ты чего бросил, понимаешь? Лесной фронт — так говорю? А знаешь ли ты, как у нас с теми поступают, кто с фронта дезертирует?..

Да, вот так, на таких басах начал разговаривать с ним Першин.

И что ты ему скажешь, что возразишь? Верно, и чирьи замучили, и обещание с его стороны насчет замены было, а все-таки факт остается фактом: самовольно, без разрешения ушел со сплава, а ежели все ставить точки над «и», то и так сказать можно: дезертировал.

И вот в эту самую минуту — подмога. И от кого же? От Анфисы Петровны.

Когда, откуда она вошла в контору — с улицы, из бухгалтерской, — он не заметил. А услышал вдруг голос возле себя, радостный-радостный:

— Михаил, ты? Ну какой ты молодец! А я уж думала — без тебя нам нынче на пожню ехать.

— Так и будет — без него! — сказал Першин. — А его я знаешь куда отправлю? На казенные сухари.

— Куда? На какие сухари?

— А ты как думала? Человек со сплава удрал..

— Не плети, чего не надо. Удрал... Где это слыхано, чтобы со сплава на пожню удирали! Умному человеку скажи — засмеет. А ты скотину-то думаешь — нет зимой кормить? Да председатель ты или начальник сплавконторы?..

И тут Михаил вздохнул: Першин вцепился в Анфису Петровну. Можно сказать, с радостью вцепился, потому что, если он, Михаил, и еще кое-кто и суют палки ему в колеса, то Анфиса Петровна сует целое бревно. Это она, Анфиса Петровна, схватилась с Першиным на правлении из-за семян, а он, Михаил, да Петр Житов, если говорить правду, только облай со стороны вели. Да и по всем остальным вопросам кто всегда режется с Першиным? Анфиса Петровна.

Михаил постоял минут пять, спокойно и невозмутимо наблюдая за сражением со стороны, и вышел из конторы: крепко, всеми зубами увяз Першин в Анфисе Петровне и теперь ему не до него.

Пока стоял в правлении, Михаил ни разу не подумал о своих ногах, а сейчас — только ступил на твердую, жаркую землю — покачнулся от боли. Великую глупость сотворил он, что сорвал повязки с больных ног. Сорвал, когда уже входил в контору. Потому что подумал: а вдруг Першин, взглянув на его обвязанные ноги, скажет что-нибудь в том смысле, что будет, мол, тебе сироту-то разыгрывать. Знаем этот приемчик — давать на жалость.

В знойном воздухе пахло дымом, гарью — не иначе как кто-то затопил баню. А может, лес где-то поблизости горит? Должны быть лес-

ные пожары в этом году. Жарко. Сухая молния часто палит по горизонту над лесным обводьем.

Все же он выдержал: и заулок правления, и угорышек перед медпунктом, и дорогу от лавки до клуба прошел, не ахнув, не охнув. Не дал поторжествовать Першину, ежели бы тот, к примеру, вздумал выглянуть в окошко: вот, мол, какого страху я на него нагнал, идет — и на улице качается.

Зато у клуба шабаш — сел на ступеньку крыльца. Хорошо тут. Тень. травка зеленая. И — ах — приятно бедным ногам! Как в воду опустились.

Да, подумал с издевкой о себе Михаил, храбро ты прошел под окошками правления. Выдержал марку. А подлец, все равно подлец! Анфиса Петровна, выручая тебя, можно сказать, на пулемет, на амбразуру бросилась, а ты? А ты, как самый распоследний негодяй, — драпать. Нашел время счеты сводить.

И вот еще из-за чего было погано у него сейчас на душе. Из-за того, что надул Анфису Петровну. Ведь как Анфиса Петровна всю эту историю с его возвратом домой приняла? А так, как сказала. Что вот, дескать, подошла страда, и Михаил не подвел. Все бросил: и заработок бросил, и пайку хлебную бросил, а на сенокос пришел. Моей, мол, человек выучки. За колхоз болеет.

А разве это так? Разве сенокос у него на уме был, когда он удирал со сплава?

То есть, конечно, он и о сенокосе думал. Особенно в последнее время, когда за рекой, напротив Артюгиной плещи, начали косить. А как не думать? Кто за него нароет сена для Звездони? Но удирал-то он все-таки не из-за сенокоса, а из-за Варвары.

Зимой он целый день выстоял на морозе напротив милиции, где, как он узнал, Варвара работала уборщицей. Можно сказать, жизнь свою на кон ставил, в решку играл, потому что разговор мог быть коротким: и сам с Ручьев удрал, и лошадь угнал. И все ради нее. Все ради того, чтобы увидеть ее, чтобы она сама, своими губами сказала, из-за чего ихнюю любовь порушила.

Сказала: «Не срами меня. Я не девчонка, чтобы меня на улице иметь. У меня муж есть». И пошла, запоскрипывала новыми валенками, а то, что еще месяц назад чуть ли не волосы на себе рвала: «Мишка, Мишенька, скажи: неужели разлюбишь меня?» — это не в счет. Это так, пустяки, вроде художественной части.

И вот когда Егорша ему намекнул, что тут, у реки, Варвара, Михаил понял: надо удирать. Немедленно удирать. Потому что невозможно угадать, что взбредет в голову Варваре. А вдруг она захочет сделать из него олуха? Для собственного удовольствия, на потеху районной публике. И сделает. Не постесняется. А это выше его сил. На все согласен, все готов перетерпеть ради нее! И скажи она, к примеру: «Мишка, докажи, что любишь, — оттяпай свой пальчик». На, пожалуйста. Любой. на выбор. Но быть посмешищем — нет. Никогда! Даже если бы этого хотела она, Варвара...

4

Кто-то кашлянул или чихнул поблизости.

Михаил поднял голову и увидел своих двойнят. Петька и Гришка робко, вполглаза поглядывали на него из-за некрашеной трибунки, с которой говорили речи в первомайские и октябрьские праздники, и заискивающе улыбались.

— Чего тут делаете? — спросил Михаил.

— Ничего. Мы так.

— Как так? Где были?

Двойнята замялись. Врать они не умели совершенно, но в то же время им и правду говорить не хотелось. В конце концов они признались: сидели на бревнах в заулке правления.

— В заулке? — удивился Михаил. — Как же я вас не видел? А вы меня видели?

— Видели.

И тут Михаил понял, что они ожидали его. Боялись, как бы с ним чего не случилось. А кроме того, соскучились. В первые дни после его возвращения из лесу или со сплава двойнята ни на шаг от него — это навсегда.

— Ну, чего стоите? Идите сюда.

Ободренные его улыбкой ребята подошли к крыльцу. Михаил потрепал того и другого по голове.

— Рыбу-то нынче удите?

— Не. Не клюет. Вода цветет.

— Худо дело.

— А у нас махра есть, — сказали ребята.

— Махра? Какая махра?

— Курить котору.

Михаил, ничего не понимая, развернул газетный кулечек, который протянули ему братья, и верно: махорка, самая настоящая махорка.

— Откуда она у вас? Вы не курить ли у меня вздумали?

— Не. Это Егорша когда у нас пьяный был, Лиза попросила. Отсыпь, говорит, немножко для Михаила. Не жадничай. Вот Егорша и отсыпал.

— Это вы хорошо с Лизкой придумали. Молодцы! — сказал Михаил.

Последнюю сигарку он выкурил на Марьиных лугах часа четыре назад, не меньше. И если говорить начистоту, то непредвиденное бегство с Выхтемы, пожалуй, дороже всего ему обошлось по табачной линии. Ибо стоило ему дожидаться сегодняшнего вечера, и он получил бы целую пачку махры — сплавной паек за неделю.

Трудно сказать, сигарка ли выкуренная взбудрила его, или немного полегче стало ногам в прохладной траве, или, наконец, жара не так давила теперь, под вечер, но Михаил, ковыляя домой, уже не морщился, не кусал губы на каждом шагу. Да и на душе у него поспокойнее стало. И скоро мысли и заботы пошли по привычному кругу.

Он начал думать об обулке, о том, что надо срочно где-то разжиться новой косой (старая в прошлом году лопнула), о харчах и хлебах — в общем, обо всем том, что связано с выездом на сенокос.

Глава вторая

1

Странное, необычное то было лето.

Кругом горели леса, деревни по неделям не вылезали из дыма — гочь-в-точь, как в войну, когда бомбили Архангельск и его пригороды. Люди измучились, мотаясь по пожарам. Только потушили один пожар, взялись за косы — нá, опять нарочный скачет. А на пожне тоже не развеселишься. Хлещешь, хлещешь косой, бегаешь, бегаешь с граблями — а где сено?

Жара. Сушь. На болотах журавль кричит от безводья, скотина замаялась от гнуса...

И, однако же, шальная гульба захлестывала деревни в то лето — возвращались фронтовики. Правда, негусто, не теми косяками, какими уходили на войну. Но возвращались.

И была радость у людей. Были свадьбы и скороспелая любовь.

И были плачи великие. От земли до неба. По тем, кто не вернулся с войны...

2

Весной и летом за последние годы Пряслиных выручала Пинега. Петька и Гришка редкий день не приносили рыбешки на ладку — на две, а если еще похвалить, готовы сидеть у реки с утра до ночи.

Нынешним летом рыбки не поели. На ямы да на заструги забились от жары рыбака. Лес тоже подвел. Ни гриба, ни ягоды не видали за все лето. И, наконец, Звездоня, их главная кормилица. Раньше возвращается из покотины — как баржа плывет, задние ноги распирает от вымени. А нынче скоком, порожняком бежит домой, спасаясь от гнуса.

Егорша, как и в прошлом году, подбивал Михаила:

— Перебирайся в леспромхоз! Сообрази, что будет: вся Россия горит на корню. Хочешь, помогу? Я ведь теперь — охо-хо! — на одной подушке с Подрезовым сажу...

Да, Егорша мог замолвить словечко — шоферил в райкоме. Сумел устроиться, сукин сын!

Его товарищи, те, что были с ним на курсах, — «лучок» в руки и снова к пню. А что же еще делать, раз трактора в район не завезли? А Егорша — нет. Егорша потолкался с недельку в райцентре, все разнюхал, повыведал, тому зубы заговорил, этому заговорил — сел на райкомовскую легковуху. И пошла писать губерния. Куда ни заехал, куда ни заявился — первый человек. Председатели колхозов на задних лапах перед ним, потому что пес его знает, что он напоеет хозяину, когда останется с ним с глазу на глаз.

Соблазн от Егоршиних слов был велик, и на первых порах Михаил воспрянул: наконец-то и он на фарватер выплывет. Уродилось, не уродилось на полях — твое дело маленькое. Пайка тебе обеспечена. А насчет того, что ему-де нельзя отрываться от земли, — чушь собачья. Жрать захочешь — оторвешься. А на худой конец пес с ними, и с чирьями. Можно и с этим добром жить.

Но так говорил он себе поначалу, сторяча. А затем, спокойно пораскинув умом, започесывал затылок. Нет, не так-то просто, оказывается, отчалить ему от колхозного берега. И дело не только в нем самом. А как быть со Звездоней? Ведь если он перейдет в леспромхоз, значит, прощай и Звездоня. Мать со Степаном Андреевичем в лучшем случае за страду два копыта вытянут, а остальные два кто? Вот ведь какая нынче золотая коровушка! А без коровы тоже не житье — зачахнут ребята.

— Ну, мое дело предложить, — сказал Егорша. — А ежели тебе ни хрена, кроме рогатки, на горизонте не маячит, то я не виноват.

3

Однажды — был уже конец августа — райкомовская легковуха подкатила к самому дому Пряслиных. Лихо подкатила. С посвистами.

Ребятишки — Пряслины как раз ужинали — пулей вылетели из-за стола.

— Привет от пинежских чухарей¹! — бодро сказал Егорша, входя в избу. Постоял под порогом, цыкнул слюной и вдруг со всего маха бросил на середину избы глухаря.

¹ Местное название глухаря.

Анна ахнула:

— Что ты, Егорша! Ты бы хоть старика своего накормил.

— Хватит и старику. Пинежские леса, между прочим, большие.

— Это ты сам застрелил? — спросила Лизка, переводя удивленный взгляд с краснобровой птицы на Егоршу.

— А то дядя... У меня и с а м неплохо теперь стреляет. Втянул я его в это дело на свою беду. Бывало, всю дорогу храпит, а теперь только и зыркает по сторонам. С громом ездим.

С улицы раздался гудок. Егорша подошел к окошку, погрозил кулаком ребятам, облепившим машину. Затем, подсаживаясь к Михаилу, покровительственно сказал:

— Ну что, Коля,— это на Егоршином языке означало: кореш, приятель,— все в разрезе колхозного сектора думаем?

— А иди ты...— выругался Михаил.

Егорша захохотал.

— Между прочим, гостя иначе встречают. Ладно уж, знаю, что у тебя ни хрена нету.— И вытащил из кармана поллитровку.

— Ох, Егорша, Егорша,— вздохнула Анна,— сопьешься ты на этой работе.

— А сельсовет-то мне на что даден? — Егорша грязным, промасленным пальцем постукал себя по лбу.— В этом чемодане, между прочим, не всё опилки.

Он подмигнул Михаилу, ловким ударом разрядил бутылку.

— Вот что, братиша,— сказал Егорша и вдруг принял серьезный вид.— Давай выпьем за нового бригадира.

— За какого бригадира?

— А есть такой дуrolом в Пекашине. Бревно лежащее.

— Давай ты без загадок...

— Портрет не ясный? Автобиография требуется? Могу. Год рождения одна тысяча девятьсот двадцать восемь, русский, семейное положение...

— Чего?

— А, узнаешь?

— С кем это ты надумал?

— Хо, с кем... Сообрази! Мы теперь кое-что значим. Я тут как-то подсчитал. Знаешь, сколько я в этом месяце заседал с Подрезовым? А больше всех членов бюро райкома. Не веришь?

— Верим, верим,— ответила за брата Лизка.— Дальше-то что?

Егорша опрокинул в рот стопку, поморщился, сплюнул.

— В общем, так, Коля: завтра принимаешь бригаду.

— Мама, мама,— весело рассмеялась Лизка.— Чуешь, что тот навораживает? Нашего Михаила на бригаду ставит.

— Чую,— отозвалась Анна от печи.— А председателя-то, Егорша, менять не будешь?

— Верно, мама,— поддакнула Лизка и опять рассмеялась: — Уж коли ты такой большой начальник, то председателя-то в первую очередь менять надо. Слыхал, что люди говорят? Все Анфису Петровну вспоминают.

— Да, не мешало бы, — с ухмылкой протянул Михаил.

Егорша петухом вскинул голову, встал.

— Поехали! Я тебе докажу, что Земля имеет форму чемодана.

— Не выдумывай! — строго прикрикнула на него Лизка.— Я-то ведь знаю, какие у тебя чемоданы на уме. Опять рюмки собирать по деревне.

Михаил заколебался. На вечер у него была работа: он еще утром договорился с Ильей Нетесовым, что после обеда придет в кузницу подтягивать болты и гайки у жатки (сушь, камень на поле — жатка скачет,

как худая телега). Но, с другой стороны, когда еще заявится в деревню Егорша? А ведь у него, если честно говорить, только и веселья, когда приезжает Егорша. И потом — какого дьявола! — имеет он право хоть один-то вечер за всю страду побездельничать? Почему у Егорши могут быть выходные, а у него нет?

По улице только что прогнали колхозное стадо, и густая пыль стояла на дороге.

Егорша, спускаясь с крыльца, пронзительно свистнул — два пальца в рот. Ребятя — со всего околотка сбежалась к машине — сыпанула по сторонам.

— Ну, как поедем? С ветерком? — спросил Егорша. — У меня сам другой езды не признает.

— Можно, — сказал Михаил, плюхаясь на переднее сиденье рядом с ним.

«Газик» развернулся, взвыл, но тут на дороге показалась Уля-почтальонша.

— Егорша, Егорша! — замахала она обеими руками.

— Ну, чего тебе? — заорал Егорша, высовываясь из дверцы.

— Из райкома звонили. Срочно велено ехать. Чтобы сейчас же.

— Да, — присвистнул Егорша, — вот наша шоферская жизнь! Это не иначе Подрезов на охоту надумал. Без меня не поедет. — Он сказал это не без гордости.

Михаил вылез из машины. Ну и хорошо, что так все кончилось. По крайней мере он хоть Илью Нетесова не подведет. И он, не оглядываясь, пошагал в кузницу.

— Ничего, Коля, — крикнул ему вдогонку Егорша, — мы свое возьмем! Будет праздник и на нашей улице!

4

К Егоршиным выходкам у Пряслиных привыкли — каждый раз что-нибудь «отмочит», — и потому на другой день никто даже и не вспомнил, что он тут трепал накануне.

Но, оказывается, иногда и Егорша говорит правду. Вечером Михаила вызвали в колхозную контору, и Денис Першин объявил: назначаешься бригадиром.

— Ну, как, — спросил он, заметно бледнея, словно для того, чтобы подчеркнуть важность момента, — справишься? Найдешь общий язык с народом?

— А чего его находить? Я покуда еще по-русски говорю.

— Валяй, Пряслин! — Першин взмахнул кулаком. — Покажем, на что способна советская молодежь. — Опять взмахнул кулаком. — Партия тебе доверяет...

И пошел чесать языком — про эпоху, про восстановительный период, про кадры. Как будто с трибуны высказывается. А ведь было время, и совсем недавно, каких-нибудь полгода назад, нравилась, очень нравилась Михаилу першинская речистость. Зимой, бывало, приедет на Ручьи да как начнет про международную политику выкладывать — комиссар! Кино не надо смотреть. И эх, думалось радостно, с этим-то мы рванем! Этот не чета Анфисе Петровне. Этот нас выведет на светлые рубежи...

Михаил так и ушел из конторы, не сказав ни да, ни нет.

Разговор настоящий начался дома.

Лизка, та, ни секунды не колеблясь, высказалась за.

— Соглашаться надо. Худо ли: при доме будешь.

— Да уж знамо дело... — сказала мать. И хотя сказала, по своему обыкновению, уклончиво, без нажима (ты хозяин, тебе решать), а гнула-то в ту же сторону, что и Лизка.

Понять Лизку и мать было нетрудно. Год предстоял тяжелый. На трудодни, раз на Юге засуха, едва ли что дадут. Грибов да ягод не запасли — все лето пустой лес. Как жить? А ежели он, Михаил, останется дома, все-таки будет полегче. Скорее что-нибудь из того же колхоза перепадет. Вот что было на уме у Лизки и матери. Да и малые, наверно, так же думали. Петька и Гришка глаз не сводили с него.

— А как же с деньгами? — спросил, помолчав, Михаил. — Колхозные палочки в налог не берут.

— Как с деньгами? — живо возразила Лизка. — Я поеду.

— Куда поедешь? В лес?

— А что? Люди же ездят.

— Люди! — Михаил с досады махнул рукой. — Молчи уж лучше. Первым суком задавит.

Лизка надулась: в самое больное место попали — не везет с ростом; но раз уж она что забрала себе в голову, доведет до конца.

— Ты думаешь, с телятами-то легче валандаться? Охо! Одной воды сколько надо перетаскать — руки оторвешь. А дрова-то? Сколько я раз ездила эту зиму, мама?

— Ездила, — кивнула мать.

— Не пугай, не пугай лесом, Михаил Иванович. Видали! — сказала Лизка и оскорбленно поджала губы.

А может, и в самом деле это выход? — заколебался Михаил. Какие-то бабешки каждую зиму в лесу путаются — неужели она хуже их?

— Ну, а ты что посоветуешь? — спросил он, улыбаясь, у Федьки. Все приснули со смеха. Дело было решено.

Глава третья

1

За свои шестнадцать лет Лизка немало натоптала верст. Но все дороги и дорожки, исхоженные ею до этого, в тот же день приводили ее домой. А нынешняя дорога была иная. Нынешняя дорога вводила ее от дому. И не на день, не на два, а на целые месяцы. И, тихо покачиваясь на телеге сзади брата, она задумчиво смотрела по сторонам. А смотреть-то было не на что. Потому что как ни смотри, а кроме сосен да елей, ничего не вымотришь.

Только раз, когда они спустились в ручей, Лизка не на шутку разволновалась. По берегам ручья росла трава — высокий, пожелтевший от заморозков пырей, — и она подумала, что хорошо бы было эту траву скосить для Звездони. Ведь где только они не собирали этим летом траву, а тут вон сколько ее пропадает. И, подумав так, она опять перенеслась мыслями домой, вспомнила мать, зареванную Татьянку, вспомнила босоногих братишек. Петька и Гришка все утро не сводили с нее своих преданных и ласковых глаз, а потом, когда пришло время прощаться, зарыдали навзрыд и, как она ни уговаривала их, как ни кричал на них Михаил, гнались за телегой до самой Синельги — босые, посиневшие от холода.

— Не замерзла? — спросил Михаил.

— С чего? — ответила Лизка и сглотнула слезы.

— Скоро приедем. Три версты осталось.

Лошадь повернула налево, телега запрыгала по корневищам.

Вскоре они выехали к речке, и Лизка увидела на той стороне крутую красную шелью, а на шелье — белые бараки.

— Это не Сотюга? — спросила она, вытягивая шею.

— Сотюга.

— Прямо деревня целая.

— Ну хоть не деревня, а лесопункт большой. Тут теперь лес валят без передышки, круглый год. А вот дорогу большую сделают — трактора завезут. Первый механизированный лесопункт в районе будет.

— А Егорша-то как же? — спросила, помолчав, Лизка. — На тракториста учился — поедет сейгод в лес?

— Не знаю, — сквозь зубы промычал Михаил. — А тебе-то что, не все равно?

— Да мне что. Я так.

Выехав из еловой гуши, Михаил остановил лошадь, слез с телеги. Постоял, поглядел вокруг, потом свернул в сторону и начал рубить сосну.

Лизка ничего не понимала. Зачем ему эта сосна? Чем не угодило дерево — в стороне стоит. Или замерз, погреться решил?

Все разъяснилось, когда брат свалил сосну.

— Иди сюда со своим топором! — крикнул он ей.

И вот тут она догадалась: ее учить хочет.

Она вся вспыхнула:

— Я не знаю, ты со мной, как с маленькой. Не в городе выросла. В лесу.

— Ладно-ладно. Потом будешь разговаривать.

Пришлось подчиниться. Она достала из-под сена, со дна телеги свой топорик, аккуратный, с новым топорщиком — любо в руки взять, брат специально для нее сделал, — и, подойдя к лежащему дереву, рубанула по суку.

— По погону, по погону руби, — подсказывал Михаил.

— Вдоль?

— Да. И топор к стволу прижимай. Не оставляй мутовок.

Лизка дошла до вершины сосны и заодно и вершину обрубил.

— Ну, как? — спросила она, шумно дыша. — Годяво?

— Пойдет, — сказал Михаил и поощряюще улыбнулся. — Знатный лесоруб из тебя получится.

После этого они быстро доехали до колхозного участка.

Место невеселое. Стоит изба в низине у ручья, большая, приземистая, а кругом ели мохнатые — шумят, качаются на ветру.

— Вот это и есть наши Ручьи, — сказал Михаил, когда они подъехали к бараку. — Здесь, на Ручьях, мы с Егоршей фронт держали. — Затем, прыгнув с телеги, стал объяснять ей, какая из построек баня, какая кухня, какая сушилка.

С треском растворилась дверь. Из барака вышел Антипа Постников, заспанный, с всклокоченной рыжей бороденкой. Покосился насмешливо на Лизку, зевнул:

— А, подмога приехала. Ну, теперь пойдет дело.

Михаил вскипел, рот у него передернуло.

— Ладно, иди, куда пошел. Тоже мне стахановец. Опять нары давишь.

А Лизке так стыдно стало за себя перед братом, что она готова была сквозь землю провалиться.

Вошли в барак. Сыро, нетоплено. Застоялый чад самосада. В одном окне торчит клок сена. Стекла вздрагивают от ветра.

Михаил обошел нары — сплошной дощатый настил вдоль стен, — остановился возле печи.

— Иди сюда. Здесь будешь спать.

— Да тут кто-то уже поселился, — сказала Лизка, разглядывая то место, на которое указал брат. — Давай, где свободно.

— А ничего. Попросим!

Она понимала, почему брат хочет устроить ее возле печи. Тут теплее и в стороне. Но ей не хотелось начинать свою новую жизнь с ругани и ссоры с людьми, и она стала упрашивать его:

— Не надо, Миша. Смотри, еще сколько свободного места.

— Черта с два! — вдруг ожесточился Михаил. — Я с четырнадцати лет здесь сплю. Сам барак строил. Имею я право на это место?

И он не послушался, сделал по-своему: свернул чужую постель, переложил на другое место.

Они занесли ее пожитки: старую плетенку из бересты, ту самую, с которой раньше ездил в лес Михаил, мешок с картошкой, набили сенник для спанья, застлали постель.

— Печь тут топят на ночь, когда из лесу приходят, — объяснил Михаил. — А можно и сейчас. Затопить?

— Не надо. Успеется.

Михаил, подняв глаза к черному, закоптелому потолку, сказал:

— Ну, тогда все. Давай еще посидим на прощанье.

И они сели: он на скамейку к длинному, во весь барак, столу на крестовинах, а она напротив него на краешек нар.

Михаил закурил.

— Ты овцой-то не будь. Наготове зубы держи. Со здешней публикой иначе нельзя.

Лизка слушала наставления, кивала в ответ и не сводила глаз с красного уголька сигарки. Вот скоро догорит сигарка, и брат встанет, а она останется одна...

Но еще раньше, чем догорела сигарка, в барак вошел старик Постников, и Михаил поднялся.

На улице шел снег. Первый снег в этом году. Ели стонали, охали.

— Дорогу-то домой не забыла? — пошутил Михаил. — А то засыплет снегом — и не найдешь.

И тут Лизка не выдержала — обхватила брата руками, расплакалась.

— Ну, ну... Сама напросилась...

— Да я не о том. Я вспомнила, как ты дорогой-то меня сучки обрубать учил. И топорик исделал...

Михаил вскочил на телегу, круто завернул лошадь.

Оглянулся он назад, когда въехал в гору. Лизка все еще стояла у барака — маленький черный пенек, — и снег густыми хлопьями засыпал ее сверху.

2

— Отвез сестру? — спросил конюх и сам, по своей охоте кинулся распрягать коня.

Михаил закоченел совершенно. Мокрый снег, на открытых местах ветер-зубодер, и вдобавок еще конь захромал — всю дорогу тащился, как улита. Но о доме и думать не смей. Иди в правление. Оказывается, за ним уже два раза прибежали сюда, на конюшню.

— А чего им надо? Разве я не говорил, куда еду?

— Да, вишь, с обозом с этим, красным, несработка вышла, — вздохнул конюх. — Одну подводку вернули.

— Вернули? — Михаил крупно выругался.

Он предупреждал Першина, и колхозники предупреждали: зерно сырое, прямо с молотилки — надо просушить. Нет, ногами затопал, глазами завзводил: везите! Да еще красные флаги на подводах приказал выбросить: вот, дескать, как я первую заповедь выполняю. Но, по правде

сказать, Михаил даже рад был, что все так обернулось. Возни, конечно, с этим зерном будет немало, да зато того, шалопутного, проучили.

Вечерело. Свежий снег пружинисто скрипел под подошвами. По привычке он посмотрел на телятник. Бывало, по пути в правление он любил заглядывать к Лизке. А теперь не заглянешь. Что она делает сейчас, сию минуту?

Он всю дорогу не мог простить себе, что не затопил печь. Все-таки ей веселее было бы остаться у огня. А то завез в нетопленный барак, бросил и укатил. Как в той сказке, где отец по наущению злой мачехи завозит в холодный лес свою злосчастную дочку.

Около клуба Михаил обогнал Луку Пронина. Идет, кряхтит с мешком на спине. Затем, недалеко от сельповского магазина, обогнал еще трех мешочников: одного старика и двух баб. И с нижнего конца деревни к складу сельпо тоже подходили люди с мешками. Налогоплательщики. Тащат ячмень и картошку со своих приусадебных участков. Так всегда бывает осенью перед выездом в лес.

В колхозной конторе принимали мясо. Самый тяжелый налог для мужика. Тех, у кого была корова, выручал теленок, а бескоровникам как быть? А бескоровников в деревне не меньше половины. И вот по тридцать, по сорок рубликов за килограмм платили. Своим же землякам, тем, у кого оставался лишек от теленка.

Михаил посочувствовал в душе Ивану Яковлеву — это он сейчас был в работе. Обложили беднягу с трех сторон: спереди — уполномоченный райкома, с флангов — Денис Першин и учитель Озеров, парторг, бледный с непривычки, и еще Ося-чахоточный, налоговый агент, тоже клюет в большое темечко.

Иван и так и эдак: один лаз попробовал, другой — крепко зажали, не выскочишь.

— Даю тебе два дня, — объявил последнее решение уполномоченный. — Не уплатишь — пеняй на себя. Опишем имущество.

— А есть такой закон? — спросил Иван Яковлев.

— Есть.

— Ну нет, товарищ Черемный, это ты малость призагнул. Теперича не прежние времена. Это старики, бывалось, рассказывали...

— Не призагнул. А язык совету попридержать. Лучше спать будешь. Давай следующего.

— Иняхин Павел! — выкрикнул по списку Ося-агент и навел свои железные очки на двери.

— Павел, тебя... — раздался голоса в коридоре.

Мимо Михаила — он стоял у дверей, — шумно прочищая легкие от махорочного дыма, прошел Павел Иняхин.

— Здравствуйте, товарищи...

Иван Яковлев поднялся с правешней табуретки, кулаки сжал — аж хруст пошел по правлению. Но что тут делать ему со своими кувалдами? Не на войне. Так и понес, не разжимая, на выход.

У Михаила прошел запал срезаться с председателем, и когда Першин начал снимать с него стружку — забыл сукин сын, кто виноват! — он только перекатывал на лбу кожу да косил глаз в сторону уполномоченного: скоро ли тот трахнет по нему из своей крупнокалиберки?

А трахнет обязательно, думал он. Не может не трахнуть, потому что он, Михаил, тоже значился в списке Оси-чахоточного. Правда, с их семьей мясолог был со скидкой — двадцать килограммов, — но овцу придется отдать. Это давно всем ясно, даже Татьянке ясно. И казалось бы, так: сдавай скорее ее к дьяволу, лишний килограмм сена корове останется. Ведь все равно она не твоя. А нет, не сдаешь. до последнего тянешь,

— К утру чтоб зерно было в полной кондиции! — распорядился Першин. — Сам повезешь. — И при этом надул грудь, расправил гимнастерку под ремнем с медной, до блеска начищенной звездой. Маршал! На войне не был, так хоть теперь покомандую.

Выход был один — развезти зерно по печам колхозников. Так делали во время войны.

Первый мешок Михаил завез к Степану Андреяновичу — тут надежно. Один мешок он высыплет к себе, еще мешок можно к Марфе Репишной. А остальные два? В первый попавшийся дом не завезешь. За ночь так может усохнуть — полмешка не соберешь.

Как раз в это самое время у Нетесовых в избе прорезался огонек, и Михаил, наматывая на колеса свежий, нетронутый снег, свернул к их дому.

— Печь свободна? — спросил он, просовывая в дверь голову.

— Не видишь? — Марья, черная, как лихорадка, с горящей лучиной в зубах, снимала с печи сноп ячменя. Изба на время была превращена в овин.

Хозяин, судя по стуку, был на повети. Михаил решил поговорить насчет Лизки. Илья, как и в прошлом году, был назначен бригадиром на Ручьи. Пускай-ка возьмет сестру себе на заметку.

В темных сенцах на ощупь он отыскал лесенку, поднялся на поветь.

Картина была знакомая. Илья при лучине, которою светила старшая дочка, обмолачивал сноп.

— Ну, как усовершенствованный комбайн? — беззлобно пошутил Михаил.

— Да, комбайн. — Илья повертел в руках отполированный до блеска цеп. — Я этим комбайном, знаешь, когда действовал? — Подумал — зря слова не скажет. — В двадцать седьмом.

«А мы всю войну так», — хотел было сказать Михаил, но смолчал.

Илья зашарил по карманам гимнастерки. Дырочки на груди еще светлые, не потемнели: больше года звенел своими доспехами.

— Валентина, — кивнул он дочке, — сбегай-ка за табаком.

— У меня есть, — сказал Михаил.

Но покурить не пришлось. На поветь втащилась Марья с новой партией сухих, пахучих снопов, и Илья застучал цепом.

О том, что надо было сказать Илье насчет Лизки, Михаил вспомнил, уже садясь на телегу. Но ему предстояло еще устроить два мешка, а кроме того, он был голоден, как собака, — с утра ничего не ел. И он махнул рукой. Пускай-ка она сама держится на своих ногах. На подпорах далеко не уйдешь.

Глава четвертая

1

Провеяв деревянной лопатой жито, Илья сгреб его в кучу, подмел веником вокруг — каждое зернышко выковырял из щелей меж половиц, — потом снял со стены большую берестяную коробку. Коробка, если насыпать ее с краями, весила ровно двенадцать килограммов. Но все же он не стал полагаться на мерку: каждую коробку взвесил на безмене. И так до трех раз. Затем еще отвесил пятнадцать килограммов. Домашний мешок, длинный и узкий, наполнился под завязку. Это налог.

Остальное зерно он ссыпал в кадку.

Хлеб на своем участке у них родился неплохо: поле у болота и жарой не прихватило. Но они начали есть его еще в первых числах августа и за два месяца основательно ополовинили. И сейчас, заматывая остатки

зерна, он думал о том, как будет жить Марья с ребятами эту зиму. Правда, сколько-то должны дать на трудодни, а трудодней они с Марьей выработали порядочно. Ну а вдруг ничего не дадут? Юг, по слухам, выгорел начисто — откуда-то должно государство брать хлеб.

Илья запер ворота на деревянный засов, затоптал огарок и спустился в избу.

Сыновья уже спали — убегались за день, — а Валя, его любимица и помощница, готовила уроки.

— Ешь! — рывкнула Марья на ребенка, которого кормила грудью. — Она, дьявол, зубов нету, а кусается — всю грудь мне искусала.

Ребенок заплакал.

— Ну еще! Поори — давно не орала. Мати с тобой и так света белого не видит.

Да, ребенок их связал. Когда забеременела жена, Илья обрадовался — давай еще одного солдата, а теперь хоть бы и вовсе его не было. Марье даже со скотного двора пришлось уйти.

Он сполоснул руки из рукомойника, достал со шкафа свою домашнюю канцелярию — берестяную плетенку с крышкой.

— Ну-ко, доча, пусги отца к столу.

В плетенке хранились разные бумаги: обязательства на поставку государству мяса, картофеля, зерна, яиц, шерсти и кожи, извещения на сельхозналог, самообложение, страховку, квитанции об уплате налогов. Еще тут были его довоенные грамоты за ударную и стахановскую работу на лесозаготовках, военный билет — запас первой очереди, старые довоенные билеты — осоавиахимовский, мопровский, стопка денежных переводов, которые он посылал домой с фронта — все до единого сохранила Марья, — и орденские книжки. Сами ордена и медали лежали тут же, на дне плетенки. О них теперь он редко вспоминает, разве в такие вот минуты, когда разбирает бумаги, ну и еще когда на улице ветер: холодит, будто шилом тычет в проколы на гимнастерке поверх карманов.

Первое время Илья совал бумаги куда придется: в шкаф с чайной посудой, на полку, за рамки с карточками. А потом увидел — надо наводить порядок, иначе запутаешься. Да и люди подсказали: у каждого теперь своя канцелярия. На́ слово не верят. Слово, как говорится, к делу не подошьешь. Вот он и завел эту плетенку — специально смастерил нынешним летом на сенокосе.

Надев очки, Илья начал раскладывать бумаги. Одни бумаги, сшитые по углу суровой ниткой, он положил слева от себя — это квитанции и расписки, по которым уплачено. Другие — по ним надо платить — справа. Из этих, последних, бумаг он в свою очередь отобрал голубой листок, согнутый вдвое (извещения на сельхозналог и страховку его не беспокоили — тут у него порядок; и насчет зерна — серенькая бумажка — можно не смотреть, завтра отнесет).

Ему незачем было читать этот полинялый голубой листок, согнутый пополам. Он знал его наизусть.

*Обязательство
на поставку государству в 1946 году мяса, молока,
брынзы-сырца, яиц и кожевенного сырья*

Сверху — герб с колосьями, снизу — печать уполномоченного Министерства заготовок Архангельской области, а по краям — его собственные печати. Пальцы. Много раз побывал уже этот листок в его руках.

Он повертел-повертел листок и начал читать с конца, в обратном порядке.

6. Ш е р с т и:
 а) овечьей полугрубой по норме 900 граммов
 10% $\frac{\text{скидка}}{\text{надбавка}}$ колхозникам 90 граммов
 Всего подлежит сдаче
 шерсти 990 граммов.

Уплачено!

5. Ко же вен но го сы р ь я (шкур) качеством не ниже II сорта:
 а) мелких кож (овечьих шерстяных и полушерстяных или козжих, размером не менее 35 квадратных дециметров каждая в парном виде) 0,5 штук.

Есть договоренность с Лукой Прониным: будет сдавать овчину — обещал принять в пай.

4. Я и ц 30 штук.

Во всей деревне две куры да петух. Уплачено деньгами.

3. Б р ы н з ы - сы р ц а

Прочерк. Про такую в Пекашине не слыхали.

2. М о л о к а базисной жирности

Илья тут каждый раз улыбался. Улыбнулся и сейчас: Ося-агент разбежался было — вкатил триста двадцать восемь литров, а потом зачеркнул. Коровы у Ильи нет. Анфиса Петровна, когда еще была председателем, обещала дать телку, но теперь едва ли что выйдет. С планом по животноводству колхоз отстает. Придется, видно, ребятам еще с годик на довольствии у самовара посидеть.

Дальше Илья читать не стал. Сколько ни хитри, ни обманывай себя — хоть с конца, хоть с середины читай, — а все равно к мясу придешь.

— С бараном-то как будем? Сама сдашь или мне задержаться?

— Ты сперва барана-то выкорми. Я без тебя его завела. Мой баран-то.

Илья посмотрел под потолок, где жужжали мухи, — все еще не подошли, окаянные.

— Ты разговариваешь так, будто мы надвое живем.

Марья отняла от груди ребенка, сунула дочери, затопала в задоски.

— Баран у нас в мясе, — сказал Илья. — Думаю, килограмм до пятидесяти вытянет. Так что ты на первое время еще с деньгами будешь. А потом у меня в лесу получка будет.

— Я сказала — не дам!

— Ну, давай будем ждать, когда с описью придут.

— Пушай приходят. Чего описывать-то?

— Да пойми ты в конце-то концов. Я ведь партийный...

— А-а, партейной! А кой черт тебе, партейному-то, дали? Каждый партейной куда-нибудь ульнул.

Илья встретился глазами с Валею, растерянно улыбнулся ей, кивнул на задоски:

— Вот как она у нас понимает. Думает, в партию затем вступают, чтобы должность заполнить.

— Да уж зачем-то вступают. Бригадиром-то, я думаю, могли бы поставить. Невелик пост. Разве парень не мог бы в лесу?

Если честно говорить, то он и сам не понимал, почему именно не его, а Мишку Пряслина назначили бригадиром. Правда, ничего не скажешь:

парень работающий, хозяйство знает, но ежели бригадир еще и кузнечным делом владеет, то разве в убыток бы это было колхозу?

— Ладно. Не будем об этом говорить.

— Ну, и о баране нечего говорить.

— Да пойми ты, дурья голова,— опять начал объяснять Илья. Не для жены, конечно,— ту колом не прошибешь. Для дочери.— Страна такую войну перенесла... Везде нехватки. Нынче засуха. А города-то нужно кормить? Там ведь не жнут, не сеют...

— Ну, ясно. Городские без мяса не могут. А мы можем. Ты скажи лучше, когда наши дети последний раз мясо ели?

Илья обеими руками сгреб со стола бумага, втолок их в плетенку, затем схватил ватник и — подальше от греха — на улицу.

2

Три дня назад членов партии вызвали в правление. Вопрос — добровольная сдача хлеба государству.

Семен Яковлев взял обязательство на двадцать пять килограммов, Анфиса Минина — на тридцать семь. Ну, а что ему оставалось делать? Подписался на пятнадцать — меньше нельзя. Такая установка райкома. И вот из-за этих-то пятнадцати килограммов у них с Марьей и загорелся сыр-бор. А доводы у Марьи одни — горло.

Сидя на ступеньке крыльца, Илья докурил сигарку, размял окурки на ладони, ссыпал остаток махорки в баночку.

Сосны за баней шумели. Из сырого угла дул ветер-шелонник, и, надо полагать, нынешний снег не удержится. И тут, взглядываясь в невидимый в темноте сосняк, Илья вспомнил про силки.

Силки — сорок пять штук — он поставил в конце августа за Оськиной навиной. Думал: какая душа ни попадет — все харч. Но никто не попал. Нет сейчас ни дичи, ни векши на бору. Южная засуха достала и Север. Не спасли Пинегу тысячеверстные леса.

Силков Илье было жалко — пропадут, если не снять. Но когда он успеет сходить за ними? Люди уже неделю как в лес уехали. Начальство рвет и мечет: бригадир дома. А он все со дня на день откладывал выезд. Хотелось самому домолотить хлеб. Страшное дело этот индивидуальный участок. Собираешь навоз, нужники опоражниваешь, потому что без навоза что родится? А дождешься хлеба — как измолотить? Раньше было просто — овин набил, и дело с концом. А теперь овинов нету (все разорили за войну) — суши снопы на печи да околачивай по снопу на повети.

Илья встал. Сколько ни сиди на крыльце, а с мясом надо что-то делать. Занять денег у кого-нибудь? Он обернулся к двери — пусть она подавится своим бараном. Но у кого занять?

Выйдя на деревню, он мысленно начал перебирать тех, у кого могли быть деньги. В верхнюю часть деревни можно не ходить. У кого там деньги? У Трофима Лобанова? У Мишки Пряслина? Правда, там жил Евсей Мошкин. У этого должны быть деньги. Кадушки, рамы впроход делает, налогов с него нет — старик, из годов вышел.

Евсей не откажет ему — Илья не сомневался в этом. Но как-то неловко было обращаться к попу. Дать-то он даст, а про себя что подумает? Вот, скажет: партийный человек, а за деньгами-то ко мне пришел.

Нет, сказал Илья себе. Пойду-ка я к Федору Капитоновичу. Правда, он, Илья, в должниках у Федора Капитоновича: с месяц назад брал два стакана самосада...

У Федора Капитоновича огня в окнах не было, зато рядом, у Постниковых, изба ходила ходуном. Пляс, песни, гармонь — Константин приехал.

С Костей Постниковым они уходили на войну в один день, и надо бы позжать ему руку, тем более что неизвестно, когда еще их дорожки опять сойдутся. Костю семья не вяжет — кто его знает, куда потянется. Но тут из заулка напротив донесся протяжный бабий вой, и он передумал. Голосила Дарья Софрона Мудрого — оба сына не вернулись с войны. Так весь год: в одном доме песни от радости, а в пятерых вой по убитым.

К Анфисе Петровне он не собирался заходить. Откуда у нее деньги? На тех же трудоднях сидит. Но у нее был свет, и он свернул в заулок. Чем черт не шутит! А вдруг да выгорит.

Анфиса сидела, приткнувшись к столу, и держала перед глазами какое-то письмо (конверт распечатанный лежал на столе). А по щеке ее текли слезы.

Илья смутился, кашлянул. И вдруг Анфиса повернула к нему лицо, и мокрые, заплаканные глаза ее просияли.

— Проходи, проходи, Илья Максимович.

Илья сел к печи.

— Что за депеша такая — и слезы и радость вдруг?

— Да уж верно, что слезы и радость... — Анфиса вытерла рукой глаза. — Не знаю, как тебе и сказать. Ну да все равно, таить нечего... Слышал, наверно, что тут про меня плели?

Илья поднял брови.

— Ну, про фронтовика моего? Слышал. Был тут у нас в войну один человек...

Илья кивнул. Еще бы не слышал. Помолотили языками и в лесу и в деревне, когда Григорий ушел из дому.

— Ну дак от него письмо. Сюда собирается... То-то опять начнут перемывать косточки...

— А, плевать, — сказал Илья. А сам, глядя на нее, белозубую, улыбающуюся, покусывающую губы от смущения — никогда не видел ее такой, — подумал: «Какой же дурак Григорий! С такой бабой не мог ужиться!»

— Я тут разболталась. Ты ведь без дела не заходишь.

Илья вздохнул.

— В лес-то когда?

— Из-за утра думаю. Да вот надо как-то еще деньжонок раздобыть. С мясоналогом рассчитаться.

— Где же ты раньше-то был? Я завтра теленка сдаю, вот бы в пай и взяла. А то я Петру Житову посулила.

Денег у Анфисы, как он и предполагал, не оказалось. Сто двадцать пять рублей — какие по нынешним временам деньги? И все-таки он не жалел, что зашел к ней. Как-то теплее стало на душе. И когда он вышел на дорогу и, прикрыв рукой лицо (мокрый снег лепил глаза), зашагал по ночному Пекашину, ему еще долго виделись ее глаза — сияющие бабьи глаза, промытые легкими слезами.

Анфиса ему нравилась. Всегда нравилась — еще с той поры, когда была девчонкой. И не подвернись тогда Григорий — где же ему было тягаться с таким франтом: из города приехал! — как знать, может, он и не шлепал бы сейчас по этой слякоти...

Илья остановился, покачал головой. Ну и ну! Нашел о чем думать. Самое подходящее времечко выбрал, чтобы молодость свою вспомнить.

Снег валил густо. Огней не видно. К кому пойти?

3

Было без пяти три, когда он вернулся домой.

Нет, не так это просто насобирать тысячу. Не он один налоги платит. И он потопал, помесил снежной каши — вдоль и поперек прочесал деревню. А уж о гордости и говорить нечего. Поп не поп — лишь бы деньги.

Раздевшись и разувшись — все мокрое было на нем, — он разостлал на печи возле стены (у трубы спала Валя) одежду и портянки, прошел к столу. Первым делом надо было записать для памяти нынешние долги. И он, оторвав четвертушку из районной газеты, записал школьной ручкой дочери:

Взято на мясоналог

1. Софрон Игнатьевич	320 руб.
2. Клевакин Ф. К.	270 »
3. Минина А. П.	125 »
4. Мошкин Е. Т.	350 »

Последнюю фамилию он дважды подчеркнул, что означало — вернуть долг в первую очередь.

Затем, просушив бумажку над керосинкой — теперь этот клочок газеты становился денежным документом, — Илья спрятал его в свою бедрастную канцелярию.

В крынке на столе было небогато — несколько холодных нечищенных картошин. Так всегда бывает, когда опоздаешь к ужину. Марья не позаботится, а ребятам что — им бы только брюхо свое набить.

Илья потыкал холодной картошкой в солонку с серой зернистой солью, вытер ладонью рот, поправил усы — они были все еще мокрые.

Дома, в избе, он не курил, да и вообще старался пореже попадаться с сигаркой на глаза жене («Хорошему делу научился на войне! Валяй — жги денежки. Богаты!»). Но сейчас ему ох как не хотелось выходить на сырость, и он, виновато посмотрев на Марью, пристроился на скамейку к печи.

Марья с ребенком спала на полу у кровати, с которой доносилось легкое посапывание сыновей. Рот беззубый открыт, одна грудь вывалилась из ворота рубахи — ребенка кормила на ночь, — а черные ершистые брови даже во сне сдвинуты: его, наверно, ласковыми словами вспоминала на сон грядущий или Валю калила — отвечай, девка, за отца.

Илья развел рукой дым над головой — там, наверху, была Валя — и опять, глядя на спящую жену, жалкую, беззубую, с худой постной грудью, вдруг вспомнил Анфису. А ведь она лет на пять старше Марьи, — подумал Илья.

Он жадно затянулся в последний раз, бросил окурок в таз под рукомойник, даже не вытрусив из него табак, как это всегда делал, прошел босыми ногами к столу, задул керосинку.

Ни единый мускул не дрогнул у Марьи, когда он прилег к ней с краю. Ну и пускай. Надоело ему каждый раз кланяться.

Но заснуть он не мог. Какое-то неосознанное чувство вины точило его: И, лежа на спине, он настороженно прислушивался к дыханию жены. Странное дыхание. Дышит редко, со всхлипами — будто во сне плачет. А может, она и на самом деле плачет? Наяву разучилась плакать — во сне свое горе выплакивает?

И, подумав так, Илья устыдился своих недавних мыслей об Анфисе. Тоскливая, под стать сегодняшней погоде жалость сдавила ему сердце. Он повернулся на бок, нащупал в темноте теплую грудь жены, потом осторожно просунул свою руку ей под мышку и привлек ее к себе.

Глава пятая

1

Дожди, начавшиеся вслед за первым снегом, лупили целую неделю. Пинега ожила, с Северной Двины потянулись пароходы, буксиры с баржами.

На одном из этих буксиров в район прибыло два первых трактора. «Новый этап в лесозаготовительном деле»,— писала районная газета.

И кто же возглавил этот новый этап? Егорша!

Михаил с женками молотил хлеб на нижней молотилке — и вдруг после полудня гром и грохот за старой смолокурней. Бабы выбежали на дорогу — что такое? Легковуху знают, грузовик видали, самолет тоже примелькался — все лето над пожарами кружился,— а это что за диковина?

У смолокурни, возле дороги, спокон веку сосняк. Сосны немалые — дрова рубить впору. И вдруг эти сосны начали валиться одна за другой, затрещали, как карандаши.

Бабы суматошно завизжали, попятились к гумну. Один Михаил остался на дороге — он-то сразу догадался, что это за штука.

Громадный гусеничный трактор, рыча и вздрагивая, остановился в двух шагах от него. И вот тут-то все и увидели Егоршу. Вылез из кабины в кожаных рукавицах по локоть, прыгнул на землю.

— Ну, как машинка? Ничего работает?

Михаил посмотрел на поломанный сосняк, на который кивал Егорша, промолчал.

— Черт бессовестный! Вздумал людей пугать. Мы и так пуганы-перепуганы.

— Чем сосны-то ломать, ты бы лучше снопы нам подвез из навин.

Егорша, довольный, похохатывал, скалил на баб зубы, потом хлопнул Михаила по плечу.

— Давай! Цепляй какие в колхозе найдутся телеги да сани. За один раз привезу весь ваш урожай.

— Ладно, герой выискался...

— А что, Михаил,— заговорили бабы,— чем лошадей маять, пушай прокатится.

— Еще чего! Играть будем или хлеб молотить?

— Суровый у вас начальник,— сказал Егорша.— Ну-ну, ищайте на здоровье.

Он легко и щеголевато вспрыгнул на верхнюю гусеницу, хлопнул дверцей.

Трактор взревел, рванулся вперед. Бабы закашлялись от угарного дыма. А от деревни, от бань на рев мотора уже бежали ребятишки. И взрослые откуда-то взялись. Работать некому, а глазами хлопать да языком молотить — тут народ всегда найдется.

Ну, Егорша и показал себя. Рядом с баней Софрона Мудрого стоял старый, продымленный сарай — бывшая пивоварня. Вмиг не стало пивоварни. Трактор наехал — только пыль пошла. А дальше — больше. Развернулся — пошел на деревню.

— Ну и парень! — заахали и заохали бабы.

— Сколько он теперь огребать будет?

— Да уж не с наше! Маленько побольше.

— Давай на гумно! — заорал Михаил.— Дядя за вас будет молотить?

Было глупо завидовать — для чего же человек на курсах учился?

Ведь и он, окончи курсы, сидел бы сейчас за рулем. Да, все это так, все это понятно. И тем не менее злоба закипала в нем.

Он совал в прожорливый барабан ячменные снопы, покрикивал на баб, а мысленно сопровождал Егоршу по деревне.

Тот, конечно, постарается сегодня. До тех пор будет утюжить деревенскую улицу, пока не сгонит с печи последнюю старуху.

Ну почему так? Почему он по целым дням торчит на гумне — копоть, пыль глотку затыкает, — а тот как жеребец — играючи идет по жизни?

И главное — так всегда, всю жизнь. Поехали они второй раз в лес. Мальчишки. По шестнадцати лет. Кой черт еще делать в лесу, как не махать топором! И он, Михаил, махал, всю зиму махал. А Егорша помахал недельку-две — учетчиком стал. Ладно. Зиму отработали, выбрались домой. Голод. Ребята еле ноги переставляют. Просил, умолял: дайте на сплаве поработать. Все какой-никакой хлеб. Черта лысого! «Что ты, Михаил? А кто пахать, сеять будет? Колхоз распускать?» А Егорша — тот колхозу не нужен. Егорша вывернулся. Вот когда еще все началось...

От нижней молотилки до Ставровых рукой подать, но после работы Михаил пошел домой. Нет уж, пусть другие хлопают глазами, а он насмотрелся — с него хватит.

Ребят дома не было, а где — не надо спрашивать: у Ставровых.

— Ты бы все-таки глядела за ними, — рыкнул он на мать. — Ведь сказано было — после школы обутку не трепать.

— Да разве их удержишь? Ехал тут Егорша — вся деревня за ним бежит.

Мать собрала на стол.

— Сестра-то как? Ничего не будем посылать?

— А чего? Пряников пошлешь?

— Ну-ну, сам знаешь, — сразу согласилась мать. — Я ведь так, к слову. Думаю, свой человек в лес едет..

— Свой человек! Нашла родню.

Мать непонимающими глазами смотрела на него. А разве сам он понимал что-нибудь? Черт знает почему он так распсиховался сегодня! И мать, конечно, права: кто им еще ближе, чем Ставровы? Есть у них на Смутове дядя родной. А раз хоть в чем-нибудь выручил их этот дядя?

— Ладно, — примиряющим тоном сказал Михаил, — достань с погреба картошки. Да тварогу пошлем.

2

У Ставровых, как в праздник до войны, горела десятилинейная лампа. Свой теперь керосин — не надо экономить. А под окошками, возле трактора, видимо-невидимо ребятишек. Сбежались со всей деревни. Была тут, конечно, и его саранча. Все четверо.

Татьянка подскочила в темноте, глазенки горят:

— Миша, а меня Егорша на тракторе катал, вот!

— А нас тоже катал, — доложили Петька и Гришка.

— Не врите! Вы-то на телеге, а я на самом тракторе.

Да, будет теперь разговоров у малых. На всю зиму хватит. Егорша додумался: связал две телеги, сани — садись, ребятня! И если летом, когда он еще на легковухе ездил, ребятня по целым дням караулила его, то что же теперь?

— Марш домой! — круто распорядился Михаил. — Ну, кому я говорю?

Федька наловчился было нырнуть в ребячью гущу, но он успел схватить его за шиворот, дал подзатыльник.

— И вы тоже! — пригрозил он остальным. — Живо!

— Кусать хочешь? — спросил его Егорша, когда он вошел в избу.

Михаил скользнул глазами по столу: раскрытая банка с консервами — треска в масле, краюха магазинного хлеба — настоящего, ржаного. Сглотнул слюну.

— Не, поел только что.

— Ну, а другого угощенья нету. Дедко не припас.

— Поменьше пить надо было, — с осуждением сказал Степан Андреянович.

— Ладно. Слыхали, — вяло огрызнулся Егорша. — Подумаешь, бутылку-две на прощанье с корешами раздавил.

— Не знаю уж, сколько раздавил, а без копейки домой приехал. Так будешь хозяйничать — хорошо заживем.

— А на что тебе копейка-то? Слыхал, что Сталин говорит? Готовьтесь, говорит, к коммунизму... А у тебя на уме копейка.

Егорша, подмигивая, кивнул на склонившегося над хомутом деда: послушай, мол, что сейчас начнется.

— Я картошки да творогу для Лизки принес, — сказал Михаил, указывая под порог. — Передай.

— Ладно, — сказал Егорша. — Передам.

Затем он пошарил глазами по полу, нацелился на сук в половице — как раз посредине избы, — цыкнул слюной. Недолет. Со второго раза попал точно.

— Ну, что будем делать? — сказал Егорша, вставая с лавки. — Дедко в дотации отказал. Хочешь, прокачу на своем стальном?

— Давай-давай, — заворчал Степан Андреянович. — Самое время теперь народ пугать.

Егорша накинул на плечи промасленный, похожий на кожанку ватник, подошел к зеркалу. Кепку — новую! — с крохотным козырьком и пуговкой посадил на самую макушку, светлый чуб распушил пятерней — берегись, девки!

3

— Ты что ничего не спрашиваешь? — спросил Егорша, когда они вышли на крыльцо.

— А чего спрашивать? Вижу — на трактор пересел.

— Да, брат, все, — заговорил, загораясь, Егорша. — С райкомом рассчитался. Подрезов сперва на дыбы: «Не пушу. Другого шофера мне не надо». А я ему политическую подкладку: хочу на передовую. Правильно сделал?

— А чего неправильно? Райкомовская легковуха зимой на приколе — не сидеть же тебе сложа руки.

— Чухлома! — с разочарованием сказал Егорша. — Райкомовская легковуха! Разве в этом соль? Почитай районную газетку от десятого октября. Там ясно сказано насчет этого коняги. — Егорша, подойдя к трактору, горделиво постучал кулаком по радиатору. — Переворот в лесном деле! Ребятишки и те понимают, что к чему. Видел, как они ликовали?

С подгорья доносился глухой шум ледохода, а за деревней над черной стеной леса дружно играли сполохи — к морозам.

— Куда пойдем? — спросил Егорша. — В клуб?

— Какой теперь клуб. Все в лесу. Одна Райка в деревне.

Егорша посмотрел на дом Федора Капитоновича — на кухне свет.

— А знаешь что? Давай выманю Раечку. Продавцом работает — неужели на бутылку не разорится?

— Ну да! Буду я еще по домам собирать.

— Подумаешь, гордость! Хрен с тобой. Пошагали к Першину. Давно он меня звал.

— А меня не звал.

— Ну и что — со мной.

— Да за каким он дьяволом мне сдался? — рассердился Михаил. — И так каждый день глаза мозолит. Уж по мне лучше дома кирпичи давить.

Егорша схватил его за рукав.

— Да погоди ты, кипяток! Друг еще называется. — Он выпустил рукав Михаила, сказал, помедлив: — А с Першиным, между прочим, советую не ссориться. Не забывай, кто его поставил.

— Ну и что?

— А то. Подрезов не таким, как ты, хребет ломает.

У Пачихиных — хозяин работал лесником — завыла Векша, единственная собачонка в деревне. Остальных порушили еще в войну.

— Музыка, — сказал Егорша. — Да, вот дыра собачья — некуда и сходить. — И вдруг воскликнул: — Порядок! Поехали на собеседование к дяде Евсею.

К Евсею Мошкину они заходили и раньше. Старик приветливый — забавно послушать. А то, что он религией чокнутый, так ведь они не старухи — мозги на месте.

Марфы, на их счастье, дома не было — ушла с ушатами в Водяны.

— Проходите, проходите вперед, — сказал Евсей, указывая на боковую лавку. — Только уж уговор, ребята: у меня не курить. Ладно? А я сейчас.

Он быстро загреб в кучу щепу и стружку — строгал доски, — снял керосинку с матицы, поставил на стол, подсел к ним. Крепкий, медно-волосый — жаром налит.

Михаил всегда удивлялся его здоровью. Вроде бы старик и харчи не лучше, чем у других, а утром выйдешь на задворки — кто там из-за болота выкатывается? Евсей. Идет, с вязанкой сосновых поленьев вышагивает — только веревка поскрипывает. Без шапки. А летом еще и босиком. Остановится, поздоровается да еще приветливое слово скажет: «День-то какой сегодня баской! Заслужили люди». И так всю поленицу в заулке — а ее у него костры — перетаскал на себе. Из лесу. За километр, за полтора.

И сейчас, присматриваясь к этому загадочному для него старику, широколобому, кряжистому, с тугими ребячьими щеками, до багряности разогретыми рубанком, Михаил подумал: «Работой держится». Но, с другой стороны, кто нынче не работает?

— Ну что, ребята? — сказал Евсей. — Чем вас угощать? Может, самовар согреть?

Егорша ухмыльнулся, повел глазами в сторону задосок:

— Воды на свете много — всю не перехлебаешь.

Евсей понял намек, улыбнулся щелками.

— Неладно бы сегодня за рюмкой-то сидеть. Пятница. Грех великий. Ну да гости у меня не каждый день. — Он встал, пошел в задоски.

Егорша, потирая от удовольствия руки, толкнул Михаила в бок: дескать, учись, как дела делать!

На столе появился пузатый графинчик старинного литья, темная крынка с нечищеной картошкой, три луковицы.

— Хлебца сегодня нету. Не обессудьте.

— Нам не на мясо,— ввернул Егорша.— Можно и ниже средней упитанности.

Себе Евсей налил в граненую стопку — тоже старинного подела, а им — в толстые стаканы.

— Ну, будем здоровы.— Перекрестился, выпил, закусывать не стал — только ладонь приложил к губам.

— А у тебя это ловко, дядя Евся,— сказал Егорша.— Есть тренировочка.

— Вино надвое разделено,— уклончиво ответил Евсей.— Умному на веселье, глупому на вред.

— А старухи ничего? — продолжал задира́ть Егорша.— За штаны не берут? В разрезе религии?

— Не пытайте меня, ребяташки. Поздно меня переделывать. Я с малых лет ногами в земле, глазами в небе...

— Это как? — спросил Егорша.

— А, стало быть, так — духовной веры жажду.

— Ха,— ухмыльнулся Егорша.— Опеум.

— А откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Ничего ты не знаешь. Ни я ничего не знаю, ни ты ничего не знаешь. Много ли птичка из моря выпьет? Прилетит, раз-раз клювиком, а море все такое же. Так и человек насчет знаний.

— Смотри какой человек. Я, например...

Евсей быстро перебил Егоршу:

— А «я» — то последняя буква в азбуке. А почто? Скажи, коли все знаешь.

Михаилу все это было знакомо. Третий раз они с Егоршей заходили к Евсею, и третий раз Егорша задирает старика. Он недовольно крякнул.

— Ладно, хватит,— сказал Евсей.— Пушай ты все знаешь. Ты вот лучше скажи — у начальства близко, все ходы-выходы знаешь: хлопотать мне насчет пензии?

Егорша откинулся назад:

— Тебе? Пензия? А за что?

— Да ведь годы-то мои на семей десяток покатались. Сколько я еще топором намашу. Вишь, рука-то...— Евсей поставил на стол правую руку, согнутую в пальцах. Пальцы вздрагивали.

— Не,— сказал Егорша.— Автобиография неподходяща. Поп.

— Да какой же я поп? Почто ты меня все попом-то обзываешь? Ежели я со старушонками помолюсь вмести́ях, утешу какую ласковым словом, дак разве я поп? Попы-то все грамотные, службой кормятся. А я чем? Не тем же разве топором, что люди? Ну-ко, спроси у старух: взял ли я хоть у одной копейку?

Егоршу это не убедило. Он сказал, что неважно, как называть, поп или не поп, а факт остается фактом: антисоветский элемент.

Тут уж не выдержал Михаил. Какой же, к дьяволу, он, Евсей Тихонович, антисоветский элемент? Все-таки надо думать, что говоришь. А потом, добавил Михаил, возвращаясь к тому, из-за чего загорелся сыр-бор, может, Евсей Тихонович вовсе и не за себя хочет получить пенсию, а за детей? Так ведь, дядя Евся?

— Так-так, Миша,— живо закивал Евсей,— за детей. За Ганьку и Олешу. Два сына на войне головы сложили.

— Это другое дело,— сказал Егорша. Подумал, добавил:— Нет, все равно ни хрена не выйдет.

— Ну да! — возразил Михаил.— Все за убитых получают, а он что, не отец?

— Да что вы ко мне пристали? — начал злиться Егорша. — Я что, райсобес? Там, между прочим, тоже не дураки сидят. А ну-ко, скажут, предъяви документы, когда поил-кормил?

— Господи! — всплеснул руками Евсей. — Я уж злодей своим детям, да? Я не поил, не кормил? А кто же их поил-кормил? Кто? — И Евсей вдруг всхлипнул, размазал по румяным щекам слезы. — Мне и ребята свои против не говаривали.

— И зря, — сказал невозмутимо Егорша. — Из-за кого же они страдали? Я бы такому отцу прописал.

— Ладно, не будем об том говорить. То особо дело. Не ты мне прописывал. Федька Косой, в исполкоме сидел, уж как, бывало, не страшал! «Снимай крест, стриги волосы. В землю зарю!» А где теперь? Сам раньше меня зарылся. Злом человека, ребятушки, не наставишь. Зло не людям делаешь — себе. Мне мати-покойница, бывало, говорила: «Кабы зло, Евсейко, исделал да на небо улетел...»

Егорша ухмыльнулся.

— А на небо ты, дядя Евся, не очень рассчитывай. Там тоже с отбором принимают.

— Что пустое молоть.

— Не пустое. По твоей религии. Водочку любишь... — Егорша загнул палец.

— Погоди. — Михаил сдвинул брови. — А дальше что?

— Вишь вот, Михаил Иванович понимает. Даром что годами от тебя не ушел. Ох, ребята, ребята, — вздохнул Евсей, — всего не перекажешь. Все прошел. А как дети свои выросли — и не видел. Уж когда домой вернулся, в сельсовете объявили: оба геройски погибли. За родину. — Евсей развел руками. — Не судьба. Федька, Федька Косой меня упек. Ох, зверь-человек, царство ему небесное. Уж как он, бывалоча, меня топтал да мял! И заданьем твердым обкладывал, и из лесу по месяцам не выпускал... А и зазря, как потом выяснилось. Тамошние власти поумнее — с меня и вину всю сняли. Не виноват, говорят, отец, а что по леригии живешь, дак это твое дело. Закон дозволяет.

— Ну, ладно, — важно, как если бы он вел собрание, сказал Егорша. — Этот вопрос для ясности замнем. А теперь давай антракт — чего-нибудь в части мурок-урок. Ох, бывало, у нас в Заозерье на эти штуки Вася-ножовик мастак был. Как раз незадолго до войны из-за проволоки вышел. Этот самый знаменитый Беломор строил. Который еще на папиросах обозначен. Ну, почнет живые картины на своем теле показывать да про этих мурок-урок рассказывать — заслушаешься. Такие, говорит, там шмары имеются — пальчики оближешь.

— А кто тебе сказал, что я за проволокой был? Да я, ежели хочешь знать, ни одного дня там не был.

Егорша аж затылком долбанул простенок — до того неожиданно было то, что сказал старик. И Михаил, к этому времени начавший было томиться и позевывать, тоже вскинул голову.

— Нет, ребята, — после небольшого молчания снова заговорил Евсей, — никаких шуток-мурок я не видал. Я с ссыльным листом на чужбине был, да и то зазря. Тамошние власти спасибо разобрались, все права мне дали. — Евсей вдруг застенчиво улыбнулся, покачал головой. — А по первости-то тоже всяко было. Что уж скрывать. Я приехал в поселок на рождество. Зима, мороз, степь голая. И не то что лесины — кустика вокруг не увидишь. А мне и притулья нет. Как хошь, живи. И насчет пропитанья тоже сказ короткий: кормись, как знаешь. Да, так было-то. А потом, когда уезжал, — ох! Не то что все прочие — сам председатель уговаривал: не езд, говорит, отец. Оставайся у нас да

обогревай людей теплом. Я все, вишь, печи клал. И до войны клал, и после, когда отпускную дали.

— Постой,— сказал Михаил,— а когда же тебе отпускную дали? Разве не после войны?

— Нет, нет, раньше. Еще на первом году войны, осенью.

— И ты остался там? Не поехал домой?

— Сообразил, что дома не коржики с медом,— вставил с ухмылкой Егорша.

— Да почто ты все меня в корысти-то винишь!— воскликнул Евсей.— Разве я по корысти живу? Людей надо было спасать от холода. Вот из-за чего остался.

— Че-го, че-го?

— Вот тебе и чего. Ты, поди, и не слышал про то, что у нас за Волгу целые заводы перебрасывали? Нет?— Евсей от обиды повернулся к Михаилу.— Да-да, Миша, завод пересек мне дорогу домой. Я уж было совсем собрался, с людьми простился. А тут вдруг к председателю зовут. Срочно. Ну, думаю, не судьба. Обо мне чего-нибудь перерешили. Нет, насчет завода. Завод вакуирован, на станцию привезли. Поселок надо строить. А мне, значит, чтобы печи класть. Нет, говорю, не могу, гражданин начальник. У меня дети есть. Я детей давно не видел. А тот и говорить не стал. Меня в санки— да на станцию. А на станции— о господи! Люди, люди. Женщины. Ребятишки плачут. Костры горят... Ну, я и остался. Простите, Ганька да Олеша. Вы-то сейчас все же во тепле, в детском доме, а тут-то что будет, когда морозы падут?..

Егорша, свертывая сигарку, спросил с издевкой:

— Так. Значит, добровольно, так сказать, по сознательности остался?

— А уж не знаю как, а остался. Так своих ребят и не увидел.— Евсей опять всхлипнул.

— А может, господь бог внушил? А?

— Ну чего ты, понимаешь, в бутылку лезешь?— попытался урезонить Егоршу Михаил.

— А то! Он тут который час нам на мозги капает, а ты и вздыхаешь: вот, дескать, божий человек. А этот божий человек небось ря-ху наел. Ну-ко, кто у нас в Пекашине с таким зеркалом из войны вышел?

— Да что это, господи!— Евсей схватился руками за голову, расплакался.— Зачем тогда ко мне приходите? Я тебя принял, я тебе почет оказал, а ты все мне поперек. Все лаем да пыткой.

Михаилу вдруг нестерпимо стыдно стало и за себя и за Егоршу. В самом деле, на что это похоже? Пришли, уселись за стол и давай отчитывать старика. Егорша, положим, завелся— с ним это бывает. А он-то куда смотрит?

Он положил руку на плечо Егорше:

— Ты все-таки думай, что говоришь, голова еловая.

— Это ты думай!— Егорша резким движением сбросил с себя его руку.— Я в райкоме работал— закалку имею.

— В райкоме работал! Хоть за колесо райкомовской легковухи держался.

— Может, и за колесо, а тебя в бригадиры вывел.

— Что? Ты меня в бригадиры? Ты?

На пол со звоном упал стакан. Михаил, рванув Егоршу на себя, вытащил из-за стола.

— Ребята, ребята!— закричал Евсей тонким, плаксивым голосом.— Что вы? Что вы делаете?

Затем, плача и охая, схватил их за шиворот, растащил по сторонам.

— Пусти! — злобно прошипел Егорша, вырываясь.

— Нет-нет, ребята, не пущу. Покайтесь друг другу, ну? Покайтесь, ладно? Что вы не поделили-то, что? Пришли ко мне друзьями, а уходите врагами. Разве можно так? — Евсей упрасивал, усовещевал их...

— Да пусти ты, мать твою так! — заорал Егорша, зверея.

Пальцы Евсея сразу разжались. Он закрыл глаза руками, заплакал.

— Ох, ох, нехорошо, Егор. Матерное-то слово самое тяжелое. Грешись против своей матери, против мать-богородицы и против мать — сырой земли.

— Ладно тебе! Запричитал... — Егорша сдернул свою кепку с мастицы, выбил о колено, надел.

— Оставайся! — крикнул он из-под порога. — Он тебя под свой крест подведет!.. — И так хлопнул дверью, что песок посыпался с потолка.

Михаил прислушался к шагам Егорши, сбежавшего с крыльца. Потом все затихло, и он услышал всхлипывание. Плакал Евсей. Плакал, как ребенок, обхватив руками голову.

Тускло горела копилка.

— Ничего, — сказал Михаил. — Остынет маленько и вернется.

Они сидели безмолвно, тот и другой вслушиваясь в ночную тишину, и ждали.

Егорша не вернулся.

Глава шестая

1

Кончался еще один год. Страна подводила итоги.

Завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, наткался глазами на центральную газету.

Где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди — богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах.

А что в Пекашине? Какая жизнь?

Снежные суметы вровень с окошками. Мутный рассвет в десятом часу утра.

Днем прочиликает, утопая в сугробах, стайка детишек, возвращающихся из школы, проскрипит воз с дровами или с сеном, еще покажется в своем ежедневном обходе очкастый Ося-агент, от которого, как от чумы, шарахаются бабы, — и вечер. Длинный вечер с дымной лучиной, с одной и той же заботой — что будем жрать завтра. Потом ночь. Хочешь — дави печную кирпичину, хочешь — смотри бесплатное кино: северное сияние. Хоть всю ночь. И со звуком. Проклятая Векша из себя выходит, когда в морозном небе за деревней начинают плясать и переливаться серебряные сполохи.

Нет, не о такой жизни мечтал Михаил...

2

Все спали. Ребята спали на полатах, мать с Танюхой — на печи, а он не спал. Он сидел в дрожащем кругу розового жара и тоскливыми глазами смотрел на догорающие в печке дрова.

И еще было в избе одно существо, которое томилось в этот вечер. Елка. Она лежала под порогом в темноте и на всю избу источала смоляной аромат.

Елку он вырубил в сумерках, возвращаясь с сеном с Верхней Синельги. Думал: вот обрадуются ребята! А ребята посмотрели недоуменно на него и отвернулись. И Михаил понял: что им какая-то обмерзлая елка — в лесу выросли. А вот если бы эту елку да обвесить конфетами и пряниками, а еще лучше хлебными горбухами — вот тогда бы — да! Тогда бы они глаз не сводили с нее. Так и осталась лежать елка под порогом.

Новый год не торопился. Стрелка на часах — они сонно потикивали на дощатой заборке за спиной — никак не могла перевалить за десять.

А ведь есть на земле люди, думал Михаил, которые сейчас с минуты на минуту ожидают прихода Нового года. И сами они такие же рядные, как та елка, которую он видел на днях на обложке «Огонька». И в их квартирах столы с белыми скатертями, вино, всякая жратва. И вот они сядут за эти столы и поднимут бокалы под звон кремлевских курантов...

Дрова прогорели. Михаил помешал кочергой в печке. Подложить еще? А что ему сдался этот Новый год? Ну, дождется, когда часовая стрелка подойдет к двенадцати, это нетрудно. А дальше что?

Михаил подождал, пока не растаяли синие угарные огоньки над раскаленной россыпью углей, потом еще раз помешал кочергой, закрыл листик в трубе.

На ночь он решил выбросить елку на улицу. Зачем — чтобы она еще утром мозолила всем глаза?

Но елка не хотела на мороз. В темноте она кололась, крупными слезами заливала ему руки. И Михаил раздумал: ладно, оставайся до утра.

В ночном небе ярко горели звезды. Михаил запахнул полы полушубка — морозец что надо, — вышел, рыхля свежий снег, на дорогу.

Куда пойти? Ни одного огонька не было вокруг. Дорогу замело, загладило. Пухлые сугробы залегли вдоль изгороди.

Он поглядел в ту сторону, где за деревней неясными увалами чернели ночные леса. Там была Сотюга. И он пожалел, что не поехал туда. А ведь собирался было: давно пора проведать Лизку — как уехала, ни разу не была дома, — а заодно повидать и Егоршу. Сколько еще дуться? В каких переплетках они раньше не были, всю войну вместе расхлебывали, а тут, в тот вечер у Евсея Мошкина, удила закусил и давай лягать друг друга. И из-за чего?

Признаться, он, Михаил, поджидал сегодня Егоршу. Вот-вот, думалось, загремят ворота, ввалится с мороза Егорша: «Ну что, Коля, не ждал?»

Уши и нос пощипывало. Обмерзлый ушат потрескивал на крыльце.

Эх, жизнь, жизнь... Ну, что изменилось от того, что он стал бригадиром? Только ходьбы прибавилось — каждое утро надо обежать деревню. А в остальном все то же: сено — дрова, дрова — сено...

Он прошел на задворки, наколупал в пазах моха. На курево.

3

А все-таки дед Мороз не обошел Пряслиных.

Ночью Михаил проснулся — стучат. Он спрыгнул с кровати, подбежал к боковому окошку, ткнул разгоряченным лицом в заледенелое стекло. Никого. Неужели ему показалось?

И вдруг оттуда, с холода, донеслись притворно-жалобные слова:

— Пу-сти-те по-греть-ся...

— Мати, мати! Лизка приехала!

Ночная тишина в избе будто взорвалась. Анна со словами «иду, иду!» уже открывала двери (она-то, наверно, еще раньше его услышала

стук в окно), а на полатах, на печи загорланили ребята: «Лизка, Лиза приехала»...

Михаил кинулся искать спички.

В их семье не принято было обниматься и целоваться. Но когда из морозного облака под порогом вдруг блеснули знакомые глаза, густо запорошенные инеем, он не удержался — сгрэб сестру в охапку.

— Лиза, Лиза, мне,— запричитала Танюха, слезая с печи.

И Лизка, протягивая к ней руки, расплакалась:

— Иди, иди, моя хорошая. По тебе-то я больше всех соскучилась.

А потом она обнимала остальных — Петьку и Гришку (эти обхватили ее оба вдруг), Федюху, насупленного, не спускавшего взгляда с корзины, которую вслед за Лизкой внесла в избу мать,— и для каждого находила особое словечко.

Михаил первый опомнился.

— Мати, чего стоишь? Наставляй самовар. А может, ты замерзла — баню затопить?

— Да что ты, парень? — удивилась Лизка. — Какая ночью баня?

Лизку раздевали всей семьей. Кто стаскивал с ног обмерзлые валенки, кто расстегивал ватник, кто снимал с головы шаль. И она, растроганная, не привычная к такому вниманию, только качала головой:

— Я не знаю, вы со мной, как с маленькой. Я ведь не откуда приехала — из лесу.

— А я уж думал, не приедешь,— сказал Михаил. — Ждал-ждал — лег...

— Что ты — не отпускали. Хорошо, Илью Максимовича на совещанье в район вызвали. Как хотите, говорю, поеду — девять недель дома не была. Я ведь теперь за повариху.

— За повариху?

— Ну да. Разве Петр Житов не сказывал?

— Нет, ничего не говорил.

— Третью неделю варю. Ничего — люди не жалуются.

— Ну, это ты молодец! — радостно сказал Михаил.

— Худо ли,— подтвердила мать. — Все не в снегу. И лишняя ложка похлебки достанется.

В задосках зашумел самовар, и ребята, как по команде, устались на корзину.

И корзина, та самая берестяная корзина, с которой раньше ездил в лес Михаил, раскрылась.

Буханка ржаного хлеба, другая. Сухари. И еще сахар — целую горку мелко наколотого сахара насыпала Лизка из мешочка на стол.

Ребята ахнули. А Михаил, растерянно моргая, только махнул рукой. Ну что тут скажешь? Не дура ли девка? Бывало, в лесу намерзнешься за день — только и радости чайку горячего попить, а если еще приведется огрызок сахара — праздник. А эта, дура набитая... Ах...

И была зимняя ночь. И за окошком лютовал мороз — с треском, с яростью, как голодная собака, вгрызаясь в промерзшие углы.

А им — что! Им плевать и на ночь и на мороз. Красный самовар клопочет на столе.

Ешьте, пейте, ребята! Новый год идет по земле.

— Бежите, разгребите дорожку на задворках,— говорила шепотом мать.

Ребята заулыбались — она это почувствовала, не глядя под порог,— и хлопнули дверью.

— А ты, бес, не вертись! — зашипела мать на Татьянку. — Дай поспать человеку.

— Да я, мама, не сплю, — сказала Лизка и открыла глаза.

В избе было уже светло. С оледенелых окошек красными ручьями стекала заря на белый пол.

Татьянка вскочила на залавок, приподнялась на цыпочки и крепко обхватила ее холодными ручонками за шею.

— А ты чула ли, как я вставала? Я уж пол подпахала, вот.

— Подпахала... Все утро, как кобыла, скачешь. Человек из лесу приехал, а тебе хоть говори, хоть нет.

— Дак ведь она не спать приехала, — возразила матери Татьянка. — Да, Лиза?

— Да, да.

Лизка слезла с печи, босиком прошлась по избе. На Ручьях в бараке так не пройдешься — там всегда холодина под утро, — и она скучала не только по родным. Все тело ее скучало, а пуще всего ноги скучали по этому вот избяному теплу.

— Да, теплом-то мы, слава богу, не обижены, — сказала мать, словно угадывая ее мысли. — Осенью, как ты уехала, Михаил опять подконопатил стены.

Пока Лизка умывалась да расчесывала волосы, мать принесла с повети веник.

— Собирайтесь в баню.

— Что, уже истоплена?

— Как не истоплена! — Мать улыбнулась, разглядывая ее на свету. — Разве не чула, как брат из-под тебя лучину доставал?

— Нет, — призналась Лизка и покраснела. — Я замерзлась дорогой — как убитая спала. А где он сейчас?

— Михаил-то? Не говори — весь прибежался. Да он и глаз не смыкал. Баню затопил, заулок разгреб — в лес побежал. У Петра Житова ружье взял. «Не могу ли, говорит, кого убить. Чем гостью-то, говорит, кормить будем».

— Я не знаю, мама, вы как с ума походили. Какая я гостья?

— Ладно. Пушай. Рад ведь — сестра праздник привезла. И копейка снова в доме завелась... — Мать коротко всплакнула.

— А ты разве привезла денег-то? — спросила Татьяна. — Пошто я не видела? Где они?

— Поменьше спать надо, — сказала Лизка и рассмеялась от радости.

Ночью, после чая, — Татьяна сразу же убралась на печь — она дала брату полный отчет. Сколько заработала, сколько прожила — все, до последней копейки выложила. И Михаил только руками разводил: «Вот никогда не думал, что из твоих рук деньги принимать буду»...

Улица ослепила ее своим блеском. Заулок расчищен до изгороди. Пушистая елочка выглядывает из свежего сугроба, нарытого к крыльцу. Откуда она взялась? Не из леса же за ней прибежала?

Но особенно растрогала ее Звездоня. Узнала, нет ли ее по шагам, когда она поравнялась с воротами двора, а голос подала. Ворота для тепла были заставлены ржаными снопами. И от них шел белый парок, приятно пахнувший жилым теплом и навозом.

На задворках Лизку встретили братья с лопатами. Щеки покраснелись, глазенки блестят.

— Иди. Мы до самой бани дорожку разгребли.

И она пошла по этой дорожке. Пошла неторопливо, бездумно любясь сиянием зимнего дня.

Семеновна, черпавшая воду из оледенелого колодца, не признала ее.

— Чья ты? Худо ноне вижу...

— Давай — «чья ты»! Соседку не узнала...

— Ли-и-за! О господи... Вот как ты выросла... В байну пошла?

— В байну. Заходи в гости — я чаем с сахаром напою.

Сзади слезы, всхлипыванья:

— Вот какая девка у Анюшки выросла... А я и не узнала. Заходи, говорит, чаем с сахаром напою...

Татьянка, бежавшая впереди, быстро обернулась и осуждающе посмотрела на сестру.

— Ты чего это ее звала? Мы и сами сахар-то съедим.

— Ой, какая ты жадюга, Татьяна! Как язык-то у тебя повернулся. Глызку сахара старухе пожалела...

— Ну и что, — не сдавалась Татьяна. — Это ты каждый день чай с сахаром пьешь, а мы-то все без сахара.

Лизке вспомнились Ручьи, барак, лесная жизнь. В делянку идешь в потемках, в барак возвращаешься в потемках. Ватник скрипит, как шлея на лошади, — задубел, заледенел: поброди-ко целый день в снегу до пояса.

Нет, нет, не сахарная была у нее жизнь на Ручьях. Но ради вот этого дня, который она проживет сегодня дома, она бы начала эту жизнь сызнова.

Да, это был ее день. Для нее топил брат баню, для нее ходили на цыпочках все утро, пока она дрыхала на печи, для нее ребята разгребали вот эту дорожку, по которой она шагает сейчас.

5

Михаил удивился — дома сидели без огня.

Задеревеневшими от холода руками он чиркнул спичку, зажег керосинку на столе. Где ребята? Ловушку какую-нибудь приготовили для него?

Ребята были на печи — в сутемени сухо сверкали их глаза.

Он вынул из-за пазухи заочневшего рябчика, положил на стол. Тот стукнул, как деревянный.

— А где у нас гостья?

Молчание.

— Где, говорю, Лизка? Чего на печь забралась — печку не затопите?

— Уехала... — ширнула носом Татьяна и громко заплакала.

— Уехала? Как уехала?

— Петр Житов увез. Собирайся, говорит, ехать надо.

Вот так хреновина... Да как же так? Ведь они и не поговорили как следует...

— Давно уехала?

— Недавно... Мама провожать ушла...

Михаил кинулся вон из избы и едва не сбил в дверях мать.

— Бесстыдник! В кои-то поры девка домой выбралась, а он в лес укатил. На весь день...

— Да разве я знал? А у тебя-то кочан на плечах? Кой черт случилось бы — и завтра уехала.

— Не своя воля. По судам-то ей еще рано ходить.

— По судам! Так уж сразу и по судам. И ночью бы в крайнем случае отвез.

— То-то много ты к ней ездил. Девка без мала три месяца в лесу выжила — бывал ли хоть раз?

Михаил сел на прилавок к печи, достал банку с махоркой. Махорочку — три пачки — привезла сестра. Не забыла, что надо брату. А он,

выходит, как та скотина: ей сено в пасть суют, а она рогами да копытами. Но разве он для собственного удовольствия целый день убивался в лесу? Ведь хотелось как лучше. Сестра приехала, а чем кормить?

Рябчика он свалил с ходу в Поповом ручье. Обрадовался — вот, думал, какая везучая у нас Лизка: не успел в лес зайти, а уж оперился. А потом ходил-ходил, мял-мял лыжами пухлый снег, все ельники по заповидам выходил — никого. Вымер лес...

Михаил поднял голову, глухо спросил:

— Валенки-то у ей как? Целы?

Это внимание с его стороны к сестре несколько смягчило мать. И она, затопляя печку, стала рассказывать, как Лизка ждала его целый день. «Никуда не вышла. Хотела по деревне пройтись — где тут? Брат с ума нейдет. И уж она, мое горюшко, попереживала. И в окошко-то глянет, и на крыльцо-то выбежит... А тебя все нету и нету — как сквозь землю провалился... А как в сани-то стала садиться — еще же брат на уме. «Мама, кричит, привет Михаилу сказывай»...

Потом мало-помалу в разговор включились малые. Ах, ох! Лизка надела белое платье... Лизка вплела в косу красную ленту... Лизка играла с ними в жмурки... Лизка клевала мерзлую рябину — сладко...

Глава седьмая

1

Ненамного — всего на воробьиный скок прибавился день после Нового года. И солнце еще не грело — по-медвежьи, на четвереньках ползало по еловым вершинам за рекой. А повеселее стало жить.

В первых числах января в Пекашино приехал сын Трофима Лобанова — Тимофей.

Тимофей, можно сказать, восстал из мертвых, потому что с первых дней войны не было от него никаких вестей. И вот посмотрите: жив. Ну не чудо ли? А может, и наш где запропал? Может, зря оплакивали все эти годы как покойника?

Но, пожалуй, еще больше взбудоражил пекашинцев приезд Лукашина. Как? Зачем пожаловал? Неужели ради Анфисы?

— Нет, заради вас, — с издевкой говорил бабам Петр Житов. — Колхоз подымать приехал.

И вот как бывает: поверили бабы. А вернее сказать, кончилось у людей терпенье. Где это слыхано, чтобы человек круглый год задарма гнул хребтину, да еще и должником остался? А Першин так закончил хозяйственный год: стограммовка на трудодень и с доброй половины колхозников денежные вычеты.

Одним словом, на первом же собрании бабы завопили в один голос:

— Лу-ка-ши-на!

Толку из этого вопля, казалось тогда, никакого не будет, ибо всем давно известно, что такие дела не тут, не в деревенском клубе, бывшей церкви, решаются, а немножко повыше, да и Лукашина к тому времени уже в район на службу взяли.

А вот поди ты: услышали, видно, бабий вопль наверху. Во всяком случае в начале марта стало доподлинно известно: Першина из колхоза забирают.

2

Смена властей в деревне случилась в тот день, когда Михаил с Петром Житовым ездил по сено на Синельгу.

Конюх Ефим был без ума от нового председателя:

— Ну уж, ну уж, мужики, не видал, не видал такого человека! Все у меня выпросил, все вызнал, на конюшню зашел, в избушку заглянул. «Дедушко, говорит, почто у тебя печки нету? Разве, говорит, мыслимо это дело старому человеку без печки жить?..»— Ефим всплакнул.

— Давно он был здесь?— нетерпеливо прервал Ефима Петр Житов.

— Новая-то головка? А тольки, тольки до вас. И вот что вам, робята, скажу. Не домой, не к жене побежал, а в правленье. Прямохонько от конюшни да в правленье...

В правлении, однако, огня не оказалось. Петр Житов, злясь на свое легковерие (они даже сено с саней не свалили — вот как приспичило), выругался:

— Олухи мы с тобой, Мишка. Уж, кажется, жизнь мылит-мылит нас, а все без толку. Да и кой хрен делается, ежели мы эту новую власть завтра увидим! Перемаемся как-нибудь ночь, а?

Он поднял кверху голову, посмотрел на все еще не потухшие в синих сумерках ледяные сосульки над окошками и вдруг предложил совсем противоположное тому, что только что говорил:

— Поехали на дом.

— Да неудобно. Что это будет, ежели все на дом попрутся?

Петр Житов возразил:

— Ну, ежели на дом нельзя, то это, скажу я тебе, тоже не председатель. Поехали.

Пришли они не вовремя. Это было ясно. У молодоженов — Петр Житов окрестил их так — происходил какой-то разговор. И разговор, судя по всему, серьезный, крупный. Лукашин стоял посредине избы в очень решительной, отнюдь не семейной позе: руки в карманах брюк, челюсти сомкнуты плотно, до впадин на щеках. На них с Петром Житовым глянул коротко, исподлобья. Одним словом, не скрывал, что ему не до них. А Анфису Петровну выдавали глаза. Когда она сильно волновалась, у нее моментально отливала от лица кровь, и поэтому глаза становились особенно темными и непроглядными. Как две проруби зимой.

Петр Житов толкнул Михаила в бок: смотри, мол, не у нас одних, грешных, семейные радости,— и сказал, кивая Анфисе Петровне:

— Ты чего калишь мужика? Чем он тебе не угодил?

— Калю, Петя, не отпираюсь,— как всегда, прямо ответила Анфиса Петровна.— Видит бог, не хотела я, чтобы он стал председателем.

— А чего? Худо ли — деревней будет править. Сама небось правила.

— Правила. Всю войну правила. А чего выправила? Стали снимать — ни у людей, ни у райкома слова доброго для меня не нашлось.

Михаил не знал, куда и глаза девать: это ведь его стараниями так отблагодарили Анфису Петровну. Но тут опять раздался голос Петра Житова:

— Сказывай! За председательство на тебя женки взъелись?..

— А за что же?

— За прыть.

— За какую еще прыть?

Петр Житов громко захохотал:

— Ты, едрена вошь, вон ведь какая. Двух мужиков взаглот взяла. Другая бы видимости мужичьей была рада, а ты — старого не хочу, нового подай. Вот бабы на тебя и рассердились. Девки, понимаешь, на корню посохли. Зайди в любую деревню — их как грибов червливых осенью в лесу. А ты в это самое времечко давай играть в довоенную игру: мороженого не хочу, кислое тоже не по мне...

Петр Житов, вне всякого сомнения, говорил это от чистого сердца. И говорил не столько для самой Анфисы Петровны, сколько для Лукашина: вот, дескать, какая у тебя женка. Цени! А вышло черт знает что. Лукашин побелел, брови крыльями распластались по выпуклому лбу — вот-вот бросится на Петра Житова, и Михаил — тоже хоть сквозь землю провалиться: не привык, чтобы Анфису Петровну разбирали при нем как бабу.

Положение выправила сама Анфиса Петровна. Она не обиделась, не стала выговаривать Петру Житову, а быстро, как гостеприимная хозяйка, выставила на стол поллитровку — и разговор сразу переменялся. Точнее сказать, переменялся Петр Житов: голову поднял, победителем сел за стол.

Первый тост — Петр Житов знал всякие городские церемонии и любил при случае вернуть заковыристое словечко, — первый тост Петр Житов провозгласил было за нового председателя, но Лукашин решительно воспротивился. Нет, сказал он, за нового председателя подождем пить. За нового председателя мы выпьем тогда, когда сдвиги в колхозе наметятся.

— Хм, — промычал Петр Житов и с интересом посмотрел на Лукашина. — Можно и так. А за что же сейчас выпьем?

— За что? — Тут Лукашин наконец улыбнулся. — А хотя бы за то, чтобы вот за этим самым делом пореже встречаться.

— За горючим?

— Да, — по-прежнему с шуткой, но и твердо сказал Лукашин. — Когда кумовьев много, работы не жди. Так, бывало, у нас говорил отец. По-моему, неплохо говорил, а? Что скажешь, Михаил?

Михаил в знак согласия живо кивнул. Ему очень понравилось, как Иван Дмитриевич срезал Петра Житова. Твердо и в то же время не обидно. Дескать, учти, любезный. Я сразу понял, что ты за гусь. Каждое дело вспрыскивать — вот ты из каких. А этого у меня не будет. Прошу принять к сведению.

Петр Житов налился кровью — не привык к такому обращению со своей особой. В Пекашине кто возразит ему? И Михаил подумал: не миновать скандала. Но в последнюю минуту Петр Житов вышел из штопора.

— А у нас говорят так, — ответил он Лукашину. — Мы работы не боимся, было бы хлёбово. — Помолчал и следующие слова вбил, как гвозди: — Да, так у нас говорят.

— Хлёбова много не будет. По крайней мере в ближайшие два года. Это я тебе начистоту говорю, товарищ Житов.

— Да ты понимаешь, про какое я хлёбово? Неуж не слышал сказку? Про то, которое кусают.

— И я про то, — сказал Лукашин.

Тут Петр Житов откинул назад свою крупную голову и одичало посмотрел на него, Михаила, которого слова Лукашина тоже хлопнули как обухом по голове. Как это хлёбова не сулю? Значит, как прежде: вкалывай-вкалывай, а насчет того, чтобы пожрать, не рассчитывай.

Из задосок выглянула Анфиса Петровна (она хлопотала над самоваром) и вопросительно уставилась на Лукашина. Видимо, слова мужа удивили и ее.

Петр Житов, оправясь от изумления, деланно рассмеялся:

— Вот это председатель! Ну-ну, давай. Первый раз слышу. У нас, товарищ Лукашин, даже Денис Першин и тот понимал, чего народ хочет. Помнишь, Анфиса, как он сказал на собрание? Меня, говорит, либо на кладбище отвезете, либо я выведу на большую дорогу «Новую жизнь».

— Это я тоже слышал,— сказал Лукашин.— Как-то председатели колхозов смеялись на совещании. А я не хочу, чтобы надо мной смеялись.

— Так,— сказал Петр Житов и стал загибать пальцы.— Сорок пятый — раз, сорок шестой — два, сорок седьмой — три. Три года после войны люди только и ждут, как бы досыта пожрать. И партия одобряет. В Москве большие мужики пленум по этой части собирали. А товарищ Лукашин на все это крест. Нет, говорит, не надейтесь. Еще два года задаром робить.

— Я так не говорил,— сказал Лукашин.

— Мишка, я неверно цитирую?

Лукашин придвинулся к Петру Житову:

— Ты, я слышал, плотник, да?

— Допустим,— сквозь зубы ответил Петр Житов.— А дальше?

— Скажи, когда мужик новый дом строит, очень он роскошно живет?

— Это ты к чему? К тому, что мы, дескать, тоже новый колхозный дом строим? С тридцатого года строим. А человек, между прочим, один раз живет.

— А я и не знал. Вот спасибо, что разъяснил.— Лукашин злыми, раскаленными глазами глянул на Петра Житова и заговорил под стук указательного пальца: — Коровника нет? Не выдумываю? Да? Телятник на ладан дышит — я виноват? А грузовик? А мельница? Долго еще будем греметь по всем домам жерновами?

Анфиса Петровна поставила на стол кипящий самовар, но Петр Житов не стал дожидаться, когда она нальет ему чаю. Он налил себе вина. Тяпнул в одиночку и сразу же пошел в новое наступление на Лукашина.

— В части программы разъяснено,— сказал Петр Житов.— Теперь имею другой вопрос. Можно?

— Попробуй,— сказал Иван Дмитриевич.

Петр Житов спросил:

— Сам, добровольно поохотил к нам или через Подрезова?

— Через райком,— ответил Лукашин.

— Ясно. В общем, по партийной принудилровке.

— По партийной дисциплине.

— Ну, один хрен. Главное, что не своей охотой. А как — это неважно.

Петр Житов явно искал скандала: не мог допустить, чтобы верх в споре остался не за ним, а Лукашин тоже не хотел уступать — свое твердил.

— Нет, важно,— сказал он упрямо.

Анфиса Петровна делала ему знаки: не заводись. Не видишь разве, что человек пьян? Не помогло. Дьявол вселился в Лукашина. Михаил его таким и не знал, да и для Анфисы Петровны, судя по ее тревожному взгляду, эта запальчивость была внове.

Порядок навела Олена, жена Петра Житова. Она не стала, как он, Михаил, раздумывать, с какого бока вмешаться в застольный спор, а с порога наорала на мужа («Срамна рож! Не успел человек заявиться, он рюмки выпрашивать. Ты гнала бы его, шаромыжника, Анфиса Петровна! Он ведь шары нальет — море по колено»), выдала ему, Михаилу («А ты чего не отговаривал? Али тоже без рюмки жить не можешь?»), затем подошла к столу, кивнула:

— Вставай.

И Петр Житов — вечная для всех загадка! — встал и, не говоря ни слова, поковылял на выход.

3

Дорогу из нижнего конца деревни до своего дома Петр Житов одолевал с перекурком на крыльце клуба. Это неизменно, хотя бы крещенская стужа стояла на дворе.

Устроил перекур Петр Житов и сейчас, тем более что Олены рядом не было — она, как только вышли они от Анфисы Петровны, побежала домой. Да если бы Олена и была с ними, то по этому поводу не сказала бы ни слова. Наоборот, сама бы потребовала, чтоб мужик передохнул, потому что из-за потертой культи Петр Житов иногда по неделе не может встать на протез.

— Мда,— заговорил Петр Житов, когда раскурил свою сигарку,— был у нас председатель, был...

— Кто? Першин?

— Дура! Я о том самом бабьем царстве, от которого мы на собрание отrekliсь. А нет, мальчик, не всякие штаны лучше бабьей юбки,— изрек поучающе Петр Житов.

— А чем тебе Лукашин не понравился? — спросил Михаил.— Что не в твою дуду пел?

— Заткнись! Я о ком веду речь? О Лукашине? Я об Анфисе, балда. Ух, баба! Какая баба! Я как-то не разглядел раньше. Анфиса и Анфиса. А ей бы и быть председателем. И на хрена нам кого-то со стороны искать.— Петр Житов пьяно икнул и повторил свое недавнее изречение: — Мда, не всякие штаны лучше бабьей юбки. Вот что не след забывать, мальчик.

Глава восьмая

1

За ночь выпал снег. Пухлыми сугробами перегородил заулок, залег под окошками.

Михаил на широких еловых лыжах обежал свою бригаду, роздал наряды и вернулся домой еще затемно. Ребята уже поработали. Звездами, алмазами сверкала свежая тропа, пробитая в заулке. Но он не мог удержаться, чтобы не взять в руки лопату. Он с детства любил эту работу. Бодрит, радует свежий снег. И потом целый день носишься, как на крыльях. Без устали. С весенним шумом в крови. А кроме того, разгребание снега у него всегда связывалось со словами бабушки Матрены, которая, когда он был еще ребенком, говаривала ему: «Разгребай, разгребай дорожки, родимой. По расчищенным-то дорожкам ангелы счастье людям разносят».

Мать, возвращаясь в это время с телятника, видно, гоже вспомнила бабушкины слова:

— Ну, сегодня все мужики с лопатами. Нагребут счастья.

— А кто еще? — спросил Михаил.

— Хозяин новый. Сейчас встретила — к кузнице с лопатой идет.

— А мне ничего не наказывал?

— Да нет, я ведь издали, не близко его видела.

Михаил пошаркал-пошаркал лопатой и побежал на задворки. Не хорошо это — председатель откапывает кузницу, а он, бригадир, дома огребается.

Кузницу в эту зиму не открывали ни разу, и пацаны приспособили ее под горку. Нарыли снега к воротам до самой крыши, скат залили водой — и вот каток. Михаил трижды разламывал горку, но пацаны — народ упрямый — снова восстанавливали, и в конце концов он махнул

рукой, а в последнее время, проходя мимо поздно вечером или рано утром, даже сам скатывался с горки.

Лукашин поднятой лопатой приветствовал его. И-эх! — врезался Михаил. В пуд, в два поднял снежную глыбищу да как бросил — снежное облако накрыло и его самого, и Лукашина.

В тот момент, когда широкая тропа, а вернее сказать, траншея уперлась в ледяной скат перед воротами кузницы, к ним подошел новый помощник — Илья Нетесов.

Илья Нетесов выехал из лесу на один день, с тем чтобы подкинуть своей семье дровишек, и вот человек: не за дровами первым делом отправился, а к ним.

Илья предусмотрительно захватил с собой железный ломик, и Михаил быстро разворотил ребячью горку.

Наконец старые, основательно изрешеченные дробью ворота — каждое ружье пристреливалось тут — подались вперед. Стужей и темной погребом дохнуло на них.

Михаил кинулся разжигать очаг — не приведи бог стоять в мертвой кузнице. Он быстро нарезал растопки со старой берестяной хлебницы, загреб в кучку прошлогодние угольки под закоптелым колпаком, но Петр Житов остановил его. Петр Житов, подкативший к кузнице на лыжах следом за Ильей — на здоровой ноге серый валенок, на протезе кирзовый сапог, — сказал:

— Нет, пушай начальство. — И добавил, рассыпавшись трескучим смехом: — Момент исторический. Так сказать, в колхозе «Новая жизнь» задувается индустриальный цех.

Михаил десятки, сотни раз разжигал огонь в кузнице — и чего бы волноваться? А он волновался. У него перехватило дыхание, когда Лукашин начал раскрывать коробок со спичками. И — что совсем удивительно — волновался Петр Житов. Петр Житов вдруг положил свою руку на его плечо.

Наконец спичка загорелась. Желтый огонек с треском побежал по тонкой берестяной ленточке. Руки Лукашина, прикрывавшие огонек, стали наливать малиновым соком. Отчетливо проступили белые порезы и шрамы на пальцах.

Когда разгорелось пламя, Петр Житов в ознаменование нынешнего исторического события — не мог не съязвить! — предложил выбить памятную медаль или на худой конец сковать подкову на счастье.

— Ну-ко, Илюха, — толкнул он Илью, — давай! Ты мастер на счастливые подковы.

Намек был нехороший. Петр Житов, конечно, имел в виду подкову, которую Илья сковал в первый день своей работы в кузнице после возвращения с войны. «На счастье», — сказал тогда Илья и при них, то есть при Михаиле и при Петре Житове, вбил подкову в нижнюю ступеньку своего крыльца.

Однако Илья не из тех, кто из-за пустяка лезет в бутылку. Илья сказал, застенчиво улыбаясь:

— Нет, подкова, я думаю, председателю ни к чему. А вот нож хороший иметь, по-моему, не мешает.

— Не мешает, — согласился Лукашин и вдруг, к всеобщему удивлению, сам встал к наковальне.

Михаил все же думал: шутит Иван Дмитриевич. Петра Житова хочет разыграть. Ничего подобного! Попросил поискать старый плоский напильник — верно, быстрее всего из такого напильника можно сковать нож, — раскалил напильник докрасна и в клещи. По-кузнецки, под самое основание стержня зажал напильник, так что сразу видно: держал в руках клещи.

Нож, если говорить откровенно, вышел так себе. Надо час, не меньше, обдирать на точиле, чтобы он стал более или менее гладким. Но сам Лукашин был довольнехонек. Запотел. Щеки налились жаром. И такая счастливая улыбка — дом построил!

— Давненько не приходилось держать в руках молотка,— сказал он.— Лет, пожалуй, тридцать. А когда-то отец из меня кузнеца хотел сделать. Кузница у нас была.

— Вот как!— с волнением сказал Илья.— Да, значит, мы с тобой тезки, товарищ Лукашин?

— В каком смысле?

— А в том, что у моего отца тоже кузница была. Вот это хозяйство,— Илья обвел рукой темные стены,— наше, нетесовское. Меня из-за этой кузницы еще три года в колхоз не принимали. Как сына твердозаданца. Ну да что об этом вспоминать.— Илья поспешно поднял с земляного пола ломик, махнул рукой в сторону своего дома: извините, дескать, дела.

Но Лукашин задержал его. Лукашин заговорил насчет работы в кузнице. Согласен ли Илья Максимович встать за наковальню?

— А почему не согласен,— ответил Илья.— Я кузнечное дело люблю. Вот только с лесом развяжусь — и с дорогой душой.

— Это когда же?

— Да когда у нас из лесу выезжают? Примерно середь мая.

— Нет,— сказал Лукашин.— Это не годится. Нам надо, чтобы кузница сейчас дымила. Посевная на носу.

Все — и Михаил, и Петр Житов, и Илья — переглянулись меж собой, улыгнулись: забавно говорит председатель. Сразу видно, что новичок.

Петр Житов, снисходительно поглядывая на Лукашина, разъяснил, что за порядки у них в районе. Ни один председатель не может снять своего колхозника без ведома райкома, а тем более групповода.

— Вот как! — удивился Лукашин.— Значит, колхоз не может своими колхозниками распоряжаться? А кто установил такой порядок?

— Да не мы же,— ответил Петр Житов.— С тридцатых годов такой порядок идет.

Лукашин подумал. Сказал:

— Ладно. Выезжай, Илья Максимович. А насчет ответа не беспокойся — это уж моя забота.

2

Да, такого, чтобы кто-то из председателей колхоза пошел поперек с а м о г о, то есть поперек первого секретаря райкома, такого еще не бывало. С ним, с Подрезовым, можно поговорить, даже поспорить насчет колхозных дел — это допускал, но там, где речь заходила о лесе, там замри. Там один говорит — он, Подрезов. Там слово Подрезова — закон.

И вот объявился на Пинеге человек, который захотел жить по-своему. Само собой, что об этом в тот же день стало известно с а м о м у (скорее всего Ося-агент бржкнул, он в тот день ездил в район). И распекай последовал немедленно.

— Ты чего это новые порядки заводишь, а? Ты с кем это надумал?

За полную точность этих слов Михаил, конечно, не мог поручиться, хотя в то время, когда раздался звонок Подрезова, он сидел у председательского стола, но, судя по тому, что ответил Иван Дмитриевич, Михаил мог догадаться и о словах Подрезова.

Лукашин ответил так:

— Евдоким Поликарпович, до сих пор я думал, что колхоз сам распоряжается своими колхозниками.

— А ты не думай, не думай! Так лучше будет.

Вот эти слова Михаил расслышал уже отчетливо, да, надо полагать, расслышали их и другие, так как Лукашин держал трубку неплотно к уху.

В конторе вдруг стало тихо. Порядочно собралось людей в этот вечерний час. Порядочно, конечно, относительно. Потому что зимой какой народ в деревне? Старушонки, доярки, конюх, два-три инвалида, а из молодежи, пожалуй, только он один, Михаил.

Михаил очень переживал за Лукашина: что ответит Подрезову? Сумеет ли вывернуться так, чтобы не уронить себя в глазах колхозников? Денис Першин, когда разговаривал по телефону с первым, вытягивался чуть ли не по стойке «смирно», и по этому поводу много было всяких насмешек и разговоров, даже частушку похабную кто-то пустил.

Иван Дмитриевич не дрогнул, не согнулся. Ответил в том духе, что он действует в рамках устава сельхозартели. А кроме того, сказал Иван Дмитриевич, он выполняет решение райкома.

— Какое еще решение? — пробасил Подрезов.

И эти слова опять все услышали.

— Решение райкома о возвращении кузнецов с лесозаготовок. Могут напомнить, Евдоким Поликарпович. На днях получили это решение.

Все, кто был в конторе, заулыбались, закачали головами: ловко, ловко срезал. Середь зимы в лужу посадил. Но, конечно, никто всерьез эти слова не принял: где же председателю колхоза свою дорогу торить? Хорошо уже и то, что слова не побоялся сказать. И Михаил тут не был исключением. Он был тоже уверен, что за ночь Лукашин одумается, пойдет на попятный, — и кто укорит его за это?

Лукашин за ночь не одумался. Лукашин назавтра сам поехал на Ручьи и поздно вечером привез оттуда Илью Нетесова. Со всем скарбом.

В Пекашине замерли. В Пекашине ждали. Что будет? Какой грянет гром? Анфиса Петровна на глазах у всех осунулась. Это ведь не шутка — самовольно, вопреки райкому снять человека с лесозаготовок. Самое малое — строгач обеспечен. А при желании можно и под монастырь.

Петр Житов ходил злой и мрачный. Вот когда выяснилось, что и он возлагал кое-какие надежды на нового председателя. А что касается Михаила, то он по вечерам не выходил из конторы. Сидел и ждал.

Томление это и выжидание длилось десять дней. И разрешилось оно совершенно неожиданным образом: из райкома пришла телефонограмма:

«В связи с объявленным по области месячником на лесозаготовках колхозу «Новая жизнь» предлагается в двухдневный срок выделить на лесозаготовки 7 человек. За невыполнение данной директивы председатель несет личную партийную ответственность. Подрезов».

3

Месячник по лесозаготовкам (их стали объявлять с начала тридцатых годов) означал примерно то же самое, что решающий штурм укреплений врага на фронте. Все бросалось в лес. До последнего. Люди, лошади, припасы. В районе закрывались учреждения, конторы, даже райком пустел в эти дни... А что же говорить о колхозах? Их-то уж мели-чистили вдоль и поперек. И это в то время, когда весна на подходе, когда крестьянская работа кричит из каждого угла.

В «Новой жизни» на правление вызвали всех, кто по возрасту и по здоровью подпадал под закон о трудповинности.

Первыми, вполне понятно, отпали доярки и телятница — скотину без присмотра не оставишь, скотина на месячники еще не приучена откликаться. Парторг Озеров тоже не в счет — учитель. А кто остался?

Остались: Михаил Пряслин, Илья Нетесов, счетовод колхозной конторы Олена Житова, Анфиса Петровна, ну и сам Лукашин. Пять человек. Если даже всех пятерых отправить, то и тогда распоряжение райкома не будет выполнено.

Лукашин сидел с плотно сжатыми губами. Желтый, вымотанный. Как конь, на котором всю ночь работали и которого сейчас снова запрягли.

Понял, значит, что это такое — быть колхозным председателем, подумал Михаил и, чтобы не тратить попусту время, предложил первым в список на отправку в лес включить Илью Нетесова, затем одного из бригадиров (Михаил предложил себя) и затем Олену Житову, колхозного счетовода, поскольку в колхозе все равно нечего считать.

Колхозники с этим предложением согласились — из пяти человек много не накroiшь, за исключением того, что вместо него, Михаила, в лес решили послать Анфису Петровну. На этом, кстати сказать, настояла сама Анфиса Петровна, потому что какой же бабе под силу возка дров и сена? А ведь именно на бригадира, который останется дома, ляжет вся эта работа.

Да, колхозники с предложением Михаила согласились. Но только не председатель. Председатель уперся — ни в какую: должна работать кузница — и баста.

А кто же говорит, что не должна? Может, он, Михаил? Может, те бабы, с которыми он по веснам пашет поля? Уж кому-кому, а им-то, пахарям, известно, что за техника в ихнем колхозе. Плуги за войну износились начисто — к каждому надо лемех наваривать, и если на то пошло, так не одного, а двух кузнецов надо бы поставить. Да только кто это им позволит — в месячник своим умом жить?

В общем, небывалое дело у них в колхозе! — колхозники стали учить сознательности председателя. И он, Михаил, и Анфиса Петровна — тут нет жен да мужей, — и Илья Нетесов. (Мужик сидел в мыле. Не привык, чтобы многодетную бабу впереди него в лес гнали.) И Лукашин, казалось, начал сдаваться: умный же человек. Как не понять того, что малому ребенку понятно.

Нет, черта с два! Печать колхозную вдруг на стол, сам порохом вспыхнул: председатель вместо кузнеца поедет.

— Куда? В лес?

— Да у нас в войну такого не бывало!

— А сейчас будет! — упрямо сказал Лукашин.

И люди замолчали. Ведь в конце-то концов не враги же они были себе.

Глава девятая

1

О Лукашине заговорили в районе. Кто? Откуда такой смельчак взялся, что ему и Подрезов не указ? А потом — где это слыхано, чтобы председатель колхоза и сам к пню встал, и жену свою к пню поставил?

— Надо поглядеть, — сказал себе Егорша, когда весть о приезде Лукашина и Анфисы Петровны на Ручьи дошла до лесопункта.

Время свободное у Егорши было — он второй день сидел на бюллетене, а проще сказать, сачковал, потому что порубка пальца на правой руке была пустяковая. Но раз медицина дала бюллетень, с какой стати отказываться? Будет, позтыкал он без выходных. Осенью, например, кто по неделям не слезал с трактора? Суханов-Ставров. Смотри районную газетку от 7 ноября за № 79 — там об этом ясно сказано. А трактор

вышел из строя — кто начал гнуть хребтину у пня? Об этом смотри «Доску показателей» у входа в контору лесопункта. Графа первая — «Наши лучкисты». Там фамилия Суханова-Ставрова не на последнем месте. Нет, угрызений совести насчет того, что он маленько засачковал, у Егорши не было.

Солнышко стояло еще высоко, когда он спустился в низину, где под черными мохнатыми елями горбился колхозный барак. Запльвшие смолой стволы основательно порублены — кто только не вострил на них своего топора! И он, Егорша, в свое время вострил, да и сам-то барак построен его руками.

А крыльца все еще не сделали, отметил про себя Егорша, скользнув беглым взглядом по дощатой двери, над которой висели ледяные сосульки. И вместо скобы все тот же деревянный держак, который он собственной рукой вбил еще в сорок втором году. Эх, колхозный сектор...

Не заходя в барак, он прошел к кухне — синий дрожащий дымок над снежной шапкой он заметил еще с горы. Лизки на кухне не было. Он бросил в угол сверток с грязным бельем, поставил тальянку на скамейку — натянула за дорогу плечо — и вдруг замер.

Серый камень, серый камень,
Серый камень сто пудов.
Серый камень так не тянет,
Как проклятая любовь.

Егорша быстрее ветра выскочил из кухни. А ну, кого задавила любовь? С кого снять стопудовый камень?

Привстав на носки, он обежал глазами вокруг себя. У баньки, глубоко, по самую крышу, вросшей в сугроб над ручьем, плясали розовотелые девахи. Нет, не девахи. К сожалению, березовая древесина, раскрашенная вечерним солнцем.

Он встал на полную ступню — хромовые сапожки жалобно скрипнули — и вдруг опять вытянулся, как струна: на этот раз ему почудился звук, похожий на всплеск воды.

В один миг, чиркнув подошвами по заледенелой дорожке, он перенесся к баньке, схватился за ствол березы, чтобы не скатиться вниз к ручью. Вот она, птаха голосистая!

У проруби, присев на корточки, полоскала белье девушка — в одном платье, без платка.

Жаркая, подумал Егорша. Но кто же это такая? Он-то по первости, когда услышал частушку, подумал было на Раечку Клевакину. Та любит трезвонить про любовь. Но у Раечки волосы потемнее, а эта вон какая белая. Как куропатка.

Девушка в это время, отжимая белье, разогнулась, и лицо у Егорши перекозилось, как от изжоги: Лизка...

Вялым движением руки он смахнул прилипшую к щеке тонкую березовую кожуцу, поискал глазами дятла, застучавшего за ручьем.

Дятел сидел на сухой березе — крупный, из генеральской породы, с красными лампасами. Работал разборчиво, с роздыхом. В одном месте долбанет — не нравится. Долбанет в другом... Наконец, подавшись к вершине, нашел, что надо, и стал закреплять хвост.

— Чего, как пень, выстал на дороге?

А, черт, эта еще малявка! Егорша раздраженно скользнул глазами по Лизке, поднимавшейся с корзиной белья вверх по узкой тропке, сделал шаг в сторону и рухнул по пояс.

Лизка захохотала.

— Каково в сапожках-то? Не форси, форсун. Выдумал в сапожках зимой ходить...

— Ладно, ладно, проваливай.

— А что?

— А вот то. Больно расчирикалась...

Выбравшись на тропку, Егорша выковырял из-за голенищ снег, отряхнулся, закурил.

Вечерело. Солнце садилось на ели за баракom, и небо там было багровое. Лизка, похрустывая снегом, развешивала белье у баньки. Красная косоплетка ярко горела у нее на спине.

Тоже мне, чудо горохово, подумал Егорша с усмешкой, куда девки, туда и она. Ленту развесила.

Веревка между двумя березами была натянута высоконочко, и Лизка, всякий раз закидывая на нее рубаху или портки, приподнималась на носки валенок, и старенькое ситцевое платьишко туго обтягивало ее небольшую фигурку.

А ведь она ничего, вдруг сделал для себя открытие Егорша. Ей-богу! И все на месте... Руки, ноги... Ах ты, кикимора...

Не спуская глаз с Лизки, он докурил папиросу, натянул поглубже на голову кепку.

— Белье-то принес? — спросила Лизка, когда он подошел к ней.

Егорша с прищуром, легонько покусывая губы, смотрел на нее.

— На вот, устался! Я говорю, белье-то принес? — Лицо у Лизки покраснелось, в зеленых глазах играло солнце.

— Руки-то не замерзли? — спросил Егорша.

— Чего? — удивилась Лизка и вдруг рассмеялась. — Да ты что, парень, рехнулся? — Она вынула из корзины мужскую рубаху, развернула ее и легко, с ловкостью опытной бабы кинула на веревку. — Вот чего выдумал! Руки замерзли... Да я сколько лет стираю. И дома и здесь всех обстирываю.

— Смотри не простудись, — сказал Егорша.

— Сам не простудись. Может, замерз? Полезай в баньку. Она топленая. Я только что белье стирала.

Егорша скосил прищуренный глаз на черные дверцы баньки с деревянным держакom, оглянулся вокруг.

План созрел моментально.

— Пойдем, палец поможешь перевязать.

— Палец? — У Лизки округлились глаза, когда она увидела бинт на его руке. — Где это ты?

— Ерунда. В лесу поцарапал.

— Порато? Болит?

— Временами...

— Ну, ладно. Я сейчас. Подожди маленько.

В баньке было тепло, сухо. Привычно пахло березовым веником.

Пропуская вперед Лизку, Егорша тихонько накинул крючок на дверцы.

— Иди сюда, к окошечку, тут светлее, — позвала его Лизка.

Он сел рядом с ней на скамейку, зубы у него стучали.

— Ну, вот видишь, — сказала Лизка, — замерз. А я нисколько. Весь день на улице в одном платье и вот нисколько не замерзла.

— Горячая, значит.

— Наверно, — усмехнулась Лизка.

Она склонилась над его пальцем и начала распутывать бинт. Руки у нее были холодные, жесткие.

— Узелок-то еще не скоро и развяжешь. Топором надо рубить. Кто это тебе затянул? Феня-фельдшерица?

— Ага...

— Ей бы не руки перевязывать, а возы с сеном. Правда, правда!

Белая Лизкина голова еще ниже склонилась над его рукой. В лучах вечернего солнца она казалась малиновой.

Егорша надавил сапогом на Лизкин валенок — не понимает, положил свободную руку на плечи — Лизка только рассмеялась:

— Что, обнесло? Да не бойся. Я еще не развязала. На вот, дрожит, как лист осиновый, а еще мужик называется.

Егорша перевел дух. Вот еще дура-то набитая! В жизни такой не видал. И тут, отбросив всякую дипломатию, он просунул ей руку под мышку, цапнул за грудь.

Лизка вздрогнула, мотнула головой, затем резко откинулась назад.

— Ты чего? Ты чего это?

— Ладно, ладно. Потише. Не съем.— Не давая ей опомниться, он притянул ее к себе, крепко поцеловал в губы.

— Ка-ра-ул! Лю-ю-ди!..

Лизка вырвалась из его рук, кинулась вон, но он оттащил ее назад.

— Дура! Кто людей на любовь кличет!

— Не подходи, не подходи! — закричала Лизка, пятясь в угол. Зеленые искры летели из ее глаз.— И вдруг она охнула, пала на скамейку и расплакалась.— Я ему стираю-стираю, сколько лет стираю, а он вот что удумал... Рожа бесстыжая... Скажу Мишке... Все скажу...

Егорша в нерешительности остановился. У него сразу пропало всякое желание возиться с этим недоноском.

— Ладно,— сказал он, неприязненно глядя на нее,— хватит сырость разводите. Нашла чем страшать. Мишкой... Может, еще в газету объявление дашь? Ай-яй-яй, какая беда на свете случилась! Семнадцатилетнюю кобылу пощупали.

Сильным ударом сапога он сшиб с крючка дверцы, вышел на улицу.

Солнце уже закатилось. В красном зареве заката четко выделялись черные вершины елей. А за ручьем, как и прежде, шла долбежка — у дятла, видно, тоже месячник.

Люди из леса еще не пришли, но барак не пустовал — в левом углу на нарах лежал человек.

— Загораем? — спросил Егорша.— Почему платят за час?

Тимофей Лобанов — это был он — приподнялся, блеснул глазами в потемках и перелег со спины на бок.

— Давай-давай, перемени позицию,— съязвил Егорша, обиженный его молчанием.

Раньше, когда Егорша приходил сюда до возврата людей из лесу, он частенько заваливался на Лизкину постель и, лежа эдак с папироской в зубах, любил почесать языком с каким-нибудь сачкарем, в особенности с матюкливым стариком Постниковым, но сейчас, проходя мимо Лизкиной постели, он почему-то не решился сделать этого.

Он зачерпнул кружкой воды из ведра, стоявшего на табуретке у печи, напился, достал папироску.

— Курить будешь?

— Без курева тошно.

— Что так? Гитлеровские харчи все еще отрыгаются?

Тимофей ничего не ответил. Лизка не приходила.

Что она там делает? Неужели все еще разливается? Ах, черт, надо же было связаться с этой мокрицей! Мало бабья на лесопункте...

С улицы донесся тягучий визг полозьев — кто-то подъезжал к бараку.

Егорша выскочил на улицу — где она, дура?

На кухне огня не было. Он побежал к баньке — надо срочно приводить ее в чувство. А то вернутся скоро люди — хрен ее знает, что ей взбрдет в башку. Еще вой поднимет: вот, мол, хотел сильничать. Хороший был бы у него видик!

Дверка в баньку была закрыта на крючок. Он прислушался — плачет.

— Лизка, Лизка, кончай бодягу. Слышишь? У тебя ведь обед не варен — что люди-то скажут.

Ни звука.

— Слушай, бестолочь, ты хоть людям-то скажи, что надо: мол, угорела в бане. Понимаешь?

Снова плач.

— Лизка, слышишь? Я на платье куплю — у нас талоны скоро давать будут. Ей-богу!

У конюшни, за кухней, распрягали лошадь. «Стой, стой, прорва окаянная!» Скрипели еще сани на подходе, и уже голоса людей раскатывались по вечернему лесу...

Егорша раздумывал недолго. Добежал до кухни, схватил гармонь и — прощайте братья-колхозники. Художественную часть перенесем на другой раз.

Быстрая ходьба темным ельником скоро вернула ему самообладание, и он, поглядывая на звезды, с удивлением думал теперь о том, что произошло у него с Лизкой. Какая-то блоха его укусила? Березки, солнышко в дурь вогнали? И главное, хоть бы девка была — не обидно, а то ведь черт-те что — недоносок, кисель на постном масле.

Со свойственной ему практичностью он живо прикинул возможные последствия — на тот случай, если бы Лизка подняла шум.

Во-первых, забудь на время дорогу в Пекашино. Мишка на дыбы: «А, гад, сестру мою обижать?» Дедко, конечно, в ту же дуду: «Вот до чего дожили! Девка за нами всю грязь выгребает, а ты оплатил, нечего сказать...» Ну так. А еще кто? Не будут же они кричать на все Пекашино? Ясно, не будут — не дураки.

Хуже, ежели она, дуреха, тут, на Ручьях, растреплет. К примеру, этому самому Лукашину нажалуется. Ладно. Лукашин взовьется — партийный. А ты, душа любезна, что? Да, да! Постой руками размахивать. Мы пока чужих жен не уводим, а кто насчет молодой любви указ? Ну, а своему начальничку лесопункта он тоже сумеет ответить. Кубики тебе даем? Даем. На красной доске висим? Висим. Правильно говорю, Кузьма Кузьмич? Не ошибся? Ну, и бывай здоров! Встретимся на районном совещании стахановцев.

В общем, решил Егорша, ерунда. Главное на сегодняшний день — держи производственные показатели. Качай зеленое золото, как велит страна. А этот закон он усвоил неплохо. С пятнадцати лет топор из рук не выпускает. И завтра он еще даст кое-кому прикурить.

Скоро между деревьями стала проглядывать звездная Сотюга, а потом вдали, на крутояре, замелькали и огоньки.

Егорша развернул гармонь.

Лесорубы, лесорубы,
Лесорубы — золото...

С песнями подошел к лесопункту.

2

Михаил вошел в избу — Лизка. Сидит у стола на лавке.

— Ты чего это надумала, а?

— Что уж, девке и домой нельзя? — вступилась мать.

— Да нет, почему же... Я к слову.

Михаил разделся, снял валенки и поставил на печь, босиком прошел к столу. Мать подала крынку молока.

Ребята давно уже спали — время было позднее, за полночь. Лизка, судя по яркому румянцу на щеках, заявила домой недавно.

Его удивило ее молчание.

— У тебя все в порядке? Ничего не случилось?

— Да нет, ничего... — не сразу ответила Лизка и громко, с всхлипом ширнула носом.

— Невеста... Нос-то пора на сушу выволакивать. Не маленькая.

И тут Лизка вдруг обхватила голову руками и разрыдалась.

Михаил переглянулся с матерью, отодвинул в сторону крынку с молоком.

— Что, говорю, случилось?

— Не зна-а-а-ю.

— Не знаю? Как не знаю? Ночью домой прибежала и не знаю...

— Да так... Скучно чего-то стало...

— Скучно? Хэ, скучно... Когда я был у вас на Ручьях? Неделю назад? — Михаил побарабанил пальцами по столу. — Ты хоть спрашивала там кого? Нет? Ничего себе. Люди все в лес на месячник, а я пробежки по ночам делать...

Михаил еще говорил что-то в том же роде, потому что его начинали злить эти «ничего» да «не знаю», потом он накричал на мать, которая, вместо того чтобы хоть какой-то ясности добиться от своей доченьки, набросилась на него — вот, мол, какой зверь, девке хоть домой не показывайся, — и в конце концов махнул рукой. Пускай разбираются сами. Сколько еще переливать из пустого в порожнее?

И он вышел из-за стола, лег и больше не сказал ни слова.

А утром проснулся — стоит Лизка у его кровати и улыбается. И уже одета, рукавицы на руке. Он ни черта не понимал.

— Мати, чего у нас с девкой делается? То слезы в три ручья, то рот до ушей.

Лизка смущенно рассмеялась:

— Да нету ее. На телятнике. — И протянула ему руку. — Не сердись на меня, ладно? Я побежала.

— Постой — побежала... — Он спрыгнул с кровати, быстро оделся.

— Ты поела чего-нибудь?

— Нет, не хочу.

— Вот счастливый человек! А я бы собаку сейчас сожрал.

Выйдя из заулка на дорогу, Михаил несколько дольше обычного задержал руку сестры и вдруг, пристально глядя на нее, решил:

— Подожди. Я немного подброшу тебя.

Выстоявшийся за ночь конь подкатил к дому на рысях, розовый, как само утро.

— Садись! — крикнул Михаил.

И замелькали пекашинские дома, заплясали окна, налитые печным жаром. А потом они спустились под гору, выехали на реку, и как раз в эту минуту из-за елей на Копанце показалось солнце.

И понеслись, полетели брат да сестра навстречу солнцу — рысью, вскачь, под поклоны еловых вешек, расставленных вдоль зимника.

Михаил оборачивался назад, кричал:

— Хоро-шо-о?

И Лизка, довольнехонькая, без слов, одними глазами отвечала: «Хорошо!» — а когда дорога стала подниматься с реки в угор, к лесу, она вдруг обняла его и спрыгнула с саней.

— Спасибо, брателко. Я теперь добегу.

Да, тут надо было расстаться, нельзя ему дальше, потому что он сейчас и за председателя, и за бригадира, и за мужика — во всех лицах. Сено — он, дрова — он, бабьи слезы да ругань — он и перед райкомом за всех отдуваться — тоже он. Вот какой у него сейчас месячник! И, конечно, не будь всего этого, он, наверно, помягче бы обошелся вчера с сестрой. Но что же все-таки у нее случилось? Из-за чего она так убивалась-плакала?

— Слушай!.. — крикнул Михаил.

Лизка оглянулась, махнула рукой и опять побежала в угор, бойко, по-бабьи размахивая руками.

3

Восемь километров Лизка пробежала, ни разу не отдыхая.

И вот спуск с горы — масляно блестит колея на солнце, а внизу барак, конюшня, кухня, банька, вся заплывшая сверкающими сосульками. Все, как раньше. И с нею ничего не случилось — стоит на ногах крепче прежнего. А ведь вчера ей казалось — конец жизни пришел. И она не то что на людей, на белый свет взглянуть больше не сможет.

Ах ты батюшки! Где только был ум? Все бросила, никому ничего не сказала, построчила домой. Спасай, мати! Спасай, брат! А от чего спастись-то?

Нет, сунулся бы теперь этот дьявол кудреватый, она бы знала, как образумить его. Расплакалась, расквасилась, а надо было ковшом, кочергой — чем попало огреть. Не суй лапы — не на ту наехал. В песне-то не зря поется: «У Егорушки кудерышки, кудерышки кругом. Это я назави-вала суковатым батогом». Жалко вот только, что частушку-то она вспомнила поздно. Утром, когда мать стала затоплять печь. А то бы она не точила всю ночь слезами подушку, не сводила с ума родных.

Ладно, не дивитесь, ели, не судите, люди: не все рождаются сразу умными.

Барак был сегодня пустой. Солнечные зайчики мельтешили по кругляшам закопченных стен. А на столе немытая посуда, черные от сажи чайники, котелки...

Небывалая хозяйственная страсть, желание хоть как-то загладить свою вину перед людьми охватили все Лизкино существо. Она сняла с себя ватник, платок, сбегала на ручей за водой, развела в кухне огонь, все перемыла, прибрала, начистила картошки на обед, замочила треску, затем вспомнила, что у нее белье вчерашнее на веревке висит — собрала белье. А что еще делать?

Долго не раздумывала: оделась, вскинула топорик на плечо -- и в лес.

Давно она не была в лесу. С той самой поры, как ее на кухню поставили. Работенка неприметная, а хватало. Утром — чай, завтрак, некорыстная пускай еда — мусенка или каша овсяная, а встать надо раньше всех. А люди в лес отправились — все надо прибрать, пол подпахать, а то и помыть, а потом стирка, тому рубаху зашить, этому рукавицы починить — как на огне, горят рукавицы, а там, смотришь, и темень: про обед смекай, барак топи, баню топи — люди в лесу намерзнутся, хоть каждый день готовы париться.

Но теперь дело другое. Теперь дни стали длинные — можно и ей часа на два, на три в лес выходить. Раз у людей месячник, пускай и у нее будет месячник. Да, может, и копейку какую положат — не помещает.

Первым человеком, которого увидела Лизка в лесу, была Раечка Клевакина.

Идет, отвешивает земные поклоны лошадка, нагруженная сосновым долготьем, а Раечка бежит сзади — в новых черных валенках, в ярком платке с длинными кистями, и белые зубы напоказ — за версту видны. Легко, как на празднике, живет Раечка. Лес ей в новинку, вроде забавы после зимнего сиденья на маслозаводе. «Ой, как у вас тут красиво, Лиза!..» Красиво, когда солнышко с утра до вечера барабанит. А вот что бы ты запела в морозы, когда тут ели в лучину щепало?

— Лиза, Лиза! — замахала руками Раечка. — Где ты была? Мы вчера просто с ума сходили...

Лизка подождала, пока Раечка не подбежала к ней, сказала:

— А чего сходить-то? Я не иголка — в сене не потеряюсь.

— Да как же! Мы пришли из лесу, а тебя нигде нету, обеда нету...

— Ладно, невелики баре. Раз-то и сами сготовите.

Раечка пристально, отступя на шаг, оглядела ее.

— Ты сегодня какая-то не такая.

— Не выдумывай, — отрезала Лизка и пошла дальше, навстречу следующей лошади.

Ехал Петр Житов — здоровая нога на весу, другая, с протезом, прямая, как палка, вытянута по бревну.

Трудповинность на Петра не распространялась — инвалид. Но как быть, если на месячник выписали жену, а дома трое малых ребятишек, корова да еще мать-старуха, за которой тоже присмотр нужен?

Петр Житов, то ли оттого, что вообще не заметил ее, то ли потому, что своих забот хватает, проехал мимо, не разжав губ.

Лизка немножко приободрилась: двух человек встретила — ничего, сквозь землю не провалилась и Раечке ответила как надо. Может, и с другими обойдется.

Рабочий день был в разгаре. Делянка ревела и ухала. С гулом, с треском падали мохнатые ели, взметая целые облака снежной пыли, визжала пила, с остервенением вгрызаясь в смолистую древесину, а в снегу по грудь, по репицу бились лошади: самая это распроклятая работка — вывозить бревна с делянки на большую дорогу.

Но на перевалочном узле работа и того тяжелее. Тут вытащенное из леса бревно надо свалить да сызнова навалить на сани и подсанки. А сколько этих саней да подсанок пройдет за день!

Навальщики — Лукашин и Иван Яковлев — храпели не хуже лошадей. Оба в одних рубахах, оба без шапок, у обоих лица мокрые, блестя на солнце.

Тем больше удивил Лизку возчик, который сиднем сидел в стороне. Надрывайтесь, рвите, мужики, жилы, а мне и горюшка мало. А ведь на навалке так: самая распоследняя бабенка и та старается чем-нибудь помочь, по крайности топчется вокруг, вид делает, что помогает.

Но вскоре, подойдя к навальщикам поближе, Лизка поняла, в чем дело. Возчиком был Тимофей Лобанов, а какая же помощь от Тимофея? Замаялся человек брюхом — день на ногах да день лежит на нарах.

— В помощницы примете? — громко, с наигранной бодростью крикнула Лизка.

— А-а, объявилась гулена! — коротко мотнул головой Лукашин.

Аншпуг, которым он выцеплял бревно с комля, в то время как Иван заносил его с вершины на подсанки, выгнулся дугой. Лизка кинулась к Лукашину на помощь, но Иван Яковлев — огонь-мужик — раньше ее оказался возле напарника. Подскочил, подвел под комель свой аншпуг, скомандовал:

— Взя-ли!

И комель грузно, со скрипом лег в колодку саней.

— Давай, Лобанов,— сказал Иван, быстро закрепив бревно веревкой,— заводи свой мотор.

— Подождите немного. Сейчас...

— Да ты хоть лошаденку отведи в сторону. Вон ведь другая на подходе.

Тимофей, держась обеими руками за живот, приподнялся — лицо землистое, в судороге, рот, как у рыбы, выброшенной из воды. Сел опять.

— А, мать-перемать...— выругался Иван, схватил вицу и огрел коня. Конь рванулся, оттащил воз на сажень, на две и встал.

Лизка живехонько сообразила:

— Ну-ко, давайте я. Пушай человек передохнет.

— А ты ничего? Сумеешь? — спросил Лукашин.

— Вот еще! Я да не сумею. Колхозная девка.

Топор втюкнула в комель бревна, взяла вожжи в руки:

— Ну, давай, карько! Поехали.

Карько — конь с понятием. Самый трудный перевал от делянки до поворота просадил без остановки. Ну, а дальше — о чем печалиться дальше? Сиди на бревнышке да пошевеливай вожжами. Дорога сама прибежит к речке.

Вот как, оказывается, надо жить. Не поленись, подставь в трудную минуту людям свое плечо — и все тебе простят. Да вспоминать Семеновну-соседку. Бывало, еще в войну Семеновна ее учила: «Не слезами, девка, замаливай грехи — работой. Работа-то — самая доходчивая до людей молитва». Так оно и есть. Старые люди худому не научат.

Солнышко припекало, как летом. И Лизка подставляла ему то одну щеку, то другую. И не одна она сейчас грелась на солнышке. Грелась ель рогатая, густо, от маковки до подола обвешанная старыми шишками, грелись березы-ластовицы, грелась лесная детвора — верба. Эта вело серебряными садиками разбежалась по лесу.

И Лизка, вытягивая шею, смотрела на всю эту красоту — на березы, на ели, на заросли распушившейся вербы, вокруг которых был густо истоптан искрящийся наст зайцами, и ей казалось и несправедливым и диким сейчас: за что же все клянут лес? Почему с малых лет пугают в Пекашине: «Вот погоди, запрут в лес — посмотрим, что запоешь!»

Глава десятая

1

Ужинали в две смены — все сразу за стол не умещались.

Пока ели отец с матерью и невестки со старшими детьми (младшие уже спали), Анисья с Тимофеем выжидали у печи на скамейке.

Тимофей сидел в ватнике, босой. Он только что приехал из леса, и мокрые, набухшие водой валенки с грязными, сырыми портянками стояли возле его ног — их бесполезно было ставить на печь, все равно не просохнут,— и Анисья ждала того часа, когда свекровь начнет класть на ночь в печь дрова и когда заодно с дровами можно будет сунуть в печь и валенки.

— Дорога-то в лесу еще на ладах? — спросила Татьяна.

Анисья с благодарностью посмотрела на нее. Татьяна, жена самого младшего ее деверя, была единственный в семье человек, который замечал Тимофея. Остальные не замечали.

— Ничего, можно ездить,— ответил Тимофей.

Разговор на этом и кончился, потому что старик так мотнул головой, будто его током дернуло.

Кончив ужинать, Трофим вышел на середку избы, стал молиться. Следуя его примеру, перекрестилась Авдотья, старшая сноха, жена Максима, ту в свою очередь поддержала Тайка, жена Якова, да еще на свою дочку зашипела: «Перекрестись! Не переломишься».

Все это, как хорошо понимала Анисья, предназначалось для Тимофея — раньше ни Авдотья, ни Тайка, выходя из-за стола, на божницу не глядели.

Ужин был не лучше, не хуже, чем всегда: капуста соленая из листа-опадыша (Анисья уже по снегу собирала его на колхозном капустнике), штук пять-шесть нечищенных картошин. Хлеба не было вовсе — редко кто в Пекашине ужинал с хлебом.

Тимофей, заняв за столом место отца, начал отгребать от себя картофельную олупку (нашел время чистоту наводить), потом, подняв глаза к жене, сказал:

— Молочка бы немножко... Нету?

Анисья не то чтобы ответить — глазом не успела моргнуть, как с кровати соскочил старик, заорал на всю избу:

— Молочка? Молочка захотел? Ха! Молочка...

— Молочко-то мы, Тимофей Трофимович, на маслозавод носим,— с притворной любезностью разъяснила Тайка.— Триста тридцать литров с коровы.

— Не слышал? Забыл, как в деревне живут?

— Отец, отец... — подала голос мать.

— Что отец? Молочка ему захотелось. А ты заробил на молочко-то? Заробил?

— Да ведь он болен, татя,— вступилась за мужа Анисья.

— Болен? А-а, болен? А отца с матерью объедать не болен? Не вороти, не вороти рыло! Правду говорю.

Тут, широко зевнув, жару подбросила Авдотья:

— Кака така болесь — фершала не признают...

— Да, да,— подхватил старик.— Кака така болесь? Работы не любит, а молочко любит. Знаем...

— Да помолчи ты, пожалуйста,— поморщился Тимофей.

Если бы он, Тимофей, не махнул при этом сжатой в кулак рукой, может быть, все еще и обошлось бы, может, и не дошло бы дело до полного скандала. Но когда старик увидел кулак, он, казалось, потерял всякий рассудок. Выбежал на середку избы, заметался, замахал руками:

— Я — помолчи! Я — помолчи! В своем-то доме помолчи? Вот как! Может, драться еще будешь? Валяй, валяй! Нет, будё! Помолчал. Хватит! Попил ты моей кровушки...

— Отец, отец... Чего старое вспоминать?

Старик, как бык разъяренный, метнулся в сторону старухи.

— Не вспоминать? А он подумал, подумал, каково отцу тогда было? Коммунар, мать твою так... Как речи с трибуны метать — коммунар... А как воевать надо — шкуру свою спасти!..

Тимофей медленно, опираясь обеими руками на стол, встал, пошел под порог. А на него от кровати, от задосок, от шкапа — отовсюду из сумрака избы, слабо освещенной коптилкой, смотрели глаза — Авдотьины, Тайкины, ребячьи,— и в тех глазах не было жалости. И даже глаза Татьяны на этот раз отливали холодным и беспощадным блеском. У всех у них на войне погибли мужья и отцы — и они не могли простить ему, что он был в плену.

Анисья заплакала. На полатях кто-то всхлипнул из детей — неужели Лида?

— Отец, отец... Тимофей... — стонала старуха.— Онисья... Да что вы, господи... Что вы...

Анисья, прихрамывая, кинулась к мужу, который, уже сидя на скамейке, наматывал на ногу сырую портянку, и то ли взгляд его остановил ее, короткий, бешеный, в котором она вдруг узнала прежнего, норовистого Тимофея, то ли горло ей перехватило, но она ничего не сказала.

— Прощай, отец... Прощай, мама...

Ответа Тимофей не дождался.

Весенняя сырость поползла от порога по полу, и на какое-то время все услышали, как в открытую дверь пробарабанила с крыльца частая капель.

Анисья выбежала вслед за мужем. Вернулась она с улицы скоро — женщины еще готовили себе постели.

— Что, и с женой разговаривать не захотел? — кольнула Тайка.

Татьяна сказала без злости:

— Куда он теперь, ночью-то...

— Куда? Ясно куда... — ответила Авдотья. — Дальше сестры не уйдет.

— Вот-вот, — подхватил старик. — Принимай, Олька, нахлебника — своих мало... — И вдруг круто, по-лобановски заорал: — Гасите огонь! Сколько еще будете карасин жгать?

Анисья, пробираясь меж постелей, подошла к столу, задула огонь.

2

Тимофею было семнадцать лет, когда отец до беспамьятия отхлестал его чересседельником. Отхлестал за то, что Тимоха на виду у всей деревни вместе с коммунарами стаскивал кресты с церкви. Но учење впрок не пошло. Через год, не спросясь у отца, Тимофей женился на коммунарке и ушел в коммуну.

Сам Трофим и слышать не хотел о коммуне. Старший сын в мужики вышел, у других ребят уже топор в руках держится, девка малая за прялку села — да он такую коммуну у себя раздует, первым хозяином на деревне станет.

Но от коммуны Трофим не ушел. И не ласками, не уговорами, не прижимом земельным взяли его коммунары (самое лучшее поле оттяпали), а детскими валенками.

Как-то прижало Трофима с деньгами — ни копейки нет в доме. Думал-думал Трофим: а что же Тимоха ему не помогает? Зря он поил-кормил его, сукина сына?

И вот когда он вышел на реку (коммуна была за рекой, в монастыре), навстречу ему попались коммунаря-школьники. Все в черных фабричных пальтишках, все в шапочках одинаковых, все в рукавичках вязаных. А главное — все в валеночках с кожаными союзками и кожаными подошвами. Вот что поразило Трофима. А поразило потому, что на дворе была оттепель и сам он шлепал в сырых, набухших водой валенках. А коммунаря бегут себе в этих валеночках, обшитых кожей, бегут да посмеиваются: сухо ноге.

Да, подумал Трофим, провожая ребятешек глазами, хитрую обутку придумали коммунары. И зимой ходи — нога не мерзнет, и ранней весной, когда нога еще не терпит сапога, тоже хорошо.

И так эти валенки с кожаными союзками запали ему в голову, что он с того дня лишился всякого покоя. Станет утром обуваться — валенки, станет разуваться — валенки, ночь придет — и во сне снятся валенки.

Кончилось все тем, что Трофим вступил в коммуну.

А через два года коммуна распалась, и над Трофимом потешалась

вся деревня. Ехал Трофим за реку — два воза хлеба (амбар выгреб до зернышка), две коровы, две лошади, семь штук овец, плуг новый, а выбирался оттуда на маленьких саночках, на каких зимой воду от колодца возят. К дому своему подошел — замок в пробое, и ключ от того замка не у него в кармане, а в сельсовете. Государственная собственность. И — что поделаешь — пришлось Трофиму выкупать свой дом, заново обзаводиться коровой, домашним скарбом.

Выдюжил, поднялся Трофим, в колхозе зажил не хуже других. Только сына Тимофея с тех пор уж нельзя было поминать при нем — старик выходил из себя. И даже война не примирила его с Тимофеем. Даже в войну, когда вдруг находило на него прежнее хвастовство и бахвальство и он, загибая пальцы на руке, начинал перечислять своих сыновей, Тимофея не упоминал. И никто не слышал, чтобы он когда-нибудь горевал или жаловался, что от Тимофея нет вестей с первого дня войны. Нет, такого не было, такого в Пекашине никто не помнит.

А потом как стала откатываться война на запад да как бабахнула напоследок четырьмя похоронками — Максим убит, Яков убит, Ефим убит, муж у дочери убит, — заговорил Трофим и о Тимофее. Молись, старуха, молись! Все молитесь! Может, хоть этого-то у смерти отмолите. Три снохи с малыми ребятами, дочь Александра с ребятами, еще четвертая сноха приехала из города с ребятами. И все малые, все беспомощные, все, как расхлестанные бурей, жмутся к нему. А он-то пень трухлявый. А он-то не работник больше. Его самого подпирать надо.

И вот бог ли услышал их молитвы, звезда ли у Тимофея особая — пришла весточка: жив.

И надо ли говорить, что у Лобановых теперь только и было разговору: вот приедет Тимофей Трофимович, вот дождемся дяди Тимоши... А сам Трофим — тот и вставал и ложился с одними и теми же словами: «Ну, не думал, ну, не ждал, что от Тимохи будут хлебы».

Приехал Тимофей. В избу вошел в какой-то старой рвани — шинель не шинель, кафтан не кафтан, на ногах валенки, как ступы, проволокой перетянуты. И та проволока с мороза скрипит, зубы из десен рвет...

Да Тимофей ли это? Может, какой ряженный подшутить над ними захотел? Сколько солдат перевидал Трофим за эти полтора-два года — и своих, пекашинских, и чужих, из других деревень (всякие с войны возвращались: и мордастые, раскормленные, будто они и не на войне были, а на курорте, и худущие, гощие, как холера), но такого доходяги он еще не видел. А ведь Тимофей не просто солдат — командир...

Рухнула в тот вечер и эта надежда у Лобановых, и война еще раз проехала по ним: Тимофей вернулся из плена. Да мало этого — вернулся больным. И не на работу пошел устраиваться на другой день, а в больницу. Принимай, отец, еще одного нахлебника. Тянись из последних жил, гни старую хребтину, а я по больницам ходить буду. Тяжело воевал — всю войну в плену отсиживался...

И тут все прежние обиды восстали в Трофиме. И он с еще большей яростью, чем прежде, возненавидел Тимофея. И теперь опять, как прежде, никто из домашних не смел упоминать при нем имя Тимофея, пока тот был в лесу, а когда он приезжал из лесу домой, Трофим не разговаривал с ним.

3

О том, что вместе с Анфисой Петровной вечер приехал Тимофей Лобанов, Михаил узнал от самой Анфисы Петровны. Утром, когда они ехали на склад.

Ничего нового в этом для него не было — Тимофей всю зиму оса-

ждает Тосю-фельдшерицу, — и он только плечами пожал. Потом, когда они нагрузили мешки с ячменем на сани, Анфиса Петровна снова заговорила о Тимофее:

— Лобанова дожидаться не буду. Насовсем, видно, приехал.

— Насовсем? — удивился Михаил. — А кто его освободил?

— Больной он. Наскрозь больной. И сам мучается, и нас всех замучил.

— Ну, это уж как медицина, — резонно сказал Михаил. — Ей виднее.

Тут со скотного двора прибежала ночная сторожиха Маня («Михаил, зачалось у Мальвы»), и он, наскоро попрощавшись с Анфисой Петровной, даже забыв передать поклоны Лукашину и Лизке, побежал на скотный двор.

Мальва — крупная черно-пестрая корова-двухведерница — была их колхозной знаменитостью. Ни о ком из пекашинцев, если не считать Федора Капитоновича, ни разу не писали в областной газете, а о Мальве писали уже трижды и даже портрет давали. Лукашин, как-то размечтавшись в правлении, сказал: «Вот было бы у нас все стадо, как эта Мальва, тогда бы кое-что можно сробить». А уезжая на лесозаготовки, специально напомнил: проследи за отелом.

Мальва отелилась благополучно. Телку выдала как по заказу — крепкую, ширококостную, с той же точь-в-точь, как у самой, рубашкой.

Но вот что значит знаменитость! Сена с мерзлиной — а другие коровы и такого не имели — есть не стала. Подай ей сено, так сказать, со-ответственно ейной, коровьей, номенклатуре. И пришлось подать. Пришлось выделить воз мелкого, коневого, из того самого зарода «энзэ», который берегли на посевную.

Выйдя со скотного двора, Михаил завернул по пути в кузницу, сделал перекур с Ильей Нетесовым и пошел было домой что-нибудь перехватить — Анфиса Петровна подняла его, когда у матери еще дрова не прогорели в печи, — но вдруг вспомнил, что у него в кармане сводка, и повернул в правление.

Сводка, привезенная Анфисой Петровной, была не из веселых. Вывозка леса за последнюю неделю упала на тридцать два процента. И, в общем-то, понятно, почему упала: весна. Каждому ребенку ясно, что весной на сани не навалишь столько, сколько зимой. Но для Подрезова, когда речь идет о лесозаготовках, весны не существует. Подрезов сразу же спросит: «А меры? Какие приняты меры?»

Меры, по мнению Михаила, приняты. Анфиса Петровна увезла три мешка ячменя (за этим и приехала) — куда же больше? Людям хлеба нету, а лошадей кормим. Но для Подрезова это не меры. Вот если бы он, Михаил, сказал, что десять лошадей добавочно в лес направили да столько же людей — вот тогда да. Тогда меры — получай личную благодарность от первого секретаря райкома.

Думая о предстоящем разговоре с Подрезовым, Михаил вышел с задворок на большую дорогу и, повернув голову на стук топора, увидел Тосю-фельдшерицу.

Тося в желтом заношенном халатишке — неряха баба — рубила у крыльца жердь. Дров на медпункте не было, и Михаил знал, что, как только увидит его Тося, так сразу же поднимет лай, но он вспомнил про Тимофея и крикнул:

— Аншукова, был у тебя Лобанов?

— Был. А где твои дрова-то? Сколько мне тебя еще упрашивать?

— Постой! А что с Лобановым?

— Все то же. А теперь еще новую песню завел: дай ему направление в район.

— Дала?

— С чего? Температура нормальна, стул нормальный. У меня не лавочка — я не от дяди, от советской власти работаю...

— Понятно, — прервал Михаил Тосино красноречие. — А не знаешь, уехал он с Анфисой Петровной?

— Вот еще! Приставлена я к нему. Я вся — сижу — околела. Когда ты, ввалина, дрова-то привезешь? Еще на той неделе говорил — подвезу. Есть ли у тебя совесть-то?..

Да, вот так быть за председателя колхоза, когда ты в то же время и главный подвозчик дров, и сена, и черт знает еще чего. Каждый, кому не лень, глотку на тебя дерет. Конечно, он в долгу у Тоси не остался — дал сдачи, иначе в следующий раз вообще не показывайся ей на глаза, но дело с Тимофеем от этого яснее не стало. Где он, дьявол бы его забрал? Как показывать в сводке? На лесозаготовках? А если не уехал, дома?

Михаил побежал к Лобановым, в самый верхний конец деревни. Там ему сказали, что Тимофей еще вечер ушел к сестре Александре. У Александры в воротах приставка — сама, наверно, еще на скотном, а ребята в школе.

Михаил, запаренный, как лошадь, порысил в правление — медлить дальше со сводкой нельзя. Райком, наверно, и так все провода оборвал.

Топая, бешено стуча сапогами, чтобы стряхнуть с них мокрый снег, он вбежал в контору — и у него белые пятна пошли по лицу: Тимофей был тут, в конторе.

— Не уехал?

— Нет. В район, в больницу, думаю.

— А ты с кем это надумал? Направление есть?

Тимофей — нечего сказать — провел рукой по лбу.

— Так вот, — отчеканил Михаил, — не захотел ехать на лошади — топай на своих.

— Погопал бы, да толку от меня там мало.

— Ничего! Будет толк. У нас по-всякому лечат. Кого медициной, а кого и законом о трудповинности. Помогает.

Тимофей стал подниматься. Расчет на психику: нижнюю губу в зубы, одна рука к животу, другая вместо опоры. И, конечно, как всегда бывает в таких случаях, осуждающее покачиванье головой и слова, которыми хотят направить тебя на путь истинный.

— Круто берешь, парень, — сказал Тимофей. — Смотри — не споткнись.

— Ничего, — сказал Михаил. — Я с сорок второго круто беру. — Помолчал и врезал для полной ясности, глядя Тимофеем прямо в глаза: — Когда на отца похоронную принесли.

А какого дьявола с ним миндальничать? Почему для всех существует закон о трудповинности, а для него нет?

Хлопнула дверь в коридоре. Тяжело заохала, застонала старая лестница.

Михаил постоял, прислушиваясь, отер с лица пот рукавом ватника, достал сводку из кармана с груди и стал звонить в райком.

— Опять я к тебе, сестра.

— Вот и ладно, вот и хорошо, Тимофей Трофимович, — с радостью сказала Александра и забежала по избе.

Домашнее утро у нее, как у доярки, начиналось поздно, а сегодня по случаю отела Мальвы она пришла со скотного двора еще позже.

Она быстро навела порядок в избе: постель ребячью, не прибранную еще с ночи, вон, в сени, корыто со стиркой туда же, потом достала из сундука чистую скатерку, накрыла стол.

— Нет-нет,— говорила она,— я сама за стол не сяду, пока в избе осенняя распута. А мы чай сейчас пить будем. Те ведь, наверно, охломоны,— она имела в виду своих детей,— и чаем дядю не напоили. Проходи, проходи, Тимофей Трофимович, да ножки-то давай разуем. У меня тепло в избе.

— Нет, разуваться не стану. В район, в больницу попадать надо.

— В район? — удивилась Александра.— Ну, ладно, ладно. Тамошние врачи понимают, а наша Тося только орать и может. У ней первое лекарство — горло. Ведьма, а не фершалица.

Тимофей все же сестру уважил — шинель снял, и Александра, собирая на стол, украдкой присматривалась к нему, так как ночью при свете тускленькой керосинки она вообще не могла разглядеть его, а утром убежала на скотный двор затемно, когда он еще спал.

По сравнению с прошлым разом брат ей показался еще хуже: ноги в валенках-стухах — кто только и наградил его такими,— как у старого коняги, крючьями, врозь, на щеках ямы — колоб можно положить, и, как ни крепилась она,— выдали глаза. И Тимофей заметил это.

— Что, сестра,— спросил он глухо,— неважны мои дела?

— Нет-нет,— живо возразила Александра,— я ведь это так, от радости... Такой гость у меня...— И улынулась сквозь слезы, закивала быстро головой.— Нет-нет, ничего еще. Ты ведь в материн род, не в отцов. Это мы у Трохи все земляные, с осадом, а ты и в молодости бегая — земли не задевал.

— Не успокаивай, сестра.

— Правду, правду, Тимоша. У нас природность такая. Смотри-ко, я телушка. Ни война не уездила, ни нужда не съела — людей стыдно. И муж, бывало, покойничек, руки без работы не держал — все нипочем. Я и теперь еще песни пою. Всякие — и старинные и новые.

— Это хорошо,— сказал Тимофей.

— А уж не знаю, хорошо ли, плохо — такая есть. На скотном дворе заголошу — всех с ума сведу. И баб и коров.

Тимофей к картошке горячей не притронулся, на сыроеги соленые только взглянул, а молока, которое она тайком (своей коровы у нее не было) принесла со скотного двора во фляжке (удобная посудина, не выпирает из-за пазухи — все скотницы обзавелись такими), выпил. Потом погрелся чаем, и глаза у него вроде оттаяли — повеселее стал взгляд.

Александра, улыбаясь, сказала:

— А ты голову-то, Тимоша, как смолоду держишь. Набок. Это от гармонии у тебя, наверно?

— А ты и гармонь помнишь?

— Помню. Что ты! Ведь я гордилась тобой! Татя, когда ты в коммуну ушел, места себе не может прибрать. «Разорил, разорил. сукин сын!» Помнишь, поле у нас отрезали у реки? Хорошая, жирная земля была — все рожь сеяли.

Тимофей слегка кивнул головой.

— Ну вот, кричит татя, всем рассказывает. Знаешь нашего отца — дикарь шальной. То хвастается до небес, то опять караул на всю деревню. А в войну нечем хвастаться — все равно нашел: «Моих ребят пуля не возьмет». Ей-богу, кричал. Вот и докричался. Троих сыновей война заглотила, у меня мужа убили, у сестры Натальи на костылях пришел, и ты нездоровым вернулся...— Александра всплакнула.— Нет, нет, не буду плакать,— затрясла она головой.— Хватит, поплакано. О чем это я? Вот ведь памятка... Вот о чем — о поле. Жалко тате поля, и братья хо-

дят темнее тучи — отцовы дети. Да и кто тогда земли не жалел? Помнишь, сколько отец расчисток поднял? Сам всю жизнь с пнем в обнимку прожил, и нас от пня не отпускал. Это ведь нынче люди идут мимо: а, ладно, не мое, колхозьско... — Тут Александра, заметив на лице брата не то неудовольствие, не то досаду, опять спохватилась: — Вот ведь таратолка, все в сторону тащит, никак не могу на торную дорогу выбраться... Нет, постой, вот я заговорила — это как ты в коммуно-то уходил. Дóма у нас все убиваются, а я, глупая, тоже реву: кто, думаю, теперь меня в народный дом проведет? Весело тогда в деревне было, людно. Церковь свое служит, вы, комсомол, свое... Вот пошли вы с Онисьей за реку, в коммуно. Ты с гармонью, головушку набок, Онисья в красном платке — коммунарка. Праздник был, вся деревня на угор высыпала — на вас смотреть. А я тоже выбежала, кричу, плачу: Тима, Тима, возьми меня с собой! Не помнишь?

Тимофей не ответил.

— Кричала. Я ведь гордилась тобой. И потом, когда отец в коммуно пошел, я тоже всем показывала: а у меня брат начальник. Я помню, как ты речи говорил....

— Да, говорил... — вздохнул Тимофей.

— Ничего, ничего, Тимофей Трофимович. Такая уж судьба. — И опять не удержалась слеза в глазу, выкатилась. — А ты на отца-то не сердись. Он у нас хоть и крутой, а добрый, отходчивый. А уж как он возрадовался, когда узнал, что ты жив да домой едешь! Ко мне прибежал — прямо на скотный двор: «Олька, Олька, говорит, да ты знаешь, кто к нам-то едет!» А на улице крещенье, мороз — дак он приказал дома каждый день топить баню, «чтобы прямо, говорит, на полкок». Не сердись, не сердись, Тимоша. И на Онисью не сердись, ежели чего не так. Ей ведь, городской, все в перелом....

— Не сержусь, — ответил Тимофей, помолчал и добавил: — Отец что — понятно. А вот у меня друг был — да... — Он опять помолчал. — В тридцать седьмом году — ты этого не знаешь — я его, можно сказать, от верной смерти спас. И он меня встретил...

— Это когда ты оттуда-то возвращался? — Александра не сказала «из плена».

— Да, — с запалом выдохнул Тимофей и сжал руку в кулак. — Соседей к себе позвал. Вот, мол, свидетели на всякий случай...

Александра, приоткрыв рот от напряжения, ждала: может, расскажет брат, что он перенес там, в плену, во неметчине? Где он был эти два года после войны?

Тимофей — и раньше неразговористый был — промолчал, а она не осмелилась его тревожить. Пускай смотрит на подгорье, коли глаз туда потянуло.

По подгорью шла весна. Снег на полях, подтаявший, засиневший, отливал на солнце, как крупная соль, дорога за реку почернела. а красная щелья, на которой стоял монастырь, уже скинула местами снег.

Она подумала и сказала:

— А я тоже часто гляжу туда, вспоминаю наше житье бывалошное. — Положидала: по душе ли этот разговор брату? — и заговорила уверенней: — Ничего, мне глянулось наше житье. Весело было с мала в одном доме жить. У меня в каменном голова не болела и у мамы не болела. А татя, тот с первого дня за голову схватился: «Задавят, говорит, меня стены монастырские — дыху нет». А братья-дымокуры, тем первое дело табачище. У отца, бывало, много не накуришь — туго с денежкой расставался. А тут, в коммуно, полно табаку. Хоть кури, хоть в кашу сыпь, хоть за щеку клади. «Вот это житуха», — говорят. Помнишь, бывало, как из столовой выходить, мешок в углу с махоркой

стоял? И газета приготовлена, листочками нарезана... Ох и курили же! Я недавно с Параней Пашичевой разговорилась. Знаешь, из Заозерья? Вспомнили про этот мешок. «А я ведь, говорит, девка, с той поры закурила. Жалко добра. У меня мужик не курит, а люди курят — сама буду. Не могу, говорит, видеть, как общее добро в чужой рот идет».

— Так и сказала: «в чужой рот»? — Тимофей усмехнулся.

— Да, да, так и сказала,— живо подтвердила Александра и, очень довольная тем, что рассмешила брата, повела речь дальше.— А потом мешок с махоркой пропал — сам обзаводись, если курить хочешь,— «да я, говорит Параня, всю коммунию прокляла. Курить научили, а табак на свои денежки покупай — какая это коммуна? И теперь, говорит, курить буду — клянусь».

— Забавно,— задумчиво сказал Тимофей.— Я этого не знал.

— Так, так, научилась Параня на свою беду курить.

— Ничего,— сказал Тимофей.— Табак не хлеб — можно бросить. Я с сорок первого не курю.

— Там бросил? — Александра, сама не зная почему, опять не сказала «в плену».

— Да, там...

Она подождала: может, на этот раз брат разговорится?

Не разговорился.

И тогда она опять, как положено хозяйке, разговор взяла в свои руки:

— А я все хочу спросить у тебя, Тимоша: с чего это коммуна наша не устояла? Земли-то, сенокосов-то сколько было! Самолучших!..

И вдруг, беря от него чашку, почувствовала, как бледнеет: левая рука Тимофея, согнутая в локте, тихонько покачивалась. Он водил ею по животу.

И Александра с упреком и запоздалым раскаянием подумала: как же она могла забыть про его болезнь? И может, все то время, покуда она изводила его своими глупыми разговорами, он вот так и сидел, корчась, как на угольях, и еще при этом старался не показать ей виду?

— Может, погреться бы тебе на печи — легче станет? — сказала она виноватым голосом.

— Ничего. Надо попадать в район.

— Все-таки надумал...— сказала она и вздохнула.

Самое лучшее бы сейчас — не вздыхать, а достать лошадь. Но лошади сейчас — она это знала — ни за какие деньги не достанешь в Пешкине.

Они вышли на крыльцо. День был уже в разгаре. Припекало солнышко. С крыши дружно капало, и волглый посиневший снег под окошками был глубоко изрыт капелью.

Александра, невольно залюбовавшись апрельской голубизной неба, сказала:

— Вот и опять весны дождалась. Красиво ноне началась. Какая-то дальше будет? — И примолкла, взглянув на брата.

Тимофей смотрел на заречье, на белые развалины монастыря. Потом он спустился с крыльца и опять этим долгим и нехорошим взглядом, как подумалось ей, посмотрел на мокрую черную крышу на школе, которая блестела и дымилась на солнце, как запотевшая спина лошади, на партизанскую могилу на взгорье у клуба. Там, на взгорье, — самое высокое место в деревне — снег уже растаял, и была видна земля, и над землей дрожал и переливался нагретый воздух.

— Спасибо тебе, сестра.

Александра обеими руками пожала худую, бледную руку и поспешно выпустила, потому что ей вдруг стыдно стало за себя, за свое здо-

ровье, за то легкомыслие, с которым она вышла провожать брата,— простоволосая, в одном платье с рукавами до локтя, в опорках на босу ногу.

— Есть теперь тут дорога — прямо через кладбище? — спросил Тимофей.

— Есть, есть. А ты разве домой не зайдешь?

— Нет, не зайду. Силы поберечь надо.

— Ну и ладно, ладно,— быстро закивала Александра.— Чего зря-то ноги наминать. Экое дело — в район... Я скажу нашим.

— Скажи...

И пошел, захлопал стопудовыми валенками по мокрому заулку.

Ох, видит бог — не пожалела бы она сапог для родного брата! Сама бы босиком осталась, а брата выручила. Да разве налезут ему ее сапожонки?

Она схватила с крыльца приставку — легкий осиновый колышек, догнала Тимофея.

— На-ко тебе помощника на дорогу дам. Все полегче будет.

И вот стоит она, Александра, на крыльце, стоит, прикрыв рукой глаза от вешнего солнца, и смотрит, смотрит на задворки деревни, туда, на тропинку у леса, по которой медленно движется человек. И человек этот был ее брат. И ничего-то, ничего-то в этом человеке, по-стариковски сгорбленном, с палкой в руке, в старой шинелишке с поднятым воротником,— ничего-то в этом человеке не было от того молодцеватого и жадного до жизни Тимофея, каким она запомнила его с детства.

5

К вечеру немного пристыло, и Михаил решил: немедля, сегодня же ехать за сеном на Среднюю Синельгу. Сена на Средней Синельге оставалось возов пятнадцать, и, если не вывезти его сейчас, в эти два-три дня, пока еще не поплыла дорога, ставь крест на сене. А этого ему никто не простит — ни Лукашин, ни колхозники. «Вот, скажут, посадили парня, а у него ветер в голове».

Но легко сказать — вывезти сено. А кто его будет вывозить? Где люди? В колхозе пять лошадей. На двух он поедет сам — это ясно. А кого посадить на остальные? Доярки отпадают — по теперешним дорогам, возможно, за два дня не обернуться. Степан Андреевич болеет. Федора Капитоновича не уломать.

Михаил думал-думал и вызвал в правление Илью Нетесова и Евсея Мошкина. Кузница три дня постоит на замке — ничего. Стояла больше. Ну, а Евсей Мошкин хоть и не колхозник, но неужто не выручит колхоз в такое трудное время?

Евсей Мошкин не стал отказываться, и Михаил тут же, чтобы не было потом недоразумений, сказал насчет оплаты:

— Платить будем трудоднями. Как всем. Правильно, Илья Максимович?

Илья кивнул и обернулся к дверям.

В контору вошел Кузьма Кузьмич, начальник Сотюжского лесопункта.

Михаил выбежал из-за стола.

— Кузьма Кузьмич! Какими судьбами?

Илья и Евсей тоже встали.

— Здорово, здорово, ребятки,— говорил Кузьма Кузьмич, каждому пожимая руку.

Михаил улыбнулся.

Для Кузьмы Кузьмича все были «ребятками» — от мала до велика. И все в районе знали его, потому что с одними он мытарил по пинежским лесам еще до революции, с лучиной, с другими гнал «кубики» в годы первых пятилеток, а нынешняя молодежь вроде его, Михаила, прошла у него лесную школу в войну.

И вот что удивительно — не богатырь, не какой-нибудь там засмолевший кряж, налитый бурым здоровьем. Нет, мужичонка — не заглядись: косоглазый, утопанный, голосишко сиплый, с «петухами» — не рывкнут по-начальнически, а стоит, тянет лесопункт. И люди вокруг него держатся.

Сейчас Кузьма Кузьмич возвращался с очередного районного совещания, и разговор, само собой, зашел о лесозаготовках.

— Худо, ребятки, худо,— жаловался Кузьма Кузьмич.— С вывозкой затирает. Зимой из-за снегопадов присели, а сейчас опять весна за полозья хватается.

— Вывернешься, Кузьма Кузьмич! Знаем,— сказал Михаил.

— Да надо бы вывернуться. Надо. Вот тракторишко на отдыхе стоит—его бы охота к делу приспособить.

— Это тот, Егоршин?

— Тот, тот. Опытный. С осени он нас крепко выручил.

Тут Кузьма Кузьмич полез в свой портфельчик, хорошо известный Михаилу еще с военных лет,— маленький школьный портфельчик из черной клеенки с обтрепанными углами, который он носил через плечо на сыромятном ремешке,— достал из него три пачки махорки.

— Это тебе от дружка. Хорошо, что заговорил о нем. Я вперед ехал ночью — не останавливался у вас.

Махорка была очень кстати. Но в душе Михаил был немало удивлен: с чего это вдруг вспомнил о нем Егорша?

Илья Нетесов — Кузьма Кузьмич доводился ему дальней родней — стал приглашать его к себе попить чаю с дороги, но Кузьма Кузьмич отказался:

— Нет, сват, нет. Не до чаю. Выговорок получил — тепленький еще. Хорошо греет. А ты, Миша, не обзавелся еще этим товарцем?

Кузьма Кузьмич — нетрудно было догадаться — намекал на новое положение Михаила, и ему приятно было, что такой человек, как Кузьма Кузьмич, видит его за председательским столом.

— Пока нет.

— Ну и хорошо, хорошо. Это нас, пеньков трухлявых, все время подпирать надо, а вы, молодежь, другое дело.— Кузьма Кузьмич потер небритый подбородок.— А что же это вы, ребятки, с мужиком-то сделали? Неладно, неладно так.

— С каким мужиком?

— Да с Тимофеем Лобановым. Встретил — качается бедняга, едва ноги волокет.

Так как ни Илья Нетесов, ни Евсей Мошкин не знали, о чем идет речь, то Кузьме Кузьмичу пришлось рассказать. Тимофея Лобанова он встретил на Марьиных лугах. Идет в районную больницу. Идет еле-еле, с колом в руках. Ну и что было делать? Пришлось Кузьме Кузьмичу завернуть лошадь да подвезти беднягу.

— Этого беднягу не подвозить надо, а судить,— сказал, мрачней, Михаил.

— Ну почто же ты так, Миша?

— А пото, что дезертир лесного фронта. Кто ему давал направление в больницу? А ты еще хочешь, чтобы мы его на лошадке катали?

— Нет, Тимофей Лобанов не дезертир,— сказал Кузьма Кузьмич.— Не из таких.

— Не из таких? Вот как! А ты, может, Кузьма Кузьмич, не веришь, что он и в плену был?

— Да ведь плен, это, ребятки, дело такое... Какая же война без плена? Я сам в двадцать первом в плену у поляков был.

— Это так. Война без плена не бывает,— подтвердил Илья.

— Смотри какая война,— упрямо гнул свое Михаил.— В нынешнюю войну все на смерть воевали. И надо еще доказать, кто как сдался.

— Ну, за Тимофея можно не беспокоиться,— сказал Кузьма Кузьмич.

— А откуда тебе это известно? Ты с ним там был? А может, он сам о геройствах своих рассказывал?

— Не рассказывал. Всю дорогу молчал. А фактики у меня есть. Есть фактики. С двадцать пятого года знаю Тимофея.

Михаил начинал злиться. Кузьму Кузьмича он уважает — хороший человек. И лично ему немало сделал добра. Но что же он говорит? За кого заступается?

Утром, передавая сводку второму секретарю райкома Шумилову, он, Михаил, сказал, что один человек самовольно вышел из леса и, не имея направления от фельдшера, отправился в районную больницу. А как же иначе? Не мог же он обманывать райком!

— Кто это у вас такой смелый? — спросил Шумилов.

Михаил назвал фамилию.

— А-а, так это тот, который в плену был? Понятно, понятно. Мы его вылечим — передадим прокурору.

И Шумилов далее сказал, чтобы он, Михаил, срочно написал и передал по телефону донесение: такой-то и такой-то под видом болезни дезертировал с лесного фронта, бывший военнопленный...

Михаил написал и передал. А как же? Есть закон о трудовинности? Есть. Медицина не подтверждает болезни? Не подтверждает. Ну, а он, Михаил, должен быть добреньким, да? Этого хочет Кузьма Кузьмич? А за счет кого добреньким? За счет баб, которых от детишек от грудных оторвали да в лес погнали? А может, за счет председателя? Не видел, Кузьма Кузьмич, как мы тут председателя своего в лес провозжали, чтобы в кузнице огонь не затух? Интересное кино!

Кузьма Кузьмич уперся — не пробьешь. Головой кивает, вроде бы сочувствует, а губы поджал — значит, при своем мнении. Эту его особенность хорошо знал Михаил, и он, окончательно распаясь, врубил напоследок:

— А война у нас была — нет? Была, говорю, война. а? И что бы мне сказал отец, ежели бы я всякого изменника по головке гладил?

Было это вечером 24 апреля. А ровно через три дня, тоже вечером, когда Михаил приехал с сеном с Синельги, первое, что ему сообщили на конюшне,— Тимофей умер. Умер во время операции. От рака...

(Окончание следует)



МИКЛОШ РАДНОТИ
★
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С венгерского

Миклош Радноти родился в 1909 году и убит фашистами в 1944 году. Ему было десять лет, когда в Венгрии произошла пролетарская революция. Вспоминая о ней, он писал в одном из ранних стихотворений: «По улицам шла истина вчерашнего мая...» Этот высочайший исторический подъем венгерского народа не мог не оказать и на него своего влияния: «Я учу и исповедую борьбу. Я и поэт и пролетарий».

А еще позднее, присоединившись к передовым людям своей страны, Радноти мужественно писал: «Жду своего часа, мой голос... топором полетит он через время...»

Радноти двадцать два года. Его сборник стихов конфискуют. Поэт предстает перед судом. «О, прокуратура... еще зазвучат трубы». И уже почти заклинанием слышатся нам его строки: «Революция, дай по физиономии старому миру»...

В годы гражданской войны в Испании он едет в Париж. Там он пишет одно из лучших своих стихотворений — «Испания»:

*...О, чернокрылая война
И ужас с нею рядом!
Уже не сеют и не жнут,
Не давят винограда.*

*Там солнце с неба не печет,
Птенцы дрожат в молчанье,
А кровь течет, а кровь течет...
Испания, Испания!*

.

*Народы о твоей судьбе
Кричат. И вновь я вижу,
Как нынче с песней о тебе
Шла беднота Парижа.*

(Перевел Л. Мартынов)

Наступил 1941 год.

Палачи венгерской коммуны 1919 года, как известно, вовлекли по указке Гитлера венгерский народ в войну против Советского Союза. Это была уже война не в старом смысле слова, а целая серия супериндустриализированных злодейств и преступлений внутри страны и за ее пределами.

Радноти полностью испытал все ужасы фашистского государства. Ненависть к нему, пережитую с болью, высказал он в великолепнейшем стихотворении «Отрывок»:

*На сей земле я жил во дни, когда
исподличался человек настолько,*

*что убивал не только по приказу,
а добровольно и со сладострастьем,
творец злых грез, сам отданный во власть им.*

*На сей земле я жил во дни, когда
донос был доблестью, и числились в героях
предатели, грабители, убийцы,
и, как от прокаженных, сторонились
от тех, кто предавать и подличать ленились.*

(Перевел Л. Мартынов)

Радноти был поэтом.

А при фашизме поэт (и, разумеется, его поэзия) либо вступает с ним в борьбу, либо гибнет.

Радноти это знал. Он боролся. И стал еще большим поэтом, стал в ряд венгерских героев, «павших за тебя, свобода мировая».

И он, некогда тихий мечтатель, одержимый красотой, в конце жизни знаменем поднял свою окровавленную рубаху и стоит теперь в ряду величайших венгерских поэтов.

В мае 1967 года двадцать тысяч молодых венгров устроили шествие к братской могиле, в которой покоится Радноти, произнося его стихи: «Мир строится уж заново, и на земле, на новой, услышат мое слово».

Не могу не сказать хоть несколько слов о том, кто перевел эти стихи, о моем друге и товарище по ремеслу — Николае Чуковском.

Последнее, что он перевел из венгерской поэзии, которую так любил, с которой так сроднился и для которой так много сделал, были как раз стихи Радноти. Переводил он их с благоговением, я бы сказал — на едином дыхании, потому так прекрасны эти переводы. Я могу вспоминать об этом только с грустью, потому что это была его последняя совместная с нами работа.

Ангал Гидаш.

Будапешт.

Подневольное шествие

Безумен, кто, упав, встает и вновь шагает,
Кто двигаться свои колени заставляет.
Его канава ждет, его канава манит,
А он, смиряя боль кочующую, встанет,
А спросишь: для чего? Ответит, цепenea,
Что ждет его жена, ждет гибель поумнее.
А ведь какой дурак: давно уж над домами
Лишь дикий вихрь шумит спаленными крылами;
И слива сломана, и кровля взрывом смята,
И ночь отечества от ужаса космата.
О, если бы я мог надеждой обмануться,
Что уцелел мой дом и я могу вернуться!
О, если бы опять в моем дому с гуденьем
Кружилась бы пчела над сливовым вареньем,
И лето позднее в саду на солнце грелось,
И тихо яблоко во тьму ветвей смотрелось,
И Фанни русая ждала бы в нетерпенье,
И утро медленно свои чертило тени... —
А вдруг все сбудется? Луна так светит странно...
Приятель, обругай, вели мне встать! Я встану!

* * *

А ты ходи, приговоренный к смерти!

В крапиву кошка уползла,
Деревья валяются кругом,
Дорога выгнулась горбом,
От ужаса белым-бела.

Так ежьтесь, корчитесь, листы!
Так съежься, страшный мир, и ты!
Уж стужа рвется в синеву,
Уже ложится на траву
Тень птичьей стаи с высоты.

Поэт, быть чистым должен ты,
Как ветры ледников чисты.
Отринь грехи, отринь вину,
Как на картинах в старину
Смиренно-малые Христы.

Будь тверд и только в твердость верь,
Как исходящий кровью зверь.

1936.

Я на твоей руке лежал...

Я на твоей руке лежал, на правой, темной ночью.
Тупая боль затылок жгла, и чувствовал затылок,
Как кровь пульсирует твоя в руке по сетке жилок.

К полуночи меня залил внезапно сон глубокий.
Так крепко я еще не спал с младенчества, с далекой
Поры, когда мой кроткий сон всегда был тих и крепок.

Потом ты рассказала мне: часу примерно в третьем,
Охвачен страхом, я вскочил, забормотал в смятенье,
Какое-то произносил сквозь сон стихотворенье,

И две руки, как два крыла, раскинул, словно птица,
Вдруг увидавшая в саду таинственные тени.
Где был я? И какая смерть меня перепугала?

Ты успокоила меня, я снова лег на руку,
Дорогою чудовиш вновь побрел я, засыпая.
И снова мне приснился сон. Быть может, смерть другая.

6 апреля 1941 года.

Эклога вторая

Л е т ч и к

Всю ночь бомбили мы. Я хохотал от злобы.
Нас истребители атаковали, чтобы
Свой город защитить. Они огонь вели,
Но мы упорно шли, мы прямо к цели шли.
А сбили б — ты б меня не увидел живого.
Но жив я! От меня Европа завтра снова
Залезет в погреба, и вновь пойдет игра...
Ну, хватит... Как ты жил? Опять писал вчера?

П о э т

А что осталось мне? Поэты сочиняют,
Мяукают коты, собаки завывают,
А рыбка мечет в пруд икру. И я пишу —
Чтоб знал ты в небесах, что я еще дышу,
Когда меж дикими, разбитыми дворцами
Шатается луна с кровавыми рубцами,
И площади встают от страха на дыбы,
И самолеты вновь — властители судьбы —
Над ними кружатся, уходят и приходят,
Хрипят в безумии и смерть с собой приводят.
Как быть писателям? Писать? Опасен стих,
Порой капризен он, порою слишком лих.
Тут нужно мужество... Поэты сочиняют,
Коты мяукают, собаки завывают,
А рыбка... Ну, а ты? Скажи, чем занят ты?
Внимаешь, как мотор гудит средь пустоты?
Мотор — твой друг теперь, сроднился ты с мотором.
О чем ты думаешь, летая по просторам?

Л е т ч и к

О, смейся надо мной. Мне страшно в вышине,
Хочу домой, в постель, хочу домой, к жене,
Средь взрывов и смертей, среди огня и дыма
Сквозь зубы я пою о милой, о любимой.
Вверху стремлюсь я вниз, внизу стремлюсь я ввысь,
Нет места мне нигде, куда ни оглянись.
Люблю свой самолет, летящий по раздолью, —
Ведь боль у нас одна, и мы сроднились болью...
Меж небом и землей мотаюсь я, бездомный,
Когда-то — человек, теперь — убийца темный...
Напишешь о тщете страданья моего?

П о э т

Да, если буду жив и будет для кого.

27 апреля 1941 года.

Перевел Николай Чуковский.



В. ШВЕРУБОВИЧ

★

ЛЮДИ ТЕАТРА *

(Из воспоминаний)

Война

Лето 14-го года мы все (Станиславские, Эфросы, Санины и мы) про-
водили в Мариенбаде (нынешнем чехословацком Mariánské Lá-
zně). Компания была большая и на редкость веселая: Никита Балиев
(создатель, руководитель и конферансье «Летучей мыши»); Тэффи —
постоянная фельетонистка газеты «Русское слово», автор нескольких
сборников юмористических рассказов; Авьерино — солист-альтист из
Ростова-на-Дону, «испытанный остряк», почти профессиональный анек-
дотист.

Второго июля (15.VII) отметили десятилетие со дня смерти
А. П. Чехова — отстояли панихиду в местной (русской) православной
церкви. В этот же день праздновали годовщину (четырнадцать лет)
свадьбы моих родителей. Анекдоты и шутки, розыгрыши и контррозы-
грыши пенились и пузырились, как шампанское; утомленные смехом за-
стольники утихли, собирались с силами для новых выдумок, когда один
из компании, Н. Гольденвейзер, по прозвищу Шмендрик, сказал: «Сме-
яться осталось недолго — то, что в Сараеве убили эрцгерцога, кончится
всеевропейской войной. Тогда всей нашей жизни конец». На него заши-
кали, изощряясь в островах, обрадовавшись новой теме: «Шмендрик —
начальник генерального штаба вновь созданной еврейской армии»,
«Шмендрик в германском плену» и т. д. Никто в компании не верил,
никто ничего не предчувствовал... А конец всей «той жизни» был совсем,
совсем рядом...

Для Nachkur компания разбилась. Санины, Эфросы и мы решили
провести его на море в Италии, недалеко от Генуи, в местечке Sestri
Levante (Сестри Леванте). Отец, позднее, из-за гастролей в Киеве, на-
чавший свой курс лечения в Мариенбаде, еще задерживался там и дол-
жен был присоединиться к нам позднее. Станиславские, кажется, соби-
рались в Женеву, где жила бывшая гувернантка их детей Эрнестина.

Наше путешествие по ласковой и приветливой Баварии было чу-
десным. В Нюрнберге мы осмотрели древний Burg с дворцами, садами
и Folterkammer — башню пыток со знаменитой Железной девой, где
казнили преступников, и со смешной двенадцатилетней пигалицей-ги-
дом, которая, тряся белокурой косичкой и шмурыгая красным острым
носиком, рассказывала нам тоненьким голоском о способах казней и
пыток: «Вот железные ножицы для отрезания языков, а вот игла для
выкалывания глаз; эти лучинки, загнав их под ногти, зажигали... Вот

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

щипцы для раздавливания самых чувствительных частей мужского тела...» и т. д. Нервную Екатерину Акимовну затошнило, а мать шепнула мне: «Запиши и запомни. Будешь рассказывать Константину Сергеевичу — он очень оценит».

Были в доме у Ганса Сакса — сапожника и мастера пения, видели его «восковую персону», его инструменты и кружку, из которой он пил пиво. Я все записывал, много снимал своим «кодаком». В Ротенбурге не надо было ходить в музеи — весь город был музеем. Окруженный отлично сохранившимися городскими стенами и глубоким рвом, через который были перекинуты когда-то подъемные, а теперь постоянные мосты, ведущие в город через мощные башни, весь город вмещался в своих древних пределах. Узкие улицы, темные дворы, крошечная площадь Ратуши со знаменитыми фигурными часами — все было как будто в заповеднике, таким, каким было триста лет назад. Часы на ратуше были главной гордостью города: в двенадцать часов дня в них открывалась дверка, в нее высовывалась фигурка старичка с кружкой пива в пол его роста, и в двенадцать приемов, пока били часы, он «выпивал» всю кружку, запрокидывал ее все выше и выше; это было памятником спасения Ротенбурга от разгрома шведским (или прусским?) войском во время Тридцатилетней войны. Старый бургомистр обязался выпить ведро пива, за что неприятельский генерал избавил город от гибели.

Было дивное знойное лето. Бавария казалась нам процветающей, сытой, доброй и уж до такой степени миролюбивой, даже по сравнению с Австрией, где все-таки хоть изредка проскакивали антирусские настроения. Приехали в Мюнхен, осмотрели его изумительную пинакотеку, и старую и новую, окрестности баварской столицы, знаменитые загородные дворцы и парки, прекрасный дендрарий... Ходили и по пивным, в которых через семь лет зародилось фашистское движение.

В *Sestri Levante* толстая усатая хозяйка с необычайным голосовым аппаратом приняла нас, особенно меня (а *che bello bambino*) фамильярно-ласково, будто ждала нас долгие годы, а знает нас с детства. Голосовой аппарат у нее был такой, какого никто из наших не видал: она то ворковала нежно, как горлянка (с гостями), то визжала пронзительно, как кошка (на свою прислугу), то орала хриплым басом, как ломовой извозчик (на поставщиков-рыбаков). Хриплый, лающий хохот фальстафа мгновенно переходил в молитву. Не знаю, сколько мы прожили там, думаю, дня два-три, как началась война.

Италия еще не воевала, но она была в союзе с Германией и Австрией, которые воевали с нами, значит, могла вступить в войну в любую минуту. Тогда мы, русские, оказались бы в плену. Правда, наша хозяйка, да и все другие итальянцы клялись, что они ненавидят проклятых *tedeschi* и любят русских и французов и никогда не будут с ними воевать. А уж *austriachi* — это ведь извечные враги Италии. Но ведь не они решали! А пока что банки перестали платить по аккредитивам и менять русские бумажные деньги.

Эфрос помчался в Геную, где консулом был (или в консульстве был, не помню) его коллега по «Русским ведомостям» М. А. Осоргин, денег немного получил и, главное, совет: как можно скорее ехать в Венецию, откуда на днях отойдет (последний, может быть!) пароход на Одессу. В это время группа русских, в которой был отец и Станиславские, была в Мюнхене. С большим трудом, перенеся оскорбления и издевательства вплоть до угрозы расстрела (в виде шутки — «надо их напугать!»), эта группа выбралась в Швейцарию. Выпускали туда по частям, отец просил каждого выпускаемого послать его жене в Италию телеграмму. Содержание телеграмм было разное (когда казалось, что они интернированы и пробудут до конца войны, он просил телеграфировать: «Уезжай-

те в Россию»; когда появлялась надежда выбраться в Швейцарию — «Приезжайте в Швейцарию»; когда мелькала надежда на разрешение следовать по намеченному пути — «Ждите в Sestri Levante»). Те, кому удавалось выбраться, более или менее добросовестно выполняли поручение, и к нам приходили телеграммы противоположного содержания из разных мест Швейцарии, при полном несоответствии содержания датам.

Мать была в полнейшем отчаянии. Послушавшись одной из телеграмм и уговоров друзей-спутников, она поехала с ними в Венецию, но там накануне посадки на пароход получила телеграмму: «Ждать в Италии». Продала билеты, с огромным трудом купленные для нее Эфросом, проводила спутников на пароход, собралась на последние гроши ехать в Геную на свидание с отцом, как вдруг новая телеграмма, пересланная из Sestri: «Уезжайте в Россию». Не разобравшись в датах, мать поплыла со мной и вещами на гондоле к пароходу, но было уже поздно — нас не пустили, и пароход отчалил. Мать ломала руки, я ревел... Вернулись в гостиницу, а тут новая телеграмма: «Немедленно ехать в Берн» (Швейцария). Мать застыла и одеревенела от полнейшего отчаяния, от беспомощности и жути одиночества. Надо было что-то решать, с кем-то советоваться... Я был не в счет: несмотря на свои тринадцать лет, сообщал я ситуацию плохо — мечтал только о войне, о том, чтобы пройти через всю Австрию, «все узнать», перейти фронт и сообщить нашим генералам «главные военные тайны», и от этого наши победят и возьмут Вену и Берлин, а я, как дядя Эразм, сразу получу все ордена и меня произведут в офицеры и дадут командование подводной лодкой.

Мать и плакала, и молилась, и с ужасом ждала еще одну зеленую бумажку — телеграмму с новым распоряжением. Почему она, такая всегда решительная и самостоятельная, не принимала решения сама, как она всю жизнь это делала, я не понимаю.

Видимо, катастрофа войны, безденежье и ужас от того, что «порвалась связь времен», лишила ее свойственной ей смелости. Она не хотела брать на себя никаких решений, хотела подчиниться какому-нибудь диктату. И вдруг этот диктат явился. К нам в номер вошел портье и указал на мать какому-то маленькому человеку в котелке. Тот, не снимая шляпы, сказал по-немецки: «Сударыня, вы должны немедленно следовать за мной». Нас напугала немецкая речь, такая редкая в Италии, и больше всего, как потом вспоминала мать, не снятый вошедшим котелок. Мы спустились к выходу, нас ждала гондола, быстро и в абсолютном безмолвии мы поплыли куда-то. Мать бешено терла руки, чтобы привести в порядок нервы и успокоиться, я представлял себе *piombi* (тюремную камеру под свинцовой крышей), пытки, кандалы и т. п., читал о себе какой-то исторический роман вроде *Marino Falieri*. И, конечно, трусил. Мать ехала молча, только когда причалили к какому-то старинному дому, спросила тоже по-немецки: «Куда мы приехали?» Провожатый пожал плечами и ничего не сказал, а встретивший нас и помогавший матери шагнуть из гондолы слуга сказал: «*Marchese Paulucci La aspetta*» («Маркиз Паулуччи ждет вас»). Это имя никого из нас не успокоило, скорее наоборот. Мы шли по бесконечной анфиладе комнат, увешанных картинами. со странно, по-парадному расставленной мебелью, слуга открывал перед нами двери, пропускал вперед, опять обгонял, чтобы открыться. Так почетно мы дошли до большого, двухсветного зала. Нас попросили подождать, и через несколько минут к нам вышел небольшого роста, очень элегантный пожилой господин, вежливо поклонился матери, потрепал меня по голове и спросил по-французски, на каком языке мадам желает говорить. Услыхав ответ, что французский вполне устраивает, предложил матери сесть и на изысканном французском языке сообщил следующее. Полученные на имя мадам четырнадцать телеграмм

различного содержания обратили на себя внимание секретной полиции. Вот досье, в котором копии их, они подобраны по срокам отправки. Он лично разобрался во всем этом деле, выяснил через особые каналы, что супруг мадам, вырвавшись из немецкого плена, находится в настоящее время в Берне, и мадам должна туда немедленно отправиться. Возможно, что будут и еще телеграммы противоречивого содержания, но они мадам смущать не должны. Тут он улыбнулся и сказал, что лучше их вообще не получать, об этом он позаботится. Что касается билетов до Берна, расчета в гостинице и доставки нас на вокзал — мы беспокоиться не должны. Все будет устроено его секретарем по самой дешевой цене и при самом большом комфорте. Он расспросил про профессию мужа мадам, с живой радостью узнал, что и мадам тоже артистка, сказал, что артисты — лучшие, избранные люди, приласкал меня и отпустил нас.

Секретарь действительно все устроил: когда мы подъехали к гостинице, в нашу гондолу внесли наши вещи, счет за постой был до смешного маленький, билеты были куплены третьего класса без плацкарт, но посадили нас в отдельное купе первого класса, и мы, ошеломленные всей этой предупредительностью и оперативностью, покинули Венецию. При прощании секретарь угрюмо сказал матери на своем тирольско-немецком диалекте, чтобы она не вздумала давать кондуктору на чай, так как полиция это ей запрещает. Тут только мы сообразили, что нашим благодетелем был начальник полиции...

До какой же степени этот маркиз Паулуччи не был похож на полицеймейстера какого-нибудь Харькова или Нижнего Новгорода! Ведь Венеция — такая же провинция... Главное в этом деле было то, что мать получила приказание, что с нее была снята ответственность, необходимость решать. Но и помимо полиции, все, что делали и как отнеслись к нам итальянцы, поразило нас глубоким благородством, человечностью, человеколюбием. Ни один итальянец ни в *Sestri*, ни в Генуе, ни в Венеции не брал с нас чаевых.

Итальянские слуги, которые стараются сорвать с иностранцев за каждый чих, когда наши предлагали им на чай, возвращали деньги или просто прятали руки за спину со словами: «*Dopo la guegga*» («После войны»). Жирный и важный портье носился по лестнице, укладывая наши вещи в гондолу, и не только не взял предложенную ему матерью лиру, но еще сунул мне пол-лиры, чтобы я съел на вокзале мороженого, «ведь в Венеции лучшее в мире *gelato* (мороженое)».

Уехали мы со слезами умиления, поклявшись всегда и везде делать добро каждому встречному итальянцу. Наутро мы переехали швейцарскую границу и среди дня уже были в Берне, где нас на вокзале встретили отец, Владимир и Николай Афанасьевичи Подгорные и Н. О. Массалитинов. Паулуччи телеграфировал в русское посольство с просьбой сообщить М-г *Katchaloff* день и час приезда его жены. Это было завершением итальянской любезности. А подъезжая, мы с тревогой думали о том, каким способом будем разыскивать наших, бернского адреса которых мы не знали.

Вся компания жила в одном очень скромном отеле, хозяин которого, давно связанный с русскими эмигрантами, вошел в тяжелое финансовое положение застрявших в Швейцарии и не имеющих возможности реализовать свои аккредитивы путешественников, и предоставил им полный пансион с сорокапроцентной скидкой (по себестоимости). Пансион был крайне скудным. Вся компания с нетерпением ждала нас, чтобы вместе с нами покинуть уже надоевший, унылый и голодный для них Берн и перебраться в Беатенберг, где русский, кажется даже московский, врач — доктор Членов — владел крупным отелем-санаторием.

Доктор Членов предложил Константину Сергеевичу и всем, за кого тот может поручиться, жить у него на полном, самом первоклассном пансионе в кредит хоть до конца войны. Надо сказать, что тогда никто не допускал и мысли, что война может продлиться более четырех-пяти месяцев.

Гостиница-пансион, принадлежавшая Членову (а может быть, он был только ее совладельцем, не знаю), была самого первого класса, у нас у всех было по отдельной комфортабельной комнате, почти у всех с балконами, выходившими на озеро. С этих балконов была видна цепь снежных гор и красавица Юнгфрау, на которой заходящее солнце обозначало профиль девушки («юнгфрау» — по-русски «молодица»). Я этого профиля так ни разу и не разглядел, и Константин Сергеевич тоже, но я врал, что вижу, а он нет.

Константин Сергеевич очень быстро успокоился, привычные условия комфорта, покоя, предупредительности обслуживания хорошо вышколенным штатом прислуги сгладили впечатление плена в Баварии и скудости Берна.

Подгорный послал меня к нему с газетами — немецкими из Германии, немецкими, швейцарскими, французскими из Франции и из Швейцарии, австрийскими и т. д. Константин Сергеевич с ужасом посмотрел на эту кучу и вздохнул: ему хотелось знать о войне и о политике и даже о бирже, но читать всю эту массу разноязыкого и разного по направлениям и точкам зрения печатного хлама не хотелось. Вероятно, расстаться со своим блокнотом для того, чтобы медленно и трудно, с помощью словаря читать и сравнивать эти разноречивые сообщения, ему было жалко времени. Вспомнив, что я знаю языки, он спросил, не соглашусь ли я перечесть хотя бы часть газет и рассказать ему, что в них есть. Я с восторгом, с такой радостью, что у меня в ушах загудело, не то что согласился, а схватился за такую почетную работу.

С этого дня я перечитывал с восьми до десяти часов утра по шесть — восемь газет, сопоставлял прочитанное и к десяти часам, когда Константин Сергеевич кончал свой первый завтрак, приходил к нему и подробно, с цитатами, с демонстрацией карт военных действий, докладывал ему о всех событиях в Европе и мире. Обычно я уже в 9.45 стоял у дверей его номера, и когда коридорный официант по его звонку входил к нему за посудой от завтрака, я проникал в его спальню и, поцеловавшись с ним, спросив, как он спал, и сообщив, как спали мои папа́ и ма́ма, как он их называл, приступал к докладу. Сначала это было по мере сил объективное изложение прочитанного в газетах, потом я обнаглел и начал излагать свои собственные соображения, сопоставления и даже (о, нахальство!) прогнозы развития событий. Это может показаться хвастовством, но это действительно было так: Константин Сергеевич спорил со мной иногда, но по большей части он соглашался со мной в беседах, и даже споря с другими, взрослыми людьми, с полной убежденностью ссылался на мой авторитет. Над этим смеялись и пожимали плечами, видели в этом чудачество. Я слышал эти разговоры и, гордясь доверием моего божества, мучился тем, что являюсь причиной падения его авторитета... Сказать об этом ему, попросить его не ссылаться на меня, чтобы не ставить себя в смешное положение, я не мог — стыдно было. И вот так, гордясь и страдая, я прожил эти недели. Когда Константин Сергеевич стал выходить, мы шли с ним в парк, и я там излагал ему свои соображения и сообщал о результатах изучения прессы.

В этом же пансионе жил молодой человек, кажется, племянник доктора Членова; он как-то застал нас за разработкой планов предполагаемого нами прорыва русской армии от Лодзи к Данцигу и окружения немцев в Восточной Пруссии. Он, думая, что Константин Сергеевич за-

бавляется со мной, как с ребенком, начал в этом же ключе расспрашивать меня и поддакивать мне так, чтобы рассмешить Константина Сергеевича, думаю, что он даже подмигивал Константину Сергеевичу, указывая на меня. Неожиданно Константин Сергеевич рассвирепел, обидевшись за меня, и со всей мощью своего темперамента обрушился на ничего не понимавшего благовоспитанного и очень образованного молодого человека. Очевидно, такое отношение ко мне рикошетом унижало его, раз он мне верил и принимал меня всерьез. В дальнейшем у Константина Сергеевича было несколько столкновений-споров с этим молодым человеком.

Один из споров я помню. Константин Сергеевич утверждал необходимость полного разграничения культуры и цивилизации. Цивилизация в той форме, в какой она проникает в народ, особенно в России, несет с собой гибель истинной, глубоко народной культуры. Она губит нравственность, уничтожает этические и эстетические критерии, издревле присущие народу. Он утверждал, что от народного праздника масленицы или дня Ивана Купалы к Высокому Театру путь прямее и ближе, чем через фабричную или помещичью любительщину; от хоровода и игриш «А мы просо сеяли, сеяли...» ближе к балету, чем от «кадрели»; от старой русской песни — к опере, чем от частушек... Народный костюм, такой разнообразный по губерниям и народностям, прекрасен; «спинжаки», кофты и платья из дешевых ситцев — уродство... Вероятно, в этих утверждениях была наивность, были они слабы и с точки зрения политико-экономической и исторической, было тут и влияние Толстого — Сулера, была и тоска по родине, и раздражение от надоевшего европейского городского мещанства, да еще так грубо проявившего себя в милитаризме немцев — культуртрегеров и знаменосцев цивилизации... Не знаю, но тогда мне казалось, что он мудр и прав незыблемо и неопровержимо, что сомнения в истинности его утверждений для человека честного и мыслящего невозможны. Но, к моему ужасу, спокойно, логично и методично, систематически оглупляя и отстраняя тезисы Константина Сергеевича, наш с ним противник не оставлял от положений Константина Сергеевича камня на камне. В общем, он по методу *deductio ad absurdum* загногнал Константина Сергеевича в совершенный тупик, доказал полную несостоятельность его утверждений, наивность и утопичность его воззрений... Я был подавлен поражением моего кумира.

Ночами и во время одиноких прогулок я придумывал доводы, которые я мог бы подсказать Константину Сергеевичу, чтобы он разгромил и уничтожил своего противника.

Все случайно застрявшие в Швейцарии русские путешественники, опомнившись и осмотревшись, начали тем или иным способом пробираться на родину. Одни ехали во Францию, чтобы через Англию, Норвегию и Швецию попасть в Торнио (русско-шведская граница в Финляндии); другие, которым трудно было получить все эти транзитные визы, устраивались на русские пароходы, которые война застала во Франции и Италии, путь которых домой шел вокруг всей Северной Европы в Архангельск (путь через не воевавшую еще, но враждебную русским Турцию был этим пароходам закрыт); третьи пробирались через Италию в Грецию, Болгарию и Румынию (они еще были нейтральны).

Нашей компании предстояло решить этот вопрос и выбрать путь. Решение зависело от Константина Сергеевича — возвращаться без него и вообще дробиться не хотели. Кроме чувств любви и дружбы, были еще (для части нашей компании) соображения чисто практические: Константин Сергеевич имел несравнимо больший вес в мире, чем все остальные, вместе взятые.

Добиться решения от Константина Сергеевича было очень трудно. Травмированный пережитым в Баварии, он не мог преодолеть страха, почти паники, возникающих в нем при одной мысли о возможности плена или даже положения зависимости, подчиненности грубой, враждебной вооруженной силе...

Инициативу как в изыскании путей репатриации, так и в уговаривании Константина Сергеевича пойти по найденному пути взял на себя Н. А. Подгорный. Задача его, особенно во второй части, оказалась безумно трудной. Способ добраться до России был найден самый лучший: из Марселя в первых числах сентября отходил в Одессу пароход французского общества «Messagerie Maritime». Билеты первого класса с полным питанием в пути нам согласились продать в кредит, с оплатой по прибытии в Одессу. Добраться до Марселя было сравнительно просто: дорогу до Женевы оплачивал (в долг, конечно) доктор Членов, от Женевы до Марселя билеты нам обещала купить Эрнестина (бывшая гувернантка Станиславских). Надо было только доказать Константину Сергеевичу полную безопасность морского перехода и, главное, что турки (которых, очевидно, еще по воспоминаниям детства он до ужаса боялся) еще в войну не вступили и не скоро вступят.

Как-то раз, когда Николай Афанасьевич сослался на С. В. Халютину, которая не побоялась вдвоем с дочкой-девочкой отправиться в гораздо более сложное путешествие через балканские государства, Константин Сергеевич возразил ему: «А почему вы знаете, что она не сидит сейчас где-нибудь в Константинополе с фиговым листом и не просит милостыню?» Возражать против этого было трудно — сообщения о приезде в Москву ни от кого из уехавших не поступило. Николай Афанасьевич изобретал такие сообщения, якобы слышанные им от «одних знакомых, которые получили известия», но Константин Сергеевич разговорам не верил, а показать ему письма или телеграммы нельзя было. И почта, и прямая телеграфная связь с Россией были нарушены.

Теперь Подгорный по утрам караулил меня, чтобы структурировать, о чем говорить и, главное, о чем нельзя говорить Константину Сергеевичу. Темой абсолютного запрещения были действия немецких крейсеров «Гебен» и «Бреслау», прорвавшихся в Мраморное море от гнавшихся за ними английских кораблей. Нельзя было касаться вообще действий флота в Средиземном море.

Вопрос об отношении Турции к странам Согласия был запрещен. Заметки о минах не пропускались «цензурой». Сообщения о чуме, холере, дизентерии в портовых городах Средиземного моря не должны были попасть к Константину Сергеевичу, даже если эти города не лежали на нашем пути («А если нас туда буря занесет?»).

Я подчинялся Николаю Афанасьевичу и если не врал, то во всяком случае молчал о том, что могло напугать Константина Сергеевича или повлиять на его решение.

Решающим, мне кажется, явилось сложившееся у нас с ним убеждение, что если немцы не посчитались с нейтралитетом Бельгии и, грубо нарушив его, вышли правым флангом в Северную Францию, они в ближайшее время нарушат нейтралитет Швейцарии, чтобы выйти левым флангом в Прованс и отрезать Францию от Средиземного моря.

У меня долго хранилась вырезанная из газеты карта Европы, на которой рукой Константина Сергеевича были обозначены пути, по которым германская армия будет прорываться через Швейцарию. Выходило, что бои развернутся где-то в нашем районе. Это было страшнее «Гебена», холеры и турецких зверств. Константин Сергеевич запретил мне говорить об этом варианте развития военных действий кому бы то ни было («Зачем пугать людей зря») и сразу же из успокаиваемого и опе-

каемого превратился в успокаивающего — ведь самое страшное знал только он (я не в счет) и таил его от более слабых и пугливых. Такая перемена в его психике сыграла большую роль в нашем путешествии: вместо того, чтобы прибыть в Марсель в день отплытия или за день до него, мы, подгоняемые Константином Сергеевичем, приехали туда за четыре дня. Это было бы неплохо, если бы не проклятый денежный вопрос. Правда, в связи с войной туризм прекратился и цены в гостиницах и ресторанах Франции очень упали, так что терпевшие убытки хозяева были рады всяким гостям и разрывали нас на части, предлагая огромные скидки.

Путешествие от Берна до Женевы я, очевидно, проспал — ничего не помню. Женеву помню — что очень красивый, чистый, элегантный город, ярко-синее озеро перед зелеными и белыми вершинами гор.

Приветливая Эрнестина и ее семья. Бодрый, подтянутый, с напряженными (видимо) нервами Константин Сергеевич, и сладкое, пряное чувство тайны между нами. По Женеве проходили швейцарские воинские части — он делал «гм-гм» и показывал мне на них: подтверждение наших догадок. В наш вагон набилось много молодых людей с мешками: «мобилизация» — еще подтверждение. Мосты и туннели охраняются солдатами — опять по-нашему выходит... Но — молчок, пока не выедем из Швейцарии, не надо сеять паники...

От Лиона до Марселя ехали в третьем классе, сидя. Спутники менялись почти на каждой станции. Ехало много солдат — запасных, все маленькие, тощие, заросшие, небритые... Разговоры панические. Париж вот-вот возьмут. наших, то есть французов, убивают, как фазанов, из-за этих идиотских красных штанов и синих капотов, тогда как немцы все в сером, их и не видно. Настроение паническое и безнадежное, надежда только на африканцев да на русских («Почему они так долго не придут?» — географию никто не знает). Узнав, что мы русские, все становилось очень сердечными, угощали вином из бутылок; наши, чтобы не обидеть, прикладывались к горлышкам, но пить боялись.

Какой-то пожилой крестьянин, уже недалеко от Марселя, войдя в вагон, сел на пол, размотал мешок, вынул из него оковалок копченого сала, головку чеснока, кусок хлеба и бутылку вина. Он с такой грацией отрезал большим складным ножом шматочек сала и куски хлеба, складывал их, потеряв предварительно чесночком, и отправлял в рот и долго, вкусно жевал, запивая вином, что Константин Сергеевич залюбовался им, и я заметил, что он бессознательно повторяет его движения. Массалитинов сказал: «Французский Платон Каратаев», но Константин Сергеевич не реагировал, он продолжал со вкусом смотреть на крестьянина. До него либо не дошло замечание Массалитинова, либо он не согласился с ним. Вернее же, он просто не любил ссылок на литературу, его восприятие людей и обстоятельств было свежее и индивидуальнее, ему не нужны были повторы, ссылки на увиденное уже другим, хотя бы и гением, ему было дорого свое, непосредственное. Я думаю, что это (нелюбовь к ссылкам на уже кем-то наблюденное, на уже бывшее, созданное в любом виде искусства) свойственно всем истинным гениям — поэтам, художникам... (Хотел сказать «режиссерам», но ведь о Станиславском не скажешь «режиссер». Скажу просто: Станиславским.)

Марсель кипел, толпы людей на Каннебьер (главная улица) не расходились до глубокой ночи. Они как-то непрерывно пенились и вскипали, оседали и опять вскипали. То с восторгом вопили, бурлили, почти плясали, приветствуя арабскую конницу из Алжира, то ревели: «А тог!» («Смерть!»), несясь вслед за экипажами, в которых провозили пленных немецких офицеров. Их возили, очевидно, для поднятия настроения этих толп.

На другой день после приезда Николай Афанасьевич взял меня с собой в порт — посмотреть на «Equateur», который стоял там под погрузкой угля. Пароход нам показался маленьким и каким-то немощным по сравнению с рекламируемыми в разных проспектах бюро путешествий океанскими пароходами. Николай Афанасьевич откуда-то взял (может быть, и выдумал), что он трехтрубный, и рассказал об этом Константину Сергеевичу, и вдруг у парохода оказалась всего одна труба. Мне приказано было молчать о количестве труб. Надеялись, что Константин Сергеевич не спросит. А он спросил. Николай Афанасьевич вынужден был сказать, что труба всего одна, но зато «во-от какая» огромная. Николай Афанасьевич пытался успокоить Константина Сергеевича, шеголяя непонятными и Константину Сергеевичу и ему самому словами: «регистраемыми тоннами водоизмещения», «узлами хода», «лошадиными силами машины», «атмосферами котла» и т. д., — но Константин Сергеевич замрачнел совсем. Вариант «прорыв через Швейцарию» на юге Франции уже не действовал, и опять всплыли страхи морского перехода: от взрыва на mine, потопления немецкой подлодкой, кораблекрушения, пожара на борту, эпидемии, пленения янычарами до простой морской болезни...

До минуты подъема якоря Николай Афанасьевич не был спокоен, а когда отплыли, он заболел сам и почти до Смирны пролежал в каюте.

Плаванье было на редкость благополучным, первая и последняя качка была где-то у берегов Корсики, а потом до самой Одессы была дивная погода. Свои обязанности по осведомлению Константина Сергеевича я исполнял теперь в очень сокращенном виде: в двенадцать часов дня я заходил к пароходному радисту, с которым у меня сложились очень хорошие отношения, и получал от него сводку радиосообщений и координаты нашего местонахождения; с этими сведениями я заходил в каюту Константина Сергеевича, из которой он до второго завтрака никогда не выходил, и сообщал ему все, что знал от радиста и что слышал от команды.

Мы почти целый день стояли в порту острова Мальта. На берег никого не спустили, и все пассажиры висели на поручнях, рассматривая город Ла-Валлетта.

У самых стен парохода плавали и ныряли бронзовые черноголовые мальчишки, выпрашивая деньги, которые им бросали в море, — они ныряли за монетками, исчезая из глаз в многометровой лиловой глубине, и через минуту-полторы напряженного ожидания обнаруживались где-то очень глубоко и выныривали, держа монетку в зубах. Страшная игра собирала все больше и больше зрителей, вышел и Константин Сергеевич, но после первого же нырка, дождавшись появления маленького водолаза, держась за сердце и за горло, Константин Сергеевич грозным, трескучим от гнева голосом крикнул: «Стыдно, господа, вы же не римляне в цирке!» — и ушел. Почти все пассажиры были русские, многие смутились, другие рассмеялись... Но деньги бросать перестали. Тогда один из младших офицеров, француз, понявший по выражению и интонации, что сказал Константин Сергеевич, снял фуражку, обошел всех пассажиров, собрал насыпанные в его фуражку деньги, спустился в шлюпку, крикнул что-то мальчишкам. Они вплавь собрались вокруг его шлюпки, и он прямо в руки роздал им все собранное... Мальчишки вылезли на берег и прокричали «ура» в честь Франции и в честь России. Офицер, видимо, объяснил им, кто пассажиры этого французского парохода.

Константин Сергеевич, когда узнал о том, каким образом этот офицер восполнил и довел до разумного конца его справедливое по праведному гневу, но грозившее ущербом нищим мальчишкам выступление, подарил ему свою карточку с хорошей надписью.

На Мальте, конечно, стояли корабли британского военного флота, но мы их не заметили. Вообще войну на море мы почувствовали в первый раз уже в Эгейском море.

В тихий солнечный день нас вдруг окружили три или четыре миноносца, мы остановились (при этом пароход сразу начало покачивать); с одного миноносца спустили шлюпку, она быстро подошла к нам, спустился трап, и по нему быстро взбежали два офицера и два матроса с винтовками. Остальные матросы, положив весла, все оказались с винтовками в руках, часть сидела, часть стояла вдоль трапа. Один матрос стал у радиорубки, другой — у штурвала. Офицеры прошли к капитану. Наши пассажиры, особенно дамы, с восторгом разглядывали загорелых гигантов красавцев, какими были все до одного матросы. Улыбались им, махали платками, чуть не посылали поцелуи; кто-то произносил какие-то английские слова, приветствия и т. п. С ожиданием встречных восторгов сообщали, что мы *russian* (русские), но ни один из матросов не улынулся. Они сохраняли какую-то пугающую мрачную серьезность. Иногда тихо переговаривались между собой, но полностью игнорировали пассажиров и команду, вели себя так, как будто на пароходе вообще никого не было. Наши были в недоумении после бурной реакции французов, и штатских и военных, при выяснении, что перед ними русские, поведение матросов казалось непонятным, даже унижительным. Вдруг кто-то сказал: «Господа, а может быть, это немцы?» И тут началась паника — за несколько секунд палуба опустела, с нее, как волной, смыло всех *russian*'ов; французы поняли, вернее, догадались о причине паники, и многие захотали, но англичане (так как это были все-таки англичане) не пошевелились. Ничего не отразилось на их лицах, как будто палуба была пуста с самого начала.

Мой приятель радист сказал мне потом: «Не удивляйтесь, они все такие, особенно во флоте, особенно в состоянии боевой тревоги. Я как француз этого не понимаю. По-моему, это признак трусости. Храбрый идет на смерть весело».

До сих пор помню, как противно было смотреть на этих не улыбающихся, когда они так и покинули пароход без слова шутки, без улыбки, корректно откозыряв только провожавшему их до трапа капитану.

В Афинах, вернее, в Пирее, нас не выпустили на берег. Это было досадно, так как очень хотелось вблизи посмотреть на Парфенон, на остатки кариатид, на синем небе так заманчиво белел Акрополь... Но ничего нельзя было сделать — Смирна предупредила, что если пароход пристанет в Пирее и спустит там пассажиров, то ни один турецкий порт не пустит его к себе и, главное, не позволит пополнить запасы угля, так как в Греции якобы холера. Так мы и не попали в Афины, простояв три-четыре часа на рейде Пирея, чтобы сдать там почту и какие-то грузы, которые с трудом приняли на баркасы, даже не пришвартованные, а только подведенные к нашему борту. За соблюдением этого следил турецкий консул, плававший вокруг нашего парохода на моторной лодке.

Один из наших матросов ловко запустил ему в ухо пустым яйцом, наполненным чем-то рыжим и вонючим. Им тоже хотелось на берег, и они злились на турок.

В Смирне высадка была разрешена, но без поездки в город, а в порту, кроме рахат-лукума и фесок, ничего интересного не было. Радист накормил меня рахат-лукумом так, что я заболел и не мог сойти в Константинополь. Наши все, кроме Константина Сергеевича и Марии Петровны, высаживались и осматривали Айя-Софию, еще какую-то мечеть, стамбульский базар и какие-то не то сады, не то кладбища.

Константин Сергеевич сидел в кресле на палубе, смотрел на Золотой Рог и волновался за всех, кто сошел на берег. Напугал и меня до

того, что я пошел реветь в каюту, представляя себе, как моих стца и мать схватили янычары и собираются посадить на кол. Но все благополучно вернулись и рассказывали, что с ними все и везде были очень любезны.

К вечеру мы вышли из Константинополя и вошли в Босфор. Через один час хода, когда мы уже видели впереди родное Черное море, раздался пушечный выстрел из одного из портов — это был сигнал, но какая-то пяти- или шестилетняя девочка громко и отчетливо произнесла: «Не попали» — и эта фраза оказалась достаточной, чтобы вызвать десятки истерических воплей и рыданий. Уж очень все были напряжены: ведь всего через полчаса нас встретит русский флот, о котором мы знали, что он патрулирует у берегов Турции, опасаясь выхода «Гебена» и «Бреслау», а тут!..

Когда мы вышли в море и от нас отвалил лоцманский катер, пошел дождь, и нас стало немного покачивать, но все пассажиры вышли к столу, а после обеда долго не расходились с палубы, всматриваясь в темноту.

Среди ночи мать увидела луч прожектора, скользивший по иллюминатору и осветивший нашу каюту, она разбудила меня, и мы пошли на палубу. На ней были уже почти все пассажиры. Палуба освещалась то с одной, то с другой стороны вращающимися прожекторами, которые выхватывали из черной беззвездной тьмы силуэты двух русских эсминцев, встретивших и провожавших нас до утра. За день мы встретили еще несколько русских военных кораблей, торговых пароходов и рыболовных шхун.

Настроение было торжественное и радостно-приподнятое. К ночи — при подходе к Одессе — мы были встречены мощным прожектором с броненосца «Святой Евстафий» (кажется), который приказал нам остановиться и ночевать на внешнем рейде. С броненосца отвалил катер и подошел к нам, по трапу взбежал молодой, элегантный в своей белоснежной форме лейтенант и, переговорив на отличном английском языке с капитаном, вошел в кают-компанию первого класса, в которую моментально набились все пассажиры и команда, и ясным, звонким барственно-русским голосом заговорил: «Поздравляю вас, господа, с прибытием на родину, от имени командующего Черноморским флотом и начальника Одесского военного округа выражаю благодарность пароходному обществу, капитану парохода такому-то и всему экипажу за то, что они благополучно доставили вас всех и еще чрезвычайно ценные грузы, необходимые для победы над общим врагом. Вас всех, господа, я поздравляю еще и со славной победой: после некоторого затишья наши войска перешли в новое наступление и вчера взяли в Галиции город Ярослав. Ура!» Мы орали, вопили, ревели «ура». Константин Сергеевич закричал: «Шампанского! Дюжину!» — все заказывали еще и еще шампанского, пели «Боже, царя храни», «Марсельезу», «Боже, храни кося».

Константин Сергеевич раскрывал рот во всю ширь и пел какие-то непонятные слова — он не знал слов этих гимнов. Под крики «ура» лейтенант отплыл к себе на броненосец, а мы долго стояли на палубе, всматриваясь в огни Одессы, и так крепко, так сладко любили родину, Россию, могучую, ласковую, прекрасную нашу Россию, лучшую страну в мире. Константин Сергеевич тоже долго не ложился, и в пальто с поднятым воротником и кепочке сидел на скамье и смотрел в сторону Одессы. Он долго что-то напевал про себя так, как будто около него никого нет, потом запел почти в полный голос «Марсельезу». Оглянулся, понял, что он не один, сконфуженно засмеялся и заговорил о гимнах. Единственный гимн, который имеет право быть национальным гимном, все-

народной песней страны, это «Марсельеза» — она и по словам, и по мелодии, и по гармонии, и по ритмам и темпу, в котором поется, выражает дух и характер народа, его темперамент, пафос... Она, как и народ, ее создавший и ею теперь ведомый, легка, бравурна, патетична и высока по накалу страсти... Она свойственна именно и только этому народу. Она звучит глухо и фальшиво, когда ее поют на другом языке и не французские рты, — он пропел нарочито лениво, как-то вразвалку: «Вставай, подымайся рабо-о-очий народ!», и испуганно оглянулся, засмеялся над своим страхом и после большой паузы продолжал; говорил о русском гимне, что он не народен, слишком параден, выпретен, ложноклассичен и холоден, в нем нет главного качества русского народа и русской культуры — простоты, искренности, широты, доброты и силы. Он надут, важен и пуст, а народ скромнен и насыщен большими, но тихими чувствами. Надо было бы, чтобы такие композиторы, как Чайковский, Мусоргский, сочинили нам наш русский народный гимн. А пока уж лучше петь «Коль славен наш господь в Сионе» — и он почти в полный голос запел это...

Ненадолго разошлись поспать и собрать вещи, и с рассветом все были уже на палубе. Быстро, пока «Экватор» вводили в порт, прошли все таможенные формальности и проверку паспортов; о нашем приезде уже знали, и на пристани нас ждали толпы встречающих. Масса веселых старичков-носильщиков вбежала на борт парохода, и с типично одесскими остротами и шутками они расхватили наши чемоданы.

В Одессе не ночевали даже, в этот же вечер, после роскошного обеда в гостинице «Лондонская», мы сели в два вагона-«микст», специально прицепленных для москвичей и петербуржцев (вернее, петроградцев — в их отсутствие город был переименован).

Дорога была быстрой и веселой. От Киева в нашем вагоне ехали два офицера с фронта. Они рассказывали о полном, сравнительно легком разгроме австро-венгерской армии, о том, что все австрийские солдаты — славяне (чехи, хорваты, словенцы, словаки, русины и даже поляки), не желают воевать и целыми ротами идут в плен, а иногда даже переходят на нашу сторону. Уверенность в своем, русском превосходстве, вера в победу, спокойная убежденность в правоте нашего дела — как это было радостно ощущать, как разительно противоположно это было светливой, шумной, напуганной, лишенной веры в себя, крикливой «воинственности» толп в Марселе и угнетенности, забитости французских солдат, наших спутников в путешествии Лион — Марсель. Да, наша родина непобедима, она лучшая в мире.

В таких настроениях мы приехали в осеннюю, оранжево-красную и желто-голубую, златоглавую, звонкую Москву.

В годы войны я совсем отделился от театра. С Константином Сергеевичем. кроме встреч на генеральных, когда он всегда серьезно спрашивал: «Ну, как тебе нравится?» — а я бормотал что-то несвязное, и он, видя мои страдания от застенчивости, на продолжении «разговора» не настаивал, никакого общения не было. Жил я гимназией и войной.

Василий Иванович писал в дневнике: «Огорчает отвратительный милитаризм Димки». Его просто пугала, удручала моя неразвитость, инфантильность — мы с моим другом Вале́й Мицкевичем, который жил у нас в семье, до пятнадцати-шестнадцатилетнего возраста играли в солдатики. Для этого ездили в Сокольники, строили там траншеи, окопы, ходы сообщения, блиндажи, устанавливали батареи и т. д. и вели военные действия. Солдатами были фигурки из игры «Хальма-Экка», к которым мы научились сами делать добавочные пешки. Каждый день

начинался с перестановки флажков на огромной карте фронтов европейской войны.

Василий Иванович пытался отвлечь меня от этого, заинтересовать поэзией, искусством, но что бы я ни читал, о чем бы ни слышал — во всем я ухитрялся сосредоточиться на военном. Читая «Войну и мир», я нарисовал точный план Шенграбенского сражения — рассчитал дальность полета снарядов тушинской батареи, злился на толстовские неточности в количестве орудийной прислуги, лошадей и т. д. А вот Курагиных путал с Карагиными, Бориса путал с Бергом, Анатоля с Ипполитом и т. д. Разрабатывал очень подробный и точный план десанта вблизи Босфора, чтобы овладеть Константинополем раньше, чем англичане прорвутся через Дарданеллы. Мог без запинки ответить на любой вопрос о количестве штыков в дивизии и корпусе любой из воюющих армий, но никак не мог усвоить разницы между художниками «Мира искусства» и «передвижниками» и кто из них куда входит. Пытался читать журнал «Аполлон», но ничего не понял и бросил.

Василия Ивановича мой милитаризм огорчал потому, что сам он очень скоро после начала войны возненавидел ее остро и непримиримо. Когда в 1916 году его призывали, он вернулся с призывного пункта (его освободили по глазам и по связям, конечно) совершенно больным от грубости и серости призывавшихся и, главное, призывавших. Офицеры, воинские начальники, военврачи, которые к нему лично (его, конечно, узнали) были по-своему любезны, были так невыносимо, нечеловечески надменны с остальными, были так пропитаны (как воздух в казармах пропитан особой вонью) особым военным хамством «тыканья» каждого сверху вниз и вытягивания и шелканья каблуками снизу вверх, так глупы и уверены в собственном остроумии — одним словом, так удручающе отвратительны, что Василий Иванович пришел в какое-то паническое состояние ужаса. «Ведь это же распространяется, как эпидемия, ведь такими делаются каждый день все новые и новые сотни тысяч людей», — говорил он. Ему казалось, что по-офицерски начинают разговаривать все «господа», а им по-холоуйски отвечают все «простые». Даже в театре ему слышалось что-то новое и скверное в тоне обращения актеров к обслуживающим и в ответах тех. Это его мучило и оскорбляло очень, но гораздо больше его терзала постоянная мысль о развороченных телах, об убийствах, о смерти одних по приказу других.

Василий Иванович любил Россию, считал нас в чем-то очень важным лучше других, добрее, скромнее, способнее к пониманию чужого по крови и общественному положению. Как-то мы с ним ехали на извозчике к Савеловскому вокзалу и поравнялись с медленно идущим санитарным трамваем, на котором везли раненых и больных военнопленных. В моторном вагоне сидели и стояли легко раненные, «ходячие», а в прицепе помещались лежачие. На задней площадке полулежал бледный до зелени молодой австриец. Вдруг нашего извозчика обогнала какая-то хромая, нищенски одетая старуха, догнала медленно двигавшийся (был уличный затор) трамвай и сунула пленному белую булку. Тот благодарно улыбнулся и слабо-слабо кивнул ей. Трамвай пошел быстрее, мы ехали рядом, австриец нежно и мечтательно улыбался, держа на животе булку. «Вот какие у нас люди, это не Марсель, помнишь?» Я понял: я тоже помнил ревушую толпу, бросавшую камни в машины с пленными немцами. «Смерть им» («А погі»), врагу, там — и хлеб врагу здесь.

Василий Иванович всю жизнь помнил эту сцену и утешался ею в самые мрачные минуты российской действительности. И не только старухой, а и всей уличной толпой, одобрительно смотревшей на ее благотворение, и нашим извозчиком, придержавшим лошадь с ласковым

«проходи, мамаша». «Это непатриотично», — сказали бы в Германии, Франции, Англии...

Василий Иванович часто стал говорить о том, что война убивает вот такое, что есть в поступке старухи. «За что же умирают люди? Ведь не за это, не за доброе, а за то, чтобы доброе уничтожить». Стал часто говорить о пропаганде войны, убийства... Он говорил о том, что Эфрос, милый, добрый, нежный Эфрос, шлет людей в мясорубку — ведь он член редакции «Русских ведомостей», член партии конституционных демократов, а они призывают к войне за проливы; Кишкин — добрый, хороший врач, он вылечит сто человек, а пошлет на смерть тысячу (Кишкин тоже был членом кадетской партии). Воевать за то, чтобы в титул «император всея России, царь Польский, великий князь Финляндский» прибавилось еще «царь Персидский», «великий князь Богемский» и «господин Цареградский» и прочая и прочая... Или, наоборот, за то, чтобы в «титуле» сохранились имеющиеся там «владения», да пускай этот «титул» сократится хоть до «царя Казанского» — от этого Россия не перестанет быть прекрасной. И чем меньше русских превратится в трупы или в обрубки, тем больше будет русских, счастливых тем, что они русские, живут в чудной стране, а страна останется чудной, кто бы в ней ни царствовал!

Году в 1916-м, зимой, мы все трое — отец, мать и я — возвращались около часу ночи из Второй студии (из Милютинского переулка). На углу Камергерского и Б. Дмитровки стоял трамвайный поезд из трех грузовых платформ. Его грузили какими-то странными предметами. Мы подошли ближе; солдаты снимали с подвод голые трупы и, как дрова, складывали их на платформах трамвая. Первый, моторный, был уже нагружен вровень с будкой управления, остальные нагружались; подводы подходили с двух сторон длинной вереницей. До середины Камергерского мы шли вдоль этого обоза. По большей части это были трупы безруких и безногих. Это было еще страшнее: люди мучились не только умирая, но и раньше, когда их оперировали, и еще раньше, когда их везли раненных, и еще раньше, когда их ранили, и еще раньше, когда их гнали на войну. «Что ж, нравится? — спросил отец. — Вот твоя война, ты же хочешь изготовлять такие трупы. Отличная профессия!» Он несколько дней был под этим страшным впечатлением и с омерзением смотрел на мой музей трофеев: немецкий штык, австрийская сабля, шрапнельные стаканы, шанцевый инструмент, каски, обоймы и т. д., которые я развесил на стене и расставил на полке. Поколебать мое решение стать офицером (я мечтал о гардемаринских классах, чтобы стать военным моряком) отец не мог. Это его огорчало. Воспитанник Сулера, бывший «интимный друг и поверенный Константина Сергеевича», не говоря уже о его, отца, тихих, осторожных, но постоянных внушениях, — и почему-то упрямо хочет идти по стопам «самого глупого в нашей семье» — Эразма.

Пока это не касалось меня, Василий Иванович и к военной службе вообще, и к самому Эразму в частности относился вполне терпимо, с удовольствием рассказывал военные «генеральские» анекдоты, знал все знаки различия, формы, ордена и т. д., но теперь, когда война истерзала страну и грозила ворваться в его семью, он все это возненавидел глубоко и постоянной ненавистью. Василий Иванович не хотел оказывать никакого давления на мой выбор пути в жизни. Только не военным, а в остальном — что угодно.

Никаких талантов у меня не было. В этом он не заблуждался, но он совсем не считал, что так необходимо быть одаренным в какой-нибудь определенной области. Он очень любил людей обыкновенных профессий: врачей, юристов, торговых служащих, инженеров; у него не было кастового чувства людей искусства... Поэтому моя бесталанность его не огорчала и не пугала — он был уверен, что чем бы я ни стал, я сумею

честно работать и находить в этом счастье. Только бы не военный флот, не военное училище. Как-то раз он с редкой для него злобой сказал, что не видит никакой разницы между гардемаринским классом и юнкерским училищем: «Ну что же, поступай в военное училище, раз тебя к этому так тянет. Осрами нас с матерью». Где-то в душе он не верил в серьезность моих стремлений, надеялся, что это детскость и с годами она уйдет...

Революция

Февральскую революцию Василий Иванович воспринял прежде всего как близкий конец войне. Это совершенно противоречило восприятию революции всей «компанией» — она вся, да и другие вокруг считали, что революция и сделана-то была Думой и «Союзом земств и городов» для того, чтобы лучше воевать и вернее разбить немцев и завладеть проливами, Константинополем, турецкой Арменией («с выходом к Средиземному морю в Александретте», как говорил А. К. Дживилегов, мечтавший о Великой Армении в составе Русской республики).

Эфрос полушутя-полусерьезно упрекал меня за то, что я, такой правоверный кадет, допускаю такое большевизанствующее пораженчество в своей семье. Ничего общего с большевизмом антимилитаризм и пацифизм отца не имели. Он охотно и радостно принимал призыв большевиков «Долой войну!», но далек был от лозунга превращения войны в гражданскую... Когда летом 17-го года я плясал от радости, читая в «Русском слове» сообщение с фронта о переходе революционной русской армии в наступление (это было короткое и бесславное наступление 18 июня), он с презрением и горем смотрел на меня и вышвырнул все газеты, пестревшие ликующими заголовками.

Кончилось лето 1917 года. Много было споров о корниловщине, о Керенском, большевиках, грядущем чужестранном диктаторе — организаторе порядка. Василию Ивановичу ближе всего была позиция «Новой жизни» — газеты меньшевиков-интернационалистов. Он хотел мира хотя бы ценой национальных унижений — «все это так неважно, так преходяще, так забвенно». А. А. Сольц как-то сказал ему: «Мы, большевики, не престижны, мы выше этого, умнее. Престиж — для дураков». Это «мы не престижны» Василий Иванович одно время повторял очень часто и по разным поводам, всегда, когда хотел показать, что выше мелкого самолюбия, гонора, «фасона»... Верил в Учредительное собрание. Когда выбирал в него, в городскую и районную Думы, голосовал за меньшевиков-интернационалистов. К большевикам его продолжало привлекать их стремление к окончанию войны хотя бы и ценой потерь — и территориальных и моральных.

В кругах, близких к нашему, все больше теряли веру в то, что порядок в стране наладится без прихода «чужеземцев», и ждали этих чужеземцев. Одни (близкие к дофевральскому строю) надеялись на немцев, другие (огромное большинство) — на «союзников». Даже верившие, что все решит Учредительное собрание, считали, что провести эти решения в жизнь без дисциплинирующего вмешательства извне не удастся. Уж очень молниеносно из месяца в месяц и изо дня в день разлагалась дисциплина в государстве. Распадалось самое государство — организующей силы, власти не стало: кто-то по инерции еще что-то делал, но каждый знал, что может и ничего не делать, а кое-кто уже начинал понимать, что «все дозволено, и шабаш». Становилось страшно. Василий Иванович упорно, тихо, без деклараций, стараясь ни с кем не спорить, верил и ждал, что все образуется само собой, без сторон-

них вмешательств, которых не хотел и боялся главным образом из-за неизбежного при них кровопролития.

В это время начались самосуды, Василий Иванович два раза был свидетелем их. Один из них особенно угнетающе на него подействовал — били и убили насмерть трамвайного воришку-карманника. Его вытащили из трамвая и били головой об рельсы и булыжники. Трамвай стоял и дожидался своих занятых убийством пассажиров. Их (бьющих) было человек семь-восемь, по лицам и лексикону такая же шпана, как и казненный. Остальные пассажиры смотрели в окна, некоторые плакали, но никто не посмел вмешаться — очень страшны были инициаторы... По тому, как, с молчаливой ненавистью, весь трамвай никак не принимал, не поддерживал острот и хамского бахвальства палачей, когда они с веселыми шуточками протолкались обратно в трамвай и разрешили испугавшемуся и бледному от ужаса водителю ехать, было ясно, как огромное большинство относится к этому убийству. Василий Иванович стоял на передней площадке, ему, видимо, стало дурно, потому что водитель, сам перевозмогавший дурноту, сказал ему: «Приляжись, товарищ, лбом к стеклу, а то вытошнись — легче станет». Рассказывая об этом случае, Василий Иванович убеждал себя и нас, что безобразничает горсть сволочи, но ведь они же сами друг друга перебьют, или их перестанут бояться, и тогда они будут безвредны.

Осень шла к октябрю. Во время уличных боев мы сидели дома, на Малой Никитской. Забегали соседи, мать почти каждый день под утро, часа в четыре-пять, пробиралась проходными дворами в Мамоновский переулок к Эфросам, чтобы узнать новости. Там в эти часы, очевидно самые покойные в смысле боев, не спали и принимали посетителей — обменивались слухами.

Телефон у нас не работал совсем, а у Эфросов иногда работал, тогда Н. Е. Эфрос «все узнавал» в «Русских ведомостях». Бои шли недалеко от нас — по Большой Никитской, от Кудринской площади к Никитским воротам наступали большевики. У Никитских ворот пылали сразу три больших дома, их подожгли артиллерийским огнем от Вдовьего дома (Кудринская площадь). Сидели со свечами, пекли оладьи из крупчатки, которую в панике распродал с черного хода хозяин бакалейной лавчонки в нашем доме. Пекли их на какао-масле (я ни до, ни после не видел и не слышал о таком масле), которое пахло слабительными свечами.

Одним ранним утром к нам прибежал друг моих родителей, художник, литератор, переводчик со всех европейских языков, театральный рецензент газеты «Утро России» Александр Арнольдович Кайранский. Он принес последние известия: на фронте полный перелом, большевики потеряли всякую популярность, наведен порядок, и в Петроград и на Москву направлены дисциплинированные, главным образом кавалерийские и автомобильные, части, так что большевики уже разбегаются, так как боятся, что их перехватывают и пересажают. Отец ни за что не хотел верить: «Типичная обывательская брехня. Что могло измениться на фронте, откуда вдруг взялись такие «благонадежные» части? Вранье. Нет такой силы, которая может теперь восстановить армию и заставить ее воевать, а значит, и Керенского никто не поддержит». На него махали руками.

На другой день заработал телефон, стали выходить газеты. Сведения Кайранского не подтвердились. Наоборот, и Москва и, главное, Петроград были в руках большевиков. На стенах появились декреты за подписью «солдат Муралов».

Вот так за спорами при поедании оладьев на какао-масле мы перешли в новую эпоху русской истории.

Начались занятия в гимназии, репетиции и спектакли в театре, все по внешнему виду было обычным. Прошедшая перемена не была заметна на поверхности жизни. Так же, как и до переворота, и в гимназии и в театре шли споры. Спорили главным образом о том, кто придет к власти после большевиков: левые эсеры, анархисты, а может быть, земская интеллигенция, учителя, врачи, молодое либеральное духовенство. Что большевики пришли к власти «всерьез», что они сумеют ее создать и осуществить, никто среди нас не верил.

В театрах, в редакциях, в издательствах большевиков еще не было. В нашей гимназии их оказалось очень много: дочь Инессы Арманд, сын Скворцова-Степанова, сыновья Шлихтера и еще несколько человек, в числе которых — воспитанный у нас в доме, выросший со мной как мой брат Валя Мицкевич. Его поселили у нас за несколько лет до революции, так как его отец С. И. Мицкевич (впоследствии директор Музея революции) многие годы, большую часть своей жизни, был на нелегальном положении. Мы жили с ним, как настоящие братья: вместе играли, гуляли, учились, ссорились, дрались и мирились.

Лето 1917 года нас разделило и рассорило напрочь: он был большевиком, обожавшим Ленина, я был «патриотом», считавшим большевиков «агентами Германии».

Зиму 1917/18 года мы и не разговаривали даже, а если участвовали в каких-нибудь спорах, то обращались один к другому только в третьем лице: «этот человек» или «он»... Но в гимназии это было не серьезно — все-таки мы были полудети, пятнадцать—шестнадцать лет.

...После революции у отца очень увеличилось количество концертных выступлений. До 17-го года у него бывало до семи-восьми концертов в сезон, и все благотворительные, то есть бесплатные для участников. Теперь он выступал по двенадцать—пятнадцать раз в месяц; были дни, когда он выступал в двух-трех концертах в вечер. Концерты эти все чаще и чаще (а в сезон 1918/19 года исключительно) оплачивались продуктами — мукой, пшеном, консервами и т. п.

Василий Иванович не только по необходимости, но и по любви к своему искусству почти никогда и ни от одного концерта не отказывался. Занят был очень много. Спрос на Качалова был большой. Но раз было много концертов — нужно было иметь большой репертуар. Надо было его готовить, тем более что часть его дореволюционного репертуара не годилась, во всяком случае не всегда годилась — солдатам, рабочим, новым студентам, провинциальной публике Подольска, Орехова, Иванова и т. д. Василий Иванович интенсивно работал. Много искал и учил нового и вспоминал и переделывал старое.

С большой грустью расстались мы в то время с некоторыми старыми друзьями. Так, в Киев, под крылышко к германскому командованию, увез Никита Балиев свой изящный, но уж очень несозвучный революции театр миниатюр. Балиев был не только, даже не главным образом директором, художественным руководителем, главным и почти единственным режиссером, полным хозяином своего театра, — он был конферансье — это было самым важным, самым решающим в его самоощущении в театре. И вот, хотя публика, наполнявшая подвал в доме Нирензее в Гнездиновском переулке, и очень хорошо принимала музыкальные и хореографические миниатюры, старинные водевили, скетчи, инсценировки, все же нужного, привычного резонанса балиевским конферансам эта публика дать не могла. Пришлось даже перестроить партер — убрать столы, за которыми до революции сидели, ели и пили гости театра, и поставить ряды стульев. Это сразу изменило весь стиль и тон театра. Выходя перед тобовым занавесом с апплицированными на нем из ярких шелков сатирами, менадами, масками, тирсами и т. д.,

Балиев не находил в зале привычных ему посетителей, которые могли и вступить с ним в острую полемику, и отпустить ядовитые замечания, и даже поставить его в смешное и нелепое положение неожиданным выпадом, но это был свой зритель, из одного круга; если это не был знакомый самого Никиты, то был знакомый, приятель его знакомых и приятелей. Серьезного подвоха от него ждать было нельзя...

Как-то в декабре 17-го года, когда появляться на улице в погонах стало невозможно, а расстаться с ними господам офицерам было очень тяжело и они прятали их под штатскими пальто и самыми «товарищескими» шинелями, Никита обратился к своим гостям с просьбой у него в театре погон не носить — «ведь не хотите же вы, господа, чтобы у меня были неприятности, вы же знаете, что «товарищи» погон терпеть не могут». И вдруг кто-то из публики спокойно и громко спросил: «А вам, товарищ Балиев, они приятны?» Никита растерялся, не знал, что ответить (а это с ним редко бывало), так как не мог догадаться, кто задал этот вопрос: «свой» — тогда это розыгрыш, кто-нибудь из «новых» — тогда это совсем серьезно. Конечно, не один этот случай, но ряд подобных, страх таких случаев, боязнь потери веры в себя (а это была катастрофа для конференсье, почти такая же, как для тореадора) заставили его бросить Москву. Она стала, как пелось в одном из его последних номеров: «Вот была Москва какая, сы-ы-тая да сонная, а теперь она другая — р-революционная!». Так вот в Москве революционной ему было неуютно, и он уехал в оккупированный немцами Киев.

Нам было тяжело расставаться с этим театром. Но я с горечью согласился со статьей в «Правде» (кажется), где с негодованием спрашивалось: «Неужели актеры бегут вместе с обслуживающими буржуа лакеями, портными и проституткой?» Это было обидно, но по отношению к «Летучей мышке» справедливо.

...Кончился трудный, тяжелый 18-й год. Начался еще более трудный 19-й.

Новый, 1919 год встречали у Станиславских. Было несколько бутылок шампанского и немного водки, вернее, разбавленного спирта. С едой в Москве было неважно. Даже к такому дню, даже у Станиславских основным блюдом был пирог из темной муки. Когда его съели, Мария Петровна сказала: «Ну вот, теперь я признаюсь: начинка пирога была из конины». Некоторые под вежливой улыбкой скрыли гримасу отвращения.

В других семьях нашего круга ели хуже, чем у Станиславских, но и у них Мария Петровна делила сахар сначала на месяц, потом на неделю вперед, и у каждого была своя коробочка для сахара.

У нас началась драма с собаками — их было две. Особенно много требовалось Ролланду — огромной доброй немецкой овчарке. Василий Иванович набивал карманы объедками бутербродов, которыми угощали иногда на концертах, рискуя прослыть Плюшкиным; я специально вызвался дежурить на кухне у нас в гимназии, чтобы собирать первые обмывки с тарелок. Но всего этого было мало. Пришлось отправить Ролланда в деревню, к родителям нашей прислуги. Джипси весной заболела и, несмотря на самый хороший уход, умерла. Это было большим и глубоким горем.

Жить становилось все хуже и хуже, все большего и большего мы лишались. Трудно было даже с мылом — нечем было стирать, нечем мыться. Почти перестали давать газ, часто не горел свет. Некоторые комнаты не топили совсем, и из них шел холод по всей квартире. Дрова экономились предельно. Топил я и из страха упустить жар закрывал трубы с угаром. Раз как-то мы трое — отец, я и ночевавший у нас А. А. Кайранский — угорели почти до потери сознания и сутки мучи-

лись от дикой головной боли. Стряпали на «буржуйке», в которой жгли щепки, бумагу, картонки, корзинки. Керосина было мало, и он был с водой. Основной едой была чечевица, пшено и вобла. С воблой пили чай — он шел и без сахара после горько-соленой воблы. Как о чем-то совершенно несбыточном мечтал Василий Иванович о паре горячих сосисок с картофельным пюре и о кружке пива. Почему-то эти сосиски стали для него (а от него и для меня) каким-то символом мирной и сытой жизни.

Бывали гости. Мать распаривала воблу, делала пудинг из пшена с сахарином, пекла печенье из картофельных очисток, из спитого эрзац-кофе. Научились сами печь хлеб в голландской печке, парить рожь и пшеницу до такой мягкости, что ее можно было прожевать. Иногда получали в подарок от каких-нибудь поклонников Василия Ивановича банку леденцов «ландрин» или бутылку сиропа.

Как-то поздно вечером отец вернулся из театра, молча разделся, сел за стол, и мы с матерью заметили, что у него страшно дрожат руки. Тогда обратили внимание на то, что он необыкновенно бледен. Пристали с расспросами, наконец добились рассказа: оказывается, на него напали бандиты, хотели снять пальто, но не успели, подоспел красноармейский патруль, и они убежали. Была стрельба, мы вспомнили, что слышали выстрелы... Он никак не мог успокоиться — уж очень противно было ощущать страх и беспомощность: их было трое, приставили револьвер к носу и что-то холодное — может быть, тоже револьвер — к затылку...

После этого я стал бегать ему навстречу к Никитским воротам, так как самой глухой частью его пути была наша Малая Никитская.

Во второй половине зимы еще сильнее разыгралась эпидемия сыпного тифа и испанки (вид гриппа). Испанку переносили тяжело, так как от плохого питания не было сил сопротивляться болезни. Снег всю зиму не убирали, зима была снежная, сугробы, снежные валы у тротуаров к концу марта были до окон второго этажа. Когда все это стало таять, лужи и ручьи по улицам образовывались такие, что приходилось носить с собой доски или шлепать вброд, а обувь у всех была рваная — промачивали ноги непрерывно. А согреть или просушить обувь было негде — в домах и общественных местах было холодно...

Поездка в Харьков

В это время возникла мысль: всем театром, с семьями, двинуться куда-нибудь в покойные и сытые места — в Сибирь, на Украину (в Малороссию, как тогда говорили), на Кавказ. У меня в дневнике, который я вел в те годы (главным образом о гимназических делах), за 26 марта записано: «Пришел Вася (так я звал отца), сообщил: в театре решено уезжать из Москвы, со всеми удобствами — отдельный поезд, продовольствие. Устраивают кооператоры». Этот проект долго обсуждался у нас и в семье и с друзьями. В общем, сочувствия он не встретил. Эфрос, Джигалев, Кайранский не советовали, Кайранский сказал: «От революции нельзя бегать. А побежишь — и она за тобой». Сам, правда, он вскоре после этого очутился в Одессе, где его догнала революция, и он отсиживался от нее в сумасшедшем доме.

Другие давали не такие «историко-философские» советы: здесь дома, здесь театр, здесь стабильное, знающее вас и знакомое вам правительство, а там везде «власть на местах». Власть непрочная — сегодня одни, завтра другие. Нет, надо сидеть на месте и ждать.

Василий Иванович не хотел ехать из-за меня (а я не хотел из-за гимназии и товарищей и продолжения образования) и потому, что против поездки были те, кому он верил больше, чем тем, кто был за поездку. Константин Сергеевич был решительно и категорически против, Мария Петровна тоже. Владимир Иванович (как говорили) одно время увлекся этим замыслом, но потом остыл. Но были люди, которые, быстро сообразив, что поездку всем театром организовать не удастся, что она тяжела, громоздка, неповоротлива, решили ее провалить. Они организовали общественное мнение в театре против большой поездки и начали потихоньку организовывать свою, малую поездку. Это были И. Н. Берсенев, Н. А. Подгорный и Н. О. Массалитинов. Энергично помогал им недавно вступивший в Художественный театр бывший чиновник министерства двора, работавший в Петрограде в дирекции императорских театров, С. Л. Бертенсон. Он работал в Художественном театре немногим больше года, но сумел за это короткое время занять в нем довольно видное положение.

Бертенсон был сыном лейб-медика императорского двора, вырос в среде петербургской, близкой ко двору чиновной интеллигенции, получил не столько глубокое, сколько блестящее образование и утонченное воспитание. Вероятно, если бы не Октябрьская революция, он сделал бы хорошую карьеру — был бы директором какого-нибудь из ведущих театров, большого музея, редактором какого-нибудь ежегодника или художественного журнала типа «Столица и усадьба» и т. п. Февральская революция не помешала, а скорее содействовала его карьере — он не имел титула, не принадлежал к русской аристократии, что было нужно для карьеры при дореволюционном строе. В период же между февралем и Октябрем он очень быстро пошел в гору. От Октября же он спрятался, притаялся в тогда еще совсем не советизированном Художественном театре.

Как Бертенсон работал и как себя держал в самом театре, я не знаю, довелось наблюдать его только в поездке, о которой я собираюсь писать. В ней он умел, блистательно бездельничая, быть всегда и везде в центре внимания, в правящей головке нашей группы. Он презирал работавших, для него работа была признаком серости. Он с гордостью «руководил», «представлял», он не смущался тем, что за него и на него работали другие. Это был прирожденный и естественный «работодатель», заказчик и приемщик, оценщик чужого труда. Таким же он был и в искусстве: он оценивал и одобрял или не одобрял творчество других и, сам ничего не умея, считал себя вправе судить...

В вечном споре между «конторой» и артистами, о котором пишет Константин Сергеевич в своей «этике», Бертенсон был не только типичным представителем «конторы» — он был ее идеологом. Никто не умел так оскорбительно-вежливо говорить с «меньшой братией» — маленькими, незначительными актерами, техническим персоналом, служащими, — как он. Но зато как изысканно-почтителен умел он быть с теми или другими знаменитыми людьми, как талантливо создавал между ними и собой атмосферу фамильярного и интимного взаимопонимания. Он был очень ценен своим умением «принять», «представить», отказать не обидно, просить без унижения...

Я так много пишу о С. Л. Бертенсоне потому, что считаю, что в организации и, главное, в придании приличного, достойного, не просто халтурного облика летней поездке 1919 года его роль была очень велика и значительна. Я не уверен, что Ольга Леонардовна, Василий Иванович согласились бы на эту поездку, если бы Бертенсон своим участием в ней, какой-то атмосферой узаконения ее Владимиром Ивановичем

чем и Константином Сергеевичем, которую он вносил во все организационные собрания будущей группы, не влиял на них.

Душой дела, главным инициатором был, конечно, Иван Николаевич Берсенев. Это был человек огромной энергии, неутомимости, силы воли, деловой изобретательности.

Большую помощь оказывал ему Н. О. Массалитинов.

Вот так все и оформилось: общее руководство — И. Н. Берсенев, заведующий группой — Н. А. Подгорный (о нем позже), главный режиссер — Н. О. Массалитинов и заведующий репертуаром, прессой, рекламой, внешними сношениями и секретарь — С. Л. Бертенсон.

В Харькове же был некто, кто пышно назвал себя «импрессарио Леонидов». Это был ловкий и предприимчивый делец, театральные «жучок», ловко устраивавший гастроли разных знаменитостей и, видимо, знавший, кому можно недоплатить (вроде Василия Ивановича), а кому рискованно — можно и по шее получить. Он уже возил отдельные спектакли театра в Харьков и Ростов, вот и теперь решили к нему обратиться. Он очень быстро откликнулся и с радостью предложил свои услуги по организации ряда спектаклей в Харькове, а может быть, и в других городах Украины.

На Украину стремились потому, что про нее в Москве ходили легенды: белый хлеб, сало, яйца, молоко там в изобилии — все, без чего в Москве истосковались. Репертуар составили такой: «Вишневы сад», «Дядя Ваня» и две программы концертов.

Леонидов арендовал в Харькове городской театр, и группа начала готовиться к поездке. И. Я. Гремиславский выехал первым, так как декорации и мебель везти было абсолютно невозможно; он должен был подобрать на месте все необходимое для спектаклей и концертов. С собой везли только самый необходимый реквизит, пьесы, ноты, все костюмы и парики. Грим каждый имел свой. Парикмахера-гримера не было, приводить парики в порядок взялся П. Ф. Шаров. Гримировались все сами, не умевших это делать обещал гримировать тот же Шаров.

Группа была организована как товарищество на марках, то есть каждый член ее получал свой заработок путем распределения всех доходов на причитающиеся ему марки. Так, Качалов получал пять марок, Книппер — четыре, Берсенев — три как актер и одну как член правления, Массалитинов — так же, все остальные по три, и Комиссаров и Васильев — по две марки. Весь доход делился на общее количество марок и потом выплачивался каждому по его «ставке».

Когда И. М. Москвин окончательно отказался принять участие в поездке, возник вопрос о том, кому играть Епиходова. Вдруг Василий Иванович предложил на эту роль себя, с тем чтобы Гаева играл Подгорный. Это всех абсолютно устраивало.

Василий Иванович, с одной стороны, хотел найти таким образом выход из затруднительного положения, с другой — ему действительно хотелось попробовать сделать из этой роли что-то совсем новое.

В эти годы он с новой силой полюбил Блока. В новой вспышке этой любви сыграла большую роль революционная поэзия Блока — «Двенадцать», «Скифы» и «Соловьиный сад». «Двенадцать» помогли Василию Ивановичу услышать музыку революции, музыку, которую он не переставал слышать с тех пор до конца жизни. «Скифы», как неравный, но подобный треугольник совпадает с другим подобным, совпали с его отношением к войне и миру (вселенной). В «Соловьином саде» он видел и принимал, соглашаясь с ней, философию и этику творчества художника.

Василий Иванович много работал и в театре на репетициях, и дома над «Розой и крестом». Репетировал Бертрана (есть томик «Театра» Блока с надписью автора: «Качалову — Бертрану»), но не меньше работал над Гаэтано, над его песней. И вот образ «бедного рыцаря» (над пушкинским «Рыцарем бедным» он тоже работал) — поэта и мечтателя с седыми кудрями, и, главное, образ влюбленного «рыцаря несчастья», уродо-героя с прекрасной душой, объединились у него и превратились в один светлый образ влюбленного, непонятого, одинокого, смешного для всех, но до святости чистого и оправданного любовью «рыцаря печального образа». И как это всем ни казалось парадоксальным — он задумал сыграть его в Епиходове. В этом было немного и от чувства — мысли о выходе из-за ограды «соловьинного сада» к лому и ослу, к жизни и труду, и к помощи товарищам, и к поэтизации лова и «мохнатых ног». Не знаю, понятно ли это. В те годы это никому (кроме, похвастаюсь, меня) не было понятно, встречено было пожиманием плеч, но благодарно.

Василий Иванович начал усиленно и увлеченно работать над этой ролью. Ему хотелось играть ее так, чтобы над ним смеялись, стыдась своего смеха. Чтобы он был жалок, до слез смешон. Он хотел быть абсолютно серьезен, одержим в своей влюбленности, свят в чистоте своей любви, наивен до святости и где-то горд и отважен. Он не хотел никаких трюков, только ужасную речь — шепелявость и пулеметность. Как он ни опасался меня обидеть, но сознался, что манера говорить у Епиходова должна быть карикатурой на мою: я в те годы и шепелявил, и то задерживал, то пулеметил слова. Как пример того, насколько по-разному (по сравнению с Москвиным) он видел образ, расскажу вот что: в четвертом акте Епиходов на вопрос: «Что у тебя голос такой?» — отвечает: «Воду пил, проглотил чтой-то». Москвин смешно хрипит при этом. А Василий Иванович считал, что у Епиходова от горя и любовной тоски перехватило горло, он близок к рыданию и про воду врет, чтобы скрыть свое состояние.

Я на репетициях не бывал, но помню тревогу матери и ее советы Василию Ивановичу «не срамиться» и отказаться, пока не поздно, пусть берут кого-нибудь еще или вводят Шарова или Комиссарова. Но Василий Иванович был тверд и упорно стоял на своем. Мне, насколько я мог понимать, его замысел нравился очень. Я как-то сказал ему что-то насчет родства его образа Епиходова с князем Мышкиным (я очень много читал в те годы Достоевского), но тут он мне сказал: «Ну уж это ты, брат, загнул».

...Итак, все было готово, и на 1 июня был назначен отъезд.

К 31 мая надо было доставить в театр чемоданы. Очевидно, извозчиков достать было невозможно, потому что мы с нашим швейцаром Василием, положив на плечи толстую палку, на которую были навешаны чемоданы, отправились в Камергерский переулок. В одной из мастерских, во дворе театра, Ваня Орлов и Коля Тихомиров принимали вещи и проверяли, есть ли на них ярлыки с фамилиями. Завтра мы должны были получить их уже в вагоне.

Берсенев умел и любил блеснуть сервисом: добравшись на другой день кто на трамвае, кто на извозчике, кто и пешком до запасных путей Курского вокзала, где за какими-то пакгаузами притаился наш вагон, мы были поражены — вагон был «микст» (половина первого, половина второго класса), относительно чистый, только что дезинфицированный, чем он остро пах, вернее, вонял. Один вход был наглухо забит изнутри досками, у другого стояли два бойца железнодорожной милиции с винтовками и с гранатами у пояса. На дверях каждого купе была

записка с фамилиями тех, кто в них должен ехать. Это было чудо номер один.

Василий Иванович с Ниной Николаевной ехали в двухместном купе рядом с Ольгой Леонардовной, которая ехала с М. А. Крыжановской. Я оказался с Бертенсоном, Подгорным и П. Ф. Шаровым. Когда началось составление поезда и он был подан под посадку, нам было приказано сесть так, чтобы никого в окна не было видно, а наша охрана заняла боевые позиции у обеих дверей незаколоченного тамбура.

Началась посадка. Окно нашего купе было наглухо завешено какой-то холстиной, поэтому мы не сидели на полу, как некоторые, которым нечем было завеситься, и я, забравшись на верхнюю полку, наблюдал через щель выше холстины за буйным потоком мешочников и просто пассажиров (они по виду ничем не отличались от мешочников), заливавшим поезд и заполнявшим все вагоны, тамбуры, буфера, крыши... Это было страшное зрелище. Зыбкая плотина из двух бойцов и фанерных досок с надписью: «Вагон особого назначения — вход запрещен» — могла не выдержать, и весь берсенеvский сервис полетел бы в тар-тарары. Но это был уже не 18-й год — народ научился уважать власть, особенно если она была вооружена, и нас никто не тронул. Несколько раз подходили патрули железнодорожной охраны, сгоняли людей с крыш, но они опять заполняли их. Наконец, уже к вечеру, поезд тронулся. Началось обычное русское путешествие — чаепитие (у проводника был самовар, который непрерывно кипел), закусывание, угощение друг друга, хождение «в гости» из одного купе в другое. Света не было, но он был и не нужен — июньская ночь короткая.

Поезд шел медленно, стоял подолгу и часто, и на всех стоянках была та же сумасшедшая посадка, что и в Москве. Наши бойцы стояли «на смерть», да и табличка «вагон особого назначения» действовала безотказно. Только об одном просили бойцы — чтобы никто не показывался: пустые окна убедительнее всего.

Ехали мы ночь, день и еще ночь и утром приехали в Харьков. На вокзале нас встретил Леонидов и еще какие-то комиссионеры — леонидовские фактогумы. Наш вагон отвели на запасный путь, туда были поданы подводы для чемоданов, а мы, погрузив и сдав чемоданы все тем же Орлову и Тихомирову, пешком отправились в гостиницу «Россия» на Екатеринославской улице.

Гостиница была в недавнем прошлом хорошая. Номера с ванными, уборными, даже с биде. Видимо, номера были дорогие, рассчитанные на богатых и требовательных постояльцев. Был и ресторан с роскошно оборудованной кухней, были гостиные, буфеты, бильярдные, парикмахерские, «institut de beauté», прачечные, портновские мастерские... Но все это в прошлом. Сейчас было что-то ужасное. Рваная, ломаная мебель, обои в клочьях, вонь по коридорам и мухи, мухи, мухи... От миллиардов мух все было черно и звенело так, что приходилось повышать голос.

Нас поместили в наименее загаженных номерах и дали последние уцелевшие смены белья, предупредив, что, если оно запачкается, придется стирать его самим, а на время стирки спать без белья.

Ольгу Леонардовну поселили с моей матерью в однокомнатном номере без ванны, а отцу со мной дали через коридор против них номер с уборной и ванной. Решили, что питаться мы будем все четверо «у дам», а мыться и все остальное и мы и дамы будем у нас. Это тогда, когда удастся починить уборную, и тогда, когда будет течь вода. Берсенев гарантировал, что добьется этого. И как это ни казалось невероятным при виде того развала и ужаса, в каком была гостиница, ему верили, он завоевал доверие к своему всемогуществу. И действительно, взятками,

контрамарками, обаянием театра, уверениями, что «вы же наш, наш родной» (один из любимых приемов обольщения Ивана Николаевича), дело было сделано, и все мы, МХТовские работники, оказались на островке относительного комфорта.

Моя мать и Ольга Леонардовна чистоту и комфорт любили не пассивно — они умели и любили создавать вокруг себя и своих чистоту, уют, удобства... Ольга Леонардовна в этом таланте — в умении распространять вокруг себя, пленять и заражать других этим воздухом культуры, ароматом чистоты, здоровой изысканности, настоящей благоустроенности — не имела себе равных. Вся она, от всегда благоухающих и красиво лежащих волос до кончика носков мягко лоснящихся ботинок, была элегантна, свежа, подтянута, бодр... В ней была веселая, радостная в себе и несущая радость другим благовоспитанность. Это слово само по себе кажется скучным, а у нее благовоспитанность была какая-то светлая, аппетитная, жизнерадостная...

До Харькова только Василий Иванович был близок и интимен с Ольгой Леонардовной, он один из нас был с ней на «ты», а за этот месяц и мать и я восприняли ее как самую близкую, самую свою, самую родную и любимую. Ее физическое и душевное благоустройство было, очевидно, исключительным: оно продлило ей прекрасную жизнь до начала десятого десятка. Все в ней было пластично и ритмично, в ней была красота равновесия, симметрии... Получается скучно? А разве Парфенон скучен? А он симметричен, ритмичен, покоен, однороден и... прекрасен.

Была ли Ольга Леонардовна добра? Это не имело значения; она была больше чем добра — она была благожелательна, доброносна, и добрыми делались от нее другие. С ней было всегда легко, жизнь и люди казались лучше при ней. Она была светла и несла, распространяла свет, при ней было светло и хотелось быть и жить лучше и лучшими видеть людей. Она была с нами до девяносто первого года своей жизни и всегда была моложе, яснее, жизнелюбивее всех нас. Но о ней я еще много раз буду говорить всякого — группа наша была качаловская, он был ее знаменем, но нашим радостным юным барабанщиком была она, наша дорогая Книпперуша.

На другое же утро после приезда побежали на рынок, и — о счастье! — все оказалось так, как рассказывали: милые, ласковые тараторки-хохлушки продавали масло, сметану, творог («сир»), редиску, мед, «яички», белый хлеб, сало... Денег было много, началось обжорство. По два раза завтракали, закусывали, часами ужинали... Наплевать, что обедали в столовке с грязными клеенками, с оставлением паспорта в залог при получении ложки и вилки... Это не имело значения — дома все будет аппетитно и изящно сервировано на белоснежной кружевной салфетке, нарезано, намазано и украшено...

Шестого июня открыли сезон «Вишневым садом». Второй премьерой был «Дядя Ваня». Третьим спектаклем гастролей был спектакль-концерт. Он состоял из следующих номеров: Василий Иванович читал сцену из «Смерти Грозного» — «прием послов», читал речи Брута и Антония из «Юлия Цезаря», «Анатэму» (пролог) и «Кошмар Ивана Карамазова». Читалось это все не в один вечер, а в разных комбинациях. Ольга Леонардовна читала «Рассказ г-жи NN» и «Шуточку»; Павлов с Васильевым играли инсценировку чеховского рассказа «Забыл», Бакшеев с Орловой играли инсценировку рассказа Мопассана «В гавани». Все это было вполне достойно и имело большой успех у публики.

...Время пробежало быстро, гастролы наши шли к концу. «Нашими» я называю гастролы, так как и я начал работать: выходил в «Вишневом саде», помогал по реквизиту и мебели, принимал участие в шумах... Пора

было собираться в обратный путь. Мечты о поездке в Крым или на Кавказ оказались праздными — у Ростова шли бои с деникинцами, в Северной Таврии шалили махновцы, а Крым был за линией фронта.

Сводки советского командования были самыми утешительными. Но вот неожиданно среди ежедневных сообщений появились призывы не сдавать красного Вердена — Харькова. Видимо, не сегодня-завтра начнутся бои в районе самого Харькова, он может быть осажден...

Ужасы жизни в осажденном, не сдающемся до последней капли крови городе очень пугали, но газеты успокаивали — обещали в ближайшие дни полный разгром врага, сообщали о прибытии каких-то особо боевых частей и т. д.

До сих пор не знаю, верили наши этим уверениям или нет, но факт тот, что не уехали, а продолжали доигрывать последние спектакли. Сезон предполагали закончить в последних числах июня (кажется, 27-го), как вдруг в ночь на 23 июня мимо нашей гостиницы по Екатеринославской улице потянулись бесконечные обозы с какими-то столами, шкафами, ящиками... Это явно была эвакуация.

Мы, не спавшие всю ночь, утром собрались всей группой в номере Ольги Леонардовны, ждали Берсенева и Леонидова, которые пошли в «самые верхи» узнавать, что делать. Пришли они около полудня. Лица были нехорошие, но слова спокойные — приказ: спектакли играть, паники не создавать, эвакуируются не харьковские учреждения, а окрестные из городов и поселков тех районов, где возможны бои для разгрома белых банд. Эвакуация идет через Харьков.

Весь день кто-то ехал мимо нас и все в одном направлении. Ночь опять была тревожная — обозы шли непрерывно. Это были уже не учреждения, это явно были военные армейские обозы. К утру все затихло, но зато слышавшийся еще накануне отдаленный гром стал явственным и близким.

Подгорный пошел на вокзал и вернулся. Об отъезде не могло быть и речи. Не только всей группе, но и одному мужчине, даже такому энергичному и крепкому, как Подгорный, даже подобраться к вокзалу было невозможно. Там было военное положение, ждали эшелонов с войсками, как сказал Подгорному какой-то случайно встретившийся ему московский знакомый из видных военных.

В четыре часа пошли всей группой в театр. Ходить поодиночке было опасно — патрули проверяли на каждом перекрестке. Шли колонной — Берсенева со всеми мандатами впереди. Бертенсон позади: он следил, чтобы никто не отставал. Шли со всеми чадами и домочадцами. Оставаться в наполовину опустевшей гостинице было жутко. Стрельбы не было слышно совсем. Мы решили, что белых отогнали.

Спектакли начинались в шесть часов по переставленным на два часа вперед часам. Время окончания было около десяти часов, то есть в восемь по солнцу. При на две трети полном зале сыграли первый акт. В антракте перед вторым я, выйдя во дворик, чтобы внести сено, которое должно было лежать на сцене, услышал частые, быстрые, вернее, быстро приближающиеся выстрелы. Разложив на нужных местах сено, я, никому ничего не говоря, побежал на Сумскую. По обеим сторонам улицы шли запыленные, в выгоревших гимнастерках, но с погонями, с погонями, военные. Это были белые. Лица были загорелые, пыльные, но тонкие, господские, хотя и свирепые. Где-то уже далеко хлопали отдельные выстрелы. Был солнечный летний вечер, было тихо; военные — это были исключительно офицеры — шли молча, только иногда по четкой, но негромкой команде группы в три-четыре человека отделялись и досматривали дворы или заходили в переулки.

Я побежал в театр. У актерского входа стояли некоторые наши — они уже все знали, я со своей новостью опоздал. Кончился второй акт — город, столица Украины, перешел в руки белых!

В антракте на сцену явились в сопровождении бледного и угодливо улыбающегося Леонидова три офицера. Один из них, как только закрылся занавес, вышел на просцениум и молча встал перед занавесом. Публика загудела. Он поднял руку, поклонился слегка, взяв под козырек: «Попрошу соблюдать полное спокойствие. Город Харьков занят частями вооруженных сил Юга России. Спектакль будет продолжаться. В городе тишина и порядок. Красные отступили на тридцать — сорок верст».

Спектакль закончили благополучно. Собрались опять все вместе и пошли в гостиницу. На улице было еще совсем светло. Войска не было видно почти совсем. Только изредка проезжал одинокий всадник или проходила группа квартирьеров, писавших на воротах домов, где были дворы, какие-то непонятные буквы и цифры. По всей Сумской появилась гуляющая публика. Сразу стало много больше нарядных людей, дам в белых платьях, в больших шляпах, откуда-то появились продавцы цветов с составленными букетами, бутоньерками — их расхватывали, чтобы поднести «избавителям и спасителям».

Тон и характер города начал меняться с вечера 24-го, а уж 25-го это был совершенно другой город. Прежде всего и заметнее всего изменился облик людей. Еще накануне очень большое число людей старалось казаться беднее, чем они были, старались быть незаметнее, не выделяться на фоне в целом серо одетой толпы. Теперь каждый старался одеться во все лучшее, чтобы не быть похожим на «товарищей пролетариев», чтобы выделиться из «серой толпы», почувствовать себя членом избранного общества. Сразу появились откуда-то шелка, драгоценности, шляпы с перьями у женщин, галстуки, гетры, крахмальное белье у мужчин. Второе превращение — это была метаморфоза торговли. Пыльные, серые, пустые витрины, в которых были выставлены какие-то ошметки товаров — банки с гуталином, флакон с «жидким сахаром», пакеты с морковным чаем, серые туалетные рубашки «смерть прачкам», — все это за одно летнее утро стало другим: засияли чисто вымытые стекла, а за ними появились давно не виданные настоящие товары — закуски, колониальные и бакалейные продукты, ткани, обувь, часы, посуда... И всем этим охотно, любезно, предупредительно торговали.

Открылись меняльные конторы, в которых котировались керенки, карбованцы, думки, колокола, пятаковки, и всех их побеждали «царские». К вечеру уже всю спекулировали валютой и золотом. Еще большей трансформацией было то, что произошло с питанием. Охота за едой, погоня за продуктами питания мгновенно заменилась охотой за потребителем — чуть ли не в каждом доме или около него появились бесчисленные «кафе», «чашки чая», «паштетные», «квас», «мороженое», «бубличные», «домашние обеды», «закусочные», «шашлычные», «настоящий украинский борщ», «сбитые сливки» и т. д. и т. п. Какие-то старушки с лотков торговали домашними бисквитами, бабы сидели на ушатах с варениками, галушками. Вразнос продавали леденцы, шоколад, лимонад, цукаты.

Запрещено было только продавать и лузгать подсолнухи: пронесся слух, что Деникин все несчастье России видит в лузгании семечек («Проплевали с семечками всю великую Россию», — будто бы сказал он). И семечек не стало, а до белых продажа их да еще «ирисок» была ведущей отраслью торговли.

Когда мы пришли в «Версаль» (так в прошлом называлась нарпи-

товская столовка, в которой мы питались), оказалось, что он закрыт, ремонтируется. Пообедали в одной из вновь открывшихся шашлычных, но через день-два получили пригласительные билеты, в которых дирекция ресторана «Версаль» просила нас почтить своим присутствием открытие «после капитального ремонта» старейшего и лучшего «на Юге России» (слово «Украина» было у белых не в моде) ресторана.

Пришли всей группой. Это было невероятно: прилавок, где мы, оставив в залог свой документ, получали оловянные ложки и грязные железные вилки, преобразился в роскошную буфетную стойку, заставленную бутылками и блюдами, на спиртовках фырчали и дымились горячие закуски, в запотелых на льду графинах переливались и отражали свет электричества разные водки. Столы, недавно кое-как застеленные разноцветными рваными клеенками, залитыми супами с пшеном и липкими от желудевого кофе, теперь были накрыты белоснежными скатертями с туго накрахмаленными салфетками; серебро приборов, хрусталь, фарфор, цветы... Но главное было — это прислуга: во фраках, в крахмальном белье; чисто выбритые, пахнувшие одеколоном официанты с молниеносной быстротой принимали заказы, подавали, меняли посуду, полировали своими салфетками и без того до полной прозрачности вымытые лафитники, бокалы и рюмки...

Пугали только цены в меню: если сегодня как следует в таком ресторане пообедать, завтра и на сухой хлеб не останется.

Дня через два-три, в конце месяца, ситуация начала понемногу портиться. Во-первых, наша группа и персонально Берсенева оказались в тяжелом конфликте с театральной общественностью Харькова. Началось с того, что харьковское актерство, которое возглавлял отдыхавший под Харьковом на своем хуторе, оставленном ему советской властью, В. А. Блюменталь-Тамарин, решило устроить большой праздник в честь прихода добровольческой армии. Затеян был грандиозный концерт в цирке и ряд вечеров в других театральных помещениях. Наша группа отказалась участвовать во всех этих мероприятиях.

Актер и «общественный деятель» Баров (бывший сотрудник Художественного театра) назвал Берсенева большевиком, что в тех условиях было серьезным и опасным обвинением. Наших все сторонились, так как уже и раньше на них злились за то, что они своими спектаклями отнимали и «развращали» харьковскую публику, а теперь был еще повод: «Все общество, весь народ ликует, а эти «подсоветчики», видите ли, хотя и вашим и нашим — и капитал приобрести, и невинность соблюсти».

Когда Блюменталь-Тамарин верхом на белом цирковом коне с огромным трехцветным флагом на пике, с большой церковной кружкой у седла разъезжал по городу, собирая пожертвования на подарки «освободителям родины», наши сидели в гостинице и наблюдали за «ликующими толпами» из окон. В эти дни в Харьков торжественно въехал сначала командующий добровольческой армией Май-Маевский, а потом и главнокомандующий всеми вооруженными силами Юга России генерал Деникин.

Город наполнился штабами, конвоями, интендантскими службами и т. д. Поведение и тон этих частей были совсем другими, чем первых боевых частей.

Начались не то чтобы погромы, нет, услужливых и дешево кормящих и продающих еврейских торговцев не обижали, но если какой-нибудь еврей или напоминающий еврея интеллигент проявлял слишком много чувства собственного достоинства, если ресторатор или торговец не уступал при продаже или подаче — его беда. Приставали на улицах к женщинам и их защитников били. Молодые развязные штабисты,

адъютанты и интенданты считали себя единственными полноценными людьми — всё остальное и все остальные существовали только для их удобства и удовольствия, «беспольных» же штафирик-интеллигентов можно было просто для развлечения травить и бить.

Страшнее всего были казаки. Они с удовольствием несли конвойную и полицейскую службу. В их поведении ярче всего выявлялось «право сильного»: то, что они были вооружены, создавало в них ощущение своего превосходства над всеми невооруженными. Эти люди (безоружные) были обязаны кормить их, возить, снабжать всем необходимым, безропотно уступать им все: от места в парикмахерской до жен и невест.

Я был свидетелем того, как казачий офицер «цукал» вольноопределяющегося за то, что тот ждал своей очереди побриться. «Мундир позоришь, шляпа, ждешь, пока стрюцкий бреется!» — вопил он, потом выбив стулья из-под двух солидных господ, усадил сконфуженного вольноопределяющегося и сел сам. А штатские с намыленными физиономиями ждали, когда им разрешат добриться.

Девушкам и молодым женщинам было опасно показываться на улице — даже и в сопровождении отца, брата или мужа, если только они не были офицерами. Штатского могли избить, а то и рубануть шашкой, вольноопределяющегося или юнкера «отцукать» и отправить на гауптвахту, а его даму утащить, если она не шла «охотою», насильно. «Цук» шел, как тогда выражались, «гвардейский»: унтер цукал солдата, юнкер — вольноопределяющегося, корнет — юнкера, ротмистр — корнета, полковник — ротмистра, генерал — полковника... Особенно любили цукать служащих в других родах войск: кавалерист — артиллериста, казачий офицер — кавалерийского юнкера, офицер «традиционного» полка — добровольца из «молодой гвардии», то есть дроздовца, корниловца или марковца. Офицеры этих полков мстили молодежи из полков, носивших дореволюционные наименования — ахтырские гусары, белгородские уланы и т. д. (традиционные полки). Все вместе боялись и ненавидели казаков, как донских, так и кубанских; они были объединены в особые армии — Донскую (генерала Сидорина) и Кавказскую (генерала барона Врангеля). В добровольческой армии они были только в конвоях, в карательных командах или в виде личной гвардии, как «волчья сотня» генерала Шкуро. Она так называлась официально, и всадники из нее носили папахи из шкуры волка. Казаков не затрагивали, так как казачий офицер, особенно выдвинувшийся из рядовых казаков, охотно лез в кулачную драку, а съездив по физиономии «благородного офицера», от дуэли с издевательским смехом отказывался. Офицеру надо было либо убить обидчика (а за это полевой суд и, возможно, расстрел), либо покончить с собой, либо снимать погоны...

Как-то мы зашли в наш «Версаль» поужинать. Еще при входе нас предупредили, чтобы мы шли только в малый зал, так как в большом «гуляет» генерал Топорков. Гулял этот лихой терец широко: за столом было человек восемьдесят казачьих офицеров и десять — двенадцать «дам», из которых большая часть в форме сестер милосердия. Пьянство шло под свой оркестр и хор с участием плясунов-джигитов. Пелись и игрались казачьи песни, но не обошлось и без «Белой акации», которая была почти гимном у войск Юга. Пытались петь и «Журавушку», но «дамы» начали затыкать уши, и генерал запретил похабщину. Он встал и в мгновенно наступившей тишине провозгласил тост: «Я пью, хаспада (он говорил с каким-то особенным полуказацким-полукавказским акцентом), за то, что выше всего на свете, — за чэлавэчэство! Ур-ра!» Выпито. «Я пью, хаспада, за то, что выше чэлавэчэства, — за жэнщчин! Ура, ура, ура!» Выпито. «Я пью за то, что выше жэнщчин, — за казачэство!» Тут

уж не «ура», а просто осатанелый рев и очередь всех «дам» к генералу — поцеловать его в губы, в голову, в руки... Бьются стаканы, бутылки летят в зеркала и оконные стекла, трещат револьверные выстрелы. Дальше мы сидеть не рискнули, и, пока не отошли за два-три квартала, за нами неслись пьяные вопли, пальба, звон стекла...

Наша гостиница тоже быстро перестроилась, подчистилась, подкрасилась, открылся ресторан с оркестром. Причем часть музыкантов перебрались перекисье в блондинов, чтобы у них был менее еврейский вид, а то гости, «развеселившись», могли бы и «порубать» их «для смеху». Стало шумно и небезопасно. Наши дамы после девяти — десяти часов вечера из номеров не выходили. К нам повадилась ходить компания офицеров Стародубовского драгунского полка, который стоял где-то около Мерефы. Один из них — штаб-ротмистр Кузнецов — был до войны актером в Литейном театре в Петербурге, а теперь командовал вторым эскадроном в одном из традиционных кавалерийских полков. Он был приятелем Шарова. Народ был, в общем, приличный, все почти офицеры были из интеллигенции: актер, юрист, филолог. Один только — ротмистр Зандер — был кадровый, из Елизаветградского кавалерийского училища. Он мне почему-то очень симпатизировал, и у нас бывали серьезные разговоры.

Как-то я спросил Зандера, в какой форме они, в частности он, представляют себе будущее государственное устройство России. Он ответил мне очень быстро и ясно. Ясно было, что вопрос этот был им не раз продуман. Он сказал, что он и (очевидно, об этом говорили в их кружке) считают возможным только строй преторианской империи. То есть, что во главе государства будет стоять военачальник, избранный и поддерживаемый офицерами новой, отборной гвардии, стоящей в столице. Эти преторианцы будут избираться из числа лучших офицеров всей армии. Своего рода военная демократия. Император будет целиком зависеть от воли войска, выраженной гвардией. Надолго ли? Лет на сто, а там, может быть, и к конституционной монархии перейдет Россия, а лет через двести — и к республике.

Впоследствии я от многих слышал подобные же прогнозы, хотя и не так продуманно выраженные. Видимо, добрармия не собиралась выпускать власть из своих рук и за «спасение России» ждала награды в виде «гоплитократии», то есть военновластия. Но никакого более или менее ясного и яркого лозунга или девиза (кроме «Бей жидов, спасай Россию!») у добрармии не было. Не было ни идеи, ни программы.

В Москве собирались быть не позднее конца августа. Подгорного, который просил офицеров-стародубовцев помочь ему пробраться через фронт, чтобы вернуться в Москву, Кузнецов и Зандер уговаривали не спешить: «К открытию сезона, то есть к пятнадцатому—двадцатому августа будете в Москве, не переходя никакого фронта. Это же ясно и несомненно. Красные драпают так, что мы за ними верхом не угонимся. Их теперь никто не остановит».

Чем больше входило в город частей и чем больше в нем формировалось разных учреждений, чем официально-радостнее становились торжественные молебствия по всем церквам и на площадях и крестные ходы с «подниманием» чудотворных икон, водосвятием и освящением лугов и пашен, тем мрачнее и опаснее становились истинные настроения. Об этом можно было судить по угрюмому юмору украинцев на рынке: «Не добрармия, а грабьармия», «Красные селянина прижимали, так хоть агитацию пускали, а эти обдирают без речей», зато «шомполуют» до полусмерти. «Шомполование» было новостью для «благодарного населения» — это означало очень распространенную порку шомполами (тонкими стальными прутьями для прочистки стволов винтовок) —

очень болезненная, а при длительном применении даже и смертельная операция. «От благодарного населения» — была формула грабежа военным штатского, так отвечал лихой «тоняга» (юнкер или корнет), когда его спрашивали о происхождении новых сапог, бриджей с замшевыми леями или щегольской бекешы с каракулевым воротником...

Начались разговоры об изъятии у крестьян помещичьей земли, которую в 1917—1918 годах они запахали. Ходили слухи, что целые кавалерийские эскадроны рыщут по всей Украине и восстанавливают господские имена, причем порют и даже вешают сопротивляющихся и подозреваемых в большевизме. Махновщина подняла голову, но уж теперь не против «коммуны», а против «православного богохранимого русского войска».

С 1 июля возобновились спектакли. Театр был ежедневно переполнен, хотя для возвращения домой и приходилось договариваться с каким-нибудь офицером.

Н. А. Подгорный решил во что бы то ни стало вернуться в Москву. Не знаю, были ли у него, как говорили в труппе, какие-нибудь особые тайные мотивы для такого стремления; объяснил же он это решение тем, что дал Константину Сергеевичу, Владимиру Ивановичу и жене честное слово, что вернется к сезону без опоздания. Какие бы ни были причины для возвращения, но то, как Николай Афанасьевич вернулся, доказало его мужество и смелость.

Шестого июля, в день последнего спектакля в Харькове, рано утром ротмистр Кузнецов, Подгорный и я сели в дачный поезд, который довез нас до станции Мерефа. При белых и вагоны, и вокзальные помещения были вновь разделены на классы и пассажирам третьего класса было запрещено появляться в помещениях и вагонах второго класса, а пассажирам второго класса — в вагонах первого. Так как Кузнецов был всего лишь обер-офицером, мы не имели права ехать ни в первом, ни в третьем классе. Отдельными были и посадочные платформы и время посадки. Так что порядок на железной дороге был такой, каким я его не помню даже и до революции. Поддерживался он особой стражей. Слова «полиция» или «жандармерия» звучали слишком уж определенно и ярко по-старорежимному, а правители Юга России этого не хотели (ведь даже «Боже, царя храни» официально не исполнялось), а «милиция» было слишком революционно, вот и придумали слово «стража». Она была городской и сельской и отдельно железнодорожной. Особой формы не носила, отличием ее была нарукавная трехцветная (как знамя) перевязь.

Через неделю приблизительно после нашего приезда в часть, где служил Кузнецов, глубокий разъезд драгун ночью отвез Подгорного в глубокий тыл красных и оставил его на краю деревни, занятой их обозами. Утром он встретил красноармейцев и потребовал, чтобы они его доставили в ближайший штаб. Привели его в штаб пехотной дивизии. Документы у него были замечательные, с подписями Дзержинского и еще кого-то из членов советского правительства, и политотдел дивизии связался с Москвой, и Николай Афанасьевич через день или два уже был с почетом и уважением принят в Кремле.

Для меня расставание с Николаем Афанасьевичем было трагическим прощанием со всей моей прежней жизнью. Когда он на вечерней заре в последний раз обнял меня и поцеловал, мы оба рыдали. Я проплакал всю ночь. Утром ротмистр сообщил мне, что разъезд вернулся и что Николай Афанасьевич сейчас либо застрелен, либо у красных. О том, как он добрался до Москвы, я узнал только через два с половиной года, когда он приехал в Берлин.

После окончания спектаклей в Харькове группа поехала отдыхать в Крым. Всем уже было ясно, что кажущееся «наше», «свое», привычное, блеском погон, изяществом манер, подтянутостью одежды связывающееся у большинства с Россией прежних лет, с воспоминаниями детства и юности — это только тень милого прошлого... Все эти хлыщеватые офицеры и солидные генералы только внешне похожи на Вершининых и Тузенбахов прежних времен. Ничего общего с нами, ничего «нашего» в них нет. Вызывавшие враждебность и страх комиссары и «братва» на расстоянии уже не пугали, а казались милее, приятнее, добрее этих хлыщей. Но, главное, элегантными и жутковатыми в своем злобном цинизме, в своей кровожадной мстительности офицерами командовали еще более злобные тупицы генералы, в то время как комиссарами и «братвой» руководили действительно «наши», настоящие интеллигенты. Там мы могли апеллировать к А. В. Луначарскому, а может быть, и к Ленину, а здесь — Кутепов, Май-Маевский, Деникин... Кутепов, который в светской беседе сообщил нашим о том, что «Горького, Шалапина и еще кое-кого из господ, примазавшихся к «товарищам», придется подвесить на полчаса каждого». Так кто же и что же «наше» и что «не наше»?

Тянуло в Москву, зародилась тоска, которая росла день ото дня. Но чувство вины и страх перед будущим тоже росли день ото дня.

Когда белое движение рухнуло и началось отступление белых, можно было остаться и ждать прихода Красной Армии, но это было слишком страшно...

Начались скитания по Югу России, закончившиеся позорной эвакуацией — бегством из Новороссийска на одном из последних пароходов, увозивших белые тылы и ящики и тюки награбленного генералами и правителями баракла.

После ужасной новороссийской погрузки был банкетный меньшевистский Тифлис — последнее прибежище «всей Москвы» и «всего Петрограда». А потом и заграница. По существу эмиграция.

Два года скитаний по Балканским странам, Австрии, Чехословакии, Германии, Скандинавии... Были периоды голода и сытости, был срам полупустого и свистящего зала на спектакле в Константинополе, были триумфы Софии, Загреба, Праги, Копенгагена...

Группа росла — в нее вошел целый ряд оказавшихся по разным причинам за пределами РСФСР актеров. Рос ее репертуар. Но в то же время росла в ней тоска по родине, росло сознание своей художественной деградации как следствие отрыва от родных корней, от своих живущих и творящих в Москве учителей и руководителей. И когда в 1922 году в Берлин приехал ушедший в 1919 году через фронт в Москву Н. А. Подгорный, тяга в Москву стала настолько мощной, что группа наша распалась и часть ее во главе с В. И. Качаловым и О. Л. Книппер-Чеховой двинулась в Москву.

В сущности, на этом можно бы и кончить. Качаловская группа, или, как она называлась официально, «Группа артистов Московского Художественного театра», кончилась. Всё. Конец.

Но мне хочется написать еще и о нашем возвращении в Москву.

Возвращение

Как это иногда бывает в серьезнейшие, поворотные часы жизни, они-то из памяти и улечиваются. Кто провожал нас на вокзале, какие слова говорились, даже время дня — не помню. Запечатлелось почему-то, как проезжали польский коридор. Это было ночью, но польские жан-

дармы всех разбудили и, тщательно проверив паспорта (советские!!), стали у обоих выходов из вагона, причем разводивший их унтер стал у двери нашего купе и сказал, вернее — крикнул, обоим стражам: «Смотрите, чтобы ни одна собака к дверям не подошла и в уборные тоже не пускать!» — и отец перевел нам это. Услышавший этот перевод унтер, видимо, знавший русский язык, любезно спросил отца по-польски: «Пан знает польский?» Василий Иванович, побледнев от гнева, встал и прямо в лицо унтеру по-русски выговорил: «Нет, я этого языка не знаю». Тот шархнул, взяв под козырек, отошел и, уже тихо отдав еще какие-то приказания своим подчиненным, исчез из вагона. Наутро мы были на старой русской границе в Вержболове. Наши вспоминали свои довоенные возвращения через эту станцию. Теперь за ней начиналась не Россия, а буржуазная Литва. Не знаю, как впоследствии, но в 1922 году она была еще в очень многом совсем русской. Во время долгой стоянки в Ковно смазчики и сцепщики вагонов говорили по-русски, а один, идя вдоль вагонов и простукивая буссы своим молотком на длинной ручке, совсем как где-нибудь в Твери или Бологом пел высоким, типично русским тенорком: «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя». Мы стояли у окон и радовались. Но официально мы еще были далеко от родины: границы, таможни, проверки паспортов, визы, визы... Польская, немецкая выездная, литовская въездная, литовская выездная, латвийская въездная. Все медленно, нелюбезно, подозрительно.

Наконец 18-го утром — Рига. Долго сидели на вокзале, никак не могли выяснить, когда будет поезд на Москву. Ведь ни всезнающего Леонидова, ни всемогущего Берсенева с нами не было. Случайно на вокзале оказался администратор театра, где Василий Иванович недавно выступал. Он быстро выяснил, что поезд на Зилупе (граница Латвии) пойдет вечером; к нему, вероятно, прицепят советский вагон, который передадут через границу в Себеж. Поздно вечером мы забрались в темный, освещенный только светом зари и вокзальных фонарей вагон. Это был старый-старый вагон «микст», такой же, как тот, в котором мы три года тому назад уехали из Москвы в Харьков, а может быть, это он и есть? Вспомнили, кто в каком купе ехал, и даже какие-то опознавательные знаки обнаружили... Очень всем хотелось, чтобы было именно так, что-то в этом видели символическое, какое-то прощение грехов, вроде как страна наша ждала нас и сохранила нам наш вагон, чтобы сделать эти три года не бывшими: сели в этот вагон в июне 1919 года, а из него вышли в мае 1922 года, а все, что было, нам приснилось. Ничего будто и не было.

Спали все плохо, тревожно и беспокойно. Я несколько раз выходил в коридор и каждый раз встречался с кем-нибудь, «вышедшим покурить». То Н. Г. Александров, то Бакшеев, то Василий Иванович. Поезд шел плохо, часто и подолгу стоял на каких-то маленьких станциях — ведь это был местный латышский поезд, связывающий Ригу с восточными окраинами страны. Где-то среди дня мы подошли к Зилупе. Последняя проверка паспортов, сверка их со списками и с лицами — очень почтению-то внимательно сверяли фотокарточки с нашими физиономиями...

В Зилупе было очень много латвийских военных — и жандармы, и солдаты-пограничники, и просто солдаты и офицеры. Все подчеркнуто воинственные и подчеркнуто элегантные: до блеска начищенные сапоги, вылощенные мундиры туго и гладко облегли их упитанные тела. Масса оружия — винтовки, пистолеты, сабли, тесаки. На бетонных вышках — пулеметы, на самой станции — бронепоезд с расчехленными пушками. Как будто ожидается нападение врагов или уже идет война.

Мы долго стояли в Зилупе. Одиноким наш вагон был отведен метров за сто от станции и там стоял, окруженный бдительными жандар-

мами и пограничниками. Все двери были заперты, окна закрыты. Потом с советской стороны подошел паровоз, нас прицепили к нему и медленно потянули через нейтральную полосу.

Последнее, что мы видели в стороне, которую покидали, были застывшие физиономии стоявших с винтовками с примкнутыми штыками у ноги «защитников европейской законности и правопорядка».

Но вот позади нейтральная полоса, вот арка с полусмытой дождями надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — вот землянка, на крыше которой два красноармейца. Один лежит на животе и помахивает в воздухе босой пяткой; из-под сдвинутой на затылок фуражки, под белесыми бровями — покойные, любопытные глаза. Другой, спиной к нам, что-то наигрывает на гармошке. Мне не хочется видеть тут символы, но в этой противоположности характеров двух стоящих лицом к лицу воинств были потрясающие образы, олицетворение двух миров. Одного — трусливого и потому фанфаронски-задиристо-воинственного и другого — мощного и потому спокойного и мирно-отважного. Одного — фальшиво принаряженного, другого — искренне миролюбивого.

Василий Иванович радостно заулыбался, глядя на босого «вояку», — вот она, Русь, простая, легкая, свободная... И на душе стало светло и легко...

Через много лет я спросил его, помнит ли он въезд в Россию в 1922 году. «Как же, — сказал он, — босого красноармейца-то? Конечно, помню, разве такое забудешь?»

Мы подъехали к станции Себеж. На платформе шло обычное для провинциальной станции гулянье. Густая толпа перетиралась под окнами нашего вагона. Торговались, ругались, хохотали, пели... «И все по-русски», — невольно удивлялись мы. Было странно и непривычно от сплошь русской речи...

Нас довольно долго проверяли, осматривали ручной багаж (большой багаж пошел на московскую таможню). Из Москвы навстречу нам выехал администратор МХАТ С. А. Трушников. Он довольно энергично способствовал ускорению всего процесса проверки, осмотра и, главное, отправки вагона, и во второй половине дня мы уже ехали по России.

Мы не отрывались от окон, хотелось смотреть и смотреть, все казалось другим, чем везде, своим, родным... «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви», — читал Василий Иванович, как никогда, остро, и сладко, и нежно, и страстно воспринимали мы эти слова. Мне кажется, никогда в жизни я не ощущал такой напряженной, такой переполняющей любви к родине...

На другой день к вечеру мы были в Москве. Вокзал кишел народом, суетливым, неумелым, не приспособленным к путешествиям. Но нам и в этом хаосе виделось что-то милое, теплое, «свое», смешное и родное — ведь и в нас это было, ведь и мы где-то внутри были такими же неорганизованными... Но не в этом даже дело, просто все русское, все родное — от нелепой суеты вокзала, булыжника привокзальной площади, ни на каких в мире не похожих извозчиков с пролетками «в виде сломанных скрипок» — все, все вызывало наше умиление и приязнь. Уж очень всему были открыты наши души, уж очень иссохли от тоски по родине наши сердца. И все, что мы воспринимали родного, своеобразного, непохожего на заграницу, — все было на потребу, все радовало и грело. Так, вероятно, возвращается в родной аул надолго оторванный от него горец: бедная сакля, все серо и тесно, но и серость и теснота родные, дорогие, в них прошло детство и юность. Но мы-то видели не одну серость, нет, ничто не мешало, не застилало нам (как застилает

чужим и своим мешанам) истинной красоты, внутреннего богатства, простора и внутренней чистоты нашей страны...

Парадной, торжественной встречи не было. Приехали мы к вечеру, все актеры были заняты — уже начались спектакли; поезд наш пришел с опозданием часа на три, на четыре. Так что многие из собиравшихся встретить разошлись, не дождавшись. Но нечего греха таить, было тут и намерение: руководители театра и московская общественность не хотели, чтобы «кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали». Помню на вокзале А. В. Агапитову, Лидию Зуеву, стариков Гремиславских, А. К. Книппер (племянницу Ольги Леонардовны), Анну Николаевну (жену) и Марусю (дочь) Александровых... Еще какие-то близкие люди и родственники, но ни речей, ни цветов...

Все быстро разъехались на извозчиках, а может быть, и на автомобилях, не помню. Помню только, что я шел за ломовой подводой, на которой в театр везли багаж всех приехавших. Шел долго — по бесконечной Мещанской, по Сретенке, Лубянке, Кузнецкому мосту... Полок гремел на булыге улиц, в косых лучах вечернего солнца золотилась пыль, звенели и дребезжали московские трамваи, белая, летняя московская толпа гуляла больше по мостовой, чем по заставленным какими-то лотками тротуарам... Все было не так, как «там», все было по-московски: и люди, шедшие по мостовой, и единственно в мире, только по-московски звеневший ножным (а не электрическим) звонком и завывавший на поворотах трамвай, и кустарные самодельные вывески-картины, и золотой крендель булочной, и свиная голова мясной... А каменные тумбы подворотен и углов переулков... А деревянные мостки у дощатых стен с косым потолком над ними вокруг строек (редких!)... А круглые тумбы с афишами — мне так хотелось скорее-скорее прочесть их, чтобы узнать, чем живет, какой духовной пищей питается она, моя Москва, но ломовик орал на меня, чтобы я не глазел по сторонам, а берег кладь: «Это тебе не деревня, московские огольцы лямзить ох и ловки!»

Во двор театра я вошел часу в девятом; у актерского подъезда толпились загримированные актеры — они взволнованно обсуждали недавно закончившуюся встречу «качаловцев» с Марией Петровной Лиловой, И. М. Москвиным, Л. М. Кореновой и другими участниками спектакля «Ревизор», который шел в этот вечер. «Качаловцев» отправили по квартирам, не дождавшись моего прибытия с вещами, обещав развезти им вещи потом.

Ко мне подошел расторопный молодой парень (это был, как я потом узнал, «адъютант» Феди Михальского Федор Степанович Снетков) и предложил перетаскать «папашины» вещи к ним домой. Тут только я узнал, что мы будем жить не на Малой Никитской, а здесь же, во дворе театра. Это было помещение бывшей дворницкой, квартирка из трех малюсеньких комнат и кухни с большой русской печью в центре всей «квартиры». Каким-то чудом удалось юному Феде Михальскому расставить в этих малогабаритах наши огромные вещи с Малой Никитской.

Когда я вошел, Василий Иванович и Нина Николаевна, не успев еще оправиться от встречи с театром (двором и зданием его со входами «в контору», «за кулисы»), с некоторыми друзьями и от переезда по Москве, переживали «встречу» с нашим могучим буфетом, с дорогим нашим столом, за которым столько было сижено (и с какими сотрапезниками!), с диванами, кроватями, картинами... С вещами не забытыми, но давно в душе похороненными — казалось, что ими давно уже топили печи...

В этот вечер, после ухода сестер Василия Ивановича и Веры (племянницы), которые принесли сохраненный ими у себя в Кунцеве (где

они жили тогда) минимум посуды, постельного белья и т. д. — все, без чего трудно жить и о чем мы, привыкшие за три года к гостиничной жизни, просто забыли, — мы долго не спали и сидели втроем на нашем старом диване красного дерева и вспоминали, вспоминали... Обновляли в памяти все, связанное с этими вещами, — квартиры, людей, события...

Воскресенье ушло на вживание, устройство, притирание себя к новому быту.

В понедельник к нам пришел Толя Горюнов (актер Вахтанговской студии, но для нас племянник Москвина) и от лица Третьей студии пригласил посмотреть вечером «Турандот» в помещении МХАТ. Он передал привет от Евгения Багратионовича и сказал, что он очень, безнадежно болен, доживает последние дни.

В восьмом ряду было оставлено десять — двенадцать мест для всех нас. Это был первый спектакль, виденный нами в Москве после трехлетнего отсутствия. Какое счастье, что наше восприятие новой для нас Москвы, нового, советского театра началось с этого изумительного спектакля! В нем была вся свежесть, вся бесконечная талантливость, тонкость и чистота, присущая русскому искусству. Чистота мысли, чистота чувств... Эта бескорыстная, искренняя игра в театр, игра детей, в которой каждый ребенок неповторимо гениален. Это анахронизм, но мне кажется, что я думал о том, что видел тогда в Москве, пастернаковскими строками: «Ты из семьи таких основ, твой смысл как воздух — бескорыстен». И в то же время это был самый «европейский» спектакль из всех, виденных в Европе. Как изумительно изящен и элегантен был Завадский, с какой утонченно-мужественной грацией носил он фрак! Куда венским и берлинским театральным «фатам» и «героям-любовникам»! А прелестная женственность Мансуровой, а платья Ламановой: ведь они были не то что модны — они были впереди европейской моды. Можно ли было думать, что в «пролетарской» Москве юноши умеют так благородно носить фраки, а девушки — «туалеты». А милая, полудетская прелесть «Цзанни»... До чего же это было хорошо!

«Турандот» была первой страницей той волшебной книги, которую мы получили возможность перелистать в ту дивную весну. За ней была веселая, острая, прелестная «Анго», потом «Узор из роз» во Второй студии, затем смелый, умный, глубоко современный «Эрик XIV», после которого весь модернизм Берлина показался подражательным, искусственным и вымученным по сравнению с внутренне оправданной смелостью М. А. Чехова, Бирман...

А «Федра» в Камерном? А «Ревизор» с гротесковым и в то же время абсолютно живым Москвиным — Городничим и фантастическим, неправдоподобно истинным Чеховым? А «Евгений Онегин» в Оперной студии К. С. Станиславского в Леонтьевском переулке?..

Все яркое, полноценное, настоящее, органичное, принципиальное и, главное, чистое, чистое до последней капли. Все было разным, все было непохожим одно на другое, но всех объединила эта удивительная чистота бескорыстия искусства... Здесь не было ни коммерческого меркантилизма, ни снобизма, ни оригинальничанья — всего того, на чем держался театр буржуазного Запада. И это делало все спектакли сияющими, как снеговые вершины.

На «Турандот» Щукин в одной из интермедий приветствовал наших: он протрещал языком телефонный звонок, поднял воображаемую телефонную трубку и, разглядывая сидящих в восьмом ряду Василия Ивановича, Ольгу Леонардовну, Николая Григорьевича и других, рассказал «собеседнику» про них, что они хорошо выглядят, что у них доб-

рые лица, что им, наверное, нравится спектакль... Весь зал захлопал, наши встали и кланялись во все стороны. Это была их первая встреча с московской публикой, встреча теплая и сердечная. После нее на душе у них стало покойнее, и они с меньшей тревогой ждали встречи с Москвой со сцены.

Первым из вернувшихся выступил в театре Петя Бакшеев — 27 мая он сыграл Пепла в «На дне». 29-го в большом понедельничном концерте, в котором Константин Сергеевич играл сцену из «Штокмана», впервые выступил Василий Иванович. Он читал речи Брута и Антония из «Юлия Цезаря». Волновался иступленно, успех имел громадный. «Легенда о Качалове» не рухнула. К глубоксму сожалению, радость и удовлетворение его длились недолго: после конца концерта на сцену вышел Владимир Иванович Немирович-Данченко и сообщил публике и участникам, что скончался замечательный режиссер и актер Евгений Багратионович Вахтангов.

Первого июня Василий Иванович, Александров и Бакшеев играли в «На дне». 5 июня в концерте на сцене МХАТ впервые выступила Ольга Леонардовна — читала «Рассказ г-жи NN» Чехова. А в воскресенье, 11 июня, впервые на сцене МХАТ вел концерт-спектакль я. И. Я. Гремиславский приступил к работе в качестве художника и заведующего постановочной частью, Нина Николаевна репетировала «У жизни в лапах» с новыми исполнителями.

Вот так мы все и втянулись в работу и зажили нормальной московской жизнью. А вместе с трудом, работой пришло и ощущение правомочности, закономерности нашей жизни в Москве, на родине. Во многом пришлось перестроиться, от многого отвыкнуть, ко многому привыкнуть. Но отвыкать больше от плохого, а привыкать больше к хорошему...

Москва этих дней была полна противоречий. Открывались кафе, рестораны, начал действовать тотализатор на бегах, в саду «Эрмитаж» появилась рулетка с двумя «зером» (когда выпадает «зеро», выигрывает собственник рулетки). Все, как «у больших», как в Берлине... Но если там все это было естественным, неотъемлемым свойством жизни, то здесь это была легкая накипь, пена... Смешно и чуждо было все это самой сущности жизни. А «там» это было основой жизни, это был быт. Здесь были нэпачи, совбуры, кутившие в «Не рыдай», но была и босая девушка на концерте в консерватории, которая два дня не обедала, чтобы купить себе не туфли («А что, теперь лето!»), а билет на концерт. Вот такая девушка была только здесь и нигде в другом месте быть не могла. Я сидел рядом с ней, и мне было неловко за свой крахмал и лаковые «джимми».

Как-то поздно ночью, возвращаясь от Эфросов, мы с отцом и матерью шли по шербатым торцам плохо освещенной Тверской. Было пусто и тихо. Откуда-то издали слышался голос, читавший стихи. Его перебил другой, третий... Они приближались, догнали, потом перегнали нас... Это была стайка молодежи, видимо, рабфаковцы или вузовцы. «Нет, вот что послушайте: «Я знаю: век уж мой измерен, но чтоб продолилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Слышишь, Катя?» Они засмеялись, посыпались веселые, смешливые реплики. Последнее, что мы слышали, когда они уже завернули за угол, был «Левый марш» Маяковского, который они чеканили хором. «Левой, левой, левой» — доносилось уже еле слышно, издалека...

Василий Иванович остановился, помолчал и чуть охрипшим голосом сказал: «Слыхали? Вы понимаете, какое счастье, что мы вернулись?»

Алексинское лето

Но вот и кончился этот наш искус вращаясь в жизнь новой Москвы. Кончился вместе с концом казавшегося бесконечным театрального сезона 1921/22 года. В этом сезоне у нас было так много впечатлений: и Моисси, и М. Чехов, и Фритци Массари, и «Анго», и голодная, шибберски-спекулянтская и одновременно революционно-накаленная Германия, и мещански-сытая, благополучная Скандинавия, и, главное, потрясение обретения родины, и чудо встречи со старым, истинным, вечно новым и юным МХТ, и «Турандот»... и все-все это невиданное, небывалое, романтическое и поэтическое, даже в нищете великолепное, какой мы восприняли новую, советскую Москву.

Василия Ивановича пригласили погостить у них Эфросы. Они жили вместе с руководимым Н. А. Смирновой и В. Н. Пашенной курсом Школы Малого театра в городке Тульской губернии Алексине, на Оке. Там ученики Школы и отдыхали, и репетировали, и раза по три в неделю играли спектакли своего школьного репертуара. Василий Иванович взял с собой меня, а я посоветовал ехать туда моему товарищу по гимназии, а тогда актеру Художественного театра А. М. Тамирову, который охотно согласился и позвал с собой В. Л. Ершова.

На алексинском вокзале, вернее — маленькой провинциальной станции, мы наняли извозчика, оказавшегося театралом, отлично знавшим всех актеров театра: знал и «тетю Надю» (Н. А. Смирнову), и «самого Смирнова» (Н. Е. Эфроса), и «Веру Николаевну» (В. Н. Пашенную), и еще многих, кого мы не знали, а он называл по имени — Николай, Ира, Федя и т. д.

Городок был небольшой, мы быстро его миновали и подъехали к Окё. Было раннее утро. В реке купался целый табун лошадей. Верхом на могучем вороном жеребце в воду въезжал совершенно голый золотисто-рыжий, стройный, как молодой бог, юноша. Василий Иванович даже привстал с сиденья — так красив был этот всадник, так прекрасна была вся картина... Наш извозчик закрутил фуражкой и завопил отчаянным голосом: «Севка, эй, Севка! Я к вам в гости хороших людей везу!» «Севка», не обращая на него никакого внимания, направлял своего фыркающего коня в самую глубину реки... Это, как мы потом выяснили, был Всеволод Аксенов. Рыжим он был, так как снимался в кино, где должен был быть белокурым.

В пригородном лесу стояло с десятков деревянных дачек, когда-то принадлежавших алексинским и даже тульским богачам; теперь в них жили наши друзья — Грибунин с Пашенной, Эфрос с Н. А. Смирновой, а три-четыре дачи были заселены студийской молодежью. На самой опушке леса был выстроен летний театр с крошечной сценой и со зрительным залом мест на двести — двести пятьдесят. В одной из дачек на террасе была организована общая столовая. Эта терраса и была местом всех собраний, и деловых и веселых, на ней возник будущий Театр-студия Малого театра, существовавший с 1925 по 1936 год.

Встретили Василия Ивановича восторженно, а при нем и меня тоже очень приветливо. Школа Малого театра была очень сложным и интересным организмом. Студийцы были очень патриотичны по отношению к своему коллективу, казались очень дружными и крепко спаянными при соприкосновении с внешним миром, с чужими людьми, и в то же время были раздроблены, разъединены на отдельные группы, течения, комбинации личностей, то не принимавших, то осуждавших, то восхвалявших другие группы или личности. Причем эти комбинации и течения все время менялись и видо- и составоизменялись. Были тут и чисто актерские взаимоотношения — зависть к выдвигающимся удачникам, к

талантам, необоснованные претензии и т. п. Были и любовные сложности и даже драмы. Было все, что бывает в молодом, тесно объединенном коллективе. Но главным в их жизни был, несомненно, театр. Даже и романы и браки зарождались на сцене, объятия сценические продолжались и «в жизни».

Театр был центром не только для студийцев и для их руководителей — он был центром и для всего городка. Так же, как уже знакомый нам извозчик, всех актеров знали все в Алексине. Знали и посещали все спектакли, и не по одному, а по два-три раза. Публика состояла не только из алексинской служащей интеллигенции, из торговцев, кооператоров, железнодорожников, но и из пригородных мещан-полукрестьян, огородников и ското-, птицеводов и их жен. Считаюсь с последним, спектакли начинались после того, как коров пригоняли домой и доили, иначе зрительницы устроили бы у входа скандал. Часто можно было услышать под аккомпанемент зирканья молочных струй о подоинок переключку со двора на двор о том, что сегодня дают в «киатре» и кто лучше играет в «Даме из Торжка» — Половикова или Цветкова, а Луизу Миллер — Ничке или Артемьева.

Мы, четверо мхатовцев, сразу и с головой погрузились в эту жизнь. Сначала только смотрели спектакли и репетиции, но очень скоро вошли в работу. Василий Иванович, не признававший за собой способностей, а значит, и прав режиссера и педагога, впрямую никого не учил, никаких замечаний не делал, советы давал самые осторожные — по поводу грима, костюма, манеры его носить, вообще манер и осанки, но влияние его, значение его в художественной жизни этой молодежи было при этом его «невмешательстве» не меньшим. Он действовал на них самым своим существом, своей влюбленностью в поэзию, в слово... То, что он им читал, влияло на их вкус, то, как он им читал, порождало в них стремление к правде, к настоящей, высокой и умной простоте. А читал он им долгими вечерами, иногда целыми короткими летними ночами. Читал Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Блока, Ахматову, Волошина, Гумилева, Есенина. Играл целые сцены из «Горя из ума» (один и за Фамусова, и за Скалозуба, и за Чацкого), из «Гамлета», «Карамазовых», «Бранда», «Леса»... Слушателями студийцы были прекрасными, а это вдохновляло его и придавало ему силы и поражающую неутомимость. Начиналось это чтение почти после каждого позднего (послеспектакльного) ужина и продолжалось часто до рассвета. Но этими чтениями деятельность Василия Ивановича не ограничилась. Через две-три недели он сыграл с молодежью «Лес».

Василий Иванович всю жизнь мечтал о роли Несчастливцева, много раз принимался работать над ней, и тут наконец его мечта осуществилась. В этой работе у Василия Ивановича сложились с молодежью удивительно гармоничные взаимоотношения. Если благодаря ему у них пробуждалось стремление к правде, к глубине, к уходу от актерских штампов, то они, в свою очередь, своей молодой театральностью, некоторой приподнятостью праздничности пробудили в нем молодого казанского Качалова. Он с удовольствием открыл какие-то клапаны, туго завинченные в нем годами работы в МХТ, — он перестал бояться некоторых «плюсиков», некоторого пафоса, приподнятости... Он, говоря языком провинциальных актеров, нашел настоящий тон, тот, в котором он мог играть в этом ансамбле без диссонанса, без дисгармонии.

Володя Ершов и Аким Тамиров, оба выросшие в МХТ и не мыслящие для МХТовского актера никакой иной, кроме МХТовской манеры, услышав Василия Ивановича на репетициях «Леса», только переглянулись, пожали плечами, а в антракте растерянно обратились ко мне: «Что это твой-то какого дрозда дает, зачем это он под них-то шпа-

рит?» Недоволен был и абсолютный художественник В. Ф. Грибунин. Он просто обложил Василия Ивановича (как это было свойственно Грибунину) самыми крепкими словами. Но спектакль и Аким, и Володя Ершов, и даже Вл. Фед. Грибунин смотрели с настоящим волнением, и после спектакля Аким, как самый непосредственный и пылкий, со слезами на глазах начал со свойственным ему армянским темпераментом: «М-м-м, до чего же здорово, колоссально! Слушайте, братцы мои, товарищи, как, оказывается, можно играть! Вот что значит настоящий театр!» И пристал к тоже взволнованному, но молча сопевшему Грибунину: «Дядя Володя, а Старик (Константин Сергеевич) такое, как Василий Иванович делал, принял бы, а? Или разнес бы в пух? А я думаю, принял бы, а?» И Владимир Федорович как-то неожиданно огрызнулся: «А почему бы и не принял? Он все хорошее принимает, это вы, щенки, из него пугало тупое сделали...» И пошел, тяжело сопя (у него была тяжелая эмфизема) и не то напевая что-то, не то бормоча какие-то считалочки.

Я хочу отвлечься от своего повествования, чтобы рассказать здесь же об этом удивительном человеке.

Владимир Федорович Грибунин был одним из самых красочных явлений в Московском Художественном театре. Очень многие, в том числе Василий Иванович, считали его самым талантливым актером Художественного театра. Тогда еще в употребление не вошел (по крайней мере у нас) термин «органика», «органичность», поэтому не хочется его применять, вспоминая актеров того времени, но когда я теперь слышу, что про кого-нибудь говорят: «Он так органичен», — я про себя добавляю: «Как Грибунин». Он был так удивительно, насыщенно прост, бытовой тон (говоря языком Малого театра, где он учился) был ему естествен, давался ему легко, без всяких приспособлений и усилий. Я совсем ребенком видел его в Осипе («Ревизор»); когда он просыпался на кровати и смотрел в сторону зрительного зала, глаза у него были такими сонными и бессмысленными, он (Осип) с таким трудом осознавал действительность, переходил от сна к бодрствованию, не сулившему ему ничего хорошего, — это было и жалко, и безумно смешно, по залу прокатывался легкий смешок, переходивший в хохот, когда Осип, окончательно проснувшись, опять закрывал глаза и перебрасывал свое неуклюжее, тяжелое тело на другой бок, пытаясь опять уснуть... Все, ну буквально все его тело выражало такую тоску, такое голодное озлобление, что к началу текста зритель уже был подготовлен, и понимал, и сочувствовал Осипу... Нельзя было не чувствовать вместе с Грибуниным, не становиться на его точку зрения, не входить в его положение, каких бы подлецов он ни играл, каким бы омерзительным поведением его персонажей ни было. Играя, например, Фурначева («Смерть Пазухина»), он был всегда субъективно прав: он был подлецом, убежденным в своем праве на подлость. Да он и не считал подлостью то, что было ему выгодно. Он разоблачал своих «героев» именно тем, что был абсолютно искренне правым во всей подлости своих действий (Фурначев); убежденно, уверенно, лениво-сонно глупым (Курслепов), всегда был, всегда поступал, действовал, никогда не изображал... Этого, конечно, полагается ожидать от каждого хорошего актера МХТ, но в такой степени, как у Владимира Федоровича, этого не было ни у кого. Вернее сказать, было в моменты их высших достижений, полного овладения мхатовской «системой», «школой», а у Грибунина не бывало, не могло быть иначе. Но в то же время он не был способен ни на какой взлет, ни на какой отрыв от бытовщины, от русского быта. Даже в маленькой роли антиквара Гислессена («У жизни в лапах») он оказался торговцем из Гостиного двора, а не из Христиании и тянул к

российской «развесистой клюкве» весь этот, в остальном такой вполне европейский, спектакль.

Еще больше, пожалуй, чем непобедимый, неустрашимый бытовизм, в его актерской карьере ему мешала лень, нелюбовь к репетиционной работе и неверие во всякие искания, всякое новаторство режиссеров. Насколько он купался в роли на спектакле, легко и изящно живя в образе, настолько же он мучительно, едва терпел репетиционный процесс, особенно разговоры по поводу образа, задачи, сверхзадачи, сквозного действия. Он все время бормотал что-то, совсем не относящееся к пьесе и режиссерской экспозиции ее, пел про себя частушки или просто бранился себе под нос, едва шевеля губами, но так, что ближайшие к нему слышали и с трудом сдерживали смех. Он портил атмосферу репетиции, делал ее скучной и бессмысленной, но когда доходило до его места, он мгновенно делался серьезным и с такой полной отдачей всех сил, всего таланта, с такой правдой действовал, что многие репетировавшие до него и с ним казались плоскими схемами рядом с живым, трехмерным, полнокровным существом... И все-таки режиссеры, даже самые большие, дорожа атмосферой репетиционного процесса, часто задумывались, прежде чем дать ему роль.

Алексинская молодежь очень ценила его неожиданный грубоватый юмор, очень прислушивалась к его критическим замечаниям, которые он делал неохотно, только тогда, когда мог их сделать кратко и метко, в одном слове или в лаконичном предложении по большей части юмористического характера. Меткость его афоризмов и кличек была такова, что прилипала к актеру или целой сцене, а то и ко всему спектаклю так, что потом ее и с кожей нельзя было отодрать. На нового человека удручающе действовал его далеко не всегда пристойный лексикон, но не он запоминался, а то, что этим лексиконом выражалось: глубокое и тонкое понимание настоящей правды в искусстве.

Вот таким противоречивым существом, таким полным неожиданностей художником был этот замечательный актер.

Другой алексинский патриарх — Николай Ефимович Эфрос был от «Леса» в восторге: он собрал всех участников (да и не только участников) спектакля и произнес целую речь о синтезе двух систем, об эпохальном значении этого спектакля. Он был по-отечески увлечен, влюблен в талант актрисы, игравшей Аксюшу, а немного и в самую Надюшу Артемьеву. Василия Ивановича же он любил и как актера и как человека уже долгие десятилетия — может быть, от соединения этих двух loves и произошло некоторое преувеличение, как говорил Василий Иванович, «экзажерация» его восторгов.

Но всем нам и спектакль, и устная рецензия на него любимого и чтимого всеми Николая Ефимовича доставили огромную и горячую радость. Николай Ефимович был для всей этой молодежи самым дорогим человеком. Очень любили его и мы. За три с чем-то года (мы с 1919 года его не видели) он основательно изменился. Он и постарел и отяжелел, но в чем-то стал смелее, открытее и этим моложе. Он как будто, потеряв свою осторожность ответственного сотрудника «Русских ведомостей», стал свободнее, откровеннее, горячее. Его чуть косо расставленные прекрасные, грустные, иногда озорные, но всегда добрые еврейские глаза смотрели на окружающих, как будто искали в каждом самое лучшее, что в нем есть, и непременно находили, выявляли это лучшее. Борода у него стала белая, широкая, плотная, совсем библейская. Большой гладкий нос удивительно чисто, невинно и молодо выглядывал из густой растительности. Ходил он немного кособоком — одно плечо выше другого — и как-то по диагонали, как будто шел не туда, куда смотрел и куда хотел идти... Еще проще, еще лаконичнее и прозрачнее стала

его философия и эстетика. Теперь принадлежность к определенной общественной группировке, связанность с мирозерцанием окружающей среды не существовали более. Все это рухнуло вместе с крушением старого общества. Исчезла и среда, исчезли и люди — умерли, эмигрировали, спрятались... Он остался один среди совсем новых людей — среди театральной и околотеатральной молодежи. И полюбил эту молодежь, актеров-студийцев, как никогда никого не любил. Прежде он много общался, дружил с актерами, увлекался ими, критиковал их, то превозносил, то ниспровергал. С ним очень считались, его боялись, в зависимости от его рецензий то уважали (когда хвалил), то презирали (когда ругал), но он не был своим, он был выше ли, ниже ли, но в стороне. Теперь он был среди них, внутри них, он был их дедом, дядей, может быть, даже дядькой, он отдался им, он питал их, он стремился разделить на тысячи частей, чтобы как можно большему количеству людей отдать как можно больше себя. Он жил только ими и Надеждой Александровной: для него они были частями Надежды Александровны, а она была сингезом их. Над ним посмеивались — и над его увлечением то одной, то другой актрисой, и над его слишком уж сервильной преданностью Надежде Александровне, за которой он ходил, как нянька, как крепостной слуга, не брезгуя никакой самой грязной и унижительной (с точки зрения пошляков) работой. Но и смеясь над ним, его любили, уважали, его мнение, его решение не подвергалось никаким сомнениям. Для них он был абсолютным и непререкаемым авторитетом и во всем, что касалось театра и всех видов искусств и литературы, и в вопросах морали и норм поведения. Он критиковал их нежно, любовно, очень остерегаясь поколебать в них их актерскую веру в себя, ощущение себя на месте на сцене; но бывал и гневен, даже свиреп; остерегаясь повредить им как актерам, он совсем не боялся обидеть их — это было невозможно, для этого они слишком были уверены в его любви... Все в них было ему важно, вся их жизнь, все их поведение — ведь это было то, из чего строились, создались они — артисты, художники, актеры. Да, он был удивительным человеком, другом и наставником их. И как необходим такой наставник молодому актерскому коллективу! Молодежи будущей Студии Малого театра в этом отношении повезло.

В эту ночь мы долго сидели на заветной террасе, пили чай, и опять Василий Иванович читал усталым, чуть охрипшим голосом «Ненастный день потух», и «Я вас любил», и «Я вас люблю», и письмо Онегина. И Клава Половикова пела свои роковые романсы вроде «Раз пришла домой хмельная я...», а Наташа Цветкова — лирические частушки... И были мы все влюблены и до зари ходили берегом Оки парами, сидели на ее высоком берегу, пока сияние луны не сменилось светом раннего утра.

Утром, когда я тихо-тихо пробирался к своей кровати, стараясь раздеться и улечься, не разбудив Василия Ивановича, он неизменно сквозь сон говорил свое обычное: «Нашлялся, сукин кот? Никто тебе физиономию не набил, донжуан сопливый? Дошлешься!» Я молчал, тихо хохотал и, сладко потягиваясь под одеялом, засыпал.

В это лето мы с отцом как-то уж очень крепко подружились. Возникла особенная, одновременно и мальчишеская и мужская дружба. Он сжился со мной, вернее, даже вжил в меня: он вместе со мной переживал мои сердечные, любовные дела, видимо, получал от них удовольствие и от сходства их с его молодыми романами, и в качестве сочувствующего наблюдателя, и, главное, от участия в них... Да, он и сам участвовал, путал, вернее отождествлял себя со мной; мои похождения и смешили и то радовали, то огорчали его... Мои влюбленности он пе-

реживал вместе со мной, как будто принимая в них непосредственное участие... Он так близко, так ясно понимал, чувствовал меня, что без моих рассказов знал, что я сказал, что мне говорили и что и как получилось. Мне он об этом прямо не говорил, но по отдельным его словам, даже больше по интонациям и междометиям я чувствовал это его полное знание всей моей жизни, всего со мной происходящего. Мы много говорили по ночам, куря, лежа в постелях, еще и еще «одну, последнюю» папиросу. Их огоньки то гасли, то разгорались снова, освещая часть его руки или нос и брови... Когда у одного загоралась спичка, другой жмурился от казавшегося после темноты очень ярким света и призывал кончить разговоры и спать наконец. Но в темноте глаза раскрывались, и разговоры разгорались снова.

И, боже мой, как многому я научился, как много понял за этот кусок жизни с ним. Я и раньше хорошо его знал, хорошо понимал, что он считает хорошим, в чем видит благородство, добро и что презирает, что в людях его огорчает, чего в них он боится. Но раньше он никогда так много, ясно и четко этого не высказывал, вернее, не давал понять. Видимо, наступило такое соотношение возрастов, когда обо всем буквально можно было говорить и когда, главное, у него уже не могло быть опасений, что я приму его высказывания за воспитывание, за внушение, за проповедь... И он никогда не поучал меня, не формулировал своих правил жизни, законов морали в виде каких-либо заповедей (вроде «не укради» или «блаженны миротворцы») — нет, уж если сравнивать со священным писанием, это были скорее притчи, нежели заповеди. Да, пожалуй, именно в форме притчей-рассказов, повестей о своем детстве, юности, университете, провинциальном театре, старом МХТ он выражал свое отношение к людям, свою оценку их качеств, свою оценку их отношений друг к другу и к нему самому. В этом, в том, что он помнил, как помнил, как определял, выражалась его мораль, его мудрость, его жизненная философия.

Это были по большей части смешные, иногда грустно-жалобно-смешные, иногда просто веселые, озорные, всегда очень правдивые и ярко, сочно-конкретные и красочные повествования, сквозь анекдотизм которых, нелепость положений и чужаковатость людей — героев, участников их всегда сквозила мораль его, особенная, собственная, может быть, нелепая с точки зрения других людей, но крепко в нем сидящая, основанная на талантливой наблюдательности. Это были убеждения, выкованные долгой, сложной, творчески богатой жизнью очень оригинально, своеобразно и тонко умного человека. Это были законы нравственности, правила поведения хорошего человека. Эти правила выявлялись не только в том, что и как он рассказывал, но и в том, как слушал, как реагировал на мои рассказы, что одобрял, что презирал, что принимал в моих воспоминаниях о детстве, о гимназии, гражданской войне, о жизни в Берлине; в моих мечтах и планах будущего, в моих определениях людей, меня окружавших или окружающих. Мне хочется попробовать составить что-то вроде его «кодекса чести», хотя я понимаю всю трудность этой попытки: ведь очень многое зависело от интонаций, от жестов, от междометий, от того, как он изображал, имитировал людей, о которых говорил... Из этого уяснялось его отношение и к событиям и к людям. А ведь этого не передашь на бумаге! Кроме того, в таком «кодексировании» есть что-то глубоко чуждое его же морали — есть нарушение скромности, в наличии которой он видел одну из основ порядочности. В самоуверенности, безапелляционности суждений, самолюбленном учительстве он видел и ограниченность пошляка, и торжественную глупость филистера и боялся этого и в других и в себе.

И все-таки мне хочется как-то зафиксировать его правила жизни,

я считаю себя вправе сделать это, потому что очень крепко его любил и очень ясно его понимал (насколько я способен, насколько мне доступно понимание этого очень сложного, противоречивого и изменчивого человека). Так вот как мне представляется его понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо».

Мне не хочется подбирать эти правила по степени их значительности или их взаимосвязи, расскажу просто так, как мне запомнилось; не хочется также пытаться отчеканивать их в форму каких-то изящных афоризмов, попытаюсь лучше восстановить в памяти и передать его лексикон и его интонацию.

Василий Иванович часто говорил о справедливости, утверждая ее трудность для человека и необходимость хотя бы стремления к ней. Мне кажется, что он считал, что стремление быть справедливым, беспристрастным — самое определяющее человека стремление. Человек, движимый инстинктами, — животное; человек, движимый только эгоистическим сознанием своей выгоды, своего блага, своего права (последнее самое важное), гораздо хуже животного, страшнее и опаснее. Со стремления к справедливости, со стремления понять интересы других людей начинается вообще всякая человечность. Он считал, что нельзя быть справедливым, пока не научишься воспринимать себя, свое поведение с точки зрения другого человека, других и разных людей. Надо уметь видеть себя глазами другого и любой вопрос уметь рассмотреть с точки зрения интересов другого, стараясь понять, как этот другой понимает положение, каким видит тебя.

«Он воспринимал меня пошлым дураком, фатом дурного тона, «актером актеровичем», героем-любовником с бархатными нотками голоса — это несправедливо, но я его понимаю, я понимаю, почему он меня таким воспринимал, у него были очень мне понятные основания, я ни одной секунды не обижаюсь на него. Мне только смертельно горько, что он умер, и я никогда не сблизюсь с ним, и не будет у него возможности переоценить меня». Это Василий Иванович говорил о Блоке, первую годовщину смерти которого мы отмечали в то лето. История отношения и оценки Блоком человеческой сущности Василия Ивановича слишком интимна, слишком «закулисна», мне не представляется допустимым разбираться в ней, да это и не в плане моих воспоминаний, но я не мог не рассказать о том, что Василий Иванович умел понять и оправдать отношение к себе, даже самое несправедливое. Причем это касалось не только отношения к нему больших людей, иногда он так же ясно определял, за что его не любят, чем он раздражает какого-нибудь продавца в магазине или массажиста в водолечебнице.

Мучительно раздражаясь всякой грубостью, всяким хамством, он особенно яростно возмущался хамством сверху вниз. Считая, что вообще никому нельзя хамить и ни к кому нельзя подлизываться, нельзя ни перед кем пресмыкаться и заискивать, он мог скорее простить человеку, если он нахамит начальству или будет заискивать у подчиненных, чем если он унижается перед властью и силу имущими и хамит «вниз». Нет ничего омерзительнее барского, барственного хамства. Человека, грубо разговаривающего с прислугой, с подчиненным, «мне хочется убить палкой по голове» (его слова).

Он совершенно не понимал жадности к деньгам и, хотя тратил их с удовольствием, легко мирился с их отсутствием. Терпеть не мог расчетливости и огорчался, если видел ее в близких или просто хороших, нравящихся ему людях. Постоянно говорил о том, что не надо бояться быть обманутым, обсчитанным, — обманутого можно, жалея, уважать; обманувшего же, ловкача, уважают только такие же прохвосты, как он сам. Лучше переплатить и недополучить, чем недоплатить и переполу-

чить. Говорят иногда: «Мне не жалко денег, но я не хочу, чтобы из меня делали дурака». Так, в тысячу раз лучше быть в глазах жуликов дураком, чем в своих глазах хоть на минуту жуликом. «Дурак» в деловом отношении — это порядочный человек. «Джентльмен всегда переплачивает» (его слова). И это отношение к материальным ценностям он переносил и в более глубокое — лучше быть недооцененным, чем несправедливо переоцененным. Если ты недооценен — у тебя может таиться надежда на то, что когда-нибудь тебя оценят, если переоценен — ты всегда живешь, ожидая, опасаясь разоблачения; опасение разоблачения — самое страшное в жизни. Себя Василий Иванович почти до старости, до прихода к нему мировой славы, считал переоцененным и с тоской и тревогой ждал если не разоблачения, то разочарования от несбывшихся ожиданий. Каждую неудачу, каждое непризнание он воспринимал как начало конца своей «карьеры», права на которую казались ему очень долго сомнительными.

Василий Иванович охотнее слушал самую свирепую критику, если находил в ней хоть что-нибудь, чем можно воспользоваться в работе, чем дифирамбы.

Ко вранью, ко лжи у него было особое отношение. Врать-выдумывать, врать-преувеличивать, врать-утешать, врать ради радования людей, врать, чтобы не огорчить, соврать, чтобы отделаться от скучного человека или общества, — это он допускал, прощая, даже иногда поощряя... Но соврать, чтобы казаться чем-нибудь, чем ты не являешься, соврать ради какой бы то ни было (материальной или моральной) выгоды, соврать из трусости — это подлость. Трусость он понимал очень широко, очень разнообразно, вернее разносмысленно. Некоторые виды боязливости, пугливости, страха он прощал, оправдывая, сердился на тех, кто демонстрировал их отсутствие в себе, неспособность к этим чувствам, считал их фанфаронами и хвастунами. Сам, например, боялся коров, боялся пьяных и хулиганов, боялся высоты, крыс, змей — и не скрывал этой боязни, но в этом он не видел трусости, а вот в боязни не угодить начальству, в отсутствии творческой смелости, в боязни не иметь успеха он видел трусость и ее презирал. Больше всего и мучительнее всего он презирал ее в себе. То, что он называл в себе трусостью, — это было неверие в себя, осторожность и, конечно, боязнь не иметь успеха, «не дойти» до публики, не быть признанным... Но об этом я уже писал раньше. Было и другое понимание «трусости» — когда его хвалили за деликатность, он отмахивался, говоря: «Это от трусости — боюсь хамства». Когда поражались его щедрости, тоже объяснял ее «трусостью»: «Боюсь увидеть недовольное лицо». О причине щедрости не знаю, но деликатность у него шла не от «трусости» — он был естественно и глубоко деликатен. Он остро чувствовал причиняемую другому боль, поэтому почти никогда ее не причинял, не мог, был не в состоянии ее причинить. «Нет боли мучительней, чем та, которую ощущаешь, наступая каблуком на собачью лапу или на босую ногу ребенка. От этой, от такой боли может разорваться сердце».

Изнутри, из сущности Василия Ивановича исходила и его воспитанность, и внешняя и внутренняя. Ведь никакого воспитания в смысле выдрессированного «хорошего тона» он не получал. Вырос без гувернеров и гувернанток. Правилам поведения учился, только наблюдая людей вокруг себя, а вот чему подражать и у кого заимствовать — это решалось его внутренним чутьем и внутренним вкусом. Так, отличавшая его глубокая и одновременно элегантная благовоспитанность имела своей основой деликатность души.

Он часто говорил, что не надо бояться проявить невоспитанность: если думаешь о людях, об их удобствах, их приятности, их самочувст-

вии, никогда ничего по-настоящему грубого и «невоспитанного» не делаешь. В «не той вилке» только дурак увидит невоспитанность, а в барственном презрении к не вовремя и не в нужном порядке протянутой руке, в замечании, сделанном за мелочь,— вот в чем отсутствие благовоспитанности. Но это не значит, что не следует постоянно отшлифовывать свои манеры, свой стиль поведения — это те формы, которые облегчают и украшают взаимоотношения между людьми. Но нельзя превращать их в основу.

Исключительно серьезно (это не для парадокса) он относился к юмору. Отсутствие его у человека он воспринимал не только как серьезнейший, существенный недочет в человеке, как неполноценность человека, но и как признак, как отрицательное качество, настораживающее против него. Людей, не понимающих юмора, и особенно людей, боящихся смеха, боящихся вызвать смех, не выносящих смеха над собой, он боялся. Считал их либо дураками, опасными своей глупостью, либо подлецами. Людей, смешных непосредственно, он предпочитал умелым, опытным юмористам. «Испытанные остряки» блоковских петербургских дач были ему отвратительны. Одного крупного театрального деятеля, которого он высоко ценил и уважал за деловитость, ум, энергию, талант администратора, он сразу и категорически переоценил после одного вечера в компании, где Л. (фамилия деятеля) несколько часов был «душой общества» — рассказывал анекдоты, острил и вообще «держал площадку». Даже его деловые качества начали вызывать у Василия Ивановича сомнения. «Очень уж он пошел, как его всерьез воспринимать». Очень ценил хороших, наблюдательных рассказчиков, особенно таких, которым верил, вернее, когда верил, что они видят то, о чем рассказывают. Они могли и придумать и преувеличить, но если это было талантливо, с видением того, о чем говорили, принимал рассказ, если нет — словом «врет» ставил крест на рассказе, а иногда и на рассказчике.

Василий Иванович очень любил природу и умел наслаждаться ею. Очень ценил в людях понимание красоты природы, но еще больше, чем понимание, ценил чувство красоты ее. Больше, так как если понимание выражалось в словах восторга, оно его раздражало. Чуть ли не единственным недостатком у очень им любимой Н. А. Смирновой он находил ее «смирновиады» — так в их кругу называли ее восторженно-поэтические воспевания закатов, форм облаков, волн ветра во ржи и т. д.; когда она начинала: «Посмотрите, как удивительно прекрасно этот зубчатый край соснового бора рисуется на розовой заре, как перламутрово-серые облака клубятся на золоте заката...» и т. д., — он тихо злился и старался каким-нибудь конкретным вопросом отвлечь ее от этих излишней. Сам он мог подолгу всматриваться в простор полей, вслушиваться в шум лесов и воды, внюхиваться в аромат лугов и очень любил, очень благодарно оценивал, когда ему указывали на что-нибудь особенно прекрасное. Но еще больше, чем «смирновиад», не переносил штампов в восприятии как природы, так и искусства. Шаблонные определения, «кстати» приведенные стихотворные или прозаические цитаты, которые у некоторых «эстетов» всегда готовы на все случаи жизни, цитаты из хороших поэтов и о прекрасных явлениях, но своей карманной всегдашней готовностью опошляющие и явления и своих авторов, угнетали его и раздражали. Раздражало его и в тысячный раз сказанное: «Смотрите, какой закат, вот если художник такой бы изобразил, сказали бы, что так не бывает». Но еще больше злило его: «Весь день стоит как бы хрустальный» или «Есть в русской природе усталая нежность» и т. п. В посторонних его это злило, а в близких огорчало: он видел в этом отсутствие способности непосредственно воспринимать, необходимость пользоваться искусством для восприятия природы, то есть смотреть на мир

не своими глазами, а глазами художника, воспринимать его через призму чужого глаза, слова, кисти... Совершенно так же его огорчало и восприятие произведений искусства через сходство с другим произведением. Оценка по степени похожести на образцовое, на общепризнанное, на «классику». Он ценил оригинальность, своеобразие и в восприятии, но еще, и, конечно, гораздо больше, ценил ее в творчестве.

У Василия Ивановича было очень острое и тонкое чувство нового. Он умел (и любил) найти новое, свежее, впервые сказанное, неповторенное и в картине, и в скульптуре, и в том, как сыграна роль, прочитано стихотворение, спета оперная партия или романс, станцован танец... Он радовался этому и долго хранил о нем благодарную память. К доставившему такую радость он испытывал чувства, похожие на влюбленность. Всю жизнь он так был влюблен в Шаляпина, очень долго не мог без нежной, влюбленной улыбки вспоминать М. Чехова в Калебе («Сверчок»), Фрезере («Потоп»), Аблеухове («Петербург»)¹. Очень любил Н. Ф. Колина и С. В. Гиацинтова в «Двенадцатой ночи». Да всех не перечтешь. Гораздо реже он бывал обрадован режиссерской работой. Мне кажется, он вообще не любил режиссера, если он был слишком явно ошутим. Не верил в возможность и, главное, в нужность «режиссерской экспозиции», в замысел, план, решение... Признавая нужность режиссера-контролера, режиссера-зеркала и, конечно, режиссера-организатора, наладчика спектакля, он раздражался режиссерскими трюкачествами, особенно если целью трюка, фортеля, самовыявления было проведение, утверждение злободневной позиции, — иными словами, ненавидел режиссеров — конъюнктурщиков, карьеристов. Карьеризм вообще он брезгливо презирал, но карьеризм в искусстве ненавидел остро и злобно. Даже талантливые люди, когда они лгали в искусстве, лгали искусством, заставляя лгать других ради своей карьеры, ради того, чтобы ничего в искусстве не понимающие, но высокопоставленные люди их похвалили, превращались для него в ничтожества. «Проститутка, самая вульгарная проститутка», — говорил он в таких случаях. Особенно мучительно было ему, если такой «проституцией» занимался близкий ему, связанный с ним годами дружбы и совместной работы человек. А это случалось. Как-то огорчил его в этом смысле и я. Правда, это было совсем не в плане искусства-творчества, но все-таки то, что это огорчило Василия Ивановича, делает этот случай достойным описания.

В 1922 году наряду с другими работами мне было поручено провести инвентаризацию мебели на внетеатральных складах МХТ. Уже не помню, каким именно способом мне удалось договориться с рабочими, назначенными мне в помощь, так, что условия, на которых они должны были работать, оказались очень выгодными для дирекции и невыгодными рабочим. Руководивший в те времена финансами и хозяйством МХТ Д. И. Юстинов очень меня расхвалил и поставил в пример другим административным работникам. Я с гордостью сообщил об этом отцу. Реакция была неожиданной и бурной — он назвал меня негодяем и мерзавцем. «Неужели ты не понимаешь, что «делать карьеру», радуясь похвалам какого-то кулака, вероятно, жулика и проходимца, обсчитывая рабочих, может только последняя дрянь? Надо делать все, что в твоих силах, чтобы они заработали больше, а работали меньше, легче. Даже если тебя за это будут ругать всякие такие хозяйчики. Да их похвала — позор для тебя!» Он долго сердился и даже не разговаривал со мной.

¹ В Гамлете Василий Иванович М. А. Чехова не принял совсем. Он смущенно объяснял это тем, что ему очень трудно принять другого актера в своей роли. Он категорически утверждал, что и никто, ни один актер не в состоянии искренне принять другого в своей, особенно в любимой, роли.

Еще об одном качестве Василия Ивановича мне бы хотелось рассказать. Правда, это не относится к «кодексу морали», о котором я пытался дать представление, но уж очень это качество для него характерно и как для человека, и как для художника. Это свойственный ему талант читателя, искусство чтения. Да, иначе как искусством эту его способность читать я не могу назвать. Он читал, продумывая каждую фразу, останавливаясь, возвращаясь к первым встречам с персонажем, перечитывая отдельные абзацы и целые главы по два, три раза... Проверять прямую речь на слух, ища интонации, акцент, ритм ее. Если произведение не выдерживало такого внимания, было недостойно его, он с горечью расставался с ним, все-таки прочтя не менее половины. Но если привлекало хоть чем-нибудь, заинтересовывало его или просто нравилось, он перечитывал его целыми большими кусками, читал вслух близким, а иногда почти незнакомым: соседям по купе, больным в больнице и в санатории, отдыхающим в доме отдыха... Читал, чтобы проверить и нравящееся ему, и наоборот, вызывающее раздражение, показавшееся фальшивым, «враньем», как он называл то, чему не верил. Вернее, в правдивость автора чего не верил. Нравящееся же читал вслух неделями, отыскивал все новых и новых слушателей.

Так у Василия Ивановича было на моей памяти с «Подростком» Достоевского, с повестями и рассказами Чехова, с Горьким (отдельные места из «Детства» и «Университетов», «Мордовки» и других рассказов, главным образом поздних), с Буниным, с Л. Толстым («Война и мир», «Детство» и «Отрочество»). «Каренину» он любил несравненно меньше, а «Воскресение» до тридцатых годов не любил совсем). Потом, уже не в описываемое время, он увлекался Шолоховым, Паустовским.

Не могу не упомянуть уже многократно рассказанное: лежа в больнице, он вписал в бывшую с ним в палате свою книгу, где был сокращенный вариант из цикла «Мещорская сторона», все выпущенные места, для чего ему достали в больничной библиотеке экземпляр с полным текстом («Вдруг захочется перечитать, а тут очень хорошие места выпущены»). Как-то он разбудил ночью и мать мою и меня — очень захотелось прочитать нам поразивший и пленивший его кусок из роллановского «Кола Брюньона». «Ну, просто невтерпеж было», — извинялся он потом, прочтя весь кусок, а потом еще два-три места из него «на бис».

Быстрое, легковесное прочитывание книг возмущало Василия Ивановича и огорчало: «Ну что ты халтуришь, ну как это можно триста страниц в один день, ведь ты ничего не понял, ничего не просмаковал, не запомнил». Он раздражался, когда при беседе о недавно прочитанном романе путают имена, названия местностей: «Ну как ты читал, так, проглядел содержание, и все. Стоит для таких читателей работать!» Не любя и никогда не применяя литературоведческой терминологии (я никогда не слыхал от него таких слов, как «эпитет», «метафора», «образ» и т. п.), он умел наслаждаться самим мастерством литератора, он и в прозе, как и в стихе, умел услышать ритм, отметить смену ритма, мелодию и гармонию речи. Только газеты он просматривал наскоро, но и то не для того, чтобы, узнав последние новости, отбросить газету, а для того, чтобы на одной-двух статьях остановиться и прочесть их вдумчиво, пытаясь прочесть и то, что было «между строк».

Огромную работу Василий Иванович проделывал над переводными текстами. Впервые он приступил к такого рода труду, получив роль Гамлета. У него на столе лежало восемь — десять разных переводов — от Полевого до К. Р — а (великого князя Константина Романова), — и он неделями бился над каждой строкой, комбинируя из всех переводов такой, который казался ему наилучшим. Английского языка Василий Иванович не знал, но кто-то сделал ему подстрочный, дословный

перевод — он и им пользовался. Хотя надо сказать, что этот перевод больше смешил его, чем помогал ему, — дословность оказывалась иногда анекдотична. Потом он так же работал над Ибсеном и Гамсуном, но не путем компиляции переводов, а просто исправлением Ганзена. С наслаждением он занимался этим, работая над речами Брута и Антония («Юлий Цезарь» Шекспира). Переводы, бывшие в его распоряжении, ему не нравились. Его огорчало, что в них нет бронзового звона латыни. Он утверждал (так ему казалось), что Шекспир должен был хорошо знать латынь и что обе эти роли он, прежде чем написать по-английски, продумал и прослушал по-латыни. И сам Василий Иванович, работая над этими речами, прежде чем начать читать речь Брута, прочитывал по-латыни речь Цицерона о Катилине, а перед речью Антония — что-нибудь из «Метаморфоз» Овидия. Мне кажется, что его текст этих речей получился более латинским по звучанию и по строю фраз, чем это было у Шекспира в английском тексте. Василий Иванович шутя говорил, что Шекспир был бы им доволен, что ему, Шекспиру, не удалось в глухом и шипящем английском языке добиться звона царственной латыни. В русском ему, Василию Ивановичу, это удалось.

Эта страсть переделывать переводные литературные произведения распространялась у Василия Ивановича и на русские. Так, огромную работу он проделал над «Думой про Опанаса» Багрицкого. Он отлично понимал недопустимость искажения произведения, но ничего не мог с собой сделать. Причина этой страсти была в любви к произведению, в стремлении сделать его понятным, разъяснить дорогие и ценные мысли, которые казались ему недостаточно доходчиво или звонко выраженными. Он с тоскливым страхом ждал встречи с Багрицким, которому, он знал, стала известна такая его «популяризация». На вопросы друзей, зачем он это делает, раз понимает всю недопустимость такого вольничанья и раз ему потом приходится этого стыдиться, он раздраженно отвечал, что не может не стремиться к улучшению того, что ему нравится. Это, видимо, было выше его сил. При этом он одновременно и смущенно и упрямо выслушивал упреки в плохом вкусе, в литературной и синтаксической безграмотности своих «вариантов», но читать на концертах продолжал по-своему.

В этих последних страницах я далеко ушел от алексинского лета. Далеко не все, что я в них писал о Василии Ивановиче, было мною понято именно тогда. Но там, как я уже говорил, укрепилась, углубилась и утончилась наша дружба, там я начал острее и ярче его воспринимать, поэтому мне и хочется к этому процессу познания отца присоединить и многое другое, что я сейчас вспоминаю о нем, когда пишу о том лете.

Когда я вспоминаю Василия Ивановича в Алексине, да, пожалуй, и не только в Алексине, я думаю об удивительной чистоте, скромности, строгости его поведения в то лето. Он почти совсем не пил — только какой-то минимум, меньше чего уж нельзя было, чтобы не обидеть компании, никак не реагировал на девичье окружение Алексина, а ведь он был еще относительно молодым человеком — сорок семь лет, а выглядел гораздо моложе, имел большой мужской успех. Трудно сейчас сказать, в чем тут было дело, почему его обычно очень ему свойственная в те годы жадность к жизни, то, что он называл в себе «бастовщиной» (Пэр Баст в «У жизни в лапах» Гамсуна), а мне казалось в нем сближавшей его с Облонским или с Ерошкой, в то лето как-то притихла, приумолкла. Это был период какой-то нравственной диеты — очищения от берлинской и вообще эмигрантской мути. Причем это не было равнодушием и сонливостью, не было и успокоенностью от возвращения —

кончились, мол, скитания, волнения, тревоги, настал покой домашней жизни, — то есть какая-то доля была и этого, но не это было главным. Это был не покой, а настороженность внимания к тому, что кругом, напряженность рассматривания, изучение, анализирование того, что произошло с людьми за три года (и ведь каких года!), напряженность взвешивания, оценивания себя в новой (да, да, н о в о й) среде. Было и актерское волнение — свойственный ему всегда некоторый комплекс актерской неполноценности в это время обострился необыкновенно. Он боялся, просто как ученик боялся предстоящих в августе репетиций с Константином Сергеевичем, трепетал от ожидания бесед-замечаний Владимира Ивановича. Он знал, как внимательно-придирчиво они оба будут искать в нем «ракушек» после трехлетнего самостоятельного дальнего плавания, как беспощадно и жестоко будут эти «ракушки» соскребать... Вот эта вздернутость и не давала Василию Ивановичу легко и безмятежно отдыхать. Ему легче было играть и репетировать с новой, малознакомой молодежью, забываться, читая по ночам стихи, чем просто отдыхать и наслаждаться жизнью так, как он любил и умел это в прежние летние отдыхи где-нибудь в Кисловодске или в довоенной Европе... Отсюда и наши ночные беседы, наша дружба в то лето. Потом, впоследствии, у нас бывали и другие повторы острой и напряженной дружбы, но эта, алексинская, в ту осень кончилась. Ею завершилась и моя юность.

На этом мне и хочется закончить свои воспоминания. Может быть, когда-нибудь, если сумею, я продолжу их.



В. БЕЛОВ

★

МАЗУРИК

Рассказ

Сенька Груздев — самый веселый и беззаботный парень — женился как раз перед войной. Был он хоть и порядочный ростом, но жидкий: мослы на спине торчали даже через ватник, и штаны висели на Сеньке, как на колу. А девку прибрал к рукам красавицу — Тайка, Таиска была у него дородная, волоокая и ходила всегда будто со сна, с тайной полуулыбкой и будто о чем задумавшись. Хотя работала она весело и с товарками щебетала не хуже других.

Сенька по простоте своей хвалил жену всем вместе и каждому в отдельности: «А вот у меня Тайка! А вот моя Таиска, нет лучше бабы!» И с восторженной откровенностью выкладывал ночные подробности. Может быть, зря хвалил, на свою шею выкладывал...

Да, Сенька Груздев был и вправду веселый, ходил он быстро, не ходил, а бегал. Про таких у нас говорят, что «вот, эта мелея на месте не усидит». Называют торопыгой, вертуном либо удваивают собственное имя обязательной добавкой и получается что-нибудь вроде Степысуеты, либо Ромы-егозы, либо Егора-трясунчика.

Груздев почти всегда улыбался. А о себе говорил обычно в третьем лице: «Сеньку Груздева знаете? Сенька Груздев хороший парень! Ты Сеньку не обидь, а уж он тебя век не обидит».

Сенька был прав: до войны он никого не обижал, хотя самого его обижали сплошь да рядом. Кого в первую очередь посылать на сплав леса? Сеньку Груздева. Кто в разгар праздника должен сидеть в сельсовете и караулить у телефона? Сенька. Лошадь, пахать свой огород, кому в последнюю очередь? Опять же Груздеву в последнюю очередь. И так всю жизнь. Сенька же будто и не замечал этого. Он говорил со всеми громко, прибаутничал, и лишь мелькал его добрый, загнутый чуть вправо, вздернутый, но остроконечный нос. Любила ли Тайка своего Груздева — не поймешь. Наверно, любила сколько-то, потому что перед самой мобилизацией родился у них первый ребенок. А когда началась отправка, Тайка, как и все бабы, редела в голос и хрысталась на котомки, сложенные оптом на двуколой телеге. Другие повозки, негруженные, стояли запряженные, готовые, Сенька же плясал в это время у своего же дома, и гармонь едва успевала за частым — словно горох сыпался — стуком стопанных Сенькиных каблуков. Плясал Сенька удивительно. Не глядя под ноги, а глядя куда-то в небо, шел-строчил, описывал большой круг, и все его естество ходило, как на шарнирах. Нет, плясал Сенька хорошо, ничего не скажешь. Только частушки, как назло, вылетели из

головы подчистую. Он не мог вспомнить частушку вовремя и мотал от этого головой, и приходилось петь одно и то же:

В Красну Армию, робятушки,
Дорога широка,
Вы гуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока.

И опять самозабвенно шел по кругу, и гармонь захлебывалась от собственных звуков, и ревели и хрюстались о котомки «девки-матушки».

«Робятушки» уехали на войну со звоном гармони, многие поперек тарантасов. Уехал и веселый Сенька Груздев.

Прошло полтора года, и вдруг Сенька явился домой — его ранило в руку: разбомбили состав, а Сеньку припаяло осколочным. Рука — как на грех, правая — совсем не действовала, вместо пальцев торчали в разные стороны какие-то розовые соски и калачики, и между ними все время сочилась сукровица.

Однако Сенька не унывал. Хотя в его отсутствие в кособоком доме прибавилось ни много ни мало двое жильцов (Тайка гульнула слегка с одним из уполномоченных), он ничуть не обиделся на судьбу. Груздев сперва только удивился, но особо не расстроился и через неделю совсем привык. Только частенько ругал Тайку: «Ты бы, дура, хоть не двойников, понимаешь! Ты бы хоть одного, дура, а то, вишь, сразу двоих заворотила!»

Тайка отмалчивалась, притворяясь и делая вид, что у нее есть какое-то оправдание, только, мол, она, Тайка, никому об этом оправдании не рассказывает. Потом она и сама поверила в это несуществующее оправдание, а Сенька еще больше привык, когда зимой родился еще один, уже наверняка свой, кровный. Сенька бегал по деревне гоголем, и все встало на свое место. Лишь иногда пожилые мужики, не ушедшие на войну по возрасту, подначивали Сеньку: «Худо ты, Груздев, работаешь, не то что уполномоченной. Мужик один сенокос и в деревне-то пожил, а вишь, сразу оба-два! Тебя когда отпустили? Ведь два года скоро, а ты только одного смастерил».

Сенька не оставался в долгу. Он шумно, почти всерьез, оправдывался госпиталем и худыми теперешними харчами, смеялся вместе с мужиками. Впрочем, Сенька зря оправдывался, потому что не прошло и года, как Тайка родила опять и, что всего удивительнее, опять двойню. Один ребенок из этой новой двойни сразу же умер. Но все равно семья была большая. Сенька изворачивался, как только мог: пятерых ребятишек и в мирное время поднять на ноги не шутка. Но Груздев был по-прежнему весел и любил всех людей, не считая бригадира.

Бригадира же, двоюродного Илюху, Груздев не любил по многим причинам. Первая причина та, что он бригадир, вторая — что хоть и двоюродный, а прижимка, к нему, к Груздеву, словно бы к пленнику: то упряжь худую даст, то за овец оштрафует, хотя его, Илюхины, овцы щипали озимь на паях с остальными. А однажды в сенокос Илюха кровно обидел Тайку. Илюха вместе с председателем и счетоводом объявили бесплатный воскресник в счет помощи фронту. Дело не в том, что бесплатный, все равно и другие дни также бесплатные, да и Тайка пошла бы работать не позже других баб. Пришла установка, чтобы утром печей не топить и всем поголовно выйти косить. Сеньки дома не было, он уезжал под извоз, и Тайка потом рассказала, как было дело.

Легко сказать не топить, ежели и в топленную печь ставить нечего! Картошка еще только что отцвела, летом ни мяса, ни редьки, а ребятишки, они ведь не спрашивают, где взять, каждый есть просит.

И жена — Тайка — печь затопила. Хотела она сварить крапивной похлебки, а когда протопит, поставить к загнетке ставец козьего молока. А уж потом и идти на воскресник. Утром, часов в пять, она затопила. Дрова были гнилые и не горели, а только шаяли: словно медведь сидел в Тайкиной печке. Тайка сбегала на поветь и разломала пустую кадушку. Подкинула на огонь сухую клепку, и в печи сразу стало весело, как на празднике. И вдруг Тайка в окно увидела председателя, счетовода и бригадира Илюху. Все они с Илюхиной бадьей ходили по деревне и заливали водой печи. Не успела Тайка опомниться, как Илюха с председателем были уже в избе. Они подняли крик, будто на пожаре, разбудили всех ребятшек. «Лей!» — крикнул председатель, и бригадир Илюха два раза плеснул из полной бадьи в Тайкину печь. У Тайки зашлось сердце при виде белого пара, повалившего из погашенной печи. Так хорошо, ясно топились дрова... Она, в слезах, схватила с лавки ведро своей воды и с ног до головы окатила Илюху. Хотела вторым ведром окатить и тех двоих, но они из избы выскочили. После этого зуб у Илюхи против Груздевых стал еще больше, бригадир обижал Сеньку на каждом шагу.

Как-то ночью Сенька назло Илюхе уволок с полосы ячменный сноп. Хотелось ему, чтобы пришел утром Илюха и увидел, что снопа нет, хотелось как-то насолить бригадиру, который на ночь все снопы пересчитывал. Сенька уволок сноп на предбанник и забыл про него. Вспомнил только тогда, когда Тайка обмолотила сноп колотушкой, провеяла на ветру зерно, высушила в печи и велела Сеньке смолоть на ручных жерновах. Дней пять она кормила ребятшек ячменной кашей. И тогда Сенька, чуть поколебавшись, уволок еще один сноп. Потом утащил сразу два... После этого у Груздева дело пошло быстро: он наострился таскать все, что попадало под руку. Копна так копна, овчина так овчина, — начал жить по принципу: все должно быть общим. Воровал он тоже весело и никогда не попадался, ему везло, хотя все знали, какой Сенька стал мазурик.

Его все время посылали под извоз. Он быстро научился одной рукой запрягать лошадь, помогая то зубом, то коленом, ловко накидывал гуж, засупонивал хомут и привязывал к удилам вожжи. С любым возом, в любую погоду он ехал на станцию, за семьдесят километров, ехал на три-четыре дня. И никогда не возвращался без добычи. Однажды привез для колхоза новехонький, с гужами из лучшей сыромяти хомут, в другой раз перепряг мерина в чужие новые дровни. Сена он на своей конюшне никогда не брал, добывал кормежку для лошади в дороге, частенько привозил в колхоз то полдесятка пустых мешков, то новую дугу, а однажды стянул с возка райкомовский тулуп.

Илюха, хотя и держал на Сеньку зуб, помалкивал в таких случаях и домовито принимал добычу на бригадный баланс, председатель тоже лишь усмехался при виде новых дровней, а при сдаче хлеба по господавкам всегда назначал Сеньку старшим по обозу. Потому что Груздев привозил квитанций больше, чем положено. Делал он это просто: когда на складе взвешивали привезенный на сдачу хлеб, то Сенька весело трепался с приемщиком. Взвешенные и уже принятые мешки складывались отдельно, в сторонку. Стоило приемщику замешкаться, отвернуться по делу, Сенька взвешенный и уже принятый мешок, изловчившись одной рукой, опять клал на весы. Иногда, притащив мешок в склад и сдав приемщику, Груздев тащил мешок обратно в телегу...

Бабы теперь боялись ездить с ним под извоз, было опасно оказывать его соучастником. Зато он никогда никого в дороге не оставлял, всегда выручал и помогал. То ли завертка у бабенки лопнет, то ли испугается кобыла машины — Сенька всегда тут как тут, выручит, обнадежит.

Может, за это и сходили ему с рук многие уж совсем бессовестные проделки.

Однажды он среди бела дня свистнул со склада сельпо полтуши замороженного поросенка. За Сенькой шесть километров гнался заготовитель сельпо Гриша, по прозвищу Шкурник, потому что всю жизнь возился с овечьими, телячьими и прочими шкурами, заготавливая их и занимая сортность во имя блага государства. Гриша догнал-таки Сеньку и при всем народе начал стыдить вора:

— Ты, Семен, стыд потерял, тебя надо в тюрьму посадить, разве ладно ты делаешь?

— Жалко, так на, бери! — сказал Сенька. Он бросил поросенка в снег, хлестнул по лошади и уехал.

Таким мазуриком стал Груздев к началу последней военной зимы.

* * *

Холодное, темное и глухое утро. Мороз винтовочными выстрелами то и дело бухает в скрипучих постройках. Такой мороз, что Груздев еле отнял губу от железа, когда зубами распутывал поводья узды и нечаянно прикоснулся к удилам.

— Дурак, я дурак! — ругает он сам себя. — Разве это дело?

Он и сам не знает, отчего так получилось. Забыл, мозгами вздремнул. А ведь еще в малолетстве учен был морозным железом. (Однажды на спор лизнул обух принесенного с мороза топора.)

В темноте конюшни Груздев долго ищет седелку. Облизывает обожженную губу и тихонько ругает бригадира Илюху: опять одноглазый спрятал чужую седелку.

— У, сотона, кривой! — без злобы рычит Сенька и вытаскивает из дальней кормушки спрятанную бригадиром седелку.

Так. Значит, подпруга, войлок, все в порядке. Сенька обращывает свою лошадь, всхрапнувшего вместо приветствия чалого Воробья.

По причуде судьбы мерин Воробей не мерин, а наполовину жеребец: ветеринар, холостивший Воробья, плохо спутал ему ноги, и животина лежа лягнула ветеринара в грудь копытом. Пока ветеринар отлеживался и собирался довести дело до конца, началась война, его вызвали на фронт в первый же день, а Воробей так и остался при своих испорченных интересах.

И вот Сенька Груздев еще затемно запрягает этого Воробья. Бригадир Илюха с вечера сделал наряд: надо везти государству тресту, а обратно ехать порожняком либо прихватить что пригодится.

Груздев запряг и поехал к гумну. Две бабы и подросток Борька, тоже намеченные под извоз, еще не запрягали, и Груздев колотит в их ворота кнутовищем:

— Эй, теплобрюхие! Вставай, эй! Кому говорят, запрягай!

Но в окнах уже мерещится и так что-то красное: свет от лучины, а может, от затопленных печей.

«Теперь проволынятся до обеда, — думает Груздев. — От лешие-сотоны, беда мне с ними».

У своего дома он еще раз перевязывает лен, сильнее затягивает веревки. В избу ему не хочется. Тайка с ребяташками еще спит, делать в избе нечего. И Груздев идет помогать остальным возчикам.

Когда соберутся и выедут в путь, обычно уже светло. Заря розовеет на близком краю неба, тут и там белеют, торопятся вверх, умирать, печные дымы. Лошади тотчас же начинают сесть инеем, полозья тоскливо затягивают скрипучую свою песню. Теперь трое суток, не меньше, только и дел, что слушай эту морозную песню, и Воробей останавливается у околицы. «Может, еще ошибка какая, может, недалеко ехать?» —

такой вопрос таится в глазах обернувшегося назад коня. Нет, никакой ошибки нет, Груздев кричит Воробью «шагом марш!» и запахивается в тот самый тулуп.

Всходит холодное солнце. Везде кругом розовые, будто кровавые, снега, везде мертвая тишина да белые ольховые кустики. По этим кустикам и стелется скрипом полозьев узкий бесконечный зимник, стелется семьдесят километров, до станции.

Сенька высовывает из тулупа нос:

— Эй, Марюта, а Марюта?

— Чево?

— А жива еще? Гляди у меня, не умирай раньше время.

— Не умру, Семен, не умру!

И Марюта замолкает, ободренная разговором. Она боится будущей неизвестности, дальней дороги, боится и другая баба — Ромиха. С Ромихой Сенька перекликается тоже:

— Ромиха, ты вот что. Ты бы дома грамм сто пропустила, так и не мерзла!

— А надо бы дернуть! — бодро отзывается Ромиха, которая за всю жизнь ничего, кроме чаю, в рот не брала.

Тем временем Груздев пускает Воробья одного и перелезает на Борькин воз:

— Чево, Борька, ты не женился еще? Поди, ведь уж семь групп окончил.

— Не-е,— смущается Борька,— я еще только на ту зиму.

— Жениться-го?

— Не, семь классов на ту зиму.

За разговором на сердце мальчишки тоже становится легче. У него каникулы, он едет на станцию всего второй или третий раз и боится дороги больше, чем бабы. Дорога и правда тяжкая, долгая, с двумя, а иногда и тремя ночлегами, с раскатами на горюшках, с машинами у станций, с трудными разъездами по глубокому снегу. Если одному, то и пропасть можно, а тут еще голодный, и в дорожной котомке только шесть варёных картошин. Да лепешки из льняных жмыхов.

У Сеньки Груздева и того нет. Чем питаться эти трое суток, он и сам не знает, просто надеется на какие-то случаи. Он без труда забывает про это неприятное обстоятельство, вытягивает ноги и, опершись на локоть, поет:

Далеко в стране Иркутской,
Между двух огромных скал,
Абнисен большим забором...

Сенька поет довольно приятно и сам чувствует эту приятность, отчего петь ему еще приятнее:

...Подметалов там немало,
В каждой камаре найдешь.

Почему-то он представляет этих «подметалов» в виде бригадиров Илюх, тоже кривыми, только в новых синих фуфайках, в серых подшитых валенках и с новыми же березовыми метлами в коротких руках. Они, эти подметалы, ходят по «камарам» и шумно метут полы: так видится поющему Груздеву. Борька с вежливым интересом слушает песню про Александровский централ и шевелит в валенках замерзающими пальцами. Лошадь тоже слушает. Полозья под возами по-пороссячи визжат, мглистое солнце отстранилось от еловых верхов и висит, полозья визжат бесконечным прерывающимся визгом.

Сенька враз перестает петь и вытягивает сухую шею: Воробей впереди остановился. Груздев издали громко матюкает его, и Воробей не прекословит, топает дальше. Борьку же точит и точит тревожная тоска бездомности, Сенька Груздев кажется теперь ему самым родным человеком на всем белом свете.

* * *

Груздева знают в каждой придорожной деревне. Но деревни далеко друг от дружки, и он, проехав километров пять, промерзает обычно начисто. Особенно мерзнет раненая рука.

Если деревня близко, Сенька отогревается в избе. Мерин уже знает, в какой деревне и куда сворачивать. И вот Груздев развязывает воз, берет вязку тресты, кидает лен на поветь. Потом весело распахивает двери избы.

— Здорово, Федулиха! Суп-то есть?

— Супу-то, Семен, нету сегодня. Вон щечки постные.

— Ну, давай, щечки ежели.

Федулиха достает из печи постные ши, и пока Сенька громко хлебаёт, идет на поветь и убирает подальше вязку колхозного льна. Подросток Борька, Марюта с Ромихой обогрываются тем временем у печи. Потом обоз движется дальше. Опять визжат на морозе полозья, опять Сенька поет о том, каким забором обнесен Александровский централ, а голодный Воробей недовольно фыркает. Часа через два Сенька наконец решает и его судьбу.

В большой, уже от чужого колхоза, деревне стоит какой-то дальний обоз, подвод шесть. Ездовые кормят лошадей, сами греются в избе, и Сенька решительно машет Борьке и бабам:

— Езжайте пока без меня!

Те едут, а Груздев осторожно подъезжает к чужой стоянке. На улице нет ни души, мороз всех загнал в избу, только заиндевелые лошади хрупают сено. Сенька недолго думая хватается беремя сена с чужого воза и кладет на свой. «Вроде маловато», — мелькает у него в голове. Он хватается еще охапку, потом еще, прихватывает заодно и хороший плетёный кнут. В это время слышится звук открываемой двери, кто-то выходит из избы, вот-вот откроются ворота. Сенька изо всей мочи молча бьет Воробья, Воробей дергается, и оба вместе они с возом заворачивают за угол, скрываются за летней избой. У того же дома, у которого остановился обоз.

— На, на, дурак, только тише, стой тише! — шипит Груздев и сует Воробью волоть чужого зеленого сена. Слышно, как выскакивают из избы и матерятся ездовые:

— Полвоза свистнули!

— Минька, распрягай, поедем вдогон!

— И кнута нет, мать его...

— Скорей, Минька, оне еще не должны далеко уехать!

— Догоним!

— Давай топор, догоню, обухом измолочу.

Сеньке слышно, как двое ездовых отпрягли лошадей и верхом бросились за ним вдогон. Он потихоньку выглянул из-за угла, подождал. Он знает, что ездовые догонят сейчас баб с Борькой, а те знают ничего не знают и никакого ворованного сена у них нет. Ездовые повернут обратно и поедут догонять вора в другую сторону. Две же встреченные подводы едут уже далеко, верст пять отмахали, пока ездовые их догонят да разберутся, что к чему, он, Груздев, будет уже, считай, на ночлег.

Так оно все и случилось. Ездовые, ничего не обнаружив у баб и у Борьки, проскакали в другой конец. Сенька же, не торопясь и похвали-

вая Воробья, вырывается из-за легкой избы на дорогу и довольный заворачивается в тулуп. Теперь и самому есть что вспомнить, и мерин сыт будет.

* * *

Недолго зимний день, не успеешь опомниться, а звезды уже опять мерцают, мерцают и близко, и все дальше, в фиолетовой глубине неба, холод пробирает ездовых, лошади устали и, часто останавливаясь, оглядываются, будто спрашивают: скоро ли?

Вот наконец и ночлег. На середине пути, в большой деревне, Воробей по своей инициативе свернул в закулок знакомого дома.

Распряглись все четверо. Груздев великодушно делит свое зеленое сено между всеми лошадьми. Коричневый багульник, взятый бабами из своей конюшни, остается нетронутым, и Сенька гордится:

— Вот, дурочки, молитесь здоровья Сеньке Груздеву!

— Ой, Семен,— охает Марюта,— гли-ко ты, мазурик-то! Ой, не бери больше чужого! Ой, голову оторвут!

— Не ой, а год такой,— говорит Сенька и ступает в дом заказывать у старухи Михайловны самовар. Минут через пять опять появляется, гремит ведрами. Однако понть лошадей сразу, с пылу, нельзя, он перевязывает везы, проверяет завертки, подкидывает лошадям сенца и о чем-то объясняется с Воробьем. В это время слышится голос Ромихи:

— Неси водяной рогатую блудню!

— Коза? — спрашивает Сенька.

— И не одна! Кыш, пустая рожа! — возмущается Ромиха.

Груздеву давно надоели эти козы. Здешние хозяйки нарочно, даже по ночам, распускают коз по деревне, чтобы они кормились у проезжающих обозов.

— Чака-чака,— сидя на корточках, подманивает Сенька козу,— иди сюда, чака-чака.

Коза доверчиво глядит на Сеньку, а он вдруг ястребом кидается на нее. Хватает за рога и тащит козу в избу. Старуха Михайловна живет одна, кормится тем, что пускает на ночлег обозников. Она раздувает у шестка самовар. Сенька, чтобы угодить старухе и не платить за ночлег, громким шепотом окликает старуху:

— Михайловна! Чуешь, Михайловна!

— Чево?

— А на, дура, дой!

Сенька кряхтит, присел и за рога тащит козу в кухню, чтобы никто не увидел, если зайдут.

-- Дой, дура! Вон ковшик бери да дой! Пока держу-то!

Старуха — она еще разворотливая — всплеснула руками: «Ой, Сенька, Сенька! Ну да ладно уж...» Взяла алюминиевое блюдо, со страхом оглянулась, но в избе никого не было.

— Давай, Михайловна! — громко шепчет Груздев и не отпускает козу. Коза брыкается, он гладит ее свободной рукой, уговаривает, а Михайловна уже приладилась доить.

— Не сказывай никому, ради Христа,— слышится ее шепот.

— Давай... Ну? Как умерло...

Сенька держит козу, Михайловна торопливо доит. Вдруг получает-ся какая-то заминка.

— Сенька, лешой...

— Чево?

— А веть коза-то моя.

— ?!

— Ей-богу, моя.. и зовут Малькой.

Груздев на секунду теряет чувство уверенности, растерянно глядит на Михайловну.

— Малька?

— Малька. Вот и веревочка..

Старуха ойкает, ругает Сеньку, как будто он один виноват, а Малька же домовито мелет хвостом. Сенька волокет ее обратно на мороз, она упирается.

— Иди, иди... хм... Ну, ладно, ежели... это... откуда я знал, на ней не написано!

За дверью в сенях он втихомолку пинает животину в брюхо и матерится:

— У, дура душная! Рогатая! Так бы и говорила, что не чужая, здешняя!

Сенька бежит поить лошадей. Коза блеет и от ворот не уходит. Из сеней слышится голос Михайловны:

— Маля, Маля, иди-ко, матушка, домой, я тебя подою, Маля!

* * *

Часа через два все в избе уже спят. Висячая лампа не погашена, а лишь увернута. В темноте на столе виден ведерный выпитый самовар. На лавке у шкапа, подложив под голову рукавицы, тревожно спит подросток Борька. На полу у маленькой печки, не сняв балахонов, приткнулись Марюта с Ромихой, Михайловна забралась на печь. Только Сеньки нет, он убежал на деревенское игрище. Может, и спляшет там, даже наверняка спляшет, благо плясать на игрищах стало совсем некому.

Часа в три ночи он прибежит, поднимет своих спутников: надо ехать.

Звезды разгораются на фиолетовом небе, надо ехать. Вся дорога и все приключения еще впереди, надо ехать.

Запрягают, трогают.

Никто не скажет, сколько матюгов произвел за день груздевский щербатый рот, сколько страхов пережили, дум передумали Марюта с Ромихой. Борька же за один этот день становится взрослым.

Под вечер все четверо, голодные и замерзшие, въезжают в районный пристанционный поселок. Впереди — Сенька Груздев. Потому что Сенькин Воробей не боится ни поезда, ни встречных машин, так как ездит на станцию чаще других. А может, и оттого, что в нем есть хоть и половинное, но все же мужское достоинство.

Марюта с Ромихой, когда подъезжают к железной дороге, снимают с себя нижние платки и завешивают ими круглые кобыльи глаза. Гудит поезд. Лошади вострят уши. дрожат, как в лихорадке. Перепуганная Марюта гладит морду лошади, успокаивает, а сама тоже дрожит:

— Пронеси, господи...

Поезд грохочет где-то над самой головой, на высокой насыпи. На мелькающих платформах стоят затянутые в брезент пушки, солдат с ружьем и в тулупе кричит что-то, смеется и пронесится дальше.

Сенька видит и других солдат, в приоткрытые ворота телячьего вагона валит пар, вылетают голоса и звуки гармонии. Сеньке завидно, он с горестным восторгом глядит на убегающий эшелон. «Эх, мать-перемать,— вздыхает он,— я ведь тоже на часового выучен!» Ему хочется рассказать кому-нибудь, как он учился на часового, как два раза ездил вот в такой же теплушке...

Сегодня сдавать тресту уже поздно, учреждения прикрыты. Сенька правит напрямик на «квартиру» — к землякам, уехавшим из деревни чакане колхоза.

После того как распрягли коней и упряжь убрали в сени, Груздев кричит Марюте:

— Денег-то много с собой взяла? Давай, пойдем в чайную, хоть супу похлебаем.

Чайная рядом, около райсоюза, но Марюта с Ромихой упираются, в чайную не идут. Сенька почти силой тащит их к чайной.

— Иди и ты, Борька!

Борька до того стеснителен, что набычился и остался на улице, а Сенька ругает баб, подталкивает их в двери:

— Идите, сотоны, не бойтесь! С Груздевым нигде не пропадешь, кто пообидится, что пропал с Груздевым?

И бежит покупать талоны. Денег у него всего на один суп и на десять стаканов чаю, Сенька на ходу прикидывает: «Ежели с Марюткиными лепешками, так ничего».

И вот на столе десять стаканов чаю и порция горохового, без мяса, супу. Бабы, озираясь, несмело развязывают платки, развязывают на коленях узелки с лепешками. Сенька быстро-быстро съедает половину супа. Незаметно ловит двух сонных по случаю зимы мух и украдкой опускает их в тарелку.

— Это, понимаешь, што такое! — на всю столовую кричит Сенька. — А ну, гражданочка, где дилектор? Дилектора... где дилектор?

Груздев с тарелкой идет на кухню, шумит и требует директора. Минут через десять возвращается, важно садится за стол.

— Семен... — У Марюты от испуга даже руки трясутся. — Семен Иванович, отпусти ты нас...

Ромиха тоже вся в беспокойстве, а Сенька дергает их за рукава, шипит:

— Дуры, сотоны, стойте! Кому говорят, на месте сиди...

Бабы сидят словно на шильях. Вдруг дородная девка приносит и ставит на стол три тарелки супа. Бабы глядят на суп, на Сеньку, а Сенька как ни в чем не бывало начинает хлебать.

Марюта с Ромихой не знают, что делать. Во-первых, они никак не ожидали такой чести, во-вторых, им и есть до смерти хочется и есть бо-язно. А Сенька знай хлебает и кивает, чтобы ели и бабы. Ромиха глядела, глядела и вдруг говорит:

— Ежели только ложечки две...

— Уж хлебну маленько, — отзывается и Марюта.

На ночлеге бабы только охают от восторга. В кои-то веки наелись дарового супу — разве не диво?

* * *

Что верно, то верно: бабы и Борька пропали бы в райцентре, если б не Сенька. Лошадей поить, к примеру, как и где? Сенька и ведро найдет, и колодец. Как сдать тресту, тоже никто, кроме Груздева, не знает. Не знают, где нужная контора и в какие двери идти сперва, в какие потом. Надо оформить какой-то пропуск, выписать какие-то бумаги. Найти приемщика, сдать груз, опять получить бумажки. Все это и делает Сенька, бегая по райцентру как угорелый. И земля горит под его новыми валенками.

К полудню треста наконец сдана. Надо бы ехать домой, а Груздеву хочется выпить где-нибудь, он тянет время в надежде наткнуться на удачную компанию.

Бабы стойчески ждут, сидят на подводах уже увязанные и про себя молят бога, чтобы Сенька не напился. Сеньке сегодня не везет. Прибе-

жал сердитый, хлестнул Воробья: «Поехали!» Бабы облегченно вздыхают и нукают своих лошадей: слава богу, теперь домой.

Однако у железнодорожного переезда Сенькина неудовлетворенность взрывается и переходит в нестерпимую жажду деятельности. Он вдруг останавливается. Хватает с бровки какой-то небольшой, но очень тяжелый ящик, кидает на дровни и шпарит, не оглядываясь. Рабочие-путейцы бегут за Сенькой, кричат, но Воробей в сторону дома трусит намного охотнее, и преследование обрывается.

Отъехав километров пять, довольный Сенька нетерпеливо исследует ящик. Слышится ругань, Сенька плюется и ногой скovyривает ящик с дровней: в ящике одни железные костыли, которыми пришивают рельсы к шпалам...

Сенька удручен и обижен, ему кажется, что с костылями его бессовестно надули. Он искренне и долго ругает обидчиков, сердито заворачивается в тулуп.

Однако осьминка табаку, добытая на складе райсоюза, вскоре возвращает ему веселое настроение.

— Марюта, чуешь, Марюта?

— Чево?

— А не умерла еще?

Начинается тот не поддающийся описанию и на первый взгляд совершенно пустой диалог, когда говорящие полны доверия, доброты и от радного взаимоутешения.

— ...а я, Семен, на гумно-то ушла, трубу-то не закрыла. Прихожу, а в избе-то у меня все выдуло...

Сенька слушает.

— Гляжу, а петух-то сидит на кожухе и на меня не глядит, гребень опущенной.

— Ой ты. Омморозила? — восхищенно кричит Сенька.

— ...а курицы-то на шесток забились...

— У тебя много ли куриц-то?

— Чево?

— Куриц-то, говорю, много ли?

— Да три.

Возы шумят, Марюта замолкает ненадолго.

— А с петухом-то четыре, нешто и толку от их. Одна так все лето в крапиве и клалася.

Лошади фыркают, полозья сегодня не визжат, а стонут, погода слегка отмякла.

Так Сенька Груздев ездит под извоз.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К пятидесятилетию Вооруженных Сил СССР

*Дважды Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант танковых войск*

Д. А. ДРАГУНСКИЙ

★

В КОНЦЕ ВОЙНЫ

На Одер пробивалась весна. Не такая, как наша русская, звонкая и дружная, какая мне запомнилась с детства на родной Брянщине. Весна наступала здесь тяжело и непривычно. Пришедшие с Балтики густые туманы покрыли поля и леса, съедая остатки снега, закоптелого во время боев.

Зима была для нас по-военному удачной — за последние два месяца мы шагнули далеко на запад. Около тысячи километров прошли мы за эти шестьдесят трудных зимних дней и ночей. Наш фронт, наша 3-я танковая армия, моя бригада давно оставили за собой Вислу, а затем Ниду, Варту. Перешагнув Одер, мы захватили за ним большой плацдарм, до сотни километров. Началось наше вторжение на территорию врага.

Зимнее наступление вывело нас на дороги, ведущие прямо к Берлину, Дрездену, в глубь Германии. Чтобы преградить нам путь, двенадцать немецких дивизий к исходу зимы 1945 года покинули арденнское поле сражения, широко раскрыв американской и английской армиям ворота на восток, север и юг.

Не только для высшего командования, но и для нас, солдат и командиров, непосредственно действующих на поле боя, стали более четко вырисовываться контуры приближающейся победы. Мы чувствовали: еще один удар по смертельно раненному фашистскому зверю — и ему придет конец.

А пока в те туманные мартовские дни, в слякотные ночи фронтовая жизнь шла своим чередом: совершались марши, производились перегруппировки, засылалась в расположение врага разведка, вела по графику огонь артиллерия, авиация «ловила» летную погоду и вылетала на задание. На Первом Украинском фронте продолжались упорные бои. Пехота генерала Курочкина брала один за другим опорные пункты на левом фланге. Войска генералов Пухова, Гордова, Коротеева, Жадова с упорными боями приближались к Нейсе, и дым пожаров окутывал приодерские равнины и вечнозеленые леса.

Казалось, все шло изо дня в день, как месяц и два тому назад. Но это только казалось — на самом деле шла напряженная подготовка к последнему, решающему этапу войны. Ставка и штабы фронтов разрабатывали планы финальных боев. Подтягивались резервы и маршевые роты, проводилась переброска войск.

Мы, танкисты, и раньше, когда готовились большие наступательные операции, постоянно чувствовали особое внимание к нам со стороны командующего фронтом Маршала Советского Союза И. С. Конева. Помню, как в начале июля 1944 года, перед броском на Львов, он заставлял нас, командиров бригад, «воевать» на ящике с песком, брать города, форсировать реки. Он добивался правильного понимания будущих действий со свойственной ему высокой требовательностью и суровостью.

Часто мы видели его и в боевых порядках наших войск на направлении главного удара. Казалось, он выжимал из танков и из нас, танкистов, из машин и из людей, все, на что они способны. Его смелые перегруппировки и решительные маневры целыми корпусами в ходе сражений всех удивляли — они были неожиданными не только для противника, но и для нас, исполнителей этих маневров. Стремительное движение танковых соединений на запад, поворот армии Лелюшенко на северо-запад, а нас, танкистов Рыбалко, на юг, в тыл Силезскому промышленному району, захват городов в глубоком тылу противника, овладение с ходу заранее подготовленным оборонительным рубежом, рейды по тылам — все это было характерно для его руководства танковыми и механизированными войсками. Вот так и накануне действий, завершающих всю войну, И. С. Конев вырвал из боя две танковые армии, не дал им увязнуть в мелких стычках, сосредоточил их в междуречье Одера и Нейсе и, несмотря на повседневную потребность в них, стал готовиться к будущей операции.

Наша 55-я гвардейская танковая бригада была выведена в резерв в районе Чайнау. К нам прибыла маршевая рота (свежее пополнение!), с армейских складов подвозили горючее, непрерывный поток машин доставлял боеприпасы. Пришло и долгожданное летнее обмундирование: сколько ни сопротивлялся серый липкий туман, застилавший одерскую равнину, все же сквозь него все жарче пробивалось солнце, и в теплых комбинезонах, в полушубках и телогрейках не то что воевать — ходить становилось трудно.

В эти дни мы жили одной мыслью, одним желанием — участвовать в боях за Берлин, быть в Берлине. Солдаты об этом мечтали вслух, офицеры же, храня — по должности — молчание обо всем, что относится к планам командования, сами хотели того же. О Берлине думал и я, тоже еще не зная, куда бросит нас солдатская судьба.

Начальник политотдела бригады Александр Павлович Дмитриев, чтобы подготовить личный состав к любому заданию, частенько говорил:

— Не все ли равно, где бить фашистов? Лишь бы скорее их разгромить! — и в доказательство объяснял, как важно разгромить Дрезденскую группировку противника, отсекая этим Чехословакию, Австрию, Венгрию от Германии. Но когда мы оставались с ним наедине, Дмитриев вздыхал: — Так-то оно так. Бить врага надо везде. Но вот было бы здорово, если бы нашу бригаду да фуганули на Берлин!

Командарм Рыбалко не считал нужным скрывать это свое и общее наше желание и, встречаясь с нами в дни трудных боев за Одер, подбадривал нас:

— Держитесь, хлопцы, скоро будете в Берлине!

По мере продвижения на запад, по мере приближения к Берлину в нас разгоралась ревность. Мы видели, что штурмовать Берлин придется войскам Первого Белорусского фронта: они стояли в восьмидесяти километрах от фашистской столицы, готовые ринуться в бой с западного берега Одера, с Кюстринского плацдарма. Но хотя части Первого Украинского фронта находились от желанной цели в трехстах километрах, мы не теряли надежды хотя бы краешком зацепиться за Берлин. На войне всякое бывает, а для танкистов марш на несколько сот километров — не так уж много. Только бы приказали!..

Что бы ни было дальше, бригада готовилась: к финишу надо прийти сильными, боеспособными, имея, как любят выражаться танкисты, «большой запас хода».

У меня же самого, к сожалению, «моторесурсы» были на исходе: раненная в конце 1943 года печень и осколочное ранение грудной полости все чаще напоминали о себе. Бригадный врач Леонид Константинович Богуславский ходил за мной, как тень, требуя немедленного отъезда для лечения, предсказывая в прогивном случае печальный конец. Александр Павлович Дмитриев также требовал, чтобы я подчинился врачам. Но как же мне уехать, как оставить, да еще в такой момент, бригаду, с которой прошел всю войну?

Медицинскую атаку победоносно завершил командарм Рыбалко. На сей раз, говоря со мной по телефону, он был крайне нелюбезен:

— Я слышал, вы проявляете недисциплинированность и отказываетесь выехать на лечение. Ваше поведение мне непонятно. Война, помимо всего прочего, требует здоровых людей. Я не хотел бы, чтобы вы стали обузой для бригады... — Командарм помолчал и добавил: — Судя по всему, мы получаем передышку. Воспользуйтесь ею. Успеете вернуться.

Я почувствовал, что стою у аппарата, тяжело дыша. Слово «обуза» больно кольнуло сердце. Я сухо, по-служебному, поблагодарил командарма за заботу. Рыбалко понял мое состояние и уже другим, дружеским тоном спросил:

— Что вас удерживает?

— Берлин, говарищ генерал.

В трубке послышался хохот:

— Я так и знал... Поверьте, голубчик, потому и гоню вас на ремонт, чтобы хватило у вас ходу до Берлина. Берлин — орешек крепкий. Так что езжайте, лечитесь, готовьтесь к боям.

Спокойным, ровным голосом Рыбалко разъяснил мне, что фашисты стянули против нас все силы; колонны союзников идут к Гамбургу, Лейпцигу и Берлину, не встречая серьезного сопротивления, нам же приходится брать с боем каждую деревню; в Берлине придется воевать за каждый дом. Если бои продлятся всего несколько дней, они потребуют, вероятней всего, таких же усилий, как многодневная операция.

И командующий закончил разговор:

— В вашем распоряжении три-четыре недели. Полагаю, что этого хватит... До скорой встречи!

На восток меня увозил трофейный вездеход. Внешне неуклюжая, с обрубленным носом, ярко-рыжего цвета машина внутри была устроена отлично: столик для работы, кровать-диван, радиоприемник «телефункен», ярко светящие плафоны. Для далекого путешествия в тыл такая машина оказалась как нельзя более кстати.

Три дня и три ночи мелькали шлагбаумы, города и деревни, машина скользила по асфальту, тряслась по булыжной мостовой, застревала в грязи и в рыхлом весеннем снегу. Наконец, мы выехали на Смоленскую дорогу, свидетельницу многих войн, и она привела нас в ночную заснеженную Москву. Машина, пропетляв по незнакомым мне улицам, выехала на Серпуховку и в одном из глухих переулков остановилась возле покосившегося одноэтажного домика. В нем жили дальние родственники моего адъютанта.

В Москве я пробыл двое суток; этого оказалось достаточно, чтобы в лефортовском госпитале перевязать не совсем еще зажившие раны и немного уменьшить боли в печени.

Все эти дни я не расставался с моим старым и верным другом Володей Беляковым. Вместе мы начинали службу рядовыми солдатами в 4-м полку 2-й Белорусской дивизии. Потом учились и, окончив училище, попали в 32-й отдельный ганковый батальон на Дальнем Востоке. Вместе били японских агрессоров на озере Хасан, а спустя некоторое время оказались в одной группе в Академии имени Фрунзе. Только война нас разлучила. И вот — снова встреча. Две ночи подряд просидели мы в его маленькой комнатке в доме на Трубной площади.

Спит Мария, жена Володи, и, прижавшись друг к другу, посыпают две его дочурки. Синеют окна — начинает светать. А мы все вспоминаем прошлое, наших друзей, из которых уже многих нет в живых, гадаем, как будет житься нашей родине после войны... Только под утро засыпали. А днем — новые встречи, медицинские процедуры. Наконец, все закончено. Мой адъютант сдал машину в Управление по формированию и комплектованию, развез знакомым по моей просьбе подарки, оформил железнодорожные билеты.

В Железноводске весна была в полном разгаре, улицы и парки кишели людьми. А вот и мой «Дом инвалидов» — военный госпиталь, где когда-то мне пришлось долго лежать. Зашел в приемное отделение — все как будто на месте, как было.

Шагнул в кабинет начальника. Грузный человек, сидящий за столом, окинул меня не очень приветливым взглядом. Я спросил:

— Где майор Мильчев?

— Майора Мильчева нет. Есть генерал Мильчев. Он находится у себя на родине, в Болгарии, и, кажется, занимает должность замминистра или начальника тыла.

— Вы говорите о моем лечащем враче, бывшем начальнике «Дома инвалидов»? — переспросил я.

— Да, именно так, товарищ полковник.

Мне вспомнился май 1944 года, когда с рваной печенью, с трудом поддающейся лечению, я полгода пролежал в харьковском госпитале и был привезен в этот госпиталь или санаторий как безнадежный больной. Живо вспомнился улыбающийся, статный, черноглазый, с большой копной черных волос человек, начальник санатория болгарин Мильчев. Он долго меня осматривал, качая головой, вчитываясь в историю болезни. Я знал приговор, вынесенный мне в Харькове консилиумом медицинских светил — профессорами Минкиным, Филатовым и Коганом-Ясным: они-то меня и направили в этот «Дом инвалидов».

— Что ж, — сказал Мильчев. — Будем лечить. Надеюсь на благоприятный исход.

Какие это были спасительные слова! Они влили в меня новые силы, новую жизнь.

Мильчев был одним из болгар, которые бежали от фашизма; Советский Союз стал для него второй родиной. Он учился в Советском Союзе. Но его связь с компартией Болгарии не прерывалась.

В годы войны Мильчев был на советско-германском фронте начальником госпиталя; как ведущий терапевт, он спас не одну сотню людей. В 1944 году он и меня поставил на ноги. И вот он дождался возвращения на свою освобожденную родину!

И начался ускоренный процесс лечения: народные средства — муравьевские ванны, три раза в день прием лекарств и лечебные процедуры.

Сколько больных и раненых, сколько инвалидов Великой Отечественной войны будут до конца своей жизни вспоминать Кисловодск и Пятигорск, Ессентуки и Железноводск! Сотни госпиталей приютил в годы войны этот чудесный край. И я тоже до конца дней сохраню светлое воспоминание о людях Железноводска, возвративших меня в строй.

Москва — всегда хлопоты. Бегали мы с Володией Беляковым в Генеральный штаб, в Управление тыла, и везде люди только разводили руками: погода стояла нелетная. Но ждать погоды было невозможно: 16 апреля наши войска перешли в наступление.

Добыли машину. И вот наш маленький «виллис» безостановочно мчит на запад.

На третий день пути мы уже были на польской земле. Здесь нас постигла неудача: мы не предполагали, что переправа через Вислу в районе Демблина взорвана, — по рельсам через железнодорожный мост длиной почти в километр машину не переправим. Подниматься же севернее к Варшаве — значило потерять около суток. Помощь пришла, откуда мы и не ждали: польские железнодорожники на скорую руку смонтировали дрезину, мы погрузили на ее платформу машину и железнодорожным путем переправились на западный берег Вислы. Эта операция отняла шесть часов.

Какие длинные были перегоны! Даже здоровяк-шофер Рыков не выдерживал такого напряжения и начинал клевать носом. Его сменял тогда мой адъютант Кожемяков, а в дневное время я сам садился за руль, чтобы хоть немного помочь усталым ребятам.

К утру 21 апреля мы попали в штаб 13-й армии. Через несколько часов въехали в расположение своих тыловиков.

Несколько часов мы провели во втором эшелоне, чтобы подкрепиться, почиститься, побриться: надо же явиться к командарму и командиру корпуса чистеньким, свежим. Потом отправились дальше.

Нам повезло: отъехав несколько десятков километров, мы встретили нашу регулировщицу Машеньку. Ее я помнил еще с Украины. Одно время, после освобождения Киева, она была в моей бригаде; в 1944 году после ранения попала в дорожный батальон. Десятки раз мы ее встречали на Висле и Одере, в Радомско и Бунцлау. А теперь вот куда она забралась! Думала ли она, пережившая оккупацию, воевавшая в партизанском отряде, что окажется в Германии, у стен Берлина?

Ну, раз Машенька Сотник стоит на своем посту — значит, не потребуются теперь ни карта, ни компас, она все знает, все расскажет о своей родной бригаде.

Весь тот день по разбитым дорогам, лесным просекам, огибая населенные пункты, мы добирались до своих войск. Продвигались медленно, объезжая колонны машин, артиллерию разных калибров. Навстречу, уступая нам дорогу, шли люди — мужчины и женщины, подростки и совсем дети. Старики еле плелись. Оборванные, разутые, обросшие люди смотрели на войска, идущие к северу на Берлин, приветственно махали руками, поднимали сжатые кулаки. Я всматривался в их лица. Искал среди них моих без вести пропавших братьев, искал своих сестер. Я понимал несбыточность моих надежд: ведь я знал от верных людей, что братья и сестры погибли, но хотелось верить в лучшее.

Наш «виллис» полз по запруженным дорогам. Теперь не было надобности узнавать направление и встречных офицеров и регулировщиков. Ориентиром служило озаренное пожарами небо, усиливающаяся канонада. Над нами проплывали в сторону Берлина сотни самолетов, глухие взрывы фугасных бомб слышны были за десятки километров.

Я встретился с командармом в просторной комнате заброшенного особняка. Рядом с ним стоял незнакомый мне генерал, плотный, среднего роста, с жгучими черными глазами, с седеющей головой. Я растерялся, не зная, кто из них старший: оба генерал-полковники. Шагнул в сторону командующего. Рыбалко не дал мне закончить рапорт, крепко пожал руку и, обернувшись к окружающим, подмигнул:

— Я же вам говорил, что Драгунский не опоздает.

И, обращаясь к стоящему рядом генерал-полковнику, который оказался командующим артиллерией фронта генералом Варенцовым, сказал:

— Сергей Сергеевич, это командир нашей пятьдесят пятой бригады. Был в госпитале. Подоспел вовремя. Все боялся, что не попадет в Берлин. Ну, а теперь, если войдет в Берлин первым — вторую Золотую Звезду получит, а не войдет — отнимем и эту.

Все рассмеялись.

Командарм еще раз осмотрел меня с головы до ног.

— Вид у вас хороший. Курортный! А теперь — за дело.

Он подвел меня к столу, на котором распластался крупномасштабный план Берлина: квадраты улиц, площади, стадионы, станции метро, рейхстаг и имперская канцелярия. Голубые дорожки Тельтов-канала и Шпрее. Мелькают надписи и названия окраин, предместий. К западу — сплошные озера, леса.

— Все это придется брать. Наша армия нацелена на юг Берлина и на его западную часть. Немцы готовились встретить войска маршала Жукова с востока, а мы еще ударим с юга, по самому чувствительному месту — во фланг.

Жирные стрелы на карте выводили 9-й механизированный корпус генерала Сухова в центр Берлина, две небольшие стрелки протянулись навстречу Первому Белорусскому фронту — 8-й гвардейской армии Чуйкова и 1-й танковой армии Катюкова. 6-й танковый корпус Митрофанова всеми своими бригадами шел прямо на север — к центру Берлина, к Тиргартену. Не отрываясь от карты, я нетерпеливо шарил глазами в поисках своего 7-го корпуса и своей бригады. И не сразу нашел пунктирную линию среди множества кружочков и стрел.

Начальник оперативного отдела армии, мой старый знакомый по академии,

детина двухметрового роста Саша Еременко протянул через мою голову огромную ручищу и ткнул пальцем:

— Вот здесь ваша бригада. Вчера ночью она уперлась в Тельтог-канал, перед самым ее носом немцы взорвали мост.

Не зная, что собою представляет этот водный рубеж, я спросил, есть ли броды или обходы.

— Какие там броды! — вмешался командарм. — Это канал шириною до сорока—пятидесяти метров, весь в бетоне, стены отвесные, по северному берегу бетонные укрепления. Вообще здесь сплошные населенные пункты, каменные постройки усиливают оборону...

Рыбалко представил меня стройному генералу, который находился в этой же комнате, — это был командующий 28-й армии Лучинский.

Прощаясь, как бы напутствуя, Рыбалко приказал мне по прибытии в бригаду ознакомиться с обстановкой на месте, там виднее будет, и обязательно добратся до нового командира корпуса — генерала Василия Васильевича Новикова.

— Старый, опытный вояка, — сказал командарм. — Спуску вам не даст. Действуйте решительно, не оглядываясь по сторонам. Бояться вам нечего — с востока идет Первый Белорусский, на севере навис Рокоссовский, левее нас на Потдам наступает Лелюшенко. Понял?

Рыбалко был в приподнятом настроении и свое приказание сопровождал шуткой. Меня так и подмывало сказать ему, что я не из пугливых. Но вместо этого по военному вытнулся, попросил разрешения на отъезд и, только дойдя до дверей, все же не выдержал, повернулся к генералу:

— Жду вас в Берлине, товарищ командующий!

Рыбалко улыбнулся.

— Буду, обязательно буду. Благодарю за приглашение. Но уговор: примите меня на Вильгельмштрассе.

На каком-то безлюдном хуторе, который не значился ни на одной из наших карт, за толстыми стенами разместился штаб бригады. Те же знакомые «радийные» и легковые машины, бронетранспортеры и мой стальной конь — танк «Т-34» с номером «200» стояли, уткнувшись в грязную кирпичную стену.

Всего несколько минут длилась встреча со старыми друзьями — объятия, расспросы, знакомство с новым начальником штаба и с другими офицерами, пришедшими на смену погибшим и раненым. Я рад был найти живым и здоровым Александра Павловича Дмитриева, свыше трех лет возглавлявшего политотдел бригады.

Новый начальник штаба подполковник Шалунов докладывал обстановку и полученную с утра задачу. Все наши попытки форсировать канал в районе Штатсдорф не увенчались успехом.

Он подвел меня к окну, из которого просматривался Штатсдорф, мост правее его и батальоны, окопавшиеся по южному берегу канала.

— Такого огня я еще не видел, — вздохнув, сказал начальник штаба. — Мост захватить не удалось. Немцы частично взорвали его. Идти напролом нет смысла.

— Как командир корпуса на это смотрит? — попытался я.

На широком и добром лице начальника штаба появилась улыбка:

— Как смотрит? Ясное дело, ругается.

Соединился по телефону с генералом Новиковым, представился ему. Он сказал, что находится от нас очень близко. Радио и телефон в теперешних условиях оказались ненадежными, поэтому лучше всего будет, если я доберусь до него сейчас.

Пришлось оставить бригаду, едва только в нее вернувшись.

Добраться до НП корпуса на машине или бронетранспортере было невозможно: немцы находились от нас в трехстах метрах. Пришлось идти пешком, вернее ползком, так как бешеный огонь тут же прижал нас к земле. Переползая от дома к дому, мы — адъютант, офицер связи и я — ставили себе первую цель — достиг-

нуть леска. Но здесь оказалось еще хуже: разрывные пули, попадая в деревья и осыпая нас хвоей, летели так густо, что вплотную примыкавшие к лесу дома показались спасением, хотя по ним били и артиллерия и минометы. У одного из этих домов нас встретил офицер штаба корпуса.

Как ни затруднительно было наше положение, невозможно было удержаться от смеха, когда сопровождавший нас капитан кошкой юркнул в оконце двухэтажного дома, пробитое на уровне земли, и пропал где-то в подвале. Через некоторое время из оконца высунулась рука, которая приглашала нас следовать тем же путем. То ли габариты мои были больше, чем у капитана, то ли я не рассчитал расположения узкого подвального отверстия, но, просунув в него голову, застрял и с большим трудом ввалился внутрь полуосвещенного подвала под дружный смех нескольких военных. Незнакомый голос пробасил:

— Не удивляйтесь входу, мы сами никак не привыкнем. Но подходы к двери просматриваются со стороны канала. Ночью, когда здесь укреплялись, мы не разобрались в обстановке, а сейчас уже поздно менять расположение.

В углу продолговатого помещения стояли телефонные аппараты. В соседнем отсеке, видном через проем в стене, склонившись у радиостанции, сидели два радиста. Здесь, рядом с комкором Василием Васильевичем Новиковым, стояли знакомые мне генерал-полковник Николай Александрович Новиков, командующий бронетанковыми и механизированными войсками нашего фронта, и мой старый фронтовой друг — начальник политотдела корпуса полковник Андрей Владимирович Новиков.

Отряхнув пыль, поправив китель, я принял по возможности приличный вид и представился всем трем Новиковым — Николаю Александровичу и Василию Васильевичу официально, как положено по уставу, а с Андреем Владимировичем в обнимку, с поцелуями: ведь с этим человеком мы встречались много раз на Днепре, на Букринском плацдарме, под Киевом и Львовом, на Висле и на Одере. Андрей Владимирович был добрым, справедливым человеком. И умным: он не приходил в восторг от удач, не впадал в уныние при провалах. Помню, в августе 1944 года, когда наша бригада, отрезанная от всех, дралась на Сандомирском плацдарме с превосходящими силами противника, он каким-то чудом добрался до нас. Танков он с собой не привел, артиллерии тоже, а все же его присутствие в узкой траншее вселило уверенность, что найдется выход из нашего положения, казавшегося безнадежным. В одну из самых тяжелых минут он прошептал мне тогда на ухо:

- Мы еще будем пить с тобой шампанское в резиденции Геббельса.
- Дай бог уцелеть, не до шампанского, — проворчал я.
- Увидишь.

И вот мы встретились — хоть не в Берлине пока, так на подступах к Берлину, и еще не в апартаментах Геббельса, а в подвале, но все же в поместье какого-то сановника. Меня эта встреча почему-то так взволновала, что я, чтобы успокоиться, пошутил:

- Не слишком ли много Новиковых в одном подвале?

Василий Васильевич снял очки, протер стекла и ответил своим тверским говорком:

— Знаете ли, что Новиковых у нас на Руси не меньше, чем Ивановых, особенно на Калининщине? А то, что мы все трое оказались в одном месте, в этом виноваты вы. Была бы ваша бригада на той стороне канала, я не сидел бы здесь, да и Николай Александрович не приехал бы сюда.

Командир корпуса перевел разговор в деловое русло:

— Все-таки непростительно, что бригада торчит перед каналом. Днепр брали, Вислу первыми форсировали, перешли Ниду, Варту, Одер, а тут не можете перескочить через какую-то несчастную переплеху.

Василий Васильевич нервно заходил по подвалу. До этого я не знал генерала Новикова лично; он командовал другим корпусом. Слышал много хорошего о его уравновешенности и личной отваге. Говорили, что его трудно вывести из терпе-

ния. Все же, впервые столкнувшись с ним в служебной обстановке, я держался настороженно.

Комкор подошел к карте, я последовал за ним.

— Тельтов-канал! — сказал он. — Последний рубеж на пути к Берлину! Форсировав его, мы будем там. В Берлине.

Новиков говорил медленно, подчеркивая смысл каждого слова.

Он ознакомил меня со своим предварительным решением форсировать канал на протяжении пяти километров, на двух участках. На правом будет действовать бригада Шаповалова, на левом — наша. Нам придется самоходный полк Костина — его легкие «СУ-76» можно пустить по взорванному мосту, усилив для этого настил. Завтра в полосу корпуса войдет артиллерийская дивизия прорыва. На нашем участке будут действовать две артиллерийские бригады. Придан будет и саперный батальон. Все это обеспечит надежное подавление противника и поможет переправиться.

— Каким временем я располагаю для подготовки?

— В вашем распоряжении сутки. К исходу двадцать третьего апреля доложите о готовности.

Вопросов больше не было. Мне предстояло самому разобраться в деталях, и прежде всего надо было немедленно уточнить, почему перед этим чертовым каналом остановилась вся наша армия? Какой противник перед нами и сколько его? Разведать надо все, продумать и уж тогда по-настоящему готовиться к штурму.

С командиром корпуса мы поднялись на чердак, осторожно подошли к высокому узкому окну. На многие километры открылась глазам панорама местности. Справа, слева, впереди — всюду сплошные населенные пункты, сливающиеся с городом; дачные поселки, хутора, обнесенные кирпичными стенами; виллы в садах. Вдали множество озер. Не сразу нашел предмет моих поисков — пресловутый Тельтов-канал; справа город Тельтов, перед нами Штатсдорф, разрушенный мост, который командование «отдало» мне (сумей взять!). Вправо от него — участок прорыва 23-й мотобригады.

В бинокль разглядел на фоне зеленеющих озимых серый бетонированный берег. На отдельных участках просматривалась и полоска воды.

Теми же задворками и той же рощей добирались мы к себе в штаб бригады. Немного свыкшись с обстановкой, я более уверенно делал теперь перебежки, реже падал, реже кланялся снарядам и минам, щедро посылаемым с противоположного берега.

Весь следующий день ушел на подготовку к предстоящей операции.

С разведчиками и саперами, с командиром самоходного полка и с командирами батальонов, с офицерами приданной и поддерживающей артиллерии мы облазили районы исходных и артиллерийских позиций, наметили пункты переправы, исследовали подходы к каналу. В маскировочных халатах подползли к берегу, изучали режим огня противника, выявляли его огневые точки; артиллеристы засекали их и отмечали на своих картах.

Как ни старались мы делать все скрытно, наши приготовления, передвижения войск, занятие артиллерией новых огневых позиций не остались незамеченными фашистами. Во второй половине дня немцы усилили огонь. До поздней ночи на нашем берегу взрывались тяжелые снаряды, а немецкие зенитные орудия вели огонь по наземным целям. Эти сутки показали, что предстоит расколоть действительно крепкий орешек.

Напрашивалось решение — изменить тактику наших действий. Прежние методы: обход, внезапные атаки с ходу, выход на фланги, рейды по тылам врага — все это в данной обстановке было неприменимо.

Взросшее, особенно за последние два года, техническое оснащение избаловало нас, танкистов. Командующий Первым Украинским фронтом в ряде крупных операций создавал нам на поле боя такие условия, при которых мы имели самые широкие возможности для маневренных действий: массированная артиллерия —

до трехсот орудий на один километр фронта — взламывала вражескую оборону, а общевойсковые армии прорывали ее. Мы, танкисты, не ввязывались в затяжные бои на переднем крае, а входили в прорубленные ворота и действовали смело, без оглядки, разгоняя или уничтожая все и вся на нашем пути. Отрыв танков от пехоты иногда достигал ста километров. Обычным стал для нас захват с ходу оборонительных рубежей, подготовленных врагом в тылу, а излюбленным методом было — выйти на оперативный простор в глубоком тылу, предпринять маневр в сторону флангов, захватить с ходу важный политический и экономический центр, рвануться к широким водным преградам и захватить плацдармы. Свежи были в памяти стремительный марш-бросок к Висле и захват Сандомирского плацдарма, выход в тыл Силезского промышленного района и многие другие рейды и походы, которые осуществляла армия Рыбалко, а в ее составе и 55-я гвардейская бригада.

Но теперь обстановка не давала возможности действовать так, как мы привыкли. Ареной боев стали Большой и Малый Берлин, предместья этого огромного города, дальние и ближние подступы к нему; каждая улица, каждый дом, каналы и реки стали объектами атак.

Советские войска шли с трех сторон. Армии Чуйкова, Кузнецова, Каткуова медленно, но неумолимо продвигались с востока, имея целью центр города, войска Богданова и Перхоровича зацепились за северную часть Берлина и теснили противника к его западным окраинам. Танкисты Первого Украинского фронта в составе двух танковых армий, восьми танковых, механизированных и стрелковых корпусов преодолели Котбусские леса, реки Нейсе и Шпрее, озера Вюндорфа, болота Лукенвальда и подошли к Берлину с юга, откуда меньше всего их ожидали. И все-таки фашизм еще рассчитывал продлить свое существование обороной и удержанием столицы, Гитлер еще возлагал надежды на свои 9-ю и 12-ю армии, на резервы, на новые формирования, на свой офицерский корпус, на офицерские училища, на гестапо и штурмовиков, на тотальную мобилизацию стариков и детей, на «фольксштурмовиков» и «фаустников». Главари фашистского рейха надеялись также на то, что войска США и Англии сумеют опередить Советскую Армию и, овладев Берлином, помогут сохранить им жизнь, а может быть, и свободу. Нам предстояло грандиозное сражение, распадающееся на множество боев тактического значения, фронтальных ударов и штурмов отдельных опорных пунктов — бои упорные и, при всей своей раздробленности, объединенные и управляемые единой волей.

К исходу дня была завершена подготовка к форсированию канала. В предвидении затяжных боев в городе мы распределили мотопехоту по танковым ротам. За счет батальона автоматчиков, за счет комендантского взвода, саперной роты, роты разведчиков были созданы штурмовые группы, способные вести ближний бой с засевшими в домах, на чердаках и в подвалах «фаустниками» и автоматчиками. За каждым танком были закреплены пять-шесть автоматчиков, саперов, разведчиков. Таким образом танк имел свой собственный «гарнизон».

Я понимал, что эта мера недостаточна, что нехватки пехоты мы этим не возместим, а действовать без нее в Берлине было невозможно — я это особенно остро чувствовал, хорошо зная слабые стороны танка. В боях на улицах и в переулках он был слеп, как котенок, был стеснен и неуклюж. Он был уязвим и ночью. Танки нуждались в пехоте. Где ее взять?

Мне пришла в голову мысль, которую я высказал начальнику политотдела и начальнику штаба: не использовать ли в качестве пехоты танкистов, потерявших в предыдущих боях свои танки?

Мои друзья это предложение одобрили, а танкисты на него живо откликнулись. С автоматами и с пулеметами, снятыми с подбитых танков, они примкнули к штурмовым группам. К ним присоединились ремонтники, писари, хозяйственные команды. Все сознавали свой долг — лично участвовать в штурме Берлина, в завершении разгрома врага. Я видел это.

Но понимал и другое. Человек остается человеком. Чувство самосохранения у всех нас — живучее чувство. В последние дни войны оно могло проявиться с особой силой: когда уже видна победа, особенно тяжело расставаться с жизнью, жажда жизни достигнет наивысшей точки. А если люди будут избегать риска, это может усложнить проведение боевых действий, может тормозить наступление. Чем же помочь делу? Одного усиления разъяснительной работы мало — нужен личный пример командиров, коммунистов, комсомольцев.

В тяжкую пору 1941—1942 годов этой проблемы не было. Многие из нас не надеялись тогда уцелеть в чудовищной мясорубке, и действительно вероятность остаться живым была невелика. Бросаясь в бой, мы если и думали о победе, так о той, которую не увидим. Теперь не то...

Однако с первого же дня битвы за Берлин я убедился, как не прав, как недостаточно знал я даже тех людей, с которыми сроднился за годы войны. Воля к победе, решимость скорее и окончательно уничтожить фашизм, глубокая вера в правоту нашего дела породили у них небывалую личную отвагу. Люди рвались в бой. Тот, кто дошел до этих мест, думал о том, как скажут о нем отцу и матери, жене и детям, всем грядущим поколениям: «Он брал Берлин...»

Тельтов-канал

И вот началось.

Через головы танкистов полетели десятки тысяч наших снарядов и мин. Огненные трассы «катюш» бороздили небо. В сторону фронта и глубже в тыл врага шли наши бомбардировщики, с шумом и ревом стайками над самой землей пронеслись штурмовики Рязанова. Над ними реяли, ястребки Покрышкина.

Северный берег канала и южная окраина Берлина были охвачены пожарами, взрывами, окутаны дымом. Летели в воздух обломки оборонительных сооружений, разваливались дома, разлетались баррикады, завалы, возведенные гитлеровцами. Гибли тысячи немцев, загнанных в окопы, траншеи, подвалы и чердаки, чтобы не пустить нас в Берлин. Сопrotивление натиску двух фронтов, стальной лавине шести тысяч танков и огню сорока тысяч орудий, сопротивление великой армаде советских самолетов было бессмысленным.

Напрасно Геббельс кричал по радио: «Мы были у стен Москвы, а не взяли ее. Так же и русские, стоя у стен Берлина, не прорвутся в него». Напрасна была и вера немцев в какое-то новое могущественное оружие, разрекламированное геббельсовской пропагандой, — оно не появилось. Резервы гитлеровцев, вызванные в Берлин с юга и с запада, были уничтожены в лесах Котбуса войсками Гордова, Жадова и Пухова, их рассеяли танковые и механизированные бригады Рыбалко и Лелюшенко. И все-таки отрезанные с трех сторон фашисты продолжали фанатически сопротивляться. Гитлеровцы поняли наконец, что наступил час возмездия за миллионы жертв Освенцима и Дахау, Маутхаузена и Бухенвальда, Варшавского гетто и Бабьего Яра, Лидице и Орадура; те, у кого были руки в крови, дрались до последнего. Применяя жестокие карательные меры — виселицы, расстрелы, приговоры летучих полевых судов, — принуждали они защищать каждую позицию.

...Минутная стрелка медленно ползла вверх. Шквальный огонь артиллерии стал удаляться на север. «Пятисотки» и тысячекилограммовые фугаски рвались уже не перед нами, а в стороне. Приближалось время броска пехоты и танков в атаку.

И вдруг я почувствовал какую-то непонятную нервную дрожь, озноб. Странно! Ведь не первый раз приходится мне идти в атаку. Правда, и раньше в такие минуты учащенно билось сердце. Но того, что пережил я в тот день, со мной еще никогда не было. Что же это?

Размышления мои внезапно оборвал начальник разведки Борис Савельев: — Осталось пять минут.

Василий Матвеевич Шалунов повернул голову в мою сторону, Дмитриев, всматриваясь в часы, безмолвно отсчитывал оставшиеся минуты и секунды.

— Отдайте команду, — сказал я и не узнал своего голоса.

Начальник штаба во всю мочь крикнул в выносную трубку радиостанции:

— «Ястреб», «Волга», «Секундомер»! Вперед, вперед!

Кто-то, подхватив команду, пустил в небо серию зеленых ракет. Притаившиеся разведчики, саперы, автоматчики вырвались из своих окопов и помчались к берегу.

Саперы волоком тащили деревянные переправочные лодки, за ними змейкой бежали десантники. На мосту, с группой десантной роты, орудовал бригадный инженер майор Быстров. Этот красивый, с тонкими чертами лица молодой человек изумлял меня своей находчивостью, смелостью и применением в бою всяких новшеств. У него был какой-то особый нюх, помогавший без разведки безошибочно определять проходимость мостов, беглым взглядом устанавливая наличие минных полей. Вот и сейчас от него прибежал связной с докладом, что есть возможность пропустить по полувзорванному мосту легкие самоходки.

Шалунов ободряюще докладывал:

— Все идет по плану.

Все мы, кто находился на берегу канала, понимали, что действия нашей бригады — это лишь частица широко задуманного, организованного и всесторонне обеспеченного плана форсирования Тельтов-канала в полосе всей 3-й танковой армии. В этот же час, даже в эти же самые минуты такой же бросок сделают 6-й и 7-й танковые корпуса. Форсирование намечено также на участках 22-й и 23-й мотострелковых бригад; притом мотострелковым частям проще, чем нам, — им не надо переправлять тяжелые танки и самоходки, а солдат всегда сумеет преодолеть сорок метров вплавь. Но, зная все это, каждый из нас все же чувствовал себя так, будто от его личных усилий зависит исход всего сражения.

Когда рассвело, мы увидели на противоположном берегу много темных точек. Это были солдаты наших штурмовых групп. Вот они побежали вперед, залегли, снова двинулись. Взвод за взводом на ту сторону перебрался весь батальон автоматчиков.

Я прекрасно сознавал, как нужна им помощь танков. Что там сделаешь одним легким оружием? Если мы не поддержим батальон, он неминуемо погибнет.

Рядом с собой я увидел командиров обеих бригад артиллерийской дивизии прорыва. Поняв сложившуюся обстановку, они уже «хозяйничали».

— Передовые наблюдательные пункты на ту сторону! — отдавали по телефону команду артиллерийские начальники.

Мимо нас проскочила группа молодцеватых артиллеристов, навьюченных треногами, буссолями и всей необходимой артиллерийской аппаратурой. И вскоре перед наступающим батальоном автоматчиков встала стена разрывов, прикрывая их от огня врага.

Только через два часа Николай Николаевич Быстров доложил о готовности моста, выведенного немцами из строя накануне моего приезда. Сшитый на живую нитку под ураганным огнем, этот мост мог пропустить только легкие танки. Сразу же по нему были пущены минометная рота батальона автоматчиков и одна приданная ему артиллерийская батарея; все же это до некоторой степени облегчало положение пехотинцев.

Майор Старухин, командовавший автоматчиками, оставшись один на один с противником, стал терзать меня, требуя незамедлительно облегчить положение пехотинцев. Оно становилось все труднее, потому что уцелевшие и только оглушенные артиллерийским и авиационным огнем гитлеровцы опомнились, соединились в группы и начали огрызаться. Можно было ждать контратаки. По сигналу бригадного инженера к мосту пошли самоходки.

Успех самоходного полка мог решить очень многое в этом бою: переправившись на противоположный берег, он поддержал бы действия автоматчиков, а по-

двинувшись вперед на три-четыре километра, обеспечил бы наведение переправы для пропуска остальных войск.

Действия двух артиллерийских бригад прорыва были направлены на отсечение противника. Танковые батальоны, ожидавшие, когда будет готова переправа, вели огонь с южного берега. Через час немцы, подтянув артиллерийские резервы, усилили огонь; свежие вражеские артиллерийские дивизионы обрушили свой удар на переправу — и через полчаса моста не стало. Быстрову удалось переправить через канал только три самоходки, а две рухнули в канал вместе с обломками моста. Погиб здесь и командир полка подполковник Костин.

Батальон автоматчиков остался на маленьком плацдарме, не имея ни достаточного количества людей для непосредственной поддержки танков, ни артиллерии. Для него наступили критические минуты — батальон залег. Дальнейшее его продвижение приостановилось. Переправившиеся самоходки были сожжены противником. Реальную помощь Старухин получил только от двух артиллерийских бригад, огонь которых сорвал попытки немцев сбросить наших автоматчиков в канал; да еще на левом фланге батальон Гулеватого прижал к земле роту немецкой пехоты, намеревавшуюся ударить вдоль берега в тыл моим автоматчикам.

Тяжелый артиллерийский поединок длился несколько часов. Мы приковали огневые силы и средства противника к себе, лишили его широкого маневра на всем участке. Однако это, в сущности, было все, чего мы достигли...

Примерно такую же неудачу терпел и мой правый сосед.

Однако именно то, что мы приковали к себе огневые средства противника, сыграло известную роль, облегчив активные действия других соединений. В центре танковой армии 22-й, а потом и 23-й мотобригадам удалось полностью форсировать канал, удержать плацдарм и обеспечить переправу главных сил. Через несколько часов там был наведен мост, по нему хлынули лавиной танковые бригады и корпуса.

Битва за Тельтов была выиграна, ворота в Берлин открыты.

* * *

В тот же день уже в сумерках наша бригада подходила к переправе, где нас догнал Василий Васильевич Новиков. Командир корпуса был в хорошем настроении.

— Видел я, видел, как вы хотели брать мост. Да не тут-то было, — сказал он шутливо.

Я промолчал. Не желая корить меня за неудачу, генерал продолжал уже серьезно:

— Во всяком случае, вы фрица напугали. Завертелся он вдоль берега, а это нам было на руку.

Он вытащил из-за голенища смятую карту, расправил и разложил ее на крыле «виллиса». Провел карандашом линию на север, потом свернул на северо-запад, на предместье Берлина Целлендорф; оттуда пунктирная линия убегала на автостраду и поднималась на западную окраину Берлина.

— Вот и все. Ясно?

— Без слов понятно, товарищ генерал.

— Понятно-то понятно. Но придется тебе серьезно подумать. Смотри, какие постройки и сколько их, уйма! Впереди, слева от нас, начинаются дома, виллы, усадьбы. Каждый дом, понятно, придется брать с боя. Вся надежда на пехоту, на штурмовые отряды.

Василий Васильевич продолжал спокойным голосом давать указания, часто употребляя слово «понятно», хотя и для него и для меня было слишком много непонятного: ничего не было известно ни о характере обороны, ни об укреплениях, возведенных фашистами, ни о том, какими силами они обороняются, какими резервами располагают в полосе наших действий

Ясно было и для Новикова и для меня одно — предстоит медленно, осмотрительно прогрызть оборону, осторожно, но решительно и безостановочно вести наступление. Каждая улица таила в себе множество неожиданностей. Бригада наступала на самом левом фланге корпуса и армии. Локтевой связи слева с частями генерала Лелюшенко, идущими на Потсдам, не было. Только по отдаленной артиллерийской стрельбе, по глухим взрывам я догадывался, что там наступают танкисты 4-й танковой армии.

Генерал Новиков привычным жестом — двумя пальцами — подпернул верху очки, бросил под ноги окурки и по-кавалерийски, держась за стекло открытого «виллиса», перепрыгнул через борт на сиденье. Уже на ходу крикнул:

— В нашей жизни подобное не повторится. Мы — в Берлине. Вы это понимаете?

«Виллис» развернулся и умчался к переправе, где шли танки, пушки и грузовики.

«Вы это понимаете?» Я улыбнулся. Как не понять? Перешагнув Тельтов-канал, мы встали на берлинскую землю. И нас уже невозможно остановить, а тем более повернуть вспять.

В ту ночь танки, ведомые разведчиками Серажимова, саперами Быстрова, автоматчиками Старухина и Ходзаракова, вползали в предместье Берлина. Миновали поселок Шенов, оставили в стороне Кляйн-Махнов, втянулись в приглаженные рощи, сады, примыкающие к станции Лихтерфельде-Вест. Странные это были бои. Приходилось иметь дело с непонятной обороной, с невидимым противником, внезапно появляющимся и снова скрывающимся.

Траншеи, отдельные окопы, перепаханные улицы, наспех смонтированные доты в подвалах особняков, огневые точки на чердаках, вкопанные на перекрестках улиц танки, укрытые в домах зенитные орудия. Целый день отдельными группами, взводами и ротами мы очищали от гитлеровцев это густонаселенное предместье Берлина. В наших руках оказалась железнодорожная станция Целлендорф; большой победой для нас было овладение целым районом Лихтерфельде. Об этом радостном событии был немедленно оповещен командир корпуса. Но в ответ на мое донесение он прислал радиogramму: «Сегодня овладеть районом Целлендорф».

В Лихтерфельде срочно стягивались тылы и ремонтные подразделения бригады — надо, чтоб они были под руками, надо приблизить их к наступающим батальонам; я опасался, что иначе они могут затеряться в многочисленных улицах и переулках, а остаться без боеприпасов, горючего, продовольствия, без ремонта было слишком опасно. Поэтому я тащил за собой все свое хозяйство. С другой стороны, из тыловых подразделений мы формировали большой отряд — гарнизон прикрития. Начальник тыла — опытный офицер, практичный хозяйственник и храбрый воин — майор Иван Михайлович Леонов быстро осваивал захваченные районы, устанавливал в них воинский порядок.

Еще у моста через канал, уточняя задачу, генерал Новиков указал мне на крупный пункт южной части большого Берлина — Целлендорф:

Имей в виду — это ключ к Берлину. Он запирает юго-западную часть города. Этот ключ должен быть в наших руках сегодня к ночи. Старайтесь не ввязываться в уличные бои.

Радиogramмой он еще раз подтвердил свое категорическое требование.

Но легко сказать — «не ввязываться в уличные бои». А как это сделать, когда впереди преградой легли озера Круме-Лонке и Шлахтензее, а справа и слева рощи, сады, нагромождение вилл, усадеб, дворцов? Весь этот район превращен был в опорный пункт частей, обороняющих пути к центру города.

На станцию Лихтерфельде, где расположился штаб бригады, прибыли командиры наших батальонов, сюда же за получением задачи я вызвал артиллерийских начальников. Саперы и разведчики также ждали здесь приказа.

И тут, как назло, загадочно затих Целлендорф, и черный лес впереди, и переулки. На войне тишина зловеща.

Два часа ушло на то, чтобы организовать наступление бригады. Разведка на двух наших танках во главе с лейтенантом Андреем Серажимовым выдвинулась в Целлендорф. Рота автоматчиков капитана Ходзаракова направилась к опушке леса. Два артиллерийских дивизиона развернулись на огневых позициях. Здесь же, недалеко от меня, в готовности поддержать главные силы нашей бригады, развертывалась артиллерийская бригада.

На Целлендорф пошли два танковых батальона. В первом из них — на пятом танке — разместилась моя небольшая группа. Окруженные небольшим десантом, в который входили разведчики, саперы и автоматчики, мы помчались вперед. Второй батальон следовал за нами на расстоянии нескольких километров. Он имел задачу поддержать первый батальон и быть готовым в случае нашей неудачи обойти нас справа, а если и это не удастся, то мимо озера Вальдзее — слева.

Все мы понимали, что противник не отдаст без боя этот важный район: потеря его означала серьезное ослабление всей его обороны. Из Целлендорфа шли дороги к автостраде, через него проходила и железнодорожная магистраль Берлин—Потсдам. Овладев этим районом, мы наглухо запирали выход немецкой группировке на запад. Главное же, это был кратчайший путь в западные районы Берлина — Шарлоттенбург, стадион «Олимпия», Рулебен, где мы могли соединиться с войсками Первого Белорусского фронта, замыкая кольцо окружения внутри Берлина. Да, без боя гитлеровцы отсюда уйти не могли.

Тем загадочнее казалась внезапно наставшая тишина. Не ловушка ли это? Так думали мы все — и я сам, и офицеры, находившиеся со мною у железнодорожного переезда.

Обдумав несколько возможных вариантов, я решил оставить сильный резерв, подчинив его Шалунову, который со штабом бригады не трогался с места; сам же с авангардным батальоном на скорости, на какую только способны «тридцатьчетверки», я проскочил мертвое поле к железнодорожному переезду.

По-прежнему ни одного выстрела со стороны леса. Зловеще молчит и Целлендорф.

За моим танком шли восемь «доджей», на которых, задрав кверху стволы, были установлены крупнокалиберные зенитные пулеметы ДШК. Зенитчики, крепко держась за рукоятки пулеметов, в любую минуту были готовы открыть огонь по «фаустникам» и по любым другим огневым точкам врага.

Эту роту, не однажды выручавшую меня в беде, я всегда держал в своем резерве. Вот и теперь, при броске через мертвую долину к мрачному лесу, машины с установленными пулеметами окружили мой танк с десантом.

Все ближе к Целлендорфу. Явственнее вырисовывались контуры разноэтажных домиков с остроконечными крышами. Замелькали голые деревья парков и садов. Перекрывая шум танкового мотора и лязг гусениц, раздался голос Савельева:

— Серажимов вышел на площадь. Все в порядке

Идущий впереди танк сбавляет скорость. Повинуясь ему, остальные машины притормаживают. И тотчас вокруг моего танка засновали зенитки, хоботками пулеметов выискивая цель.

Не сразу дошло до моего сознания то, что случилось в следующую секунду. Воздушной волной весь наш десант был сброшен на землю. Только тогда я понял, что немцы действительно приготовили нам сюрприз. Хотя мы и ожидали его, готовились к нему, внезапный удар нас ошеломил.

Савельев помог мне встать на ноги. А я, вместо того чтобы отдать команду, вдруг начал усердно счищать с одежды грязь. Это было нелепо, но, очевидно, какие-то механические движения помогли моим потрясенным нервам как-то преодолеть растерянность. А команды и не нужно было: в бой самостоятельно втягивались танкисты, автоматчики, зенитчики и все те, кто находился в Целлендорфе.

Танкисты развертывали башни танков в сторону домов и осколочно-фугасными снарядами разносили вдребезги верхние этажи. Зенитки посылали огненные

трассы в окна и чердаки. Не отставали от них минометчики. Автоматчики группами рассыпались по улицам, домам и самостоятельно выполняли задачу, поставленную им перед боем.

Окруженный небольшой группой, я стоял у танка и пытался уловить смысл происходящего, оценить обстановку. Это мне не удавалось. Кругом шла неистовая стрельба. В конце концов немного разобравшись, приказал открыть огонь двумя артиллерийскими дивизионами, последовательно обрабатывая участки улиц. Через несколько минут наши тяжелые снаряды полетели на немцев.

Постепенно бой стал принимать организованный характер. Мотострелковая рота капитана Ходзаракова, направленная в обход Целлендорфа с севера, повернула в город, примкнула к остальным ротам и начала «выкуривать» врага из домов, с чердаков, из подвалов. Второй танковый батальон выскочил на северную окраину, овладел имением «Дюппель», прикрыл главные силы бригады с севера, откуда большая группа противника изготавилась к контратаке из района железнодорожной станции Вест-Целлендорф.

Нам в этот день везло. Начальник штаба доложил о прибытии дивизиона «катюш»; правда, прибыли они не в наше распоряжение, а просто в район действующей бригады, — приказ открыть огонь должен был исходить только от командира корпуса. Но кто в подобной обстановке будет считаться с таким запретом? Взяв на себя смелость, я заставил командира дивизиона открыть огонь. Залп «катюш» по контратакующей группе сорвал планы немцев.

Перевалило за полдень. Сопrotивление гитлеровцев постепенно ослабевало. И хотя все еще продолжали огрызаться «фаустники», глухо хлопали ручные гранаты и над нашими головами шипели разрывные пули, но уже не чувствовалось четкого руководства обороной, не было и того бешеного огня, какой был вначале.

Мы были уверены: еще небольшое усилие — и Целлендорф будет взят. Оставалось очистить район железнодорожной станции Круме-Лонке, выйти в район междуозерья, а там перерезать автостраду и идущую параллельно ей железную дорогу Шарлоттенбург—Потсдам.

Но оказалось, что мы приняли желаемое за действительное. Командир батальона Гулеватый доложил:

— Продвигаться не могу, мои передние танки горят.

По радио не договориться. Со своей группой я выскочил на главную улицу — Фишерюгендштрассе. У станции Круме-Лонке натолкнулся на колонну танков батальона.

Прежде чем выслушать комбата, я сгоряча изрядно отчитал его. Ну как же? Только что разведчики доложили, что вышли на западную окраину Целлендорфа, туда же просочились и наши автоматчики, а тут осановка! Но обиженный Гулеватый вышел из себя.

— Смотрите сами, товарищ полковник, — сказал он, — если не верите. Два танка горят. Идти вправо — там озеро Круме-Лонке, а слева — за железной дорогой большое озеро Шлахтензее, не пройти. Что делать?

Немного успокоившись, я стал разбираться в причинах задержки. Фашистская зенитка из углового дома стреляла вдоль улицы. Огневая позиция для нее была выбрана очень удачно, обнаружить ее и уничтожить танкистам было нелегко, а идти напролом — слишком рискованно: можно было на этом маленьком участке угробить все танки, не решив главной задачи.

— Вывести батальон из-под удара. Обойти озеро Шлахтензее, выйти в Николасзее и выполнить задачу, — приказал я. Хотя такой маневр займет еще несколько часов, но зато будет меньше жертв и сохранятся танки.

Моторы тяжело кричали, танки неуклюже разворачивались. Создалась неизбежная в таких случаях пробка. Поднялся шум, послышалась брань...

И вдруг вражеская зенитка, расстреливающая наши танки, замолкла. В суматохе это даже не сразу заметили. Что за чудо? Сдаются они, что ли? Или новый подвох?

Как бы там ни было, мы поспешили использовать этот момент. Целлендорф

был окончательно очищен. Путь к автостраде открыт. Немедленно отправили генералу Новикову по радио донесение о взятии этого очень важного и сильного опорного пункта — последнего на юго-западе Берлина.

Эта победа радовала нас. Но меня не покидала мысль: что же произошло с немцами у зенитного орудия?

* * *

На площади у трехэтажного дома, выходящего окнами на главную улицу, по которой недавно прошли батальоны, суетились люди. Подъехав на своем танке, я увидел сутулую фигуру лейтенанта-разведчика Серажимова. Обросшее черной щетиной лицо показалось мне осунувшимся. Густые, сросшиеся брови нависли над глазами.

Я прыгнул с танка и подошел к лейтенанту:

— Что случилось? Почему отстали от Гулеватого и Старухина?

Сумрачный, неразговорчивый лейтенант показал рукой во двор, и мы молча пошли за ним. Прошли садик, спустились в полуподвал, где была установлена зенитная пушка, и тут глазам открылась поразившая нас картина: на полу лежали четыре трупа гитлеровских солдат, а на казенной части орудия — мертвый, вцепившийся в горло фашистскому офицеру наш боец комсомолец Виктор Лисунов. Мы отбросили в сторону гитлеровца и вынесли на улицу тело разведчика.

— Как Лисунов попал в подвал?

— Виктор попросил разрешения забраться с тыла в этот подвал и заставить замолчать орудие.

Серажимов усталыми от бессонницы глазами с тоской посмотрел на меня.

— Я ему разрешил, товарищ комбриг. Иначе я не мог. Зенитка подбила два танка, перехватила центральную магистраль и могла надеть много бед. С моего разрешения Лисунов пополз выполнять задачу. Минут через десять пушка перестала стрелять. Я услышал из подвала крики, автоматную стрельбу, взрывы. После мы увидели, как ствол орудия подскочил кверху. — Андрей Серажимов вздохнул и виноватым голосом продолжал: — Мы опоздали всего на несколько минут. Тут моя вина большая. Мог же сразу послать с ним Тынду, Головина, Гаврилова. Все они были здесь. Не додумался. А когда спохватился, было уже поздно.

Я не стал упрекать лейтенанта. В бою не всегда бывает так, как хочется, не всегда можно и обдумать каждый свой шаг и поступок. Я только с болью сказал:

— Он своей жизнью открыл путь бригаде.

Этими словами я хотел успокоить себя и командира взвода разведчиков. Но вряд ли это мне удалось. Гибель Виктора Лисунова, семнадцатилетнего юноши, любимца бригады, всем причинила боль.

...Летом 1943 года на попутных машинах добирался я из госпиталя на фронт. Где-то недалеко от Полтавы в грузовик на полном ходу вскочили три паренька. На вид каждому было лет по пятнадцать — шестнадцать. Увидев офицера, они испуганно переглянулись, прижались в угол кузова.

Несколько минут мы молча разглядывали друг друга. С нежностью я смотрел на них. Такие же, как два мои братишки, которые были комсомольцами. С первых дней войны они ушли на фронт и погибли оба: один под Сталинградом в конце 1942 года, второй в самом начале войны на Украине...

Не понадобилось долгого времени, чтобы узнать, что и эти ребята комсомольцы. Они харьковчане, жили недалеко друг от друга, учились в одной школе на Холодной Горе. Началась война. Фашисты расстреливали беззащитных людей, балконы домов в Харькове были превращены оккупантами в виселицы. Этим ребятам довелось пережить голод, нищету, бессилие перед врагом, смерть близких. Три комсомольца — Саша Тында, Вася Зайцев, Виктор Лисунов — дали клятву мстить фашистам. Когда наши войска приблизились к Харькову, они не раз переходили линию фронта, доставляли советским частям сведения о противнике. А когда Харьков был отбит, они захотели вступить добровольцами в Красную Армию.

Узнав, что они едут с командиром танковой бригады, ребята умоляющими глазами посмотрели на меня. В их взгляде читалось одно: «Возьмите нас к себе». Я долго колебался: слишком юны были они для фронтовой жизни, для того, чтобы преждевременно умереть. И снова передо мною встали мои погибшие в боях братишки-комсомольцы. Я твердо решил вернуть мальчишек домой.

Заночевали в лесу под Киевом. Ребята притащили откуда-то сено, раздобыли молодую картошку, свежие огурцы, вьюном вертелись около меня. Целую ночь ворковали. Сами не спали и мне не давали. Я все думал, как поступить. Мое твердое решение заколебалось. А утром я дал им согласие.

Через два дня мы были на месте, в моей бригаде. Танкисты без долгих разговоров приняли ребят в свою семью. Тында, Лисунов и Зайцев стали разведчиками.

Советская Армия шла вперед. Позади остались Киев и Львов, быстрая широкая Висла. На одном из участков Сандомирского плацдарма вела бои наша 55-я гвардейская танковая бригада. Вместе с испытанными воинами в ней сражались эти юные харьковчане. Они уже много раз отличались при выполнении боевых заданий. Как-то в конце зимы 1944 года, в слякоть и распутицу, комсомольцы-разведчики, посланные в разведку, два дня пролежали в копне соломы, поджидая «языка». Хлеб и консервы были съедены. Грязи вокруг было много, а воды не было. А вражеские солдаты, которых они ждали, почему-то не появлялись. Вася Зайцев предложил тогда перерезать немецкий телефонный кабель, который проходил неподалеку. Так и сделали. Но исправлять линию связи пришлось целое отделение фашистских солдат. Они долго искали повреждение, устранили его и направились обратно. Один из фашистов наигрывал на губной гармонике.

Два немца остановились около наших разведчиков, вытащили сигареты, зажали галку и присели на копну. Остальные пошли дальше. О такой удаче ребята даже не мечтали. Они выжидали, когда губную гармонику стало чуть слышно, и набросились на гитлеровцев. Засунули в рот кляпы, руки связали ремнями. Губная гармошка удалялась: немцы и не подозревали, что их отделенный и один из солдат находятся в руках советских разведчиков.

Теперь перед ребятами встал вопрос: как доставить к своим двух здоровенных фрицев? Тащить их волоком — сил не хватит. И они построились так: гитлеровцев пустили вперед; Вася шел первым, а Саша и Виктор сзади.

В трех километрах был лесок. Находившиеся на его опушке бойцы из ядра разведывательной группы во главе с Серажимовым с нетерпением ждали пропавших куда-то разведчиков. Вдруг услышали веселые возгласы. А вскоре мальчишки уже были в моем блиндаже и, перебивая друг друга, рассказывали, как поймали двух дюжих «языков».

Генерал Рыбалко в тот день был особенно доволен. Пленные дали ценные показания. На груди комсомольцев засверкали ордена «Отечественной войны».

Все в бригаде любили ребят; они росли, крепили, мужали.

Однажды (это было в начале августа 1944 года) группа разведчиков, в их числе Зайцев, Лисунов и Тында, возглавляемая лейтенантом Серажимовым, получила задачу: выскочить на танке километров на десять—пятнадцать вперед и уточнить, есть ли противник в населенном пункте.

Танк ворвался в польский город Сташув на большой скорости, подкатил к ратуше. Вася, Саша, Виктор, Вердиев и Андрей Серажимов забрались на самый верх здания и водрузили там двухметровый красный стяг. Жители города повалили к ратуше. С крыши здания Саша Тында крикнул: «Мы скоро вернемся, ждите нас!»

Поляки долго смотрели вслед советским танкистам, первым вестникам свободы. Желали им удачи и скорого возвращения.

На обратном пути разведчики сумели захватить «языков»: впихнули двух немцев в танк и возвратились в бригаду.

Через день мы разбили фашистский батальон и окончательно освободили

Сташув. Высоко над ратушей развевалось ярко-красное полотнище, изрешеченное пулями и осколками мин.

А в конце августа на том же Сандомирском плацдарме нас постигло большое горе: погиб один из трех харьковчан — Вася Зайцев.

Вот как это было.

После успешных действий под Львовом и Перемышлем, на реках Сан и Висла мы вели тяжелые бои за Сандомирский плацдарм; перешли к обороне, имея позади себя Вислу. Семь раз бросали на нас фашисты танки и бронетранспортеры. Вражеские атаки продолжались с утра до поздней ночи. Но Сандомирского плацдарма мы не оставили. Впоследствии он послужил трамплином для нашего успешного прыжка в Польшу и Германию.

В одной из последних схваток на этой искореженной польской земле мы и потеряли нашего общего любимца Васю Зайцева. Он остался в траншее, которую захватили немцы. Ночью на наш участок обороны прибыл батальон Осадчего. Я бросил его в контратаку. Противника отогнали на его исходные позиции. И тогда мы нашли изуродованное тело Васи Зайцева, а вокруг него в траншее — восемь вражеских трупов.

Гибель шестнадцатилетнего комсомольца переживали тяжело все солдаты и офицеры бригады. И вот у стен Берлина погиб второй комсомолец из этой тройки — Виктор Лисунов...

Положили мы тело Лисунова на танк, написали на башне: «Мстить за Виктора Лисунова» — и устремились вперед на врага. И после своей смерти он побывал в атаке.

Вместе с другими героями штурма Берлина похоронен наш юный друг Виктор Лисунов на кладбище в Трептове.

* * *

Бой в Целлендорфе прекратился, стрельба удалялась все дальше, шум танков утихал. Ко мне подтянулся Шалунов со штабом, подошли тылы Леонова. У него всегда была под рукой колонна «скорой помощи» — три-четыре машины с боеприпасами, цистерны с горючим, машины с продовольствием, запасным оборудованием и неприкосновенным запасом живительной влаги.

— Куда подать колонну? — был первый его вопрос.

— Стоять на месте. До ночи — никуда.

— Помогите мне, — донимал меня Иван Михайлович Леонов, — хоть один танк оставьте или взвод автоматчиков, а то расколосшатят меня.

И в самом деле, небезопасно было в этих местах. Выходящие из окружения группы гитлеровцев, отдельные их подразделения, блуждающие в поисках своих частей, натыкались на наши тылы и причиняли им немало бед. Но отнимать в такое время у подразделений, ведущих бои, танк, автоматчиков и ставить их на усиление тыла было бы непозволительной роскошью! Кроме того, я был уверен, что Леонов сумеет выйти из затруднения. Я знал, что у него есть свой собственный резерв — вооруженные шоферы, кладовщики, ремонтники и т. д. Ими он прочесывал населенные пункты, ими он охранял свое расположение, ими он, когда требовала обстановка, и нападал.

Расстроил меня вернувшийся из батальона Дмитрнев:

— Замполит Осадчего — Немченко — погиб.

— Как?!

— Автоматчики немецкие срезали его при выходе из Целлендорфа.

Александр Павлович закрутил длинную козью ножку.

— Жаль. Хороший парень был Немченко.

— Не то слово, — вставил сидящий на заднем сиденье машины секретарь парткомиссии Иван Иванович Перегудов.

Перед моими глазами встал, как живой, замполит третьего батальона. Впервые я познакомился с ним еще перед львовской операцией. Представляя мне по-

литтапарат бригады, Дмитриев как-то виновато шепнул, указывая глазами на Немченко:

— Я его еще не раскусил. Медлительный какой-то, неразговорчивый. Не похож на политработника.

Я смотрел на этого невысокого, нескладного человека в обвисшей гимнастёрке, с опущенным ниже живота ремнем. Ничего солдатского! Но на груди его сияли две медали.

— Кем вы были до войны?— спросил я его.

— Моя профессия — партийный работник, а должности занимал различные: был заведующим библиотекой, пропагандистом, работал в профкоме.

Запомнился мне этот короткий разговор. Впоследствии я видел Немченко с батальоном в боях у Равы-Русской, под Львовом, на Висле и Сандомирском плацдарме. Он не выносил высокопарных, трескучих, холодных фраз, но знал истинную силу правдивого большевистского слова и ею пользовался.

Позже, когда и Дмитриев, и я, и все наши танкисты «раскусили» Петра Кузьмича Немченко, мы полюбили его.

Сражался Немченко с ожесточением, которое передавалось всем бойцам батальона.

Помнится, в те дни, когда мы расширяли свой «пяточок» на Сандомирском плацдарме, в третьем батальоне осталось всего три танка. С большим трудом я буквально выгнал из боя комбата Осадчего, чтобы сохранить его штаб, избежать ненужных потерь. Полагал я, что вместе с комбатом ушел и его замполит.

Штаб третьего батальона по моему приказанию был отправлен за Вислу на переформирование и пополнение батальона. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней в очередном бою ко мне на КП были доставлены танкисты, спасенные нами из горящей машины, и среди них — замполит третьего батальона майор Немченко, обожженный, в изодранном, опаленном комбинезоне, со следами крови на лице и руках.

— Почему вы здесь?— набросился я на него.— Почему остались? Это безрассудство — с тремя танками лезть в пекло!

— А вы, товарищ полковник? Вы почему здесь? У вас в бригаде едва ли дюжина танков осталась. Вы не ушли из боя. Зачем же меня упрекать?

Тон его вывел меня из терпения. И без того тошно было. Немцы непрерывно атакуют, потери растут, в строю остались считанные танки и полсотни автоматчиков, обещанное командиром корпуса пополнение не приходит. А тут этот майор так вызывающе разговаривает с комбригом.

— Хватит! — взорвался я.— Отправляйтесь немедленно к Осадчему.—И, немного поостыв, высказал ему, что накипело:— Я не терплю в бригаде распушенности, самовольных действий. Офицер должен быть дисциплинированным, а политработник — вдвойне, зарубите себе это на носу раз и навсегда.

— Теперь я могу уйти, товарищ полковник. Ни одного танка не осталось в батальоне.

Голос майора Немченко прозвучал глухо, заросшее рыжей щетиной лицо побледнело, губы скривились в горькой усмешке, и только глаза лихорадочно блеснули. Он неуклюже протиснулся в узкую щель выхода и исчез.

За самовольные действия на Сандомирском плацдарме он был мною строжайше предупрежден. За образцовое выполнение боевой задачи и личное мужество командующий армией наградил Немченко орденом Красного Знамени.

Кличка «Кузьмич», данная ему Осадчим, Федоровым, Гулеватым, прочно утвердилась за ним. Впрочем, это была не кличка. Так, по отчеству, на Руси испокон века величают уважаемых людей, старейших и мудрейших. Таким был и наш Кузьмич.

Немногословный, с виду угрюмый, тяжеловатый и нескладный, он за всем этим таил добрейшую душу, беспредельную храбрость и ум.

Как-то перед зимними боями 1945 года я забрел в землянку к Немченко. Стоял морозец для тех мест довольно внушительный — градусов двенадцать.

Раскрасневшаяся железная печурка излучала приятное тепло. Хозяин землянки почему-то смутился, неловко засуетился. Потом, видимо, приняв серьезное решение, положил на пустой снарядный ящик, служивший столом и табуреткой, баклажку, консервные банки, железные кружки, кусок черствого хлеба.

— Прошу, товарищ комбриг.

— Благодарю. Но я не за этим пришел. Обходил сторожевое охранение, увидел огонек и забрел.

Мы провели ночь без сна. То ли немудрящий уют фронтовой землянки и кружка водки, то ли тепло человеческой беседы отогрели душу майора, но в ту ночь Кузьмич рассказал мне многое из того, что хранил в своем сердце.

Когда началась война, его долго не посылали на фронт. Немченко мучился, он обращался, что называется, во все инстанции, но всюду встречал отказ. Кузьмич ничего не понимал, терялся в догадках, пока кто-то не намекнул ему на истинную причину этой «волынки». Все дело было в том, что он за несколько лет перед войной женился на девушке, которую горячо любил. Мария была немкой, и кое-кто стал как бы остерегаться его после женитьбы. А когда началась война и враг приближался к городу, его с семьей эвакуировали в Среднюю Азию. В действующую армию его не брали, а поставили на военкоматскую работу в глубоком тылу. Когда-то веселый парень, Немченко помрачнел, замкнулся. Тяжело переживал обиду своей жены, свою. Только летом 1942 года горком партии и военкомат разобрались в его деле, и Немченко ушел на фронт. Началась жизнь политработника-фронтовика — то в окопах, то в госпитале, долгие бои, кратковременный отдых, новое формирование. Старший лейтенант интендантской службы превратился в капитана пехоты, а потом перешел в танкисты.

И вот в землянке передо мной сидел майор, замполит танкового батальона, отмеченный семью правительственными наградами. Я знал цену каждого его ордена, каждой медали. Что ни награда — то бой, атака, взятый кровью пункт...

Разговор наш в землянке затянулся.

— Видишь, Немченко, все хорошо, что хорошо кончается, — говорил я. — Дела твои теперь в порядке. Александр Павлович даже хочет взять тебя в политотдел.

— Не уйду я от своих танкистов — не могу оставить Осадчего. Хороший мужик, простой, смелый. Меня без него тоска съест, а он без меня, прямо скажу, пропадет — горяч чересчур.

Я задумался. Только недавно мне Николай Акимович Осадчий почти такие же слова говорил о своем замполите.

— Ладно, разберемся, — решил я. — Поговорю с начальником политотдела.

— Товарищ полковник, войне скоро конец, а с моей выправкой не место в кадровой армии. Доберемся до Берлина, а там демобилизуюсь. Пиджак надену.

И вдруг встал, подчеркнуто по-солдатски расправил гимнастерку, подтянул ремень, заговорил серьезно:

— Кончится война, надену ордена и приду в райком партии, в военкомат, где моей жене и мне не доверяли. Знай наших! Должно же настать время, когда о людях будут судить по делам, по поступкам, а не копать в родословной...

Расстались мы с ним тогда под утро, был он в боевом настроении.

И вот его не стало. У того заветного рубежа, к которому он стремился.

Дмитриев тронул меня за рукав, выводя из раздумья:

— Где будем хоронить?

— Где хоронить будем? С собой возьми, только с собой. Распорядись положить Немченко на танк.

Я подвел начальника политотдела к моему танку, приподнял плащ-палатку и показал лежащее там тело Виктора.

— С нами пойдут штурмовать Берлин. Оба они дошли до него, они своей жизнью и смертью заслужили это.

На танках, прорывающихся к Берлину, вместе с нами были вечно живые наши товарищи — коммунист Немченко и комсомолец Лисунов.

В Берлине

За Целлендорфом потянулись леса, множество озер, на берегах которых раскинулись виллы, дачные поселки, особняки. Они были так разбросаны, что ориентироваться среди них было очень трудно. Смотришь на карту и видишь зеленые пятна рощ, а на самом деле кругом сплошь каменные постройки. Фашистское командование включило дома в систему обороны, разместило в них отдельные гарнизоны, оборудовало огневые позиции. Когда мы подходили к автостраде, со всех сторон в нас летели снаряды и бронебойные болванки с замаскированных самоходных установок.

Командира батальона Гулеватого я застал на южном берегу озера Круме-Лонке в тот самый момент, когда он ставил задачу пехоте. Обстановка была ему не ясна. Танки стояли под огнем противника, пехота залегла, артиллерия прекратила огонь. Чувствовалось, что здесь происходит какая-то неразбериха. Противник стрелял, наши довольно лениво огрызались; после горячего дневного боя в Целлендорфе к вечеру темп наступления снизился, установилась необъяснимая пауза.

— Трофим Еремеевич, так мы достигнем автострады через год и людей своих зря положим. Почему не обходишь эту виллу?

— Пробовал. Особняков много: обходишь один — натыкаешься на второй.

Я готов был обрушить на него поток обидных слов. Но передо мною стоял усталый человек, не спавший много ночей, и бранить его было бы слишком жестоко, да и бесполезно. К тому же я никогда не оправдывал поведение других начальников, которые в трудную минуту угрожают прокурором, трибуналом, выходят из себя, теряют самообладание. Я привык судить по себе: даже простое человеческое слово, сказанное в трудную минуту, действует на меня благотворно. И уж в данном случае танковые комбаты заведомо не были виновны в том, что вынуждены топтаться на месте.

Все мы, танкисты, были плохо подготовлены к штурмовым и осадным действиям в крупных городах, в условиях жесткой и специфической обороны, на которую мы натолкнулись в боях под Берлином. Начиная с 1943 года, особенно с Курской битвы, мы слышали из уст командующего фронтом и командармов одни и те же слова: «Не оглядывайся назад», «Не бойся открытых флангов», «Обходи противника», «Смелее выходи в тыл врага». Так поступали мы и тогда, когда вырвались за Одер. Но то, что нам удавалось осуществить на Украине и в Польше, за Одером и Нейсе, нельзя было повторить на подступах к Берлину, на его улицах и площадях.

Город надо было взять целиком, не оставляя врага ни в одном квартале, ни в одном доме. Продвигаться шаг за шагом, отбивать дом за домом, улицу за улицей — таков был единственный путь к победе. Мы должны были наступать медленно, методично, взламывать каждый узел обороны, уничтожать фашистов в каждом доме, выкуривать их из подвалов, выбивать с чердаков.

К ночи иступленное и безнадежное сопротивление гитлеровцев в этих пунктах прекратилось. Преследуемые нашими танками и автоматчиками, они пытались скрыться в лесном массиве Берлинервальд, и на некоторое время им удалось зацепиться на высотах Хафельберг, но и там мы их настигли. В этот день они потеряли много артиллерии, тяжелого оружия, управление боем у них нарушилось. Путь на западную окраину Берлина был открыт.

Мы пережили трудный день, принесли немалые жертвы, но в наших руках были теперь Целлендорф и автострада, Берлинервальд и Круме-Лонке. Мы вступили на южную окраину Берлина и, ломая все преграды, приблизились к западной части города.

Перед рассветом мой танк уткнулся в колонну первого батальона.

— Почему топчетесь на месте?

Кто-то махнул рукой, указывая на колонну танков, стоявших на обочине. Обходя глядящие в кюветы танки и беспорядочно стоявшие тягачи, я с трудом нашел командира батальона. Лучом фонарика он шарил по плану Берлина.

— Почему остановились? — задал я ему ставший традиционным на войне вопрос.

Гулеватый растерянно оправдывался:

— Не знаю, куда идти. То ли карты врут, то ли мы с разведчиками заплутались. На всякий случай я их послал разузнать, куда выходит эта дорога.

— Как же ты, Еремеич? Неужто забыл, где находимся? Мы же в Берлине. Может, считаешь, что немцы тебе еще и проводника дадут?

Комбат смутился, еще ниже склонился над картой.

Справа со стороны ряда особняков, отгороженных друг от друга садами, доносились говор, крики, перемешанные с хохотом. К нам приближалась группа людей. Разведчики Серажимова, перебивая друг друга, доложили:

— Искали немцев, а наткнулись на японцев, на швейцарцев, еще на каких-то иностранцев.

Борис Савельев дал более вразумительную справку. Оказалось, что рядом с нами находятся летние резиденции разных посольств. Дипломаты, спасаясь от огня, перекочевали сюда, считая, что здесь более безопасное место: никто из них не подумал, что советские танкисты выйдут к реке Хафен, западнее Берлина, в эти живописные леса.

Разведчики явно увлеклись рассказом о дипломатах. Я перебил их:

— А вы узнали, где мы находимся?

— Так точно, узнал, — подтянулся Серажимов. — Мы находимся совсем близко от района Хеерштрассе, от стадиона «Олимпия».

Склонившись над планом Берлина, мы увидели эти крупные ориентиры. Асфальтированная дорога, обозначенная жирной красной линией, выходила на западную окраину города в район Шарлоттенбург, на улицы Рейхштрассе, Бисмаркштрассе, вокзал Шарлоттенбург, которые вели в район Зоологического сада, к Тиргартену — как раз туда, куда нам было приказано выйти.

На танке и нескольких машинах моя оперативная группа перекочевала в расположение авангардного батальона, которому выпала трудная задача штурмовать западные улицы Берлина.

Колонна оторвалась от берега реки, миновала гору Даксберг, оставила позади особняки Шпрунгшанце и повернула налево, к городу. Бригада ползла медленно, настороженно, но, как натянутая стальная пружина, была готова в любую минуту нанести огромной силы удар.

Из предрасветной дымки на нас надвигались серые окраины Берлина. Где-то в восточной части города и в центре его полыхали пожары. К небу тянулись черные столбы дыма, подсвеченные языками пламени. Временами взметались огненные шары и раздавались взрывы.

Я стоял на танке вместе с небольшим десантом, окруженный офицерами штаба. Куда-то ушла усталость от бессонных ночей: мы вступали — сегодня, сейчас, утром 26 апреля! — на центральные улицы вражеской столицы.

Стало совсем светло. Перед нами — стены горящего и содрогающегося города. С разведчиками и автоматчиками подбегаем к крайнему дому. Черные готические буквы на белой эмалевой табличке гласят: «Heerstrasse» (Хеерштрассе — улица Войсковая). Громкое «ура!» разносится по улице. Приказ выполнен! Мы не заблудились, не заплутались, вышли в заданный район. Отсюда мы будем наступать на Шарлоттенбург, на Тиргартен и дальше — туда, куда нас пошлет командование.

— Немедленно доложите командиру корпуса наши координаты.

Шалунов помчался к радиостанции.

Сияющий Дмитриев потащил меня к двум захваченным «фердинандам». Сюда же прибежали Старухин, Осадчий, Гулеватый, Быстров, Савельев. Кто-то повелительно командует: «Не шевелиться». Трофейный фотоаппарат «лейка» фотографирует у трофейных немецких самоходок на окраине фашистской столицы нас — усталых и счастливых.

Бригаде нашей повезло: немецкие штабы не предполагали, что советские войска появятся на самой западной окраине города, они не подготовились к встрече нашего танкового корпуса, этим мы воспользовались и повели наступление вдоль Хеерштрассе.

Необычная обстановка вызвала у нас некоторое недоумение. Мы ожидали огня артиллерии, «фаустников», гранат из окон — и вдруг мертвая тишина... Но мы понимали, что долго так не будет, и пробирались по улицам медленно, принимая меры безопасности. Отдельные подразделения свернули вправо, охватывая с севера район Эйхкамп. Нашей целью было — выскочить к крупным зданиям, возможно быстрее столкнуться с противником, войти в его боевые порядки и этим лишить его возможности применять против нас тяжелые средства воздействия.

Не долго продолжалось спокойствие. Не прошло и часа, и мы едва успели пройти несколько кварталов, как утреннюю тишину разорвал огненный шквал артиллерийских залпов. В нас полетели гранаты с длинными деревянными ручками. «Фауст»-патроны стали высекать искры из брони танков. Улица, чердаки и подвалы вдруг ожили, изрыгая свинцовые струи.

— «Фойер!» — «Огони!» — команды на русском и немецком языках огласили улицу.

Снова начали штурм переулков, домов, этажей. Тяжело надламываясь, кричали и рушились дома. Апрельский утренний ветер перебрасывал языки пламени с одной крыши на соседнюю. Дальнобойная артиллерия Первого Украинского фронта начала обстреливать не занятые нами западные районы Берлина, в небе появилась бомбардировочная и штурмовая авиация.

Наша атака в самой западной точке Берлина слилась со штурмом полков и дивизий, шедших с востока, с юга и севера. Дело шло к полному окружению врага, бежать гитлеровцам было некуда, им оставалось одно — сложить оружие. Но реки пролитой крови целых народов не давали гитлеровцам поступить разумно. Их обуял страх перед справедливым возмездием. Вот почему фашисты продолжали с отчаянием обреченных драться на улицах и в домах, в тоннелях метро и в канализационных трубах, в бункерах рейхсканцелярии.

Фашистское руководство провело, сколько только могло, тотальную мобилизацию. Против нас бросали старых, матерых нацистов, «фольксштурм» и юнцов из «Гитлерюгенд», женские команды и никогда не воевавших «фаустников». Это была последняя попытка хотя бы оттянуть роковой миг.

К ночи, выкуривая немцев из каждого дома, мы продолжали продвигаться по Хеерштрассе и в конце концов овладели ею полностью. Танки и пехота стали проникать в другие, прилегающие к Хеерштрассе, улицы, а к утру 27 апреля какой-то путаный переулок вывел наш 2-й батальон на западную часть улицы Вильгельмштрассе.

Как завороженный стоял я перед домом, только что очищенным от гитлеровцев. Взгляд прилип к надписи. Я тогда не знал, что в Берлине насчитывается десяток улиц, носящих имя Вильгельма Первого и Второго, и мне казалось, что это именно та самая улица, о которой я слышал не один раз, и та самая, на которой несколько дней назад командарм шутя назначил мне встречу. И еще одно воспоминание...

Обернувшись к моим друзьям, я вдруг начал от души хохотать. Лица ребят застыли в удивлении: что могло заставить командира в такой обстановке смеяться? Пришлось объяснить.

Когда я учился в Военной академии имени Фрунзе, немецкий язык в нашей группе преподавала Майя Михайловна Забелина. Молодая, черноглазая, красивая, она занимала наше внимание гораздо больше, чем преподаваемый ею предмет. Мы на уроках больше глазели на нее, чем слушали. Прошло немного месяцев, она поняла нас и резко переменяла методику преподавания. Откуда только у нее нашлось столько строгости и педантичной требовательности! Ласково улыбаясь, она стала тиранить нас. И с каждым месяцем наша «прекрасная немка» становилась все агрессивней. В зачетных книжках замелькали «тройки». И тут даже са-

мые влюбчивые молодые лейтенанты вдруг стали находить в ней множество изъянов. Она-де и не так уж красива, да и женственности в ней нет, и глаза совсем не черные, а с желтизной. А уж характер!..

Было решено бойкотировать этот предмет. Ведь мы и не считали его основным: тактика — это да! А немецкий... Но преподавательница продолжала упорно «внедрять» в нас немецкий язык. Она отлично понимала наше отношение к нему и к себе тоже.

Как-то на одном из очередных занятий Майя Михайловна неожиданно вручила каждому из нас зачетную работу. При этом каждому была дана другая тема.

— Чтобы вы не мешали друг другу, — сказала она, улыбаясь своей обычной улыбкой, в которой мы теперь видели и злорадство и коварство.

На листе бумаги аккуратно были написаны десять вопросов на русском языке. На них надлежало ответить по-немецки. Время летело неудержимо быстро. Прозвучал звонок. Моя неоконченная работа лежала на столе преподавателя в гряде таких же листков остальных слушателей. А через несколько дней состоялся разбор, и мне досталось больше всех.

— Какой позор! В одном слове «Вильгельмштрассе» — три ошибки! Я считала вас способным слушателем. Вы даже могли бы стать переводчиком.

В таком духе она отчитывала меня несколько минут. Потом, немного сбавив «разносный тон», она перешла на более спокойное поучение:

— А если вдруг вспыхнет война с Германией, как же вы будете воевать? Как будете допрашивать военнопленных? Нет, только представьте себе — три ошибки в слове «Вильгельмштрассе»!

Жирная «двойка» стояла на моей контрольной работе.

Вот почему, оказавшись на улице Вильгельмштрассе, я не мог удержаться от смеха. Сумел же я все-таки улицу Вильгельмштрассе найти и надпись прочитать!

И не думал, не гадал я в тот апрельский день, что предстоит мне еще раз встретиться с моей учительницей Забелиной.

Через несколько лет после войны я отдыхал в Кисловодске и в толпе случайно встретил знакомое лицо, красивые черные вдумчивые глаза. Я узнал Майю Михайловну.

Я подошел к ней, представился. Глаза ее изумленно глядели на меня: в седющем полковнике, конечно, трудно было узнать молодого, не очень благонаправленного старшего лейтенанта, доставившего ей в свое время немало хлопот. Сколько у нее было таких!

Разговорились. Я признался ей во всех своих прошлых грехах. Она сделала вид, что вспомнила меня, — а возможно, и действительно вспомнила. Во всяком случае она была довольна встречей. Особенно ее тронул мой рассказ о Берлине, о случае на Вильгельмштрассе у дома № 76. Выслушав его, она «учительским» тоном произнесла:

— Ну что ж, слушатель Драгунский, оценку за контрольную работу я готова исправить. Отныне считайте, что у вас «пятерка». Три балла прибавляю сразу за успешное практическое применение языка. Но скажите все-таки по буквам, как пишется слово «Вильгельмштрассе»...

* * *

За второй день боев в Берлине бригада очистила свыше десятка улиц и вела бои в спортивном комплексе Берлина на Рейхшпортфельде, на великолепном стадионе «Олимпия» и прилегающих к ним улицах. Накануне эти районы обрабатывались бомбардировочной и штурмовой авиацией.

Неожиданно комкор приказал повернуть нашу 55-ю бригаду строго на север. Начерченная на моей карте рукою Василия Васильевича Новикова красная, заостренная кверху стрела протянулась на Шпандау, на Рулебен, уткнулась в железнодорожную ветку, которая шла вдоль Шпрее и терялась где-то на пустыре боль-

шого танкоремонтного завода. Генерал требовал, чтобы мы сегодня же вышли на берег реки, нашли войска Первого Белорусского фронта, соединились с ними и замкнули внутреннее кольцо окружения гитлеровцев в самом Берлине.

Другая новость порадовала нас: в мое распоряжение прибыл резерв командира корпуса. Как это было нам кстати! Я стал обладателем довольно сильной по моим масштабам группировки, получив в распоряжение батальон мотопехоты 23-й бригады, дивизион «катюш», десять тяжелых танков и роту самоходных установок.

Офицер штаба корпуса, доставивший в наш район эти подразделения, ознакомил нас с обстановкой, сложившейся в Берлине и вокруг него.

Наша 3-я танковая армия всеми тремя корпусами прочно закрепилась в городе и вела бои в южной и западной его частях.

Сюда же втягивалась 28-я армия генерала Лучинского. Войска Чуйкова и Катюкова своими флангами сомкнулись с Первым Украинским фронтом. На севере армии Первого Белорусского фронта продвинулись к западной окраине германской столицы. Теперь мне стало понятным, почему Рыбалко и Новиков повернули наши части на север.

Соединиться в ближайшие часы с войсками, идущими по северной окраине Берлина, стало крайней необходимостью. Это давало возможность захлопнуть немцев в Берлине, расчленив силы врага и заставить его сложить оружие.

«Соединиться сегодня же с белорусами!» — этот приказ был передан по батальонам, ротам, энкапажам. И все вокруг задвигалось.

Разведчики Серажимова ушли, взяв направление на Рулебен, будто нырнули в огненную бездну. Вслед за ними выступил, повернув на Рейхштрассе, батальон Гулеватого, усиленный автоматчиками Старухина, тяжелыми танками и самоходками и всем тем, что оказалось у нас под руками; эта улица должна была вывести бригаду к Шпрее, в наиболее вероятный район соединения с соседями, идущими нам навстречу.

В этой суетоке все-таки выдалась у моей группы свободная минута, чтобы хоть наспех позавтракать. Столом служила лобовая броня танка.

Мы стояли с Дмитриевым, приткнувшись к корме танка. Теплый воздух, струившийся из жалюзи, обогревал нас в это холодное утро.

Дмитриев грел руки, протянув их к мотору, и мрачно молчал. Я осторожно потянул его за рукав:

— Спишь, Александр Павлович?

— Нет, так, задумался.

— О чем?!

Дмитриев обернулся ко мне, провел ладонью по своему лицу, вытащил кисет, закурил козью ножку и повторил мой вопрос:

— О чем? Думаю о том, сколько хороших ребят здесь погибло. Прошли они Россию, Украину, Польшу, добрались до Германии, до Берлина и на самом пороге мира выбывают один за другим... Погиб Вердиев.

Это известие меня ошеломило. Несколько дней назад были ранены Герои Советского Союза — мой заместитель Каленников Иван Емельянович, командир батальона Федоров Петр Еремеевич, мой земляк с Брянщины Новиков Николай Никитович, заместитель командира нашего корпуса дважды Герой Советского Союза генерал-майор Якубовский Иван Игнатьевич и многие, многие другие. И вот убит Герой Советского Союза Вердиев...

Я сказал Дмитриеву:

— Александр Павлович, ты бы поговорил с командирами, политработниками, с танкистами, чтобы были осторожнее. А то в такой обстановке люди часто идут на ненужный риск.

— Бесполезно. Я уже с начальником штаба договаривался, чтобы Новикова и Вердиева держали при штабе в комендантском взводе, поручили им охрану знамени. Ничего из этой затеи не вышло. Новиков сбежал — отпросился, правда, но все равно что сбежал — к разведчикам, Вердиев самовольно ушел в свой ба-

тальон автоматчиков. А что до наших политработников — знаете ведь, как трудно их самих удержать. Немченко убит, Маланушенко ранен...

— Александр Павлович, что ж это выходит? Мы с вами не можем навести порядка в бригаде?

Это было действительно так. Многие в азарте боя пренебрегали опасностью и часто платили за это жизнью. Нам с Дмитриевым был понятен порыв этих людей, и нам известно было, что ввести храбрость в рамки дисциплины и разумности сейчас очень трудно. Да, мы это знали — и все же сообщение о гибели сержанта Вердиева взволновало меня.

Бригада насчитывала около полутора тысяч человек. Трудно запомнить всех. Люди приходили и уходили. Каждый бой, каждый взятый город, каждый прыжок через водный рубеж уносили немало человеческих жизней. Менялись командиры подразделений, лейтенанты и капитаны, некоторым из них удавалось командовать своими взводами и ротами совсем недолго. Тем труднее было бы запомнить всех сержантов или рядовых. И все-таки встречались люди, которых нельзя забыть даже через десятки лет. К числу таких относился Аваз Вердиев — спокойный парень с жгучими черными глазами, с нависшими над ними густыми бровями.

Старший сержант пулеметчик Аваз Касимович Вердиев родился и вырос в Азербайджане, в далеком Лачинском районе, в селе Махсутму. Воевал на Западном фронте под Смоленском, оборонял Москву осенью сорок первого года, зимой сорок второго его видели в непривычных для него глубоких снегах Калининщины.

В нашу танковую бригаду Вердиев прибыл после ранения, познав уже и горечь отступлений, и радость первых побед. В то время развернулась битва на правобережной Украине.

Впервые я встретился с ним в июне 1944 года.

После тяжелого ранения я возвратился в свою 55-ю гвардейскую бригаду. В густом, труднопроходимом лесу на одной из прорубленных нами просек выстроились ряды танкистов и автоматчиков. Командир мотобатальона майор Стальненко представил мне своих командиров рот, взводов, отделений. Медленно обходили мы строй. В рядах бойцов я видел знакомые лица. Лицо Вердиева показалось мне тоже знакомым.

— Кажется, мы с вами где-то вместе воевали?

— Никак нет, я в этой части впервые.

— Что ж, военные дороги длинные. Будем топтать по ним дальше вместе. Как ваша фамилия?

— Сержант Вердиев.

Отойдя немного, комбат тихо сказал мне:

— Дельный пулеметчик. И смелости необыкновенной.

В этом я скоро убедился.

Четырнадцатого июля 1944 года наш Первый Украинский фронт перешел в решительное наступление. В первых эшелонах наступающих была и наша танковая бригада. Началось успешно: прошли десятки километров, уничтожили тысячи фашистов. Севернее Львова разгорелись сильные бои. В местечке Куликов засела большая группа немцев. Аваз Вердиев вывел свое отделение дворами и огородами и ударил немцам в тыл, разбил два пулемета, захватил вражескую минометную батарею и обеспечил продвижение главных сил батальона.

Львов остался позади, наши танки мчались к реке Санок. Нам предстояло добираться до Вислы. Мой «виллис», проваливаясь в трясине, с большим трудом поспевал за танками. Оврагами, лесными тропами, по бездорожью мы подкрадывались к Висле и 31 июля вышли на ее берег. Переправочных средств для переброски танков не оказалось, а соблазн перепрыгнуть через реку был огромный: немцы не ожидали, что на этот водный рубеж наши войска выйдут в районе Мохув. Надо было действовать немедленно, чтобы сберечь много жизней, которыми позднее пришлось бы оплатить форсирование реки.

Решили рискнуть и зацепиться за противоположный берег. Под руками оказалась залатанная рыбацкая лодка. Вердиев с пятью своими солдатами на этом

суденышке ринулся в быструю и капризную Вислу. Лодка удалялась, терялась в пенных волнах, появлялась опять и наконец благополучно ударилась тупым носом в берег. Группа Вердиева скрылась с глаз и потерялась где-то на вражеском берегу.

Вспыхнувшая затем пулеметная и автоматная стрельба известила нас о том, что Вердиев вступил в бой. Несколько часов отстреливались эти храбрецы, не допуская немцев к берегу. Этого времени было достаточно, чтобы переправился на тот берег весь батальон автоматчиков. Вслед за ним на парамах начали переправляться на крохотный плацдарм и танки. Тут же на берегу реки я расцеловал уже ставшего мне дорогим Аваза Касимовича.

Потом были тяжелые бои на Сандомирском плацдарме. Мы дрались за то, чтобы удержать и расширить его. Немцы атаковали, стараясь сбросить нас в реку. В одном из этих боев Вердиев отличился опять.

В первых числах августа, как я уже писал, лейтенант Андрей Серажимов с группой разведчиков прорвался на танке в центр города Сташува, к ратуше, и на глазах изумленных жителей разведчики Серажимова и Вердиев водрузили на крыше ратуши огромное красное полотнище; захватив затем двух оторопевших от неожиданности фрицев, они благополучно возвратились в бригаду.

Двадцать семь дней и ночей мы вели бои, удерживая Сандомирский плацдарм. Взрывами истерзана была земля, горела неубранная пшеница, черный дым от горящих танков застилал небо. Мы отражали до семи вражеских атак в день. В эти невыносимо трудные дни отважный Аваз, оглушенный, контуженный, оставался в строю. Когда у него не осталось отделения, он сражался как пулеметчик, как автоматчик.

Одним Указом Президиума Верховного Совета ему и мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Это было осенью 1944 года. Мы стояли в строю перед развернутым боевым знаменем на широкой поляне недалеко от города Тарнобжег на Висле. Автоматчик-пулеметчик Аваз Вердиев, старшина-разведчик Николай Новиков и я, их командир, по очереди подходили к командующему армией генерал-полковнику Рыбалко, получали награды. «Служу Советскому Союзу!»

В ту ночь я наслушался от Аваза много рассказов об Азербайджане. И, конечно же, был приглашен после войны побывать в его краях... Я сдержал слово, данное в ту ночь, — побывал на родине Аваза. Хотя сам он навечно остался лежать на немецкой земле, в Трептов-парке, где покоятся тысячи сыновей советской Родины...

(Окончание следует)



С. БЛАНК, Д. ШИНБЕРГ

★

ПО ДНУ ЛАДОГИ

Памяти

генерала армии Андрея Васильевича Хрулева.

Четверть века назад, весной 1942 года, когда дорога по льду Ладожского озера, связывавшая Ленинград с остальной частью страны, прекратила свое существование, возникла реальная опасность, что войска Ленинградского фронта и город Ленинград останутся без горючего, а это привело бы в бездействие боевую и транспортную технику и поставило войска фронта в тяжелое положение, исход которого было бы трудно предвидеть.

В это время группа товарищей внесла предложение о строительстве в непосредственной близости от противника подводного трубопровода по дну Ладожского озера. Эта смелая идея после тщательного рассмотрения была принята, и о строительстве бензопровода было издано специальное постановление Государственного Комитета Обороны.

Бензопровод был построен в сложных условиях менее чем за пятьдесят дней и в течение последующих двух с половиной лет был единственным источником обеспечения горючим войск Ленинградского фронта и города Ленинграда.

Непосредственные участники строительства С. М. Бланк и Д. Я. Шинберг, вспоминая об этих трудных днях, объективно показывают обстановку, сложившуюся до начала и во время строительства бензопровода, а также людей, принимавших в нем участие. Их рассказ восстанавливает один из интереснейших эпизодов защиты Ленинграда.

Маршал Советского Союза И. Баграмян.

Октябрь — ноябрь 1941 года были одним из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны. Фашистские войска оккупировали почти всю Украину, Белоруссию и другие районы страны.

В невероятно трудном положении оказался Ленинград. 28 августа 1941 года оттуда ушел последний поезд на восток. Быстрое наступление фашистской группы войск «Север» отрезало город Ленина от «Большой земли»: был занят Шлиссельбург и участок южного берега Ладожского озера. В то же время финская армия, начав наступление с помощью немцев, вышла на северные подступы к Ленинграду и заняла полосу от берегов Финского залива до Ладожского озера.

Началась славная и трагическая защита Ленинграда. Она продолжалась девятьсот дней.

Линия фронта проходила через пригороды. Почти исчерпаны были продовольственные запасы и топливо. Враг бомбил с воздуха и вел методический артиллерийский обстрел города. Защитники и население города нуждались в продовольствии, одежде, медикаментах, боеприпасах, вооружении. Танки, авиация, автотранспорт, промышленность требовали бензина, дизельного топлива, керосина, смазочных масел, мазута.

Как же доставить все это в Ленинград?

С неслыханной быстротой был выстроен участок железной дороги от станции Войбокало до глухой деревни Кобона, находящейся на восточном берегу Ладож-

ского озера. Но дальше надо было преодолеть водный рубеж — около тридцати километров.

Противник вывел из строя почти весь ладожский флот, который и до войны был невелик. За оставшимися катерами и баржами легко было вести охоту — полевые аэродромы и артиллерия находились близко; и если еще курсировали по озеру отдельные сухогрузные баржонки, то наливных барж уже совсем не оставалось. Горючее приходилось затаривать в железные бочки и отправлять на сухогрузных баржах, а это было сложно и давало возможность доставлять лишь очень незначительное количество горючего.

На Ленинградском фронте был введен жесткий лимит на расходование горючего. Заместитель командующего и начальник тыла Ленинградского фронта генерал Ф. Н. Лагунов лично рассматривал и утверждал распределение его по весьма голодной норме, а начальник отдела снабжения горючим фронта полковник В. Я. Сеницын через свой аппарат жестко контролировал расход.

Управление снабжения горючим Красной Армии (УСГ КА) создало специальную группу во главе с военинженером 2-го ранга В. В. Никитиным, мобилизовало все технические средства, все мелкие емкости и отправило их на Ладогу.

Но горючего Ленинграду доставлялось все же мало, очень мало. Останавливался автотранспорт — значительная часть грузового и почти полностью легковой.

Зима 1941/42 года была суровой. Это поддерживало у всех надежду, что вот-вот Ладожское озеро замерзнет. Действительно, в конце ноября — можно даже назвать точную дату: 28 ноября 1941 года — через Ладожское озеро наконец открылось движение по ледовой дороге — «дороге жизни»!

С восточного берега на западный пошли первые автомобильные транспорты грузов, а навстречу им двигались машины с эвакуируемыми женщинами, детьми, стариками. В январе—феврале 1942 года подвоз всех грузов в Ленинград значительно увеличился. Правда, перевозку горючего сильно затрудняла нехватка автоцистерн, металлических бочек, средств перекачки. И, главное, уже и в те наиболее благополучные месяцы начинала тревожить мысль о будущем: ведь ледовая дорога просуществует до середины, самое большее до конца апреля; удастся ли завезти по ней в Ленинград запас горючего на несколько месяцев? Расходы фронта все будут возрастать... Как завозить горючее после вскрытия Ладоги?

Опасения за судьбу фронта были, к сожалению, слишком реальными. Требовались какие-то чрезвычайные оперативные решения.

Этим срочно занялось тогда Управление снабжения горючим Красной Армии. В ту пору один из нас — а именно полковник С. М. Бланк — был заместителем начальника управления, непосредственно занимавшегося решением этой задачи. Он и расскажет о том, как родилась идея строительства бензопровода и как велась его организационная подготовка.

* * *

Расчеты показали, что ледовая дорога и транспортные средства, на ней используемые, не обеспечивают удовлетворения даже минимальной потребности в горючем; о создании же запасов с их помощью нечего и думать. На совещании у бригаднтенданта А. Г. Ковырзина собрались работники, занятые снабжением Ленинградского фронта.

После обмена мнений А. Г. Ковырзин поручил интенданту 2-го ранга А. И. Вишневному, военинженеру 2-го ранга В. В. Никитину, интенданту 3-го ранга М. И. Пирятинскому и инженер-капитану Е. А. Турчанинову подготовить на основе уже проведенных расчетов за срок чуть ли не меньше суток развернутые предложения, которые будут обсуждены у начальника УСГ КА генерала М. И. Кормилицына.

Мне, начальнику отдела полковнику П. И. Курябину и интенданту 1-го ранга Д. В. Тихвинскому поручили подумать об обеспечении тарой, автоцистернами, средствами заправки и хранения запасов горючего.

Было также решено вызвать через два дня из Ленинграда начальника отдела снабжения горючим фронта (ОСГ) полковника В. Я. Сеницына.

Прежде чем разойтись, А. Г. Ковырзин сказал, что все предложения должны быть разработаны детально, подкреплены не только расчетами, но и реальными ресурсами. Многого можно заготовить на предприятиях Ленинграда, и поэтому в нашем плане надо обязательно учесть предложения работников фронта. Нам окажут помощь и некоторые главные управления тыла Красной Армии, а если потребуется, то этим сможет заняться и ряд промышленных ведомств.

— Контроль за подготовкой проектов и предложений возлагается на заместителя начальника УСГ Красной Армии полковника Бланка,— сказал Ковырзин и, улыбнувшись, обратился ко мне:— Надеюсь, вы не возражаете? Это мнение начальника управления Кормилицына, а я его, со своей стороны, поддерживаю.

Я поблагодарил за доверие.

Так закончилось совещание, и все принялись за работу.

Прошли сутки в напряженной работе. За это время мы лишь один раз сделали короткий перерыв на обед, а завтрак и ужин ели, не отрываясь от работы. Спать в ту ночь не пришлось. Побриться успели в то время, когда машинистки печатали последние страницы наших материалов.

Работу мы закончили в срок. Все было тщательно разработано и подсчитано. Но итоговые цифры нас пугали. Надо было завезти более семидесяти тысяч тонн горюче-смазочных материалов, то есть более семи тысяч железнодорожных цистерн. Для этого потребовалось бы сделать более двадцати пяти тысяч ездов автоцистерн по ледовой дороге и до Ленинграда. Нужны были десятки тысяч железных бочек и сотни агрегатов для заправки и перекачки. Если бы даже эту операцию и удалось провести за два месяца, фронт и город получили бы запас горючего еще на два месяца, и то по скудной норме.

Оставался нерешенным главный вопрос: как доставлять горючее с мая и до ноября? Правда, противовоздушная оборона берегов Ладоги теперь была значительно усовершенствована, но ведь противник совсем рядом, и его авиация в немногие минуты могла долетать до озера и бомбить баржи в пути и у причалов; возможно было и открытие в любую минуту артиллерийского обстрела. Вот почему баржи, как единственный вид транспорта, были малонадежным выходом из положения.

Мы мучительно искали другие возможности. До совещания, на котором мы должны были доложить весь подготовленный материал, оставалось еще два часа.

Ко мне зашел В. В. Никитин, который только что прибыл вместе с полковником Синицыным из Ленинграда. Василий Васильевич, выслушав мои сомнения, сохранил свое обычное оптимистическое настроение и, улыбаясь, сказал, что фронт, он уверен, будет обеспечен горючим и нас вспомнят когда-нибудь за это добрым словом.

Оставшееся время я решил использовать, чтобы еще раз переговорить с нашими работниками П. Л. Ивановым, В. В. Кобылянским и С. А. Комиссаровым. В это время адъютант доложил, что ко мне пришли из Главнефтеснаба при Совете Народных Комиссаров СССР инженеры Т. Е. Хромов и Д. Я. Шинберг. Конечно, не время было устраивать приемы, но это были люди серьезные и очень опытные проектировщики, хорошо знающие нефтетранспортное и нефтескладское дело. Поскольку товарищи пришли ко мне, даже предварительно не созвонившись по телефону, значит, дело у них было важное. Все же, здороваясь, я извинился, что располагаю очень коротким временем.

Что же привело их ко мне?

Тут я передам слово инженеру Давиду Яковлевичу Шинбергу.

* * *

В 1935 году мне пришлось разрабатывать конструкцию сборно-разборного трубопровода из облегченных тонкостенных труб на специальных муфтах. Этот трубопровод был использован в воинских частях, занятых снабжением горючим для складских операций, после того, как в городе Армавире вместе с представителями УСГ КА мы провели испытания двухкилометрового трубопровода для подачи бен-

зна. В организации этой работы и в испытаниях принимал участие тогдашний управляющий трестом Нефтепроводстрой Георгий Пахомович Рогачев — человек необыкновенно даровитый, превосходный организатор, способный увлечь работой кого угодно (кстати, он один из первых в Советском Союзе был награжден орденом Ленина). Результат испытаний подтвердил возможность успешного использования сборного трубопровода для перекачки бензина.

Вспомнив детально все технические подробности, мы с Т. Е. Хромовым написали в августе 1941 года письмо наркому нефтяной промышленности И. К. Седину о возможности создания фронтowego сборного бензопровода значительной протяженности — до ста километров и более. Бензопровод следовало оборудовать передвижными насосными станциями на автомашинах и использовать его для обеспечения горючим действующих крупных военных соединений.

Получив это письмо, И. К. Седин немедленно подписал приказ об ассигновании необходимых средств и о составлении проекта сборно-разборного бензопровода. Проект был разработан и утвержден. Однако он оказался невыполнимым на практике в условиях непрерывной подвижности фронтов в 1941 году. Попытка проложить бензопровод для обеспечения частей, находящихся в районе Юхнова, не увенчалась успехом.

Теперь мы хотели узнать, не пришло ли время для сооружения такого бензопровода на одном из фронтов в условиях долговременной, стабильной обороны.

* * *

Продолжаю свой рассказ. Слушая товарищей Хромова и Шинберга, я все думал: а может быть, это и есть решение, которого мы ищем?

Я поблагодарил их и, прощаясь, условился сегодня же или завтра встретиться вновь.

Тут ко мне вошли приглашенные работники УСГ. Начальник строительного отдела П. Л. Иванов спросил в упор:

— Работникам нашего отдела неясно, какова будет наша роль и что мы должны сделать.

— А что вы подготовили? — спросил я вместо ответа.

Он ответил неуверенно:

— Мы считаем, что к заводу горючего по зимней дороге наш отдел отношения не имеет. А весной, чтобы снабжать Ленинградский фронт средствами наливного флота, надо обязать Управление тыла фронта и ОСГ фронта построить своими силами легкие причалы и пункты налива и слива горючего. Я думаю, тогда надо будет послать туда кого-нибудь. Предлагаю поручить это инженеру третьего ранга Лещинеру и военинженеру второго ранга Жукову.

— И это все, что за сутки смог подготовить отдел! — не в силах скрыть раздражения, заметил я. — И вы того же мнения, товарищ Кобылянский?

— Я согласен с тем, что сказал начальник отдела. Другого решения не придумаешь.

— А по-моему, — сказал я, — это вообще не решение. Вот вы давно работаете в УСГ и должны были бы знать то, чего не знал я. Слышали вы о разработанном для УСГ и испытанном в тридцать пятом году полевом сборно-разборном трубопроводе протяжением в два километра?

Маленький подвижной военный инженер С. И. Лещинер заерзал на стуле, П. Л. Иванов закусил губу, В. В. Кобылянский снял пенсне и протер стекла, И. Г. Жуков посмотрел на меня в упор, прищурясь, о чем-то перешепнулись Н. С. Шумко и П. И. Курябин. После небольшой паузы все попросили слова.

Инженер Лещинер встал и, вытянувшись, как положено, сказал, что слышал об испытаниях сборного бензопровода в районе Армавира. Возможно, это решение, давно заслуживающее внимания, сейчас может быть использовано для снабжения Ленинграда. Надо подумать.

— А что скажете вы? — обратился я к полковнику Курябину и интенданту 1-го ранга Тихвинскому.

Тихвинский отказался отвечать «так, с ходу», не подумав. Но полковник Курябин сказал довольно категорично, что, по его мнению, речь идет об очередном прожектёрстве. Разве умеет кто-нибудь из нас строить такие трубопроводы? Вероятнее всего, что нет и никто еще скоро не построит.

Ему решительно возразили подполковник Комиссаров и майор Жуков. Они уверены были, что мысль о применении такого трубопровода не только смелая, но и правильная и надо немедленно приступить к подготовке его сооружения.

Но было уже время идти на совещание к М. И. Кормилицыну. Я просил товарищей вновь собраться у меня между 24.00 и 2.00 часами. Все вышли, задержался лишь Лещинер; он попросил разрешения поехать в Наркомстрой, Главнефтехснаб и в проектные организации и потолковать там. Я дал согласие — мне тоже хотелось пригласить опытных специалистов — и направился на совещание к М. И. Кормилицыну.

С Михаилом Ивановичем Кормилицыным мы встретились впервые в декабре 1941 года, когда он был назначен начальником Управления снабжения горючим Красной Армии. Михаил Иванович ранее в кадрах армии не служил, но быстро освоился с делом не вовсе для него новым: он отлично знал нефтяную промышленность и до этого назначения был заместителем наркома нефтяной промышленности. Вместе с ним пришли в управление еще несколько опытных работников наркомата. А. И. Вишневецкий был назначен начальником транспортного отдела — это был самый сложный участок работы; М. И. Пирятинский — начальником планового отдела; у него готовился и верстался план снабжения фронтов и формирований горючим — это требовало отличного знания нефтяной промышленности, в особенности нефтеперерабатывающей. А. Я. Когану был поручен сложный участок работы, связанный в дальнейшем с поставками по ленд-лизу и с их использованием.

В кабинете М. И. Кормилицына я застал А. Г. Ковырзина и Николая Федоровича Вожжова — помощника А. И. Микояна по Государственному Комитету Обороны.

Ковырзин и Вожжов курили, стоя у открытого окна. Кормилицын был занят каким-то, видимо долгим, телефонным разговором. Вожжов спросил меня, согласен ли я с предложением командования Ленинградского фронта и есть ли у меня какие-нибудь замечания.

— Нет, — ответил я, — замечаний нет. Но надо искать еще другое, лучшее решение. Надо обеспечить доставку горючего через Ладожское озеро таким транспортом, который не будет зависеть от действий противника и нас не подведет.

— Опять что-нибудь новое придумал, — заметил Ковырзин.

— А разве вы против нового? — добродушно спросил Вожжов.

— Нет, я всегда за новое, но за проверенное. Не хочу полагаться на то, чего мы еще хорошо не знаем, — ответил Ковырзин.

В это время Кормилицын пригласил нас занять места за длинным столом, предупредив, что времени у него не более часа. Потом попросил секретаря пригласить всех товарищей, ждущих начала совещания в приемной, и соединить его по телефону с генералом Лагуновым, который находится где-то в Управлении тыла Красной Армии.

Первым докладывал Сеницын. Его расчеты почти совпадали с нашими; разница была в том, что работники фронта просили предусмотреть завоз четырехмесячного запаса горючего и для этой цели дополнительно выделить им сто пятьдесят автоцистерн, несколько десятков тысяч металлических бочек и значительное количество других средств заправки по списку, который они представили.

Что все это необходимо, было ясно всем, но также ясно было всем, что таких ресурсов в распоряжении управления нет. Все молчали. Тогда я встал и передал Михаилу Ивановичу разработанные нами материалы. Пока он с ними знакомился, я несмело произнес:

— Мы рассматривали еще один вариант транспортного порядка, но пока еще не готовы о нем доложить.

— Ну, а в чем заключается основная идея?

— Идея заключается в том, чтобы проложить по дну Ладожского озера сборный трубопровод на специальных муфтах, а может быть, и на сварке, для перекачки бензина на ленинградский берег озера, — ответил я.

Наступила тишина. Потом посыпались вопросы: есть ли трубы (вопрос отнюдь не праздный!)? Можно ли проложить под водой трубопровод длиной в тридцать километров, да еще на виду у врага? Кто, когда и где выполнял подобные работы?

Начальник отдела снабжения фронтов М. В. Медведев в присущей ему резкой манере заявил:

— Это все басни, а нужно дело.

— Зачем говорить о нереальных вещах? — поддержал его Курябин.

Мне казалось, что и генерал Кормилицын не слушает наши разговоры, а занят просмотром представленного материала. Но это только казалось. Он вдруг прервал кого-то, кто в ту минуту высказывался, и обратился ко мне:

— А знаете ли, это заманчиво. Надо продумать эту идею до конца.

Я доложил, что ряду товарищей поручено связаться с Наркомстроем, а сегодня я беседовал с проектировщиками, и, вероятно, в ближайшие день-два идею можно будет обсудить более подробно. Сейчас, на этом совещании, я просил ее не обсуждать.

Михаил Иванович согласился.

Потом попросил слова В. В. Никитин.

— Я считаю, что наши расчеты основаны на самой низкой, буквально голодной норме горючего. Но ведь надо учесть, что создаются новые формирования, оснащение их техникой с каждым днем возрастает. Единственно правильное решение — это проложить трубопровод по дну озера, — сказал он и в заключение попросил разрешения и ему с его специалистами включиться также в подготовку этого вопроса.

В это время раздался звонок по кремлевскому аппарату. Михаил Иванович снял трубку. Мы слышали его реплики:

— Слушаю вас, товарищ генерал армии... Вот сейчас у меня совещание по этому вопросу... Да, да, все у нас подработано, подготовили конкретные предложения... Я тоже очень сожалею, что на совещании нет генерала Лагунова... Вечером можем доложить. Понял вас, хорошо... Слушаю.

Вечером начальник Управления тыла Красной Армии генерал армии А. В. Хрулев намерен был рассмотреть и утвердить мероприятия по обеспечению Ленинградского фронта горючим по ледовой дороге. На совещание к нему должны были прибыть Ковырзин, Никитин, Синицын, Вишневецкий и я.

Что касается главного вопроса — как завозить горючее после вскрытия Ладожского озера, — то М. И. Кормилицын просил меня, Никитина и Иванова сделать хотя бы приближенный набросок способов строительства бензопровода через Ладогу и подсчитать потребные ресурсы.

— Кто заранее не верит в такое решение вопроса, тому и обдумывание его поручать не будем, — заметил он и, обратясь ко мне, сказал: — Прошу вас, Семен Маркович, разберитесь внимательно в том, как может быть осуществлена идея, подготовьте хотя бы предварительные данные, с тем чтобы сегодня обязательно доложить генералу Хрулеву.

Н. Ф. Вожжов попросил меня дать и ему копии наших предложений о прокладке бензопровода через озеро, чтобы доложить А. И. Микояну.

Я тут же вызвал на 17.00 к себе проектировщиков из Главнефтеснаба Т. Е. Хромова и Д. Я. Шинберга, а также поручил подготовить карту Ладожского озера и материалы, которые должен был собрать инженер С. И. Лещинер. Потом я позвонил по телефону начальнику отдельной сварочно-монтажной части № 104 Наркомстроя (сокращенно ОСМЧ-104) В. Л. Шейнкину и попросил его к 17.00 приехать вместе с его главным инженером А. С. Фалькевичем для консультации по специальным вопросам.

В это время ко мне зашел В. В. Никитин.

— Я рад, Василий Васильевич,— сказал я ему,— что вы так смело поддерживали идею прокладки подводного бензопровода.

Никитин ответил:

— Семен Маркович, да ведь это единственно возможное и потому и правильное решение. Другого просто нет, ни легкого, ни трудного... А что не все это поняли, тут ничего не поделаешь: товарищи они неплохие и дело свое знают, но риска боятся. А нам сейчас и рисковать-то по существу уже нечем.

К 17.00 инженер Лещинер доложил, что собрал материалы и выяснил ряд вопросов в Наркомстрое, был у заместителя народного комиссара по строительству Н. В. Бехтина, который заверил его, что если потребуется, то Наркомстрой примет самое активное участие в сооружении бензопровода.

Иванов подготовил короткую справку, карту Ладожского озера, собрал кое-какие данные о режиме озера, выявил потребности в материальных ресурсах, в том числе в трубах, емкостях и прочем.

Обменявшись мнениями, мы установили, что в условиях подводной прокладки трубопровод должен быть сварной конструкции, а не на муфтах, как это предусматривалось для наземной прокладки.

Установили, что диаметр его должен быть в пределах ста—ста пятидесяти миллиметров, определили и остальные данные, в том числе длину подводной части — около двадцати пяти километров; длина же наземных частей могла быть установлена лишь на месте, путем конкретных изысканий.

Работники ОСГ фронта считали, что бензопровод следует довести до одной из ленинградских нефтебаз. Трасса его пройдет местами по заболоченной местности, и протяженность ее составит около пятидесяти километров. При использовании нефтебазы как конечного пункта бензопровода вопрос о емкостях для горючего, насосных, наливных эстакадах будет тем самым снят. Но где взять такое количество труб?

Так 15 марта 1942 года родился первый вариант справки о возможности прокладки бензопровода.

Я передал эту справку М. И. Кормилицину, и в 23.00 мы поехали на совещание к начальнику тыла Красной Армии А. В. Хрулеву.

Андрея Васильевича Хрулева я знал уже несколько лет. Впервые я встретился с ним в 1938 году, когда корпусной комиссар А. В. Хрулев был назначен начальником военно-строительного управления Киевского особого военного округа, где работал и я в должности начальника одного из его отраслевых управлений.

Ситуация была сложной (1938 год!). Только несколько дней назад был арестован начальник окружного военно-строительного управления С. Т. Васильев — это был арест уже второго начальника управления.

Говорили, что и у Хрулева были крупные неприятности по прошлой работе, что он снят с большого поста и назначен к нам с понижением в должности — следовательно, этот начальник пробудет тоже недолго... Вот почему все ожидали, что придет человек мрачный, свехосторожный.

Каково же было удивление, когда мы с ним впервые встретились! Приехав в Киев, он прямо с поезда пришел в управление. Было уже поздно, мы собирались по домам, когда прибежал, запыхавшись, дежурный вахтер и доложил:

— Какой-то большой начальник с тремя ромбами вошел в кабинет. Я спросил: «Кто вы будете?» — а он говорит: «Я ваш начальник». Назвал свою фамилию, да я ее запомнил. Спросил, кто есть в управлении. Я сказал: «Наверно, все уже ушли домой», а он улыбнулся и сказал: «Молодцы, аккуратно служат».

Мы пошли в кабинет начальника управления.

На меня Андрей Васильевич сразу же произвел приятное впечатление.

Он засыпал нас вопросами. Так незаметно прошло два часа. А к концу беседы он уже поставил перед нами ряд совершенно новых, принципиально важных задач: о скоростном строительстве, о необходимости типового проектирования, о

создании базы предприятий строительной индустрии, об организации специализированных монтажных подразделений...

Его настроение никак не выдавало, что у него какие-то личные неприятности или что он приехал к нам на время.

Уже давно миновала полночь. Я попросил разрешения позвонить домой и предупредить, что задерживаюсь. Андрей Васильевич понимающе улыбнулся и сказал, что и ему надо позвонить жене.

Мы отвезли его на квартиру, которая была подготовлена заранее на втором этаже только что построенного дома. Обставлена она была довольно скромно. Он быстро обошел квартиру, все осмотрел и сказал:

— Квартира хорошая, только отделочные работы выполнены плохо. Вот наша общая беда.

И он был прав.

Андрей Васильевич поблагодарил за заботы и особенно был рад, что есть горячая вода и установлен телефон, которым он тотчас же воспользовался и заказал Москву.

Проработал Андрей Васильевич у нас до сентября 1939 года. Он был неутомим. Везде бывал, со всеми беседовал, советовался, учил рабочих, инженеров, служащих, учился у них и сам. К нему ходили по делам служебным и личным. При всей импульсивности натуры, он умел внимательно слушать и, при всей требовательности, был так справедлив, что его вспышки никогда никого не обижали.

У него мы учились смелости, инициативе, умению увидеть в работе главное, думать о людях.

В первых числах сентября 1939 года я был в кабинете у Андрея Васильевича. Было уже около десяти часов вечера, когда раздался звонок. Андрей Васильевич поднял трубку и, как всегда, спокойно произнес:

— Хрулев слушает.

Потом долго молча слушал, иногда тихо повторяя «да.. да...», и часто поднимал глаза, взглядывая на меня. Наконец он положил трубку, встал и, опустив голову, начал нервно шагать по большому кабинету, о чем-то напряженно думая и как будто позабыв, что он не один. Потом остановился и сказал:

— Это звонил командующий округом товарищ Тимошенко и передал приказание Ворошилова срочно прибыть мне в Москву. Вспомнили старика.— (Ему было тогда сорок шесть лет.)— А я было думал, что забыли. Ну, ладно.

В 10 часов утра Хрулев улетел в Москву. Перед отъездом он обещал позвонить мне по телефону, но не позвонил.

Семнадцатого сентября 1939 года наши войска вошли на территорию Западной Украины. 25 сентября меня в штабе фронта предупредили, что наутро во Львов прилетит А. В. Хрулев. Его встретили на аэродроме, и по тому, кто его встречал, я понял, что он получил уже какое-то другое, более высокое, назначение.

Он вышел из самолета, поздоровался со всеми, а вечером рассказал нам, что назначен начальником Управления снабжения Красной Армии.

Прошло еще два года. Мы часто встречались по работе, когда я приезжал в Москву. Он вспоминал людей, с которыми работал в Киеве, и часто повторял:

— Очень хороший коллектив в Киевском военном округе, никогда не забуду того времени, когда работал с ним.

Началась Великая Отечественная война. В августе 1941 года по вызову я приехал в Москву. Мне предложили перейти на новую работу — на крупную и важную стройку в Приволжье. Меня это огорчило — шла война, а это назначение отдаляло меня от армии. Хотелось посоветоваться с Андреем Васильевичем, но я знал, что он очень занят, так как в это время уже создавалось Управление тыла Красной Армии и Андрей Васильевич был назначен начальником этого управления и заместителем народного комиссара обороны. И вдруг к концу дня, проходя по Красной площади у Второго дома Наркомата обороны, я буквально столкнулся с ним. Он на минуту задержался и затем пригласил меня зайти к нему после 24.00. В назначенный час я, разумеется, был в приемной.

Ожидать пришлось недолго. В приемной, кроме меня, был еще Л. Г. Петровский, которого я знал раньше, в начале тридцатых годов, когда он командовал 14-й кавалерийской дивизией в Новограде-Волынском. Он очень изменился за эти годы, для этого была серьезнейшая причина. Мы поздоровались.

Рядом с ним был высокий военный средних лет, красивый, хорошо сложенный, его я не знал. Это был К. К. Рокоссовский.

Быстрым шагом прошел Андрей Васильевич в кабинет и пригласил нас к себе. Я сел в стороне, а К. К. Рокоссовский и Л. Г. Петровский подошли к столу. Оказывается, они уезжали — один на Западный, другой на Брянский фронт. Вскоре они ушли.

Меня Андрей Васильевич расспрашивал о работе, интересовался моим предполагаемым назначением и в заключение сказал:

— Поезжайте домой, а мы здесь решим, где лучше вас использовать.

Через двадцать дней я получил телеграмму с вызовом в Наркомат обороны. А еще через два дня мне вручили приказ о назначении меня заместителем начальника УСГ КА, которое было подчинено Управлению тыла. Дело было для меня новое, незнакомое, но я был очень рад снова работать под началом Андрея Васильевича.

И вот сейчас у него будет решаться жизненно важный для блокированного Ленинграда вопрос.

В большом кабинете генерала армии Хрулева собрались начальники главных управлений Наркомата обороны, заместитель Хрулева генерал В. Е. Белокосков, начальник штаба тыла генерал М. П. Миловский, начальник тыла Ленинградского фронта генерал Ф. Н. Лагунов и другие.

Первыми докладывали о снабжении Ленинградского фронта начальник главного продовольственного управления Д. В. Павлов и начальник главного вещевого управления Н. М. Карпинский. Им после обсуждения их вопросов разрешили уйти. Мы же, работники УСГ КА и военно-транспортной службы, остались.

— С вами, — сказал генерал Хрулев, — разговор особый и более детальный. Доложите, товарищ Кормилицын.

Михаил Иванович передал Хрулеву справку о потребности фронта в горючем и о плане завоза горючего с 1 марта по 15 апреля. Он также сообщил, что, кроме текущих расходов горючего, планом предусматривается завоз полутора-двухмесячного запаса, но фронт требует создания не менее четырехмесячного запаса.

— Мы не можем выполнить просьбу фронта, — сказал Кормилицын, — нет для этого ресурсов. После вскрытия Ладожского озера будем возить горючее баржами, частично наливными, а в основном сухогрузными; для этого необходимо изготовить большое количество тары и средств заправки на восточном берегу озера.

Хрулев встал из-за стола, прошелся несколько раз по кабинету, опустив голову и задумавшись. Потом остановился и спросил, сколько есть в наличии наливных барж, когда мы подвезем тару и средства заправки и вообще насколько реально осуществление этого плана.

Кормилицын немного помедлил с ответом.

— Товарищ генерал армии, сегодня у нас там барж нет, — тихо сказал он. — Но работники тыла фронта утверждают, что они уже разместили заказы на предприятиях Ленинграда и необходимое количество изготовят в срок.

Хрулев резко повернулся к начальнику тыла Ленинградского фронта генералу Лагунову:

— Скажите, вы уверены, что наливной флот будет?

— Уверенности нет, — ответил Лагунов. — Мы приняли все меры. Что касается запаса горючего, то меньше чем на трехмесячный согласиться нельзя. Когда вскрыется озеро, вряд ли мы сможем завозить полностью на текущую потребность. Ведь будут потери от бомбежек и обстрела.

— Это уж дело командования фронта — организовать охрану судов. Максимальная экономия горючего — это тоже его дело, — прервал Хрулев. — Создать резерв не менее чем на три месяца за счет сокращения снабжения некоторых фронтов и тыловых округов мы можем. А как завезти в Ленинград? Вот это для нас сложный вопрос. Прошу вас, Василий Евлампиевич, — обратился он к генералу Белокоскову, — сегодня же поработайте с вашими автомобилистами и дайте горючему зеленую улицу по ледовой дороге. Тару и средства заправки в первую очередь выделяйте для Ленинградского фронта. Если надо потребовать что-либо от народного хозяйства, давайте предложения. Только все должно быть решено быстро... — он посмотрел на часы, — ну, завтра к восемнадцати ноль-ноль. Товарища Миловского прошу подготовить приказ по Управлению тыла. Что касается завоза горючего после вскрытия озера, я думаю, что несуществующими баржами вряд ли вы что-либо повезете. Возможно, кое-что и можно будет изготовить, я сегодня еще переговорю с ленинградцами, но главное: пока существует ледовая дорога, создать трехмесячный запас... Есть ли еще вопросы? — спросил Хрулев.

— Разрешите? — неуверенно произнес Кормилицын. — Тут группа товарищей вносит предложение построить бензопровод по дну Ладожского озера. Подготовлена пока лишь предварительная справка, в которой изложена основная идея.

Хрулев взял справку и начал просматривать ее. Одновременно ему пришлось разговаривать с кем-то по телефону.

Рядом со мной сидел генерал Белокосков. Он спросил:

— Так вы трубопровод предлагаете построить?

— Да, — ответил я.

— А может, лучше построить мост? — иронически заметил он.

— В мостах не разбираюсь, товарищ генерал. А вот трубопровод построить можно.

— Ну что же, коль можно, так и хорошо, — сказал он, пожав плечами.

Видимо, телефон совсем отвлек Хрулева от нашей справки, так как, закончив разговор, он сказал:

— Ну, все, товарищи, идите работать. А вас, Михаил Павлович, — обратился он к генералу Миловскому, — прошу задержаться.

Мы быстро собрали документы и вышли.

— Жаль, что так получилось, — сказал Кормилицын. — Надо будет еще раз доложить.

На следующий день был издан приказ начальника тыла Красной Армии. Началась большая работа. Каждые сутки подводились итоги сделанному. Автотранспорт перевозил все горючее, которое только успевали доставить из глубинных районов к восточному берегу Ладожского озера.

Прошел март; оказалось, что запас сделан только на тридцать—сорок дней. В чем же был просчет? Ведь, по нашим данным, к этому времени должен был получиться двухмесячный запас. Но часть этого запаса поглотили новые формирования, которых полностью нельзя было учесть, да и промышленность Ленинграда, полностью переведенная на нужды обороны, тоже потребовала значительно большего расхода.

Положение создавалось критическое. Ясно было, что за пятнадцать — двадцать дней, которые еще оставались для работы на ледовой дороге, более чем двухмесячный запас горючего завезен нами не будет.

Но оставить Ленинград без горючего было невозможно.

Весь март проектировщики подготавливали необходимые материалы. Несколько раз мы напоминали, что надо рассмотреть вопрос о трубопроводе в Управлении тыла.

Неожиданно 2 апреля адъютант генерала армии Хрулева капитан П. П. Синюков передал мне приказание через час прибыть в Управление тыла. Было пять часов утра.

Хрулев тут же принял нас.

— Сегодня в пятнадцать часов поедem к Анастасу Ивановичу Микояну, где будет рассмотрен вопрос о строительстве бензопровода через Ладожское озеро. Кого надо еще вызвать? — спросил он.

А мы-то думали, что он тогда просмотрел нашу справку и тут же о ней позабыл..

— Нужны начальник Главнефтеснаба товарищ Широков и заместитель наркома по строительству товарищ Бехтин.

— Хорошо, их пригласят. А вы приезжайте ко мне в четырнадцать тридцать и все, что нужно, захватите с собой.

Я возвратился в управление, поднял с постели Иванова и Лещинера, позвонил по телефону Шейнкину и Хромову, предупредил их о совещании у А. И. Микояна. В эги сутки спать так и не пришлось.

В 14.45 мы приехали в Кремль.

Анастас Иванович поздоровался, жестом пригласил всех занять места за длинным столом, а сам сел у приставного столика.

— Ну, кто будет докладывать? — спросил он.

Я развернул карту Ладожского озера и ближайших к нему районов с востока и с запада до самого Ленинграда, на которой были ориентировочно нанесены варианты трассы в подводной ее части и наземной до пригородов Ленинграда. По второму варианту бензопровод заканчивался на западном берегу в четырех—шести километрах от берега озера, у небольшой железнодорожной станции. Сделав краткое сообщение, я передал справку о всех необходимых для строительства материалах.

После моего сообщения генерал армии Хрулев высказал несколько замечаний и соображений. Анастас Иванович внимательно выслушал, потом спросил у Я. С. Широкова и Н. В. Бехтина, каково их мнение. Оба они подтвердили, что построить бензопровод можно и что они сделают все необходимое.

Анастас Иванович попросил назвать срок строительства. Бехтин ответил:

— Не менее трех месяцев.

— Это невозможно, — возразил Хрулев. — Вы ведь знаете, что горючего в Ленинграде хватит на пятьдесят—шестьдесят дней. Я полагаю, Анастас Иванович, что максимальный срок, какой мы можем дать строителям, это сорок — пятьдесят дней. За это время надо сделать основную часть работы, я имею в виду трубопроводную связь между восточным и западным берегами озера, с тем чтобы выйти к ближайшей железнодорожной станции и там организовать налив горючего в железнодорожные и автомобильные цистерны. Нарушить срок — означает оставить Ленинградский фронт без горючего.

А. И. Микоян, не желая, видимо, затевать спор, поручил Н. Ф. Вожжову в течение нескольких дней подготовить и согласовать со всеми проект решения Государственного Комитета Оборонь о строительстве бензопровода через Ладожское озеро; в постановлении указать, что строительство бензопровода должно быть закончено за пятьдесят дней.

Н. В. Бехтин попытался было возражать, но Анастас Иванович спросил его, кто от Наркомстроя будет участвовать в подготовке постановления.

— Я сам, — ответил Бехтин.

— Товарищ Широков и Хрулев, прошу вас сегодня же выделить ваших ответственных представителей.

— От нас будет Хромов, — заявил Широков.

— А от военных кто будет? — спросил Вожжов.

— Товарищ Бланк, — ответил Хрулев.

К работе приступили, не ожидая, когда будет издано постановление.

Наркомстрой выделил в качестве специального уполномоченного М. И. Иванова, которому было поручено возглавить все строительство на месте. Сварочно-монтажные работы были возложены на ОСМЧ-104, с тем чтобы на месте руководил работами главный инженер этой организации А. С. Фалькевич.

Главнефтеснаб при Совнаркомe СССР назначил главным инженером проекта Ладожского бензопровода Д. Я. Шинберга, которому было поручено сформировать бригаду и выехать на место, чтобы вести проектирование и выдавать документацию строителям по ходу работ, ведя одновременно изыскания трассы бензопровода в подводной и наземной его частях.

Кроме того, проектировщики и работники ОСГ фронта отвечали еще за подбор в Ленинграде труб, насосов, емкостей и другого оборудования.

Этим закончилась организационная подготовка к строительству бензопровода через Ладожское озеро.

* * *

О том, как шло строительство, рассказывают страницы дневника, который вел инженер Д. Я. Шинберг.

Москва. 12 апреля 1942 года.

Два дня назад узнал, что назначен главным инженером проекта Ладожского бензопровода. Вопрос о его строительстве обсуждался почти месяц. И вот наконец решение.

На Ладожском озере я никогда не бывал, ничего о нем не знал. «Вероятно, болота кругом,— подумал я сперва, выходя из УСГ.— Строительство очень важное и технически интересное, жаль только, что его придется осуществлять в таких условиях». Как ни странно, именно это пришло в голову прежде всего. Что Ленинград осажден, что строить придется во фронтовых условиях — эта мысль пришла лишь позднее, уже вечером, когда я вернулся домой. Но эта мысль — об осажденном Ленинграде и о том, что я могу внести хоть какую-то небольшую долю в защиту его от врага,— так поразила и взволновала, что я долго не мог заснуть.

Наутро, явившись на работу в Нефтепроект, я доложил по начальству и стал готовиться к отъезду.

Самое сложное — это формирование группы изыскателей и проектировщиков. Людей в нашей организации мало, и все наперечет. После долгих переговоров намечены к выезду в Ленинград три инженера: М. Ф. Мирончик, Н. Н. Скоморохов и М. Я. Елисеев, которые должны будут составить ядро будущих бригад изыскателей и проектировщиков. Всех недостающих специалистов подберем в Ленинграде в нашем филиале и путем мобилизации в других ленинградских проектных институтах.

Дата вылета проектировщиков и строителей на специальном самолете пока не установлена, так как еще не подобраны все сварщики и монтажники. Поэтому я решил выехать заранее, чтобы выиграть несколько дней и освоиться на месте с обстановкой до приезда остальных. Вместе со мною поедет изыскатель М. Ф. Мирончик.

Надо собираться в дорогу. Личные сборы, конечно, много времени не займут, а вот подготовка к работе потребует некоторого времени.

13 апреля.

Пошел в Ленинскую библиотеку, чтобы подобрать материалы по Ладожскому озеру. В библиотеке пустынно и холодно. В справочном отделе, обычно таком оживленном, всего лишь несколько человек. Дежурная помогла мне подобрать нужную литературу и отошла. Я посмотрел ей вслед. Это была пожилая женщина, я ее знал, потому что часто посещал библиотеку до войны. Она, видимо, очень мерзла и старалась побольше двигаться, чтобы не ооченеть. Но с посетителями она была предупредительна, как всегда.

Я выписал много книг и журналов, а затем перешел в читальный зал. Просидел в библиотеке до закрытия, пришел на следующее утро и просидел еще полдня. Пришлось просмотреть уйму книг, карт и фотографий, сделать много выписок. Из области географических представлений о Ладожском озере я пере-

шел в область инженерных понятий и оценил взглядом инженера условия строительства на Ладоге.

Я вышел из библиотеки с более ясным пониманием стоящей передо мной задачи. Было уже время идти на площадь Ногина в Главнефтеснаб — получить распоряжение Ленинградскому управлению об оказании помощи строительству. Я решил не спускаться в метро, а отправиться пешком. Пройдя через Александровский сад, я поднялся на Красную площадь, пересек ее.

Несмотря на то, что было около трех часов дня, казалось, будто настали сумерки, — небо покрылось густыми серыми облаками. Я шел медленно, прощаясь с площадью. Все казалось мне символичным: и серое низкое небо, нависшее, как опасность, и Мавзолей, и врезавшаяся в туман верхушка Спасской башни. Сворачивая на улицу Разина, я несколько раз обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее.

16 апреля.

Позавчера мы с М. Ф. Мирончиком выехали из Москвы. Путь в Ленинград теперь очень сложен. На Ярославском вокзале мы сели в поезд, идущий на Вологду, оттуда пересели в поезд, идущий в Череповец, проехали Волховстрой, где попали под кратковременную бомбежку, и добрались до станции Войбокало. В Войбокале начинается только что выстроенная дорога в Кобону, на восточном берегу Ладожского озера.

Нам удалось попасть в теплушку. Завтра утром мы надеемся прибыть в Кобону.

17 апреля.

Еще не рассвело. В железной печурке еще теплился огонек — единственное освещение в теплушке. Но никто не спит.

В полумраке обозначился берег Ладоги. Перед нами расстилалась бесконечная пелена. Где начинается озеро, можно было угадать лишь потому, что берег немного над ним возвышался.

Стало светлее. Теперь уже можно было разглядеть гладь замерзшего озера, по которой гулял ветер и гнал по льду снежную пыль.

Справа по ходу поезда было тоже пустынно, лишь вдаль виднелся лес. Изредка мелькали деревушки, правда, всего лишь из нескольких дворов. Избы были темные и на вид необитаемые. Но кое-где из труб шел дымок — значит, там живут люди.

Как здесь глухо, какая тьма, и так близко от прекрасного, сверкающего Ленинграда!

Мне приходилось до войны часто ездить в Ленинград. Почти каждый год хоть на несколько дней я привык к тому, что Ленинград густо окружен городками, станциями, заводскими поселками; подъезжая к Ленинграду по Московской дороге, не глядя на часы, можно было судить о его близости по непрерывной цепи населенных пунктов.

Я еще раз посмотрел в окно: все тот же унылый пейзаж. И всего каких-нибудь восемьдесят километров от Ленинграда!

Постепенно стали появляться более ощутимые признаки жилья. Сперва разъезд с большим товарным вагоном вместо станционного здания. После этого поезд прошел еще один перегон и остановился. Это была станция Кобона — конечный пункт вновь выстроенной ветки, которая питала Ленинград, зажатый в тиски вражеской блокады.

Пассажиры стали выходить из вагонов. Вышли и мы с М. Ф. Мирончиком. Предъявив документы молодому лейтенанту, прошли через заграждение, состоящее из вагонов, снятых с колес и расставленных у станции, как дома.

Я огляделся. Так вот та, вчера еще никому не известная деревушка, а сегодня важнейшая железнодорожная станция Кобона! Я несколько раз повторил про себя это слово — Кобона, Кобона... Оно казалось странным.

Часов около семи стало совершенно светло. Небо было ясным, морозный воздух чист и прозрачен, и только дали озера на горизонте еще подернуты ночной дымкой.

От станции до берега Ладоги не более пятисот метров. Все пространство между железнодорожными путями и озером, а также по другую сторону путей по направлению к синееющему вдали лесу было завалено, казалось, в беспорядке мешками, ящиками, бочками, контейнерами, углем. В действительности же все было собрано группами, расположенными в определенном порядке и на определенном расстоянии друг от друга. Это был какой-то странный порядок, установленный законами войны и противовоздушной обороны. Гигантская шахматная доска, раскинутая на площади в десятки гектаров, могла ждать в любую минуту нападения с воздуха.

Все эти громадные запасы были подвезены сюда по новой дороге для Ленинграда. Как же все это перебросить туда? Я невольно взглянул на озеро и увидел белую безжизненную пустыню.

Следуя деревянным стрелкам, указывающим дорогу от станции, мы двинулись к роще, подходящей к озеру с северо-востока. За рощей я увидел громадное скопление автомашин.

Как и многие в то время, я слабо представлял себе положение в Ленинграде в памятную зиму 1941/42 года. Я глухо слышал о голоде. Но только встретившись в Череповце с поездом, эвакуировавшим полумертвых ленинградцев, и после того, что я увидел здесь, я начал понимать великое бедствие осажденного Ленинграда.

Думая об осаде Ленинграда, я вспоминал книги, читанные когда-то в детстве об осаде городов: Фенимор Купер — индейцы окружили бревенчатую крепость, за стенами которой обороняются бледнолицые; Гоголь — запорожцы обложили своими обозами крепость, в которой засели поляки, и сотни жителей крепости, умирающие от голода, ждут результатов боя, десяток-другой отбитых возов с хлебом могут их спасти...

Но Ленинград! Громадный современный город с многомиллионным населением, с развитой промышленностью, связанный тысячью нитей со страной! И этот город в осаде. Увидев не только изголодавшихся людей, заполнивших целые поезда, но и эти горы продовольствия и других материалов, разбросанных в больших количествах вокруг станции Кобона, тысячи автомашин, ждущих изо дня в день возможности двинуться к Ленинграду, я понял громадный масштаб помощи, в которой нуждается Ленинград и которую родина старается ему оказать.

Пройдя довольно далеко от станции, мы нашли комендатуру. За столом сидел дежурный офицер. Я предъявил ему свои документы и попросил связаться по телефону с начальником Ладужской переправы генералом А. М. Шиловым. Через несколько минут я уже беседовал по телефону с адъютантом генерала. Он сказал, что сейчас же пришлет за нами машину.

Дорога удалялась от озера, и с обеих сторон ее шли заросли кустарника. Постепенно переходящие в лес. Время от времени машину останавливали выходящие из укрытий бойцы, тщательно проверяли наши документы. Минут через десять мы остановились у последней заставы. Шофер поставил машину под густой елью. Никаких признаков жилья, только издали доносился слабый звук движка.

На узкой тропинке ели скупо пропускали свет. Неожиданно, словно из-под земли, вырос часовой. Проверив документы и выслушав пароль, который сообщил ему на ухо шофер, он указал на ступеньки, ведущие в землянку.

Однако помещение, в которое мы попали, непохоже было на землянку. Оно состояло из двух комнат: приемной, где сидел дежурный офицер, и второй комнаты — по-видимому, кабинета генерала. Дверь туда была полукрота. Кабинет был пуст.

Мы поздоровались. Офицер попросил присесть.

В приемной все время раздавались звонки, и дежурный едва успевал отвечать на них.

Если в каждом деле можно достигнуть совершенства, то землянка, где работал генерал Шилов, была действительно совершенством. Пол и стены ее обшиты плотно пригнанными друг к другу досками. Накат обит листами фанеры. Пол посреди приемной устлан широкой ковровой дорожкой.

Мебель, очевидно вывезенная из Ленинграда, не придавала походного вида помещению, которое щедро освещалось сильными, хотя слегка мигающими электрическими лампочками.

Постепенно приемная начала наполняться офицерами. Прошло несколько минут, за дверью послышались шаги, и в землянку вошел генерал. Все поднялись. Поздоровавшись и быстро оглядев нас, генерал вошел в кабинет и затворил за собою дверь.

Дежурный офицер тотчас же последовал за ним. Через несколько минут я был приглашен в кабинет.

Генерал предложил мне сесть.

— О вашем приезде я извещен, — начал он. — Буду помогать. Вы, вероятно, уже видели, каков масштаб нашей работы, и поняли, насколько важно хотя бы частично облегчить ее. Строительство подводного бензопровода через Ладогу — дело очень трудное, и я хочу надеяться, что вы это знаете. Но если дело вам удастся, это будет крупная победа, крупный прорыв блокады, по значимости равный выигрышу большого сражения. Я хочу также предупредить вас, — продолжал он, — что строителям и проектировщикам будет угрожать и непосредственная опасность. Враг пронюхает о ваших работах. Здесь в воздухе постоянно шныряют разведчики, а стройка бензопровода не иголка. Будут бомбежки, могут быть и диверсии. Помните об этом.

Затем Шилов спросил меня, чем он может быть полезен. Я попросил доставить нас поскорее на ленинградский берег. Он тут же вызвал своего адъютанта и дал все необходимые распоряжения.

Мы попрощались. Через два часа, подкрепившись в офицерской столовой, мы получили документы и направились на машине в авточасть, которая готовилась к отбытию. Бойцы уже сидели в машинах. Мне предоставили место в кабине шофера, моему спутнику такое же в другой машине.

Стояла ясная погода. В воздухе было морозно и тихо. Легкий ветерок едва колебал верхушки деревьев. В ожидании сигнала отбытия я положил свой рюкзак в кабину. Прошло еще минут тридцать. Была подана команда о выезде. Моторы загудели, и машины одна за другой стали выезжать на дорогу. До берега они прошли минут за десять.

Из кабины было видно, как головная часть колонны двигалась уже по льду. Потом я с удивлением заметил, что машины входят прямо в воду, так как лед у береговой полосы был изломан. Такая же участь постигла и нашу машину. Она двигалась по заполненной обломками льда воде, разрезая ее и подымая небольшие буруны, как заправский катер. Машина погрузилась в воду на такую глубину, что начало заливать глушитель, и послышались хлопки. Потом я почувствовал небольшой толчок. Машина выскочила из воды на крепкий лед, и мы на хорошей скорости помчались вперед.

Шофер оказался словоохотливым малым. Мы разговорились. На ледовой дороге он работал с самого ее возникновения.

— Иной раз по двое суток с машины не сходишь, — рассказывал он. — Но побывав в Ленинграде и увидев голодных, забываешь о себе. Наш политрук говорил, что одним рейсом машины можно накормить две тысячи человек. Вот и стараешься. А подремать можно во время погрузки и выгрузки.

Дорога через Ладогу оказалась настоящей военно-автомобильной дорогой. Движение по ней было очень хорошо организовано. По трассе были установлены надписи, возле указателей стояли морские лампы-мигалки, указывающие машинам направление пути в ночное время.

Я посмотрел вперед. Трасса делала небольшой изгиб. Этот изгиб позволял увидеть всю колонну. Она неслась с большой скоростью. Машины двигались одна

за другой с равными интервалами, и казалось — они связаны какой-то невидимой цепью. Невольно я залюбовался стройностью движения колонны.

Снег был сметен ветром, и машины летели по гладкому льду. Он был чист и отливал яркой синевой, словно сапфир. Под ним угадывались большие глубины прозрачной чистой воды.

Занятый разговором с шофером, глядя на дорогу и на встречные машины, я даже позабыл, где мы едем. Но теперь вдруг до меня дошла необычайность происходящего: мы движемся по Ладожскому озеру! И я не мог отвести глаз ото льда.

За изгибом дороги находилась станция обслуживания. Грейдеры, снегоочистители, гусеничные тракторы стояли у дороги.

Далеко впереди что-то зачернело. Машины быстро приближались к этому месту, и вскоре уже можно было разглядеть на льду большую группу людей. Передние машины остановились, за ними и вся остальная колонна.

— Что-то случилось впереди, — сказал шофер, — как бы опять этот проклятый девятый километр не подвел. В этом месте постоянно появляются разводья.

Я вышел из кабины и осмотрелся. На востоке и на севере ровная белизна доходила до горизонта, а на западе и на юге были видны берега. На сердце стало как-то смутно. Ожидание продолжалось долго. Бойцы, сидящие в машинах, замерзли в пути и теперь возились, пытаясь согреться. Другие закуривали.

Вдалеке раздалась какая-то команда. Бойцы передних машин стали выскакивать из кузовов. Быстрым шагом приближался офицер, подавая на ходу команду сойти с машин. Проходя мимо меня, он сказал:

— Машины дальше не пойдут, впереди на льду трещина, и лед продолжает расколоться. Там наведен легкий мосток. Сейчас будет подана команда идти пешком к берегу, а машины возвратятся обратно в Кобону. Держитесь в пути вместе с бойцами.

Я взял рюкзак, попрощался с шофером, и мы двинулись вперед вслед за бойцами. Дошли до трещины. Трещина пересекала дорогу длинной узкой полосой. По наведенным мосткам люди быстро переходили на другую сторону и шли дальше группами без строя.

Я шагал рядом с пожилым бойцом и Михаилом Федоровичем Мирончиком. Колонна повернула обратно, и когда через несколько минут я оглянулся, машины отъехали уже далеко и их едва можно было различить. Люди остались одни на льду, среди озера.

Шли молча уже около часа.

— Ну, теперь скоро доберемся, берег близко, — сказал боец.

Когда мы были уже близко от берега, издали послышался слабый свист. Свист быстро нарастал, и два высоких фонтана воды и льда взметнулись далеко справа. Прошло две-три минуты, и снова возникли фонтаны, но уже слева. Немцы начали из Шлиссельбурга артиллерийский обстрел.

Но тут наша артиллерия, очевидно, нащупав огневые позиции противника, начала с обоих берегов посылать снаряды к Шлиссельбургу. Вражеский обстрел прекратился.

Наполовину бегом, чтобы согреться, наполовину шагом мы довольно скоро добрались до берега.

Первый трудный этап был пройден.

Дрожа от холода и возбуждения, я бросился к землянке на берегу, а сердце крепко билось от волнения: я ступал по ленинградской осажденной земле.

Ленинград. 19 апреля.

В землянке, куда я вбежал, был размещен пункт приема людей, прибывающих по ледовой дороге из Кобоны. Это было большое, хорошо натопленное помещение.

Я разделся, устроился на скамье возле печки, но долго еще не мог справиться с дрожью. Постепенно все тело насытилось теплом, и я незаметно для себя за-

дремал. Не знаю, сколько это продолжалось. Очнувшись, я вышел на воздух, ободренный теплотой и легким сном.

За лесом садилось солнце. Где-то там, километрах в пятидесяти отсюда, находится Ленинград.

Я разыскал управление участка военно-автомобильной дороги и вручил дежурному офицеру распоряжение генерала Шилова о немедленном предоставлении нам машины. Через час мы были уже в пути.

Дорога, по которой до войны почти не было движения, приобрела вдруг громадное значение. Машины шли в обоих направлениях непрерывной вереницей, в некоторых местах застревая. Тут же появлялись регулировщики и заставляли помогать пострадавшим.

Ехали всю ночь. Несколько раз приходилось останавливаться из-за пробок. В одном месте простояли свыше полутора часов, так как во время очередного налета бомбой был разрушен небольшой мост и его спешно восстанавливали...

Я проснулся оттого, что преобольно ударился головой о крышу кабины. Машина двигалась по изрытой дороге.

— Ну и ну! — сказал шофер. — Мы здесь по таким ухабам прыгаем, едва руль выворачиваю, а вы спите и хоть бы что. Наверно, здорово устали?

Тем временем, проехав еще около десятка километров, машина миновала дорогу на аэродром, затем прошла через мост и покатила по улицам Ленинграда. Улицы были темны и совершенно пустынные. Едва начинало светать.

В полутьме, с выключенными фарами мы ехали по улицам и остановились у подъезда старинного здания на улице Толмачева.

— Мне приказано доставить вас сюда, — сказал шофер.

Мы вышли из машины. За дверью в вестибюле стоял часовой. Оказалось, что полковник Синицын ушел поздно ночью и будет только к девяти часам утра. Я отдал дежурному свой рюкзак и решил оставшиеся два часа походить по Ленинграду. М. Ф. Мирончик остался отдохнуть.

Я пошел к Невскому проспекту. До него было два квартала. По дороге не встретился ни один прохожий.

Я дошел до угла. Передо мной лежал Невский, занесенный снегом. Серые дома, не освещенные ни одним огоньком, уходили вдаль, в морозную тьму. Широкая мостовая была покрыта толстым слоем снега, и только по краям, у тротуаров, машины примяли этот снег своими колесами. Трамвайные пути были погребены глубоко под снегом. Было безлюдно, и только на дальнем перекрестке стояли два бойца, вооруженные автоматами.

Повернув налево, я медленно зашагал по направлению к Московскому вокзалу. Витрины магазинов были большей частью забиты досками или закрыты доверху мешками с песком. Изредка стали встречаться прохожие. Они были закутаны так, что лица их было трудно разглядеть.

Аничков мост через Фонтанку, так хорошо знакомый, выглядел как-то странно. Чего-то недоставало в нем. Я долго стоял в раздумье и наконец понял: не было четырех бронзовых коней, стоявших на его углах, и мост почти слился с проспектом.

В прилегающих улицах, прижимаясь к тротуарам, стояли громадные вереницы троллейбусов. Крыши их, окна, ступеньки были занесены снегом. Когда-то их движение сливалось с жизнью большого города, а теперь они стояли ненужные, мертвые.

Рассветло совсем. Проехало несколько военных машин, прохожих стало больше. Лица у всех изможденные, сосредоточенные. Молчаливые, серьезные дети, мужчины, женщины в ватниках, полушубках, обвязанные иногда сверху платками, одеялами.

Встречались дома, разрушенные бомбежками и пожарами, похожие на скелеты. Они насквозь просматривались через оконные и дверные проемы. Где-нибудь на четвертом или пятом этаже виднелась иногда висящая на гвозде картина или книжная полка. Стены были покрыты черной копотью. Внутри дома, перемежаясь

с обрушенными междуэтажными перекрытиями, лежали напластования льда, образовавшиеся при тушении пожаров во время мороза.

Подходя к вокзалу, я повстречал группу бойцов, идущих в строю по краю тротуара в полном вооружении.

Главный вход в здание вокзала был заколочен. Войти можно было только со стороны Лиговки. В здании стояла стужа. Вокзал был пуст. Лишь в одном из залов расположились несколько бойцов.

Московский вокзал бездействовал: дорога из Ленинграда в Москву была перерезана врагом, по ней можно было проехать не более двадцати километров, до станции Колпино, откуда было не более двух километров до переднего края. Десятки станционных путей сейчас бездействовали.

Выйдя из здания вокзала, я зашагал обратно по Невскому. Навстречу по краю мостовой шел человек. Я видел, с каким трудом он передвигается. Он тянул санки, наклонившись вперед. Груз был, по-видимому, слишком тяжел для него. Мне показалось, что он везет дрова. Захотелось ему помочь. Я подошел к краю тротуара — на санях лежало завернутое в простыню человеческое тело. Оно казалось телом подростка и было, должно быть, легким, но человек тащил санки из последних сил.

То, чего я не мог представить себе ни в Москве, ни в пути, несмотря на все, что слышал или читал о жизни Ленинграда в осаде, встало передо мной в последние два часа. Во мне словно бы все перевернулось, сделало меня совсем другим.

Я вернулся на улицу Толмачева. Полковник В. Я. Синицын тотчас же принял меня.

Это был крупный громогласный мужчина. Энергия, казалось, била в нем через край. Узнав, что я еще не устроился, он позвонил дежурному и отдал распоряжения, затем вызвал своего помощника майора Зотова, приказал достать большую карту Ладоги, разложил ее на столе и попросил меня подробно информировать о плане строительства.

Не знаю, имел ли он инженерное образование, но очевидно было, что он обладает здравым умом: вопросы, которые он задавал, были, как говорится, все «по существу». Когда мы все с ним обсудили, он снял трубку и попросил к телефону заместителя командующего Ленинградским фронтом генерала Лагунова.

— Товарищ генерал, — доложил полковник В. Я. Синицын. — Сегодня утром из Москвы прибыл инженер Шинберг по известному вам вопросу строительства. Когда разрешите прибыть для доклада?

Выслушав ответ, полковник положил трубку, полминуты помолчал, а потом сказал:

— Нам назначено явиться в Смольный в двадцать один ноль-ноль. Майор, отведите комнату для подготовки к докладу и считайте себя в полном распоряжении товарища Шинберга. А вас, — он повернулся ко мне, — я жду в двадцать ноль-ноль со всеми материалами.

Пройдя по коридору, майор открыл одну из дверей и пригласил меня войти.

— Располагайтесь здесь. Эта комната рядом с моей, — сказал он. — Все, что вам потребуется для работы, я сейчас же доставлю.

Я сел за письменный стол у окна, вытащил свои записи и разложил их. Тем временем майор возвратился в сопровождении двух чертежников. Я решил подготовить карту и продольный профиль бензопровода. Чертежники вместе с М. Ф. Мирончиком принялись за работу.

Прошло несколько часов. За это время дважды объявляли воздушную тревогу и начинали грохотать зенитки. Чертежники склеили планшеты, нанесли трассу бензопровода и ушли. Майор прислал машинистку, и я давал ей печатать материалы для доклада.

От этого занятия оторвал меня майор. Он пригласил нас пообедать. Обед был более чем скромен — пшенная каша из концентрата и кружка чая.

В 20.00 мы с полковником Синицыным поехали в Смольный. В темноте я

плохо узнавал ленинградские улицы. Но Смольный гордо высился и в темноте. Мы подошли к ограде. Пока полковник предъявлял свой пропуск, я рассматривал здание. То, что, когда мы подъезжали, казалось мне какой-то странной наклонной стеной, было громадной густой маскировочной сетью, совсем скрывавшей фасад.

Мы вошли в вестибюль. В конце коридора была приемная заместителя командующего. Полковник поздоровался с дежурным и другими офицерами — все его тут знали.

Ровно в 9 часов нас вызвали. Генерал Ф. Н. Лагунов сидел за большим столом и писал. Громадный кабинет освещала только лампа с абажуром на письменном столе. Генерал пригласил сесть. Это был высокий пожилой человек с совершенно седой головой и суровым лицом.

Кабинет был обставлен тяжелой старинной мебелью. Большой стол для совещаний тянулся через всю комнату. На противоположной стороне было развешано несколько карт, прикрытых белыми шелковыми занавесками.

Генерал нажал кнопку, вошел дежурный. Ему приказано было просить в кабинет приглашенных на совещание. В кабинет вошли только что приехавшие представитель Государственного Комитета Оборона полковник М. С. Смиртюков, уполномоченный Госплана по Ленинграду Л. М. Володарский и другие. Когда все расселись, заместитель командующего предоставил слово для доклада мне.

Я сразу же предупредил, что цифры, которые я сообщаю, пока предварительные и будут уточнены в зависимости от утверждения основных положений проекта, а также от данных изысканий, которые будут проводиться одновременно двумя группами. Речь идет о строительстве бензопровода, который должен соединить восточный и западный берега Ладожского озера. Трубопровод будет уложен по дну озера. Его пропускная способность намечается в пятьсот—шестьсот тонн бензина в сутки. Для головных устройств будет найдена площадка на восточном берегу озера; пройдя по дну озера, трубопровод должен выйти на западный берег и подойти к ближайшей станции, расположенной на железной дороге, соединяющей Ладожское озеро с Ленинградом. По пути, вероятно, придется сделать резервный раздаточный пункт.

Для осуществления строительства необходимо примерно тридцать пять километров труб диаметром сто — сто пятьдесят миллиметров, тысяча — тысяча пятьсот кубических метров емкостей для хранения горючего, насосы для перекачки бензина по трубопроводу, задвижки и ряд других материалов, которые мы в пятидневный срок полностью уточним. Все остальное оборудование и материалы для восточного берега будут поставлены УСГ КА с его центральных баз. Главная задача для Ленинграда — это найти трубы, остальное значительно менее сложно: думаю, все, что нам потребуется, мы сможем получить на нефтебазах Главнефтеснаба, либо из наличия, либо путем демонтажа установленного оборудования. Указания на этот счет даны начальником Главнефтеснаба при Совнаркомом СССР Я. С. Широковым начальнику Ленинградского управления А. И. Шпаку.

Необходимо все материалы, и в первую очередь трубы, доставить к месту работ до 30 апреля и уж никак не позднее 5 мая. Трубы придется сварить в секции, изолировать, подготовить для дальнейшей сварки в плети, с тем чтобы, как только сойдет лед и установится погода, приступить к их укладке на дно озера.

Всю техническую документацию намечено разрабатывать здесь же и выдавать по ходу строительства.

— По данным Наркомстроя СССР, — продолжал я, — квалифицированной рабочей силой обеспечит Наркомстрой, подсобная же рабочая сила должна быть выделена фронтом: от него потребуется человек пятьсот. Далее, по предварительным данным, необходимо двадцать пять автомашин, шесть тракторов, два небольших катера. Надо организовать размещение людей вблизи озера, их питание. Но самое главное, — подчеркнул я, — это трубы.

Посыпались вопросы самые различные, и ответы на них заняли еще много времени. Наконец заместитель командующего встал, постукал карандашом по столу и предложил желающим высказать свои соображения.

Первым взял слово Л. М. Володарский. Он предложил, чтобы завтра я вместе с полковником Сеницыным был у него: трубы, он уверен, будут найдены. И с остальным оборудованием дело обстоит не так уж сложно, все можно будет получить на нефтебазах.

Выступивший после него полковник Сеницын настаивал, чтобы трубопровод был проложен до Ленинграда.

Генерал Лагунов, заканчивая совещание, сказал только:

— Военный Совет Ленинградского фронта примет все меры для успешной прокладки бензопровода через Ладожское озеро в течение пятидесяти дней, как это было решено Государственным Комитетом Обороны.

Потом, обращаясь ко мне и к Сеницыну, он предложил составить справку для доклада командиру и Военному Совету фронта.

Почти всю ночь мы готовили справку и только под утро вышли с полковником Сеницыным из Смольного. Машина ждала нас у ворот.

Добравшись до общежития, я быстро разделся, думал поспать хоть часа два-три, но мне так и не удалось заснуть: мысли о бензопроводе не оставляли меня ни на минуту — ведь водную преграду такой протяженности никогда не приходилось пересекать ни в нашей, ни в зарубежной практике. Мне были известны переходы трубопроводов через Куру, Дон, Терек, Волгу и один из морских проливов, но все это ни в какое сравнение с Ладогой не шло.

Еще думал я о том, что срок проектирования и строительства небывало короткий и нелегкая работа досталась нам и монтажникам. Но задача, стоящая перед нами, была такого свойства, что все надо было преодолеть.

Лишь незадолго перед тем, как надо было подыматься, я наконец уснул.

20 апреля.

Утром мы с Сеницыным поехали к Л. М. Володарскому. Ехали мы на грузовике, сидели в кузове, поэтому видели, как значительны разрушения в городе. Казалось, нет ни одного хоть как-то не пострадавшего дома. А жизнь в них все-таки шла.

Один раз нам пришлось остановиться — начался очередной артиллерийский обстрел. Поставив машину, зашли с шофером в ворота. Там уже стояло несколько человек. Стрельба, вначале довольно частая, затем стала затихать. И вдруг взрыв потряс землю.

Выскочив на улицу, мы увидели, как на следующем углу отвалился угол четырехэтажного дома. Облако пыли рассеялось, показалась внутренняя стена квартиры.

Артиллерия умолкла. Мы сели в машину и поехали дальше.

Лев Маркович Володарский встретил нас радостным сообщением. Он уже успел обзвонить ряд предприятий и выяснил, что на одном из заводов под Ленинградом есть значительное количество труб диаметром сто миллиметров. Они изготовлены для другой цели, но если подойдут для бензопровода — их можно будет взять. Он предложил тотчас же проехать в Колпино на Ижорский завод и осмотреть эти трубы.

Решили, что в Колпино надо ехать мне.

Получив от Л. М. Володарского необходимые документы на имя директора завода, я завез полковника Сеницына в Управление тыла фронта и отправился в Колпино.

Выехали мы из Ленинграда через Московскую заставу. Машина быстро миновала окраины города и помчалась по шоссе. Все время доносился отдаленный гул канонады.

Хотя апрель был уже на исходе, падал густой мокрый снег. Шоссе было скользким, и машину на поворотах заносило. В некоторых местах шоссе было разворочено бомбежкой, и приходилось съезжать с насыпи, пробираться в объезд по жидкой каше из грязи и снега. Колеса буксовали, мотор надрывался. Затем маши-

на опять взбиралась на шоссе и неслась дальше. Участок дороги, по которой теперь мы ехали, видимо, подвергся усиленной бомбежке — поминутно приходилось съезжать с шоссе.

Водитель рассказал нам, что приказом командира части он временно передан в распоряжение строительства.

— А что мы будем делать в Колпино?— спросил он.

Я объяснил, что мы должны отобрать трубы для стройки, чтобы потом их погрузили на железнодорожные платформы и отправили на строительство.

— Ну, уж не знаю, как вы это сделаете,— заметил он.— На заводе опасно, он от переднего края в двух километрах, и по нему часто бьет артиллерия.

Мы подъезжали к Колпино. Здания в поселке были превращены в развалины или же полуразрушены. Издали завод с многочисленными цехами, складами, конторскими помещениями казался невредимым.

Орудийные выстрелы по мере приближения к Колпино становились громче и теперь стали оглушительно грозными. Мы проехали вдоль длинной заводской кирпичной стены и остановились у главных ворот. Они были закрыты.

Слева от ворот находилась главная проходная. Мы вошли туда и оказались в большом помещении, где были контрольные часы и висели доски с огромным количеством табельных номерков. По распоряжению директора завода часовой впустил нас с шофером. Поставив машину у стены на заводской территории, мы двинулись по двору к четырехэтажному зданию управления. Долго пришлось нам бродить по коридорам, пока наконец мы нашли приемную директора: в здании никого не было.

В двух огромных окнах приемной уцелело только по одному стеклу, все остальное было заколочено фанерой. Возле окна стояла железная печка, труба была выведена в окно. В печке теплился слабый огонек, в комнате стояла стужа.

Возле печки сидел, потирая застывшие руки, старик в полушубке и шапке, по всей видимости сторож. На мой вопрос, где директор, он указал молча на одну из дверей.

Директор сидел за столом в пальто и теплой шапке. У него были красные глаза, по лицу было видно, как он устал и изможден.

— Труб на заводе много,— сказал он, прочтя письмо,— посмотрите, какие вам подойдут, и берите. Только по части отгрузки ничем помочь не смогу, имейте это в виду. Людей на заводе совсем нет.

— Ну, это ничего. Вы только дайте указание начальнику сбыта, чтобы он показал, где трубы, и оформил их выдачу, когда я их отберу,— попросил я.

Директор горько улыбнулся:

— Вы не представляете себе положения. Вы думаете, завод живет, как положено заводу. Поймите, здесь фронт. Несколько дней назад мы не были уверены, останется ли Колпино в наших руках. Рабочие, инженеры, их семьи частью ушли в армию, частью эвакуированы. В заводоуправлении остались только я, главный инженер и сторож, а на всем заводе лишь несколько стариков сторожей, которым некуда податься. Хорошо еще, что военные помогли, поставили внешнюю охрану. Мне вам некого и в проводники дать, чтобы показать, где трубы, а сами вы разве найдете?

Однако вошедший в это время главный инженер, узнав, в чем дело, набросал план, по которому можно найти трубный цех и штабеля труб вокруг него.

— Там рядом с цехом живет в домике кладовщик. Обязательно найдите его и передайте ему вот эту записку. Да вот еще что. Имейте в виду, что грузить трубы можно только ночью. Днем немцы не дадут. Увидят, что идет подача вагонов, сейчас же начнут обстрел.

Сообразуясь с планом, мы двинулись по главной заводской магистрали. По обе ее стороны размещались цехи, построенные, должно быть, в конце прошлого столетия или в самом начале этого. Но были и совсем новые, построенные незадолго до войны. Нигде никаких признаков жизни. Когда орудийная канонада временами стихала, слышно становилось, какая здесь могильная тишина.

Наконец мы дошли до площадки у цеха, возле которого на большом пространстве лежали в десятках штабелей трубы.

Подойдя к ближайшему штабелю, я вытащил из кармана рулетку и штангенциркуль и стал производить обмеры труб. Да, это были именно те трубы, о которых говорил директор. Внимательно осмотрев их, я определил, что они предназначались для насосной эксплуатации нефтяных скважин. Трубы лежали, аккуратно сложенные в штабеля крест-накрест, высотой в десять рядов. Каждая труба была окрашена в темно-серый цвет. На края были вынесены цветные полоски, определяющие сорт стали. Концы труб были аккуратно обложены тонкими дощечками, затянутыми кольцами из проволоки для защиты нарезки от повреждений. Самый строгий контрольный мастер не мог бы придаться к качеству труб.

Обойдя все штабеля, я наметил мелом на углах, какие именно следует подготовить к отгрузке. Потом вспомнил о кладовщике.

Его небольшой домик стоял в нескольких десятках шагов от нас. Мы подошли, постучались. На порог вышел высокий сгорбленный старик и спросил, чего нам надобно.

Я протянул ему записку директора, а шофер попытался пошутить:

— Смотрите, отец, весь ваш склад унесем, потом ведь вам отвечать придется.

Старик не ответил. Он часто сморкался в большой клетчатый платок, глаза его слезились.

— Пойдемте с нами,— сказал я,— посмотрите, какие трубы мы отобрали. Погрузка начнется завтра с ночи, люди будут меняться. Проследите за тем, чтобы отгружали именно то, что мы выбрали.

Старик продолжал все в той же позе стоять на крыльце. Казалось, он меня не слышал. Полагая, что он глуховат, я повторил сказанное погромче.

Но он все молчал. Потом тихо сказал, что не может сейчас идти с нами, у него большое несчастье: рано утром во время обстрела у колодца возле четвертого цеха разрывом снаряда старшую его дочь убило на месте, а младшей оторвало обе ноги по колено, вряд ли выживет...

Он заплакал навзрыд. Мы ввели старика под руки обратно в дом и уложили в постель.

Не успели мы выйти из домика, как начался артиллерийский обстрел завода. Снаряды ложились сначала в отдалении, затем разрывы стали приближаться.

Один из снарядов попал в дальний штабель труб. После разрыва долго звучал постепенно затихающий протяжный звон металла. Штабель разметало.

В этот момент мы заметили старика кладовщика, бегущего к нам изо всех сил.

— За мной! — крикнул он и быстро повел нас за домик.

Там он показал погреб, где можно было укрыться хотя бы от осколков. Мы стали звать его с собой, но он только махнул рукой и пошел к себе. Минут через двадцать обстрел прекратился, мы выбрались из укрытия. Два штабеля оказались раскиданными взрывами. Трубы, смятые, завитые чуть ли не в спираль, со сквозными отверстиями от осколков, валялись повсюду. За последним штабелем, раскинув руки, в луже крови лежал кладовщик.

Я был потрясен. Но, может быть, жить ему было бы хуже, чем умереть.

Директора завода в конторе не оказалось. Я оставил записку о гибели кладовщика и о том, что трубы завтра же начнем вывозить.

Мы вернулись в Ленинград разбитые, подавленные всем увиденным. В ОСГ фронта я рассказал о результатах поездки полковнику Синицыну, а затем мы позвонили Л. М. Володарскому и попросили срочно оформить нам передачу труб. Условились, что в 16.00 встретимся у начальника Ленинградского управления Главнефтеснаба А. И. Шпака.

Александр Илларионович Шпак уже знал, что идет подготовка к строительству бензопровода через Ладожское озеро. Я вручил ему указание Я. С. Широкова, и мы начали практически обсуждать, как лучше проложить трассу и где раздобыть все остальное оборудование, кроме труб.

А. И. Шпак считал, что бензопровод необходимо прокладывать до одной из нефтебаз Ленинграда; его главный инженер И. Воротников полностью поддержал его. Их точка зрения совпала с мнением полковника Синицына; по-видимому, этот вопрос они обсуждали раньше.

Мы согласились в том, что все строительство следует разделить на две очереди. В первую очередь должно войти строительство бензопровода от восточного до западного берега озера с выводом его из озера до железнодорожной станции Борисова Грива, причем желательно на пути сделать отвод для налива горючего в автоцистерны на станции Ваганово, на станции же Борисова Грива оборудовать емкости для горючего, поступающего по бензопроводу, и устройства для налива в железнодорожные цистерны.

Для второй очереди строительства бензопровода мы предусматривали продление его до Ленинграда с подключением к одной из существующих нефтебаз.

Что касается восточного берега, то все согласились со мной, что головную насосную станцию, и, следовательно, начало трубопровода, целесообразно расположить на конце мыса Кареджа, далеко выступающего в озеро; это позволит сократить подводную часть трассы на семь — девять километров.

А. И. Шпак и И. Воротников заверили нас, что все необходимое оборудование, в том числе насосы, емкости, задвижки и прочее, будет доставлено нам по первому нашему требованию.

Они понравились мне: опытные, толковые, дельные люди. Убежден, что с ними хорошо будет работать.

Для связи с проектировщиками и строителями от Главнефтеснаба был выделен И. Воротников, который должен был постоянно находиться на трассе. В этот день нам предстояла еще встреча с начальником экспедиции подводных работ Краснознаменного Балтийского флота. В ЭПРОНе нас внимательно выслушали и прикомандировали для участия в нашей работе военного инженера И. Я. Карпова. Решено было немедленно послать на озеро гидрографическую партию, чтобы, пока еще держится лед, составить продольный профиль дна озера по оси трассы.

Обращаясь к нам, начальник ЭПРОНа капитан 1-го ранга М. Н. Чарвицкий сказал:

— Мы сделаем все, что требуется для строительства, тем более что донную часть бензопровода будет укладывать ЭПРОН. Поэтому, не откладывая, вместе с проектировщиками и строителями надо установить порядок работ и подсчитать, какие нужны технические средства — водолазные станции, катера, сколько потребуется водолазов. Все это надо закончить тридцатого апреля. Что касается начала работ, то думаю, что надо установить срок пятое — десятое мая, с тем чтобы закончить к двенадцатому—пятнадцатому июня. Конечно, вскрытие озера, освобождение его ото льда могут внести коррективы, но на конечный срок это повлиять не может. Я лично, — закончил он, — буду тщательно следить за выполнением этого задания.

Возвратясь в ОСГ фронта, мы решили завтра же выехать с майором Зотовым на западный берег. Свой штаб мы разместим в районе деревни Кокорево.

Весь вечер я потратил на более приближенный к реальности подсчет всего необходимого. Список получился длинный, и я передал его полковнику Синицыну, который должен был организовать и проконтролировать доставку материала и всего прочего на место.

Но как доставить трубы с Ижорского завода на берег озера? Вот это было главной задачей. Мы условились, что завтра выедут туда человек двадцать солдат и инженеры, а еще сто солдат приедут 25 апреля. Остальные будут прибывать по нашему требованию.

Мы договорились также, что, после того как проектно-изыскательские работы на западном берегу будут налажены, я вылечу на восточный берег, чтобы детально осмотреть мыс Кареджа и организовать работу и там, а затем 28—29 апреля возвращусь в Ленинград и привезу окончательный вариант строительства бензопровода для утверждения.

Генералу Лагунову я доложил по телефону о проделанной работе и о ближайших перспективах. Он одобрил все и просил еще раз продумать, как ускорить соединение берегов: фронт не может ждать.

Записал я все это уже поздней ночью, хотя просто валился от усталости. До отъезда на мыс Кареджа осталось несколько часов. Надо отдохнуть.

Деревня Кокорево, мыс Кареджа. 21—22 апреля.

Двадцать первого апреля в Кокорево прибыла гидрографическая партия, которой было поручено исследование подводной части трассы.

У берега весь инструмент и другое имущество перегрузили с машины на легкие салазки. Партия состояла из начальника-гидрографа, двух его помощников, нескольких матросов и представителя ЭПРОНа военного инженера Карпова.

У того места шоссе, где высадилась партия, на берегу был широкий песчаный пляж, к которому примыкал лес. Это место было выбрано проектировщиками как начальный пункт строительства. На широкой площадке пляжа можно развернуть подготовительные работы, а в лесу построить склады и другие сооружения, необходимые для строительства и для укрытия строителей на случай бомбежки.

Ориентировав свой планшет по местности и подозвав одного из матросов, начальник партии приказал ему поставить вежу для обозначения начальной точки трассы.

После этого вся партия двинулась вперед по льду. Впереди шел начальник партии, держа в руках планшет и часто сверяясь с компасом. За ним следовали гуськом остальные. Через каждые сто метров матросы ломami пробивали во льду лунки, через которые промеряли глубины, опускали прибор и брали пробы грунта со дна. Последними шли матросы с салазками.

Люди быстро удалялись от берега в глубь озера, идя по оси будущей трассы. Она проходила немного южнее знаменитой «дороги жизни», но машин не было видно. Значительное потепление в последние дни заметно уменьшило толщину льда, и движение груженых машин по нему стало невозможно. Ледовая дорога кончала свое существование.

Временами люди шли по сплошным лужам. Двигаться приходилось очень осторожно и медленно. Пробивая лунки, люди обливались ледяной водой. Но дальше снова появлялись сухие участки льда, и тогда продвижение ускорялось.

У берега толщина льда была невелика, но затем она стала быстро увеличиваться и дошла до пятидесяти сантиметров.

Инженер Карпов, записывающий все время глубину дна и толщину льда, сказал начальнику партии, что его очень беспокоит это увеличение толщины ледяного покрова. Возможно, мы ошиблись, считая, что лед вскроется в ближайшие несколько дней; не навел ли нас на поспешный вывод тонкий слой берегового льда? Карпов показал свой график, сделанный от руки в блокноте: по мере удаления от берега толщина ледяного покрова почти непрерывно увеличивалась. А ведь проектная группа строительства, исходя из нашего прогноза о вскрытии льда, строит свой календарный план...

Отвлеченный Карповым от работы начальник партии — он был занят трасировкой — недовольно буркнул:

— Можете не беспокоиться, уважаемый! Смотрите, как бы ваше озеро не вскрылось еще раньше. — Потом добавил более спокойно: — Видите ли, товарищ Карпов, у Ладожского озера, самого большого в Европе, есть много особенностей. Вы еще с ними встретитесь.

Он объяснил, что, протянувшееся с севера на юг более чем на двести километров, Ладожское озеро очень неровно по температурному режиму. В нем вдоль берегов происходит круговое движение воды. Начинаясь у устьев рек Волхов и Свирь в восточной части озера, струя течения в соответствии с конфигурацией

берегов озера огибает его по направлению против часовой стрелки и, двигаясь далее к югу, устремляется к истоку Невы у Шлиссельбурга и в основном питает ее. Увеличение толщины льда, которое мы наблюдаем, объясняется тем, что мы сейчас проходим над главной ветвью течения. Холодные воды озера, устремившиеся сюда с севера, поддерживают большую толщину льда.

— К сожалению, я предвижу, что ледовая обстановка станет много хуже, — сказал гидрограф, — и опасаясь, что уменьшение толщины льда пойдет так быстро, что может помешать нашей работе даже сегодня.

И действительно, когда они прошли шесть-семь километров в глубь озера, толщина льда стала резко уменьшаться. Пробивать во льду лунки стало легче и быстрее, но это никого не радовало.

День был пасмурный. Временами шел мокрый снег. С юга вдруг задул теплый ветер. Сначала он был слабым, потом становился все сильнее и сильнее. На глади озера ветер не встречал никаких препятствий, и его внезапные порывы буквально сбивали с ног.

Решили ускорить работы. К трем часам партия прошла четырнадцать километров. Издали стал виден низменный берег Кареджской косы, а слева маяк.

Глубина озера, уже достигшая тридцати пяти метров, вдруг стала быстро уменьшаться, хотя до берега было еще довольно далеко: значит, впереди мели. Люди продолжали идти своим курсом. Матросы напряженно работали на сильном ветру. Остальные вели замеры. Все спешили быстрее добраться до берега. В некоторых местах приходилось обходить слишком тонкий лед, и замеры дна делались реже. Гидрографы ожидали, что при подходе к восточному берегу толщина льда сильно уменьшится, но то, что оказалось в действительности, превзошло все ожидания. Возникла реальная опасность не добраться до берега. А впереди еще оставалось не менее четырех километров.

Ветер стал шквальным и вскоре перешел в ураган. Пришлось искать укрытия на ближайшем песчаном островке, где стоял маяк. До него оставалось не более полукилометра.

Наконец подошли к приземистому маяку. Островок от мыса Кареджа отделялся довольно широким проливом.

Смотритель маяка открыл дверь и приютил измученных людей.

Все это рассказали мне начальник гидрографической партии и инженер Карпов, когда мы встретились на мысе Кареджа.

День мы затратили на осмотр западного берега, наметили площадку для монтажных работ и направление сухопутной части трассы до станции Борисова Грива. На этой станции мы выбрали площадку под емкости, наливную эстакаду, насосную станцию.

К вечеру в Кокорево прибыл из Москвы уполномоченный Наркомстроя М. И. Иванов. Он будет координировать все работы на строительстве. Говорят, он очень опытный инженер-строитель и умеет организовать работу.

Вместе с ним приехал и главный инженер ОСМЧ-104 А. С. Фалькевич, который будет непосредственно руководить сварочно-монтажными работами. Александр Семенович отлично знает сварочное дело, он и сам высококвалифицированный сварщик. С ним приехала бригада сварщиков во главе с Григорием Ивановичем Ломоносовым, опытным мастером.

На правах старожилы я встретил их на западном берегу. К ночи на выбранную нами площадку стали прибывать сварочные агрегаты, сварочно-монтажный инструмент, электроды, баллоны с кислородом и ряд других необходимых материалов.

Уже видно было, что лед на озере вот-вот тронется. Местами он начинает вспучиваться, уже образовалось много трещин. Я стал беспокоиться о судьбе гидрографической партии, которая заканчивала трассировку на озере по льду.

Вечером все собрались у М. И. Иванова, чтобы обменяться мнениями и определить ближайшие задачи. Потом вместе со своими товарищами-проектиров-

щиками, число которых возросло до двенадцати человек за счет ленинградского пополнения, мы наметили основные решения, которые в течение последующих нескольких дней будут воплощены в проектной документации.

С моим предложением устроить головную станцию на северо-западной оконечности мыса Кареджа, выступающего далеко в озеро, все согласились; правда, при этом за счет сокращения подводной части трубопровода удлиняется подъездная железнодорожная ветка, но строить ее менее сложно, а разместить насосную станцию и емкости будет проще, так как по данным, которыми мы располагаем, в этом году уровень озера будет низким (хотя и не следует забывать, что нрав Ладоги коварен).

Мы окончательно уточнили состав сооружений наливной станции в Борисовой Гриве, где следует обеспечить одновременный налив десяти — двенадцати железнодорожных цистерн. Выбор площадки в Борисовой Гриве, расположенной в роще недалеко от станции, был всеми признан хорошим, а работник строительства В. А. Бунчук предложил удачный вариант расположения емкостей.

Я сообщил своим товарищам, что вскрытие озера ожидается в ближайшие сутки, а может быть, и раньше, и мы стали делать расчеты и прикидки графика дальнейших работ, исходя из того, что полностью озеро очистится примерно к 5 мая. К этому времени у нас уже должно быть готово достаточно рабочих чертежей для строителей.

Было уже поздно, все отправились спать, а мне вместе с инженером Н. Н. Скомороховым через два часа надо лететь на восточный берег...

В два часа ночи под окном раздался сигнал автомобильного рожка.

Через час мы уже подкатывали к полевому аэродрому в окрестностях Ленинграда. У въезда часовой проверил документы, велел шоферу полностью выключить фары и ехать в направлении едва намечающейся в темноте рощи.

В воздухе послышалось гудение. Где-то в темноте самолет прокладывает путь к аэродрому. В небе вдруг возникло два огонька — красный и зеленый. Они совершали замысловатые кольцевые движения — самолет делал круг над аэродромом. Потом он зашел с юга и, сверкая в воздухе зеленым и красным огоньками, помчался вниз с выключенным мотором. Как громадная черная ночная птица, он пронесся над нами во мраке. Только воздух оглушительно свистел между его плоскостями.

Но мрак внезапно разорвался. На земле ослепительно вспыхнул большой квадрат. От неожиданности мы зажмурились — так невероятен был переход от полной темноты к яркому свету. Свет был так силен, что стала видна каждая травинка на поле. Темный самолет садился в этот квадрат. Нижние плоскости его крыльев ослепительно засверкали отраженным светом. С каждым мгновением колеса самолета приближались к земле, а его громадная тень неслась куда-то вперед и ввысь, скрываясь в поднебесье. В тот момент, когда колеса самолета, коснувшись земли, пробежали несколько десятков метров по полю, все снова погрузилось в мрак.

— Придется остановиться, ничего не вижу, — сказал шофер.

Мы и вправду будто ослепли. После яркого света темнота была еще непрглядней, как в каком-то черном мешке. Но прошло несколько минут, глаза привыкли к мраку. Машина двинулась дальше и, проехав немного, остановилась у небольшого деревянного домика, где находился дежурный по аэродрому. Выяснилось, что наш самолет отправят через полчаса. Из домика вышел высокий пилот, и мы последовали за ним.

Мы шли по опушке леса. Скрытые с воздуха под ветвями деревьев самолеты стояли плотным строем, почти касаясь концами крыльев друг друга. Их было очень много.

Минут через десять мы дошли до своего. Это был двухместный самолет, получивший на фронте прозвище «кукурузник» — он мог садиться хоть на куку-

рузное поле. В ожидании старта мы закурили. Разговорились с пилотом; я сказал ему, что впервые видел посадку самолета в условиях затемнения.

— Впечатление просто феерическое,— заметил я.

— Ну, сейчас вы всю эту феерию увидите поближе,— сказал летчик,— посадочная площадка перед нами. Видите огоньки в траве? Это фонари «летучая мышь». Они расставлены двумя рядами, обозначая собой взлетно-посадочную полосу. Самолеты с воздуха видят линию фонарей и могут, ориентируясь по ним, идти на посадку. А вот там, чуть левее, виднеется передвижная электростанция на машине. Она имеет устройство, рассеивающее свет на большой площади. Вот сейчас вы сами все увидите.— И летчик указал нам вверх на кружащиеся в небе знакомые уже красный и зеленый огоньки.

Огоньки в небе сделали положенный им круг над аэродромом и, зайдя с юга, понеслись стремглав к земле, к едва мерцавшим огонькам в траве.

В это время раздалась громкая команда. Мотор электростанции взвыл, начав работать на больших оборотах. И опять с необыкновенной легкостью свет мгновенно отвоёвал у темноты большой квадрат, и перед нами возникла та же картина. Свет и тьма были так резко разграничены, что казалось, будто посадочную площадку окружает стена.

За полчаса ожидания мы несколько раз наблюдали эту молниеносную смену света и мрака. Я готов был бы смотреть это зрелище, кажется, без конца. Но к нам подошел летчик и сказал, что пора садиться.

По плоскости крыла мы взобрались на свои места. Нам пришлось привязаться широкими ремнями к сиденью, пилот сел в свою кабину и подкачал бензин. К винту подошел механик, провернул его несколько раз, затем поставил в вертикальное положение. Откинув корпус немного назад, он взялся правой рукой за полированный край пропеллера и резко потянул его по окружности вниз, крикнул: «Контакт!»

Но запуск не получился. Механик повторил опять все эти операции, и только на третий раз мотор сначала нерешительно фыркнул, потом начал работать. Сначала винт вращался так, что можно было уследить за лопастями, потом он превратился в почти осязаемый круг, прозрачный и в то же время подернутый блестками.

Мотор работал уже минут десять, потом загудел вдруг резче. Самолет рванулся было вперед, но, удерживаемый на привязи тросами, отшатнулся назад, потом рванулся еще и еще. Пропеллер гнал тучи пыли. Летчик, испытав мотор, снизил число оборотов до минимума.

Наконец самолет освободили от тросов, и пилот начал выруливать, медленно продвигаясь по полю, подпрыгивая на неровностях почвы и приближаясь к тому месту, где стоял едва видный в темноте сержант с флагом.

Наконец самолет остановился, и мы увидели справа и слева две линии огоньков. Мы были на старте.

Послышалась команда, мотор электростанции снова взвыл, и через секунду, купаясь в волнах света, который освещал взлетную площадку, как днем, самолет пробежал по ней, все убыстряя свой бег.

Держась руками за край кабины, я взглянул за борт и увидел, как земля стала проваливаться вниз и, падая, погружилась в совершенную темноту. На несколько секунд я словно ослеп, потом открыл глаза и стал присматриваться.

Справа внизу я увидел едва мерцавшие линии огоньков, рядом с ними щетину леса. Самолет шел на небольшой высоте над деревьями. Казалось, встретиться дерево повыше — и мы наткнемся на него.

Близость к земле была лучшей защитой «кукурузника». Не обладая большой скоростью и вооружением, он прижимался близко к земле, ища и находя в ней свою защиту от всех опасностей, подстерегающих его в воздухе. Никакой истребитель не осмелился бы пикировать так низко, чтобы поразить его своим огнем в упор. Кроме того, сливаясь с землей, он становился почти невидим.

Для наблюдателя с самолета, летящего на большой высоте, земной ландшафт проплывает внизу медленно. Но сейчас он двигался поистине с кинематографической быстротой. В сереющем воздухе мы то проскакивали над деревней, чуть ли не касаясь колесами крыш, то неслись над шоссе с непрерывно движущимся транспортом военных машин, едва не задевая верхушки телеграфных столбов; я узнал шоссе, пересекающее надвое деревню Ваганово, домик у шоссе. Впереди по курсу самолета Ладога зияла, как громадная чаша.

Мы пересекли линию берега и пошли над озером. В полумраке оно казалось еще более суровым, чем днем. О берега бились волны. Кое-где виднелись обломки льдин.

Над озером было светлее, чем над лесом. Сероватый свет ночного неба отражался в озере зловещим свинцом. Земные масштабы — деревни, дома, дороги — исчезли, и поэтому казалось, что самолет летит прямо над водой. Порывистый ветер ощутительно ударял в самолет с северо-востока, снося его с курса: пилот поставил машину против ветра, отчего она летела как бы боком. Маленький сухопутный самолет пробивался над разбушевавшимся озером.

Наш пилот то и дело поднимал голову и смотрел вверх в южном направлении, откуда ожидал опасности. Но воздух был свободен.

Вдали был маяк Кареджа. Он одиноко возвышался над гладью озера. Рядом с ним уходил в воду конец песчаной косы. Мы пролетели над маяком, отчего он на мгновение стал похож на каменный кружок, пересекли небольшой пролив и понесли над косой, над складами, штабелями, над железнодорожными составами, над белыми дымками паровозов. Сделали круг и через несколько минут опустились в уже привычный квадрат света. Нас ожидала машина.

Мыс Кареджа. 23—24 апреля.

Н. Н. Скоморохов обошел и внимательно осмотрел весь мыс Кареджа. Уточнили места для размещения двух рассредоточенных насосных головных установок, емкостей, сливной эстакады и прочего. Н. Н. Скоморохов останется здесь. Завтра придем ему на подмогу еще человека четыре.

Сплошного ледового покрова уже нет. Вчера на озере, в километре от берега, погиб солдат — наша первая потеря. Произошло это очень неожиданно. Солдаты шли по льду рассредоточившись, и он как-то мгновенно провалился сквозь лед, и тут же льдина накрыла его. Товарищи не могли его спасти. Очень тяжело все это переживается. В этот вечер работа не спорилась.

Ночью возвращусь на западный берег.

Кокорево. 25—29 апреля.

Все эти дни мы, не отрываясь, разрабатывали техническую документацию всего комплекса сооружений. Окончательная длина трассы — двадцать девять километров. Подводная часть ее достигает двадцати одного километра — это минимальный объем работ первой очереди. Теперь надо утвердить проект у командования фронтом, и после этого сможем выдавать рабочие чертежи, а изыскателей отправим на рекогносцировку трассы от Борисовой Гривы до Ленинграда. Хотя я думаю, что этот участок строить не будем, но поскольку есть задание начальника тыла фронта, надо его выполнять.

Сейчас уже определилось, что нам хватит труб, которые мы получим с Ижорского завода, если в процессе работы не будет значительных потерь.

Сегодня к вечеру подошли, как это намечалось по нашему графику, первые машины с трубами. Теперь монтажники в ближайшие дни смогут приступить к сварке отдельных труб в двухсотметровые секции.

Приехал майор Зотов и сообщил, что в течение дней десяти трубы, емкости и другое необходимое оборудование будут доставлены на западный берег озера.

Завтра придут сто солдат, и майор Зотов, человек очень дельный, принял сразу же меры для их устройства, то есть организовал жилье, питание и прочее.

Условия для развертывания строительных и монтажных работ в ближайшие дни уже созданы. Но мы пока еще оторваны от восточного берега, и как пойдут дела у Н. Н. Скоморохова — не знаем. Это беспокоит.

Вечером проектная группа собралась в полном составе. Завтра утром я уезжаю с докладом для утверждения проекта, а сегодня необходимо еще раз обсудить все сложные вопросы. Основное направление трассы от мыса Кареджа до излучины дороги у Кокорева определено окончательно. Обсуждение шло довольно бурно, но принципиально все детали проекта были одобрены, и мы условились, что замечания, высказанные при этом, надо будет учесть при разработке рабочих чертежей.

Ленинград. 30 апреля — 1 мая.

Вечером полковник Синицын предупредил меня по телефону, что рассмотрение и утверждение проекта состоится завтра в 12.00 у заместителя командующего фронтом. Поэтому он просил прибыть к нему в Ленинград в 10 часов.

В Ленинград со мною собрались Иванов, Фалькевич, Зотов и Воротников. Кто-то вспомнил, что сегодня Первое мая, мы поздравили друг друга с праздником, желая одного: успеха в предстоящей работе.

Автотранспортная связь с Ленинградом теперь у нас отличная, все время прибывают машины с грузами, и мы все отправились в Ленинград на одной из возвращающихся туда машин.

Весна... Дорогу ужасно развезло.

Из-за арналета пришлось несколько задержаться у одной деревушки. Синицына мы уже не застали, и дежурный передал нам, чтобы мы ехали к генералу Лагунову в Смольный. Генерал принял нас сразу же, поздравил всех с праздником и так же, как мы друг другу, пожелал нам одного: успеха в сооружении бензопровода. Кроме нас, в кабинете Лагунова были полковник М. С. Смиртюков и военинженер 2-го ранга В. В. Никитин.

Я коротко доложил об основных положениях, принятых при проектировании, и развернул чертежи и схемы, на которых были нанесены все сооружения на восточном и западном берегах озера, а также трасса бензопровода.

Генерал Лагунов все время слушал внимательно, но вдруг поднялся, подошел ко мне вплотную и спросил:

— Почему вы докладываете только о части бензопровода? Ведь конечное его назначение — Ленинград.

Я доложил, что мы считаем главной задачей прокладку бензопровода через озеро. Этим будет обеспечена бесперебойная подача горючего фронту. Труб у нас набирается пока километров тридцать. Затем, если последует на этот счет окончательное решение, мы разработаем и вторую очередь, то есть прокладку еще пятидесяти километров трубопровода до Ленинграда. В ближайшие дни, после утверждения проекта, документация начнет поступать к строителям, с тем чтобы они могли приступить к сооружению первой очереди...

— О самом строительстве, — сказал я, заканчивая свое обобщение, — вам более подробно доложат товарищи Иванов и Фалькевич.

М. И. Иванов весьма обстоятельно и толково доложил, что подготовительные работы уже ведутся, а с 19 мая приступят и к основным работам. Очень важный вопрос — когда и как включатся в работу эпроновцы. Сейчас они еще не могут работать — на озере плавает лед, — но они должны готовиться, имея в виду, что фронт работы для них дней через двенадцать будет подготовлен.

После М. И. Иванова выступил В. В. Никитин, который сказал, что проектировщики правильно концентрируют свое внимание на главном участке работ — пересечении Ладожского озера. Будет осуществлена эта задача — будет и решен вопрос снабжения горючим фронта и Ленинграда. А как доставить горю-

чее к Ленинграду — автотранспортом, железной дорогой или трубопроводом — это уже вопрос номер два.

В это время вошел адъютант и что-то доложил генералу. Сопровождение было прервано. Генерал просил нас подождать и вместе с полковником Смиртюковым уехал.

Мы вышли из кабинета в приемную. Пользуясь перерывом, я позвонил в Москву в УСГ Красной Армии. К телефону подошел заместитель начальника управления С. М. Бланк. Я довольно подробно доложил о проделанной нами работе, о ходе совещания и о том, что генерал Лагунов ставит вопрос о продлении бензопровода до Ленинграда.

Оказывается, в Москве об этом уже думали и докладывали генералу армии Хрулеву. Наша точка зрения одобрена, следовательно, надо продолжать работу в этом же направлении.

— Вероятно, — пообещал С. М. Бланк, — в ближайшие дни, как только закончим отправку всех грузов на Ладогу, я с группой товарищей приеду к вам.

С. М. Бланк сообщил также, что постановление Государственного Комитета Обороны уже подписано. Решение всех вопросов и контроль за выполнением постановления поручены уполномоченному ГОКО по Ленинграду А. Н. Косыгину.

Я был очень ободрен этим телефонным разговором, но не успел поделиться этими новостями с товарищами, как возвратились генерал Лагунов и полковник Смиртюков.

Нас вновь пригласили в кабинет, и генерал нам сказал, что только что они вместе с членами Военного Совета фронта были у товарища Косыгина. Он интересовался, в каком состоянии находится проектирование и строительство бензопровода, и ему подробно было обо всем доложено.

Михаил Сергеевич Смиртюков рассказал нам, что А. Н. Косыгин считает совершенно правильным в первую очередь решить главную задачу — соединить трубопроводом восточный берег с западным. Надо максимально, сказал он, упростить работу и добиться, чтобы бензопровод начал действовать в самое ближайшее время. Поэтому все разговоры о строительстве в более широких масштабах, то есть до Ленинграда, следует снять. Кроме того, А. Н. Косыгин просил передать проектировщикам и строителям, что предельный срок окончания строительства должен быть между 15 и 20 июня. Такого решения Государственного Комитета Обороны, определившего срок строительства в пятьдесят дней. Вся необходимая помощь строителям будет оказана.

Потом генерал Лагунов спросил меня, готовы ли документы для утверждения проекта. В ответ я протянул ему подготовленный протокол. Он внимательно прочел и подписал его.

— Прошу вас, — сказал он в заключение, — незамедлительно возвращайтесь на озеро и приступайте к работе. Проявляйте побольше инициативы, не ждите каких-то особых дополнительных решений. Главное решение уже есть. Помните, после «дороги жизни» это будет для нас «артерия жизни».

Итак, все, что мы делали до сих пор, одобрено. Ну, а срок окончания, назначенный на 20 июня?.. Что ж, он ведь не подлежит обсуждению.

Ваганово. 1—5 мая.

Рабочее проектирование мы развернули одновременно в двух точках. Одна группа работает на западном берегу, обеспечивая документацией трассу бензопровода, раздаточный пункт в Ваганове и наливную станцию в Борисовой Гриве; вторая группа, на восточном берегу, разрабатывает чертежи приемных устройств и головных насосных станций, которые мы решили рассредоточить, учитывая возможность выхода их из строя в результате бомбежки или артиллерийского обстрела.

Строительство сразу пошло таким темпом, что чертежи, выдаваемые сегодня на стройку, завтра уже оказываются выполненными в натуре.

Хорошо начали и монтажники. Начальник участка Марк Иванович Недужко мобилизовал все наличные возможности и привел их в действие. Работы развернулись как-то сразу, буквально с ходу. Строители приступили к работе и в Борисовой Гриве, и в Ваганове, и на сухопутном участке трассы бензопровода. Монтажники приступили к сварке труб в секции. Трубы, имеющие коническую резьбу, свинчиваются, а затем дополнительно обвариваются, трубы, не имеющие резьбы, свариваются между собой, но потом на стык надевается муфта и тоже обваривается.

Вчера мы присутствовали на очень торжественном в нашей жизни событии — на сварке первого стыка труб. Работу выполнял наш мастер, знаменитый сварщик Григорий Иванович Ломоносов. Быстро прикрепив шланги к баллонам, присоединив горелку, он открыл вентили и зажег газ. Длинная синяя струя пламени начала бить из конца горелки. Надев сварочные очки, он сел верхом на трубу и направил пламя на стык двух труб. В короткое время металл под пламенем начал размягчаться и превратился в жидкую массу, светящуюся розоватым светом и заполняющую небольшое углубление, окруженное раскаленным, но все еще твердым металлом.

Движения Ломоносова стали быстры и точны. Двигая конец горелки по незамкнутой окружности колебательными движениями взад и вперед, он плавил металл концов труб и сварочную проволоку, сплавляя их в одну общую массу и подготавливая плавление металла вперед, по ходу сварки. Жидкий металл трепетал, ходил волнами, эти волны, по мере того как конец пламени уходил вперед, застывали правильными полукругами, и в их серебристых застывших гребешках угадывалась только что бурлившая раскаленная масса жидкого металла.

Ломоносов работал, как чародей. Вокруг него столпились люди и, не отрываясь, смотрели на пламя горелки. Да и невозможно было оторваться: яркое пламя притягивало взоры, гипнотизируя людей.

И сам Ломоносов стал словно другим. Повелительным жестом он заставил стоящих возле него помощников постепенно поворачивать трубы вокруг оси. Не прерывая ни на минуту работы, он быстро вел сварку по окружности стыка двух труб. Вот уже половина окружности стыка покрыта застывшими волнами металла, как бы подернутого рябью, вот уже осталась четверть стыка. На глазах у всех уменьшалась незаваренная часть стыка. Еще две-три минуты — и стык был сварен полностью.

Бойцы смотрели на сварочный шов и удивлялись четкому почерку сварщика. Каждая волна была абсолютно равна другой, как будто художник рисовал эти волны карандашом на чистом листе бумаги, а не сварщик своей тяжелой шумящей горелкой доводил металл до температуры свыше полутора тысяч градусов, гнал жидкие бурлящие волны металла к одному краю, заставляя их ложиться и застывать правильной грядой, в соответствии с намеченным им рисунком.

После этой пробной сварки работы развернулись сразу на всех участках.

На сухопутном участке трассы, заготовив двухсотметровые секции, сварщики будут соединять их в длинные плети. Темп сварки 5 мая достиг уже пятисот — шестисот метров в день. Как только немного подсохнет земля, будет вырыта неглубокая траншея, и после очистки поверхности труб и их изоляции трубопровод будет уложен в траншею и засыпан сверху небольшим валиком. Наши монтажники считают, что к 10—12 мая они доведут темп сварки до тысячи метров в день.

Особенно успешно развернулись работы на прибрежной площадке у деревни Кокорево, где ведется вся подготовка труб для подводной части трубопровода. Трубы также свариваются в секции по двести метров и тут же очищаются, изолируются и испытываются. А дальше будет вестись сборка плетей на спусковых дорожках к озеру. К этой работе приступят не ранее 20—25 мая. Надо еще подготовить спусковые дорожки и другое вспомогательное оборудование. Это основа того, что укладка подводной части трубопровода пойдет успешно.

Западный и восточный берега озера. 5—10 мая.

Приехали работники ЭПРОНа и привезли все, что надо для их сложной и ответственной работы. Почти одновременно с их приездом подошел их катер «Малыш». Он очень старенький, видно, уже немало поработал на своем веку. Пока он поддерживает связь между восточным и западным берегами, подвозит материалы. Хотя немного грузов на нем можно разместить, но все же это отличный помощник.

Сегодня приехали из Москвы заместитель начальника УСГ КА С. М. Бланк и П. Л. Иванов. Детально ознакомившись с ходом проектирования и строительно-монтажных работ, Бланк собрал нас и сообщил, что все оборудование и материалы для эксплуатации полностью отправлены и, как удалось проверить, почти все прибыли на базу Ладужской переправы. Он был обрадован разворотом работ на западном берегу и высказал ряд замечаний относительно ведения работ на восточном берегу.

Семен Маркович сказал, что считает необходимым прибывшие на восточный берег двадцать четыре горизонтальных емкости по пятьдесят кубометров каждая разместить тремя равными группами, расположив их на некотором расстоянии друг от друга, и тщательно обваловать; высокий уровень грунтовых вод не позволит опустить их глубоко в землю. Он дал еще ряд весьма дельных советов.

П. Л. Иванов согласился с тем, что надо усилить работы на восточном берегу. С. М. Бланк просил нас выехать с ним в Кареджу завтра утром.

Ночь была очень тревожная, несколько раз — впервые за последние дни — был сильный артиллерийский обстрел. Но обошлось без жертв.

В 4.00 — подъем. «Малыш» уже стоит наготове у нашего временного причала.

Ну и причал! Надо быть акробатом, чтобы пройти по нему и не окунуться в холодную Ладогу...

Мотор завелся после некоторых усилий. Катер круто развернулся, и мы взяли курс на восточный берег. Лед еще не полностью сошел, и приходилось местами отталкивать крупные льдины с пути. Это задерживает наш ход.

Мы добрались почти до середины озера, когда над нами появилась «рама» — двухфюзеляжный немецкий разведчик. Куда он направляется? Не стало ли противнику известно о наших работах?

Самолет шел низко. Говорят, что после появления «рамы» следует ожидать налета бомбардировщиков. Он пролетел над нами. Самочувствие у нас отвратительное: кругом вода, берегов не видно, деваться совершенно некуда. Единственное утешение, что мы представляем собой незначительную мишень. Ну, а вдруг? Нет, не надо думать!

«Рама» ушла. Скоро показались в отдалении маяк, берег, мыс Кареджа. Берем курс на него. Осталось до берега около двух километров, но в это время снова появилась «рама» — возвращается назад, на юго-восток.

Вдруг над нами появилось еще два самолета. Какое счастье — это наши «ястребки»! Завязался бой, довольно короткий. Слышались пулеметные очереди, и в какой-то миг, оставляя за собой дымный след, «рама» сделала несколько скольжений на крыло и начала быстро падать вниз. Нам показалось, что она несется прямо на нас, как-то помимо воли все пригнулись, как будто это могло бы нам помочь. Но вражеский самолет прошел довольно далеко от нас и под крутым углом врезался почти у самого берега в воду.

Мы причалили к берегу. Вид у всех был утомленный, хотя настроение после удачно окончившегося приключения бодрое. Как хорошо снова быть на твердой земле!

Сбитый самолет лежит не очень далеко, надо будет потом попытаться посмотреть его поближе.

В домике, где расположились проектировщики и строители, нас встретил приехавший из Москвы начальник транспортного отдела УСГ КА А. И. Вишнев-

ский. Там находился и капитан, которому поручено продолжить железнодорожную ветку до конца мыса Кареджа. Капитан пожаловался, что не знает участка, нет проекта и работа задерживается. С. М. Бланк его успокоил, сказав, что сегодня же я дам ему необходимую схему, и напомнил ему, что ветка должна быть уложена в течение восьми — десяти дней. Капитан подтвердил, что если сегодня он получит проект, то через десять дней можно планировать подачу вагонов.

Мне потом пришлось дважды столкнуться с этим капитаном, и меня восхитило, как быстро, организованно и слаженно велись у него работы. Через семь дней все было закончено.

На этом берегу мы пробыли еще два дня и выдали много рабочих чертежей, а еще больше схем на отдельных листах. Это такая документация, которая прежде всего рассчитана на сообразительность и инициативу исполнителей.

Ладожское озеро. 11—13 мая.

Хотя сплошного ледяного покрова на озере давно уже не было, но ветер то и дело пригонял целые ледяные поля то к западному, то к восточному берегу, и это не позволяло вести на озере работы. Надо было ждать, пока весь лед не растает и его остатки не отнесет к истоку Невы у Шлиссельбурга.

Когда же озеро почти полностью освободилось ото льда, работы возобновились. Створ трассы был вынесен на озеро с помощью плавучих заякоренных вешек, расставленных через каждые полкилометра, были проведены уточненные промеры глубины озера по оси трассы. Это позволило нам построить полный профиль трассы от головной насосной станции до конечной точки бензопровода, включая его подводную и наземную части.

Теперь уже строители подгоняют нас, потому что мы временами опаздываем с проектной документацией, хотя работаем по двадцать часов в сутки.

Монтажники уже начали укладку труб в траншеи наземной части трассы. Сегодня уложили первые пятьсот метров. К 25 мая должна быть уложена вся наземная часть бензопровода.

Конечные сооружения — наливная станция в Борисовой Гриве — тоже строятся успешно. Теперь у нас уже нет сомнений, что к 20 июня работы будут закончены. Сейчас главное — закончить сборку секций на спусковых дорожках и начать сборку и вывод длинных плетей на озеро, чтобы укладывать их на дно.

Вечером, как всегда, собрались на «оперативку». М. И. Иванов предоставил слово эпроновцам.

Инженер Карпов сказал, что они закончили все изыскания, водолазы прошли под водой всю трассу и исследовали дно озера, кроме двух небольших участков на одиннадцатом и пятнадцатом километрах. Вместе с монтажниками эпроновцы заканчивают разработку и оснастку всех приспособлений для спуска труб и считают, что надо срочно смонтировать еще одну спусковую дорожку.

Спусковая дорожка состоит из двадцати отдельных, жестко закрепленных металлических рамок, установленных строго по оси через пятнадцать метров по отлого падающей к воде плоскости прибрежного пляжа. Общая длина ее составляет триста метров. Каждая из рамок представляет собой небольшой рольганг. По мере надобности собираемая плеть трубопровода скатывается в озеро по роликам рольганга.

— С двадцатого мая, — продолжал Карпов, — начнутся работы по спуску трубопровода, и теперь все будет зависеть от того, как монтажники подготовят работу.

Наш главный монтажник и сварщик А. С. Фалькевич заверил, что у него в деталях разработан весь план подготовительных и монтажных работ. Он также считал, что надо подготовить не одну спусковую дорожку, а две; это позволит одновременно готовить две плети. Сейчас надо заготовить на берегу свыше ста секций. Каждая плеть будет состоять из пяти-шести секций, и по мере спуска в воду по спусковым дорожкам одной секции к ней будет привариваться на берегу

другая. Так, постепенно наращивая плеть, можно доводить ее длину до тысячи — тысячи двухсот метров. Скольжение плети по рольгангам не потребует больших усилий. На всякий случай подготовлены гусеничные тракторы, которые, находясь в воде у самого берега, помогут катерам стаскивать плети со спусковых дорожек в озеро. Для большей прочности соединений труб на каждый стык будет навариваться муфта.

— Мы думаем, что окончательно длина плети будет определяться состоянием погоды на озере, — продолжал Александр Семенович. — Тихие погоды будут способствовать более спокойным условиям укладки, и это позволит удлинить плети, а волнения или штормы усложнят эту работу. Известно, что в мирное время плавание судов на Ладоге при штормовой погоде свыше пяти баллов запрещалось. Но это не относится к правилам опускания трубопровода в Ладогу, этого никто и никогда еще не делал. Видимо, нам надо быть готовыми к работе и в штормовых условиях. Так как трубы бензопровода не обладают плавучестью, мы ее придадим им с помощью подвязанной канатами цепи бревен, скрепленных между собой проволокой. Концы плети при выводе в озеро будут покоиться на понтонах. После вывода каждой плети на трассу и приварки на озере заднего ее конца к ранее уложенной плети этот конец, да и вся плеть, кроме ее переднего конца, будет опускаться на дно озера. Это будет делаться путем вывода заднего понтона и обрубкой канатов, соединяющих цепь бревен с трубопроводом.

Фалькевич считал, что к спуску труб мы будем полностью готовы не позднее 30 мая и для полной укладки трубопровода на дно озера потребуются пятнадцать — семнадцать дней. За это время будут закончены и все наземные сооружения. Таким образом, следует считать, что 16—17 июня можно будет закачать с восточного берега сначала воду для испытания трубопровода, а затем и горючее, причем желательнее в первую очередь пустить керосин.

Конечно, если не будет непредвиденных задержек — сильного шторма прежде всего. Да и противник может помешать.

Закрывая «оперативку», М. И. Иванов поставил вопрос так: график — это закон, и малейшее его нарушение — чрезвычайное происшествие.

Кокорево. 14 мая.

Вчера ночью наш инженер Николай Наумович Скоморохов рассказал мне историю нашей чертежницы Даниловой, несчастья которой потрясли меня до глубины души.

Он поручил ей очень сложную чертежную работу по трассе бензопровода на западной стороне озера, которую утром надо было передать строителям. Вечером, когда он вошел в рабочую комнату, он увидел Данилову, склонившуюся над чертежным столом. Она уже получила первый лист, наколола его на доску, покрыла листом прозрачной кальки и начала обводить тушью первые линии. Он никогда не предполагал, что эта тихая пожилая женщина может работать с такой быстротой и ловкостью.

Она быстро проводила десяток-другой непересекающихся линий в одном краю чертежа и, не останавливаясь, переходила к другому краю. Когда тушь на кальке подсыхала, она вновь возвращалась к ранее начатому участку чертежа.

Из бесформенных отдельных линий и штрихов постепенно возникали элементы профиля и плана трассы. Вначале они были немые, без надписей, без цифр. А когда он, отвлеченный на некоторое время вопросами другого работника, вновь подошел к ней, чертеж был уже расцвечен надписями, цифрами высот, расстояний, названиями мест, ручьев, железнодорожных станций. Потом они вдвоем стали проверять чертеж; он был сделан безупречно.

— Где вы так хорошо научились работать? — спросил ее Скоморохов.

Она назвала конструкторское бюро одного из крупных ленинградских заводов. Проработала там восемь лет, но потом был большой перерыв по семейным обстоятельствам. Теперь опять стала работать, вот уже пятый месяц.

— А где ваша семья, в эвакуации? — спросил он.

При этом вопросе Данилова отвернулась, как будто приглядываясь к чертежу, но слезы закапали из глаз, и она уже не пыталась их скрыть.

Скоморохову стало совестно, что он затронул так неосторожно что-то очень для нее болезненное. Он встал, чтобы принести ей воды, но нигде не мог найти стакан. Ему пришлось пойти в общежитие, пройти между спящими к своей кровати и достать из чемодана походную кружку. Когда он возвратился, Данилова уже накладывала второй чертеж на доску. Она выпила воду, поблагодарила его и вновь принялась за работу.

Скоморохов сел у соседнего стола и стал заниматься своими делами. Он все еще ругал себя, что так неосторожно задал ей вопрос о семье. Он украдкой смотрел на Данилову, лицо ее было ярко освещено низко спущенной над столом лампой. Теперь он видел, что ей было, вероятно, не более тридцати пяти — тридцати семи.

Кроме них, в комнате никого уже не осталось, все ушли спать. Они долго работали, а потом Данилова рассказала о своем горе.

До замужества она жила со старушкой матерью и работала на заводе. В 1928 году она вышла замуж. Муж ее был учителем в одной из ленинградских школ. У них родился мальчик. Бабушка смотрела за внуком и вела хозяйство. Прошло несколько лет, мать стала заметно стареть, часто прихваривать. А тут еще в Ленинград приехал учиться младший брат мужа, семья увеличилась. Даниловой пришлось оставить работу на заводе, чтобы ухаживать за матерью, воспитывать сына, следить за хозяйством.

Но вот началась война. На второй день они проводили на фронт брата ее мужа. В июле пошел в народное ополчение муж. Данилова осталась с матерью и сыном. Ему шел восьмой год.

В конце июля и в августе для Ленинграда начались тяжелые дни. Мать стала совсем плоха. В середине августа она уже не поднималась с постели. Даниловой предложили эвакуироваться, но она не могла увезти с собой совсем ослабевшую мать и осталась в Ленинграде. В середине сентября мать умерла.

Прошло две недели. Однажды утром раздался звонок. Она открыла дверь, и почтальон вручил ей письмо. Командир части писал, что брат ее мужа погиб смертью храбрых в боях за родину. После этого по ночам она не могла заснуть, ее мучили кошмары. Когда от мужа не было писем больше недели, десяти дней, ей казалось, что его уже нет в живых. Она писала ему ежедневно, но о смерти брата решилась сообщить только через две недели: братья были очень дружны.

Жизнь в Ленинграде становилась все труднее.

Бомбоубежище, в котором они скрывались с сыном во время налетов вражеской авиации, находилось в соседнем доме. 8 октября тревога следовала одна за другой. В 8 вечера, после отбоя, они уже собирались выйти, когда дом, под которым находилось убежище, был разрушен бомбой, и убежище засыпало обломками. Их откапывали более суток. Она пришла в себя в больнице, а сын погиб.

Через двадцать дней, когда она уже была дома, из части, где служил муж, ей сообщили, что во время разведки он пропал без вести.

Воздушные тревоги перестали беспокоить ее. Она перестала есть, почти не спала, целыми часами лежала по ночам, смотря в темноту. Соседи почти силой увели ее к себе, выходили ее. Когда она немного пришла в себя, партийная организация, где состоял раньше ее муж, помогла ей устроиться на работу, с которой она была откомандирована на стройку бензопровода.

Она рассказала все это Скоморохову ровным голосом, не переставая ни на минуту чертить. Она так же быстро переносила линейку с одного края чертежа на другой и безостановочно водила рейсфедером.

— Николай Наумович, прошу вас, давайте мне побольше работы. Другим трудно просидеть ночь, а я ведь все равно не сплю, — попросила она.

Все это Н. Н. Скоморохов рассказал мне вполголоса, чтобы не разбудить товарищей, спящих рядом.

Ладожское озеро. 15—17 мая.

Вчера провели тщательный подсчет труб. Сколько же их всего у нас? Нам привезли сюда более тридцати одного километра, из них для бензопровода надо двадцать девять километров и около полутора километров на внутренние коммуникации. Значит, у нас в резерве остается менее километра. Видимо, придется еще искать трубы. Всего остального у нас вполне достаточно.

Наш девиз — все должно быть сделано хорошо и вовремя.

Снова потери: убиты два солдата и два тяжело ранены. Вот как это произошло. Утром к нам приехал генерал Лагунов. Бегло осмотрел работы, задержался у спусковых дорожек, поинтересовался, когда мы начнем спуск труб в озеро, и спросил, нельзя ли здесь через пять-шесть дней принимать прибывающие с восточного берега баржи и по уложенному наземному участку откачивать горячее по готовой части трубопровода в Борисову Гриву. Мы попросили генерала разгружать баржи в другом месте, подальше от наших работ. Мы опасались, что противник, наблюдая за движением барж и особенно за пунктами слива и налива, обнаружит и нас и тогда, безусловно, помешает нам работать в самый ответственный период строительства. Генерал не возражал, но просил еще раз подумать об этом, обещая приехать через несколько дней. Мы поехали с ним на станцию Борисова Грива, а спустя несколько минут после нашего отъезда, видимо, шальной снаряд разорвался недалеко от того места, где мы стояли, и все, кто там оставался, пострадали.

На озере началась навигация. Очень осторожно идет проводка барж. Наливных и приспособленных сухогрузных барж пока всего лишь восемь. Сегодня майор Зотов сообщил нам, что первые две баржи с грузом горючего пересекли озеро. На восточном берегу горючим заполняют железные бочки, которые затем грузят на палубы барж, сверху накрывают маскировочной сетью и так направляют на западный берег. Здесь бочки перегружают в автомашины и отправляют в пункты назначения. Тары у нас очень мало, всего двенадцать—пятнадцать тысяч бочек, а организовать быстрый возврат ее — дело почти невозможное, не говоря уже о том, что это требует много людей, автотранспорта, а значит, и горючего. Единственным выходом из положения по-прежнему остается форсированное строительство трубопровода.

Ладожское озеро. 18—25 мая.

Снова начались полеты разведчиков противника. Вчера днем появилась «рама». Все кружилась над озером. Уже было собиралась улететь, как ее перехватили три наших самолета, и бой опять был коротким. Воды озера похоронили на наших глазах два самолета — наш и противника. Казалось, будто они столкнулись в воздухе, загорелись и камнем полетели в воду.

Вечером снова появился фашистский самолет, очень недолго покружил и улетел. Надо ждать налета бомбардировщиков. Но что мы можем сделать? Средств противовоздушной обороны у нас ведь нет, единственное, что следует подготовить, — это укрытия для людей.

Скоро месяц, как приехала сюда первая группа проектировщиков. У нас создалось такое впечатление, что артиллерия бьет не по нашему квадрату, и мы постепенно уже настолько привыкли, даже настолько осмелели — я бы сказал, до безразличия, — что не всегда строго соблюдаем правила маскировки. Несколько раз бывало, что артиллерийский снаряд разрывался недалеко от площадки, и мы полагали, что противник обнаружил наши работы и накроет нас артогнем, но этого до сих пор не случилось, и мы продолжали вести работы, как раньше.

Под вечер приехал генерал Лагунов, но работ не осматривал. Он был взволнован, попросил наш катер и уехал к причалам, расположенным севернее. Мы поняли, что произошла какая-то неприятность. Поздно вечером катер вернулся, но без генерала. А на следующий день мы узнали, что большим массивным

артиллерийским налетом противник разбил у причалов несколько барж, в том числе две баржи с горючим.

Это первые потери в нынешнюю навигацию. Значит, правы были те товарищи, которые утверждали еще на совещании в Москве, что доставка горючего баржами — это дело ненадежное, что их работе противник помешает.

Кокорево. 26 мая.

Утром мы все собрались у спусковых дорожек. Командует работами А. С. Фалькевич. Сегодня с утра приступаем к сварке первой плети и ее выводу на озеро.

Озеро неспокойно, да и опыта еще у нас нет, поэтому решили первую плеть сварить длиной в тысячу метров.

Первая секция трубопровода длиной в триста метров была уложена от излучины дороги на Ваганово через весь прибрежный участок. Конец ее спускался в воду, заняв всю полосу мелководья, и его уложили на понтон.

Сварив затем пять секций, строители подготовили плеть протяжением в тысячу метров и стянули ее со спусковой дорожки так, что она вся была на плаву, поддерживаемая по длине только рядом секций из бревен, а по обоим концам понтонами.

«Малыш» подцепил на трос понтон с передним концом плети и стал выводить ее на трассу, достигнув скоро плавучей вешки, установленной в створе трассы. Однако сильный ветер стал относить в сторону задний конец плети в южном направлении, и скоро только катер с головным понтоном плети оставался на трассе, а вся плеть заняла положение параллельно берегу. Что делать? Как оттянуть задний конец плети и удержать его на оси трассы, пока он не будет приварен к уже уложенной первой секции и не опустится на дно? Мы использовали все наши плавсредства, в борьбу за спасение плети вступили подводники. «Малыш» бросало волнами из стороны в сторону, казалось, вот-вот от него оторвется понтон с плетью трубопровода, но он пока еще держался. Пробовали на лодке завести к заднему понтону тросы, чтобы немного хотя бы затянуть его к берегу, но трос соскользнул, и все кончилось неудачей.

Шторм на озере усиливался. Вдруг с берега мы увидели, что «Малыш» сделал стремительный прыжок и стал быстро удаляться от нас. Оказалось, что крепление головной части плети оборвалось, труба соскочила с понтона и ушла в глубину, а «Малыш» вместе с понтоном, на котором уже не было трубы, проскочил вперед.

Плеть исчезла. Это была серьезная и совершенно непредвиденная неприятность. Быстро надвигалась темнота. Шторм становился все сильнее. Люди очень устали, многие промокли в холодной воде. Была подана команда прекратить работы до утра.

Разошлись молча, в тяжелом настроении. Людей накормили, выдали для согрева двойную порцию водки и отправили отдыхать.

Кокорево. 27—31 мая.

Утром проснулись раньше обычного. Едва только начало светать, все уже были на берегу. Шторм утих, озеро было почти спокойно. Водолазы осмотрели участок дна, где была потеряна плеть трубопровода, но ее на месте не было. Весь день и половина следующего дня ушли на поиски трубы, однако обнаружить ее не удалось; по-видимому, ее унесло далеко, поиски решили прекратить.

Это был тяжелый урок. Мы поняли, что таким способом нам трубопровод не уложить. Надо менять метод производства работ.

Прежде всего мы потребовали еще один катер, чтобы буксировку каждой плети на трассу вести двумя катерами: первый из них будет буксировать головной понтон с передним концом плети, а второй будет оттягивать в нужном направлении на ось трассы задний понтон с хвостовым концом плети. Только так

можно будет обеспечить бесперебойную работу даже при волнении на озере. Мы вспомнили правило мирного времени, по которому при пятибалльном шторме навигация на Ладоге прекращалась, и решили принять и это к сведению.

Затем было принято решение прикреплять металлические грузила к трубопроводу, уложенному на дно, изменяя по мере увеличения глубины озера расстояние между грузилами.

Через два дня к нам прибыл второй катер. Однако с потерей первой плети обнаружился недостаток труб, который надо было срочно возместить. И. Вороников выехал в Ленинград, чтобы срочно добыть на нефтебазах полтора-два километра труб и тут же доставить их на Ладогу.

Первая неудача изрядно ошеломила всех, но мы все же оправились и начали вновь форсировать работу. Ведь срок оставался прежним, и никто никаких «скидок» нам не сделает — положение с горючим на фронте известно!

Тридцать первого мая в 10 часов утра мы подготовили к отбуксированию с помощью двух катеров новую плеть. Все шло хорошо, и погода нам благоприятствовала. Когда катер притянул задний понтон к переднему понтону уже уложенной секции, конец которой лежал на береговой части трассы, оба конца трубопровода были состыкованы специальным хомутом, и стык был сварен и укреплен муфтой. Затем раздалась команда обрубить концы. Понтоны, поддерживающие сваренный стык, были осторожно выведены из-под трубы, и плеть начала равномерно по всей длине медленно погружаться в воду.

Передний понтон был надежно заякорен, и оба катера, захватив с собой на буксире секции бревен, сообщавшие плавучесть трубопроводу, ушли к берегу.

Водолазы получили приказ пройти по дну вдоль трассы. Прошли томительные десятки минут, вот уже час, а их все нет. Наконец мы увидели издали, как они поднимаются на катер. Катер быстро подошел к берегу. У водолазов были радостные лица — все в порядке, плеть трубопровода хорошо легла на грунт.

Решили на следующее утро еще раз обследовать уложенную плеть, хотя и были уверены, что она к утру будет в значительной части занесена илом. Так оно и оказалось.

Теперь у нас уже был кой-какой опыт, и мы могли попытаться ускорить укладку подводного трубопровода, продвигаясь с западного берега на восточный.

Вечером М. И. Иванов собрал командный состав на очередную «оперативку». Решили продолжать таким же путем выводить и спускать на дно все плети. Правда, глубина озера, чем дальше от берега, становится больше, и эпроновцы утверждают, что возможны осложнения, надо быть ко всему готовыми.

Если укладку подводной части закончим к 15 июня, 16-го можно будет начать испытания.

В первый раз за последнее время мы разошлись с «оперативки» в хорошем настроении.

Ладожское озеро. 1—12 июня.

Много событий на трассе произошло за эти дни. Я так занят с утра до ночи, что вот уже несколько дней ничего не записывал в дневник.

На западном берегу строительство все закончено. Но вот на восточном берегу дела обстоят не очень хорошо; пока успели смонтировать только одну группу емкостей из трех, к остальным двум группам еще и не приступали. Правда, железнодорожная ветка закончена, и это очень важно, так как позволяет подавать все грузы прямо на площадку. Среди прибывших с востока грузов есть и трубы, которые были предназначены для укладки вдоль мыса Кареджа. После того как головные сооружения перенесли на самый конец мыса, эти трубы оказались в резерве. Поэтому мы решили уложить от конца мыса Кареджа по мелководью трубопровод длиной около двух километров. Укладку его можно вести с помощью тракторов, без катера, так как глубина здесь не более одного метра. На следующий день самолет доставил с западного берега на мыс Кареджа двух сварщиков, и здесь началась сварка труб.

Договорились также с генералом Шиловым, он даст нам солдат для ускорения работ на восточном берегу. Одновременно послали телеграмму в УСИ КА С. М. Бланку с просьбой направить сюда поскорее передвижные насосные установки в качестве резерва.

Два дня, которые мы провели на восточном берегу, были крайне полезны для дела. Любопытную вещь рассказал мне Н. Н. Скоморохов: во время съемок в начале косы он обнаружил остатки каких-то каналов, построенных, видимо, в весьма давние времена. Что это за сооружения, никто не мог понять. Но один старик, местный житель, сказал, что эти каналы были построены еще при Петре Первом. Верно ли это? Надо будет спросить у кого-нибудь в Ленинграде.

Днем за нами прибыл катер: нас ждали на западном берегу. Озеро было спокойным, солнце ярко светило — оно уже понемногу и греет. Мы и не заметили, как причалили к берегу.

Нас встретил майор Зотов и сказал, что адъютант генерала Лагунова звонил из Ленинграда и просил быть на месте.

На следующий день рано утром к нам приехал представитель Государственного Комитета Обороны полковник М. С. Смиртюков.

— Ну, друзья, скоро закончите? Когда начнем принимать горячее? — еще не сходя с машины, спросил он.

М. И. Иванов предложил ему осмотреть все сооружения, чтобы самому оценить положение.

— А вы, Давид Яковлевич, — обратился ко мне М. И. Иванов, — покажите все работы. «Малыш» наш сегодня свободен. А меня извините, Михаил Сергеевич, не могу с вами поехать. Расхворался что-то, высокая температура, надо полежать.

Сначала я показал М. С. Смиртюкову все, что сделано в наземной части трассы, затем мы отправились в Борисову Гриву и в Ваганово. Потом он посмотрел площадку на берегу со спусковыми дорожками — здесь объяснения давал А. С. Фалькевич: всего уложено на дно двенадцать километров, остается еще девять, из них два будут уложены с восточного берега.

— Полагаю, — сказал А. С. Фалькевич, — что укладка будет закончена дня за три-четыре.

— Это хорошо, что вы такие оптимисты, — заметил полковник М. С. Смиртюков. — Но вы ведь уже потеряли несколько километров трубопровода в озере? Хорошо, если это не повторится.

«Вот ведь как молва идет, нарастая, как снежный ком!» — подумал я.

— Мы потеряли, — горячо возразил ему Фалькевич, — только одну плеть, а не несколько километров. Не буду оправдываться, но убежден, что это больше не повторится.

— А как лежат трубы на дне? — спросил Михаил Сергеевич.

— Водолазы ежедневно обследуют трассу, и как ведут себя там трубы, мы знаем хорошо. Большая часть их уже занесена илом.

Мы подплыли к восточному берегу и осмотрели, как идут работы там. К вечеру вернулись. М. С. Смиртюков спешил в Ленинград. Перед отъездом он собрал нас, побеседовал и, прощаясь, сказал:

— Теперь, увидев все своими глазами, я уверен, что бензопровод к двадцатому июня будет готов и фронт и город начнут получать горячее. Разрешите от вашего имени доложить об этом уполномоченному ГОКО товарищу Косыгину и Военному Совету фронта.

Мы попросили М. С. Смиртюкова передать, чтобы уже к вечеру 18 июня подали состав железнодорожных цистерн в Кареджу, причем на первый раз хотя бы цистерн двадцать. Он обещал это сделать, а потом спросил:

— А почему сегодня нет спуска труб?

А. С. Фалькевич объяснил ему, что один катер вышел из строя и его отправили на сутки в ремонт, а укладывать одним только катером после того, что случилось в первый день, мы больше не рискуем.

— Правильно, — заметил М. С. Смиртюков, — Ладога капризна. Рассказывают, что штормы срываются буквально в одно мгновение.

— Как вспомнишь первые дни мая, — сказал А. С. Фалькевич, — эту бушующую массу воды, бело-серые барашки на озере, так по телу проходит дрожь. Скажу откровенно, мне не давала покоя мысль: неужели нам удастся пройти трубопроводом такой огромный и бурный многокилометровый рубеж? А вот ведь скоро работе конец...

Ладога. 15 июня.

Поздно вечером мы собрались у М. И. Иванова. С озера приехали А. С. Фалькевич и Г. И. Ломоносов и сообщили, что последний стык на озере сварен и завтра можно и надо приступить к испытаниям. Условились, что я и А. С. Фалькевич переберемся на восточный берег, начнем закачку воды в трубопровод, проведем испытания на давление и затем приступим к закачке горячего.

Почти всю ночь мы не спали, разрабатывая порядок испытаний: ведь наступил момент, которого мы ждали почти два месяца. Что-то покажут испытания?

После испытаний мы демонтируем спусковые дорожки на западном берегу, так как они могут быть замечены с воздуха. Нам и так уже «пофартило»: гитлеровцы на нас не обратили внимания — они, видимо, охотились только за судами.

По правде говоря, меня беспокоит положение на восточном берегу — все ли там сделано, хотя бы по минимальной программе? Правда, пока мы будем производить испытания, можно будет довести до конца все незавершенные работы.

Кареджа. 16 июня.

Вышли мы на катере, когда еще было темно. Это и безопаснее, и, кроме того, мы должны еще послать катер за водолазами, чтобы они обследовали уложенную вчера последнюю плеть. Озеро проехали спокойно и высадились на мысе возле наших головных сооружений.

Когда мы подошли к ним ближе, то порядком удивились: ведь я не был здесь всего четыре дня, а за это время все работы закончены, резервуары смонтированы, обвалованы, все устройства для слива горючего из прибывающих железнодорожных цистерн также закончены.

Секрет раскрылся просто: уже два дня здесь находятся прибывшие из Москвы работники УСГ КА С. М. Бланк и П. Л. Иванов. С их помощью были привлечены дополнительные силы, и дело было завершено.

Это рассказал нам дежурный. Оказывается, они легли спать только два часа назад.

Мы подошли к палатке и встретили полковника Бланка. Возвратились все в палатку, а там уже проснулся и Иванов. Коротко доложили им обоим о состоянии работ на западном берегу и на подводном участке. Рассказали, как мы сегодня собираемся закачать в трубопровод воду, произвести испытание на давление, а потом уже примем в бензопровод горючее и начнем перекачивать его на западный берег до Борисовой Гривы.

Полковник Бланк решительно возразил против этого и предложил рассмотреть другой вариант, а именно: сегодня же закончить все работы и одновременно силами всех водолазов и с помощью имеющихся технических средств осмотреть донную часть трубопровода по всей длине. К вечеру подойдет в Кареджу транспорт с тракторным керосином, который специально направлен сюда; сольем этот керосин из железнодорожных цистерн в наши головные емкости, закачаем его в бензопровод и на керосине произведем испытания.

— Конечно, — сказал он, — здесь есть известный риск. Ну что же, давайте рискнем. Я убежден, что все будет удачно. Я знаю, как велись работы, и верю в высокое качество сварки трубопровода. А на этом сэкономим два или три дня

и досрочно начнем перекачку горючего. Испытание на воде только оттянет ввод бензопровода в действие, а положение с горючим на фронте крайне напряженное. Кстати, — заметил он, — мы привезли две рации, надо сегодня же установить их — одну здесь, другую в Борисовой Гриве, — а то катерами не наездишься.

С радистами мы направили записку М. И. Иванову, и через три часа в Кареджу прибыли водолазы с эпроновцами и Карповым. Карпов по поручению М. И. Иванова передал нам, что к исходу дня западный берег готов будет принимать керосин.

Весь день ушел на проверку всех объектов в Каредже. Водолазы, разбив трассу на несколько участков, обследовали подводную магистраль полностью и доложили, что все в порядке и более того — значительная часть всего трубопровода уже занесена илом.

В 21.00 нам сообщили, что железнодорожный транспорт с тракторным керосином проследовал станцию Войбокало.

Собрали весь эксплуатационный персонал, еще раз проинструктировали его, и к 22.00 все эксплуатационники стали на свои рабочие места.

Кто-то предложил послать шифровку в Москву, в УСГ КА об окончании строительства бензопровода, но полковник Бланк категорически возразил — надо прежде провести испытания на керосине.

Мыс Кареджа. 19 июня.

Наконец ночью 17 июня прибыл долгожданный транспорт с керосином. Его рассредоточили, опасаясь налета авиации противника: визиты разведчиков очень участились за последние дни, но и активность нашей противовоздушной обороны резко возросла.

Через час подали под разгрузку первые две железнодорожные цистерны по пятьдесят тонн.

По радио передали на западный берег: «Начинаем закачку керосина в бензопровод в 5.00».

Прием керосина из железнодорожных цистерн вели через первую группу емкостей. Головные насосы работают отлично. К вечеру весь трубопровод от головной насосной до Борисовой Гривы был заполнен керосином.

Теперь началась заключительная стадия испытаний. Давление в трубопроводе начали подымать: сначала его довели до десяти атмосфер, потом до семнадцати атмосфер. Продержав несколько часов под таким давлением, убедились, что давление трубопровод выдерживает. После этого давление было доведено до максимума — двадцать две атмосферы. Это давление решили держать сутки, пока водолазы пройдут еще раз по дну от восточного до западного берега озера, проверяя визуально целостность сварных стыков. В то же время наблюдение будет вестись с катеров, курсирующих по оси трассы, тщательно исследуя поверхность воды, не появятся ли на ней радужные пятна в месте утечки керосина. К счастью, тихая погода благоприятствует проверке.

Восемнадцатого июня вечером все собрались на восточном берегу. Было окончательно установлено, что уложенный трубопровод дефектов не имеет.

Полковник Бланк дал указание с утра приступить к нормальной перекачке автомобильного бензина, составы с которыми проследовали через станцию Войбокало и уже начали поступать в Кареджу.

Девятнадцатого утром был подписан официальный акт о сдаче бензопровода в эксплуатацию.

К вечеру 19-го первые цистерны на ленинградском берегу были налиты автобензином в Борисовой Гриве и отправлены по назначению во фронтовые части.

Так начал действовать построенный через Ладожское озеро подводный военный бензопровод.

* * *

После пятидесяти суток работы без отдыха, почти без сна все мы сразу оказались не у дел.

Я забрался в палатку и проспал почти до вечера. Потом узнал, что большинство товарищей тоже прикорнуло кто где мог.

К вечеру мы вновь собрались и стали подсчитывать, что же было сделано за пятьдесят дней. А сделано было немало: сварили пять тысяч восьмьсот стыков, смонтировали две тысячи сто кубометров емкостей, проложили двадцать один километр труб по дну Ладожского озера и восемь километров труб на берегу, построили и смонтировали головную насосную станцию на мысе Кареджа и наливную станцию в Борисовой Гриве, железнодорожные ветки и много, много другого.

Ежедневно налетала авиация, попадали в наш район снаряды. Но большого ущерба не нанесли. Противник не мог себе представить, что вблизи Шлиссельбурга, в пределах досягаемости его артиллерии мы могли построить такое технически сложное сооружение, которое сильно ослабило кольцо блокады вокруг Ленинграда и облегчило ее прорыв.

К концу дня 19-го мы уехали на западный берег, едва избежав бомбежки, которая началась нам вслед, после нашей высадки на берегу. Но уж теперь фашистским летчикам найти и разрушить бензопровод на озере было практически невозможно.

Ленинград. 20 июня.

Вечером 19-го мы прибыли в Ленинград.

Утром Военный Совет фронта прислал нам поздравление с окончанием работ. К 20.00 мы были приглашены в Дом Красной Армии.

Впервые я был в этом прекрасном старинном доме, совершенно не тронутым войной. Военный Совет фронта устроил здесь прием для группы проектировщиков, строителей, монтажников. Всего было приглашено человек двадцать пять.

Был прочитан приказ командующего фронтом генерала Говорова, и многие из нас были отмечены благодарностью командования фронта и награждены именными часами. После этого был устроен концерт с участием Клавдии Шульженко. Потом был ужин. По мирным временам он считался бы слишком скромным, но нам он показался просто царским пиром.

Я сидел рядом с нашим гидрографом.

— Видите, какой бурной жизнью в наше время зажила Ладога! — сказал я ему. — Впервые, вероятно, за историю озера на нем созданы военно-инженерные сооружения.

— Ошибаетесь, — ответил он. — Когда начал расти город на Неве — столица Российской державы, — воды Ладоги бороздило множество судов. Они доставляли в Петербург лес, камень, гранит, мрамор. Но корабли были такие утлые, что бури их легко разбивали, и Петр в тысяча семьсот семнадцатом году издал указ о строительстве обходного приладожского канала длиной в несколько десятков верст для безопасного вождения судов.

— Значит, это правда? — перебил я его. — Мне наш инженер Скоморохов рассказывал на днях о петровских каналах, а я думал, что это досужие вымыслы.

— Нет, — возразил гидрограф, — это правда. В те времена Ладожское озеро к востоку от Шлиссельбурга стало аренной громадного строительства. Я одно время серьезно занимался его историей. Сначала было решено осуществить эту работу с «помощью работников от всего государства», то есть путем мобилизации, но потом ее передали купцам-подрядчикам, которые взялись соорудить канал. Прошло два года, купцы объявили, что работы выполнить они не в состоянии. Петр приказал их высечь и вторым указом назначил на эту работу несколько драгунских полков и казаков, более двадцати пяти тысяч человек. За два года канал был прорыт всего на двенадцать верст, и за это начальник

строительства капитан лейб-гвардии бомбардирской роты Скорняков-Писарев угодил в Сибирь. Новым наблюдающим был назначен Миних, который прославился своей жестокостью, и при нем канал был закончен уже после смерти Петра, в тысяча семьсот тридцать первом году. Потом, в следующее столетие, было прорыто еще два канала. Так что не мы первые инженеры, занявшиеся Ладожским озером.

— Что ж, пусть так. Я обнаружил перед вами мое незнание истории, зато кое-что узнал и, когда побьем фашистов, восполню пробелы. Уж о Ладоге, поверьте, я хочу теперь знать все — с нею я сроднился. Однако что бы я ни узнал, какими бы величественными и захватывающими ни были прошлые события, ничто в моей памяти не затмит ледовой «дороги жизни» и нашей артерии жизни...

Мы долго еще сидели за разговором с ним и с остальными нашими товарищами в этот необыкновенный вечер. Был уже второй час ночи, когда мы стали расходиться.

Это было 20 июня, и над Ленинградом стояла белая ночь.

На этом кончается дневник Д. Я. Шинберга.

* * *

В Ленинград, вспоминает в заключение С. М. Бланк, я приехал 20-го в 12 часов дня. Генерал Лагунов встретил меня приветливо и сказал:

— Вот видите, бензопровод действует, а сколько было неверующих? Скажу вам откровенно: последние две недели мы едва держались, так плохо было с горючим. Пришлось сократить потребление, где только возможно, да где и невозможно. Так держать фронт дальше нельзя было. Сейчас мы, конечно, оживем!

Наш разговор был прерван резким звонком аппарата ВЧ. Генерал Лагунов снял трубку и через минуту, прикрыв рукой микрофон, сказал:

— Товарищ Бланк, это, наверно, вас вызывает генерал армии Хрулев.

Но оказалось, что это был начальник штаба Управления тыла Красной Армии генерал Миловский — образованный, культурный военный и добрейший человек.

— Вот что я хочу передать вам, — начал он. — Как можно скорее вылетайте в Москву. нам с вами поручено одно важнейшее задание, и завтра в четырнадцать ноль-ноль мы должны вылететь из Москвы. Ожидаю вас сегодня ночью. Попросите генерала Лагунова помочь вам выехать, а впрочем, я сам его попрошу об этом. Да, кстати, ваше донесение о пуске бензопровода должно быть выше. Примите и мое поздравление.

Я поблагодарил и передал трубку генералу Лагунову. Пока тот говорил по телефону, я отошел в сторону к окну и задумался: что же опять случилось, куда надо так срочно выехать?

Лагунов кончил разговор, позвонил куда-то по внутренней связи и затем сообщил, что в 14.00 можно вылететь в Москву специальным рейсом. Я поблагодарил, попрощался и уехал на аэродром.

В 13.30 я был на аэродроме, а в 14.00 мы уже поднялись в воздух. В самолете «СИ-47» было восемнадцать человек, но я никого не знал. Позже я заметил, что над Ладогой и несколько дальше нас прикрывало в воздухе звено самолетов.

* * *

Когда кончилась война, мы узнали, что в том же 1942 году на другом конце Европы, в Англии, командование намечаемой операции по высадке союзных войск через Ла-Манш во Францию запросило военный кабинет Черчилля, могут ли найтись средства для прокладки подводных бензопроводов через пролив для снабжения горючим десанта союзных войск.

Вначале англичане считали эту задачу неразрешимой, и только спустя некоторое время было предложено два технических решения ее.

Первое из них заключалось в изготовлении и прокладке трубного кабеля, напоминающего электрический подводный кабель, в котором провода заменены свинцовой трубой с внутренним диаметром в семьдесят шесть миллиметров. Второе решение заключалось в изготовлении стальных труб из специальной стали и намотке их на огромные плавающие барабаны диаметром в двенадцать метров, которые должны буксироваться через Ла-Манш и, вращаясь, разматывать трубопровод, который в силу тяжести будет ложиться на дно Ла-Манша.

Проекты были утверждены Черчиллем, и с мая 1942 года по 12 августа 1944 года, то есть в течение более двух лет, был выполнен комплекс работ, начиная от проектирования, изготовления труб и оборудования и кончая монтажом береговых станций и прокладкой трубопроводов через пролив Ла-Манш.

Решение двух весьма крупных и оригинальных военно-инженерных задач, направленных к одной и той же цели — на Востоке для снабжения горючим осажденного героического Ленинграда, а на Западе для обеспечения операций по высадке союзных войск через Ла-Манш, — естественно, вызывает желание сравнить их. Сравнение же позволяет смело утверждать, что при прокладке бензопровода через Ладожское озеро поставленная цель была достигнута более простыми техническими средствами и в значительно более короткие сроки. При этом задача решалась в условиях несравненно более тяжелых.

Прокладка трубопроводов через Ла-Манш производилась в летние дни, когда стояла хорошая, ясная погода. На Ладоге же, где трубопровод был ненамного меньше, работы шли в весеннее время при сложных метеорологических условиях.

Строительство ладожского бензопровода находилось в пределах досягаемости артиллерийского огня противника, причем район неоднократно подвергался бомбежкам вражеской авиацией. Прокладка же трубопроводов через Ла-Манш совершалась уже тогда, когда союзники заняли всю Северную Францию и основные силы противника были связаны на Восточном фронте; немецкая авиация в период прокладки бензопровода над Ла-Маншем почти не показывалась.

Английские проекты пересечения Ла-Манша потребовали для своего осуществления почти два года и три месяца, в то время как ладожский бензопровод был запроектирован, сооружен и введен в действие всего за пятьдесят дней!

Не приходится говорить и о том, что наши материальные затраты были несравненно меньше.

Ладожский бензопровод проработал для нужд фронта и осажденного Ленинграда почти два года и перекачал на ленинградский берег многие и многие десятки тысяч тонн горючего.

Строительство ладожского бензопровода по смелости замысла, по высокому уровню технического решения и по достигнутым результатам сохранится в истории защиты Ленинграда и советского военно-инженерного искусства.



А. ЖЕЛОХОВЦЕВ

★

«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ*

(Записки очевидца)

II

С начала мая ежедневно из номера в номер пекинские газеты стали печатать злые, проработочные статьи, в которых на все ругательные лады склонялось имя Дэн То. Его обзывали «заправилой черной банды».

— Кто такой Дэн То? — спросил я Ма.

— До пятьдесят седьмого он был главным редактором «Жэньминь жибао», а теперь секретарь пекинского горкома партии, — сдержанно ответил Ма.

— Как же это может быть, что партийный работник оказался «заправилой черной банды»?

— Бывает, — уклонился от прямого ответа Ма. — Разоблачение Дэн То — еще одна большая победа идей Мао Цзэ-дуна!

Всякое событие в КНР всегда оказывается такой победой, и дальше рассуждать уже не о чем. Все же секретарь столичного горкома — немаловажное лицо в партии, и самому Ма, члену столичной организации, он должен представляться высоким руководителем.

Как выяснилось из чтения многочисленных статей, Дэн То обвинялся в том, что он под псевдонимом публиковал в 1960—1962 годах очерки, в которых подвергал сомнению некоторые «идеи Мао Цзэ-дуна». В самом деле, читая приводимые в статьях цитаты, я не мог не заметить смелости очеркиста, говорившего удивительные для китайских условий вещи. У него, например, был фельетон, едко высмеивавший словечко «великий» и «великую» привычку вставлять его всюду, где надо и где не надо, наподобие заклинания.

В самом деле, в Китае все песни и радиопередачи начинаются и кончаются этим словом. Вначале мне было как-то странно слушать ежедневно по нашему университетскому радио непрерывный торжественный рефрен «Великий вождь Мао Цзэ-дун», «великий кормчий». Вскоре от частого повторения слово это как-то стерлось, не воспринималось в его серьезном значении, теперь же, услышав по радио знакомый ликующий голос, исполнявший многократно на дню гимны «вождю», я невольно улыбался, вспоминая, что в этой стране нашлись люди, которые решились осмеять пылающее величие.

Читая бранные статьи и пропуская ругань в поспехах сути, я обнаружил, что Дэн То был весьма сведущ в древней культуре. Он даже участвовал в составлении «Новых трехсот избранных танских стихотворений». Золотое время древней китайской поэзии оставило необъятное, многотомное наследство, и знатоки из века в век издавали томик «Трехсот избранных стихотворений». Стихи,

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

входившие в эти «Триста...», общеизвестны в Китае. Теперь, после победы революции, решено было отказаться от старого сборника и составить новый из стихов, более отвечающих современным вкусам, но по традиции числом триста.

Дэн То принимал участие в составлении сборника, и новые триста стихотворений оказались стихами социальной критики, стихами гражданского содержания, стихами обличительными и мужественными. Да, такая традиция жила в китайской литературе от зарождения ее, и что, казалось бы, странного или преступного — собирать и печатать обличительные стихи более чем тысячелетней давности? Разве не так же поступали в свое время у нас с русской дореволюционной литературой, заботливо спасая от забвения произведения, прежде запрещенные, революционные, обличительные? Разве это не естественно после смены общественного строя? Увы, по нынешним китайским меркам, оказывается, нет. Критикуя Дэн То за включение в сборник обличительных стихов, газеты утверждали, что он сделал это с целью опорочить нынешнее руководство! Танские поэты ругали вельмож и императоров — нынешние лидеры приняли стихи на свой счет.

Такая наивная прямолинейность, разумеется, была рождена инициативой угодливого критика, которому важно было одно — сказать, что Дэн То виновен. А в чем именно — какое это имеет значение?! Важно уничтожить Дэн То. И Дэн То был уничтожен.

Все же мое отношение к Дэн То было сложным, к нему примешивалась и доля непочтительного злорадства. Я не знал его самого, но знал тех, кем он непосредственно руководил, кого воспитывал. Какими важными и самодовольными были официальные лица, принимавшие меня в университете. «Каково-то теперь всем здешним деятелям, ходившим под Дэн То! Не нужно слишком много ума, чтобы сообразить, что последует за его разоблачением...»

Находясь в Китае, живя среди китайцев, я не очень-то представлял напряженность внутренней политической борьбы, ожесточенность соперничества группировок в центральном руководстве. Поэтому для понимания происходящего следует сказать вкратце о том, что стало мне известно впоследствии. В сентябре—октябре 1965 года Мао Цзэ-дун дал указание подвергнуть резкой критике популярного драматурга У Ханя. Его почитатель и бывший единомышленник — шанхайский критик Яо Вэнь-юань немедленно написал проработочную статью, но в ЦК КПК было оказано противодействие, и центральная печать ее не поместила. Статья появилась в Шанхае и лишь через двадцать дней — в центральных газетах. В ЦК была создана группа по вопросам культурной революции, в которой наибольшую активность проявил Пэн Чжэнь, член политбюро и первый секретарь пекинского горкома. В феврале Пэну удалось распространить письмо ЦК, им самим составленное и подписанное, которое было направлено к свертыванию кампании, так как лишало ее политической остроты.

В противовес Пэну и поддерживавшим его в ЦК работникам супруга Мао Цзэ-дуна Цзян Цин, которая в то время не занимала никаких официальных постов ни в партии, ни в правительстве, по поручению маршала Линь Бяо, члена политбюро и министра обороны, провела в Шанхае совещание армейских политработников, продолжавшееся двадцать дней. Совещание приняло «Протокол», который стал платформой группы Мао Цзэ-дуна в проведении «великой пролетарской культурной революции». «Протокол» этот означал ревизию решений ЦК КПК и отрицание всей культурной политики за семнадцать лет народной власти.

В апреле влияние группы Мао Цзэ-дуна возросло. В газетах появилась вторая статья Яо Вэнь-юаня, нацеленная против Дэн То, и ее многочисленные переписки. Остался последний шаг — «массовое» движение. О нем шла речь в февральском «Протоколе», но он тогда не был опубликован.

Меня лично начало движения захватило врасплох.

Двадцать пятого мая вечером, возвращаясь из кино в общежитие, я заметил необычную суету. В коридоре торжественно вещало радио.

Не знаю, что это была за передача — центрального радио или университетского. Диктор читал размеренно и торжественно, читка сменялась парадной музыкой и возобновлялась через каждый час. Такие передачи уже бывали, когда ЦК КПК получил приглашение послать делегацию на XXIII съезд КПСС и ответил длинным оскорбительным заявлением. Эти полные озлобления слова гремели тогда по всему университету. Когда началась передача, я находился в комнате, где стоял телевизор, и смотрел кинофильм. Телевидение не нарушало программу в тот вечер, и заявление ЦК передавалось там на полчаса позже, чем по радио, в обычных теленовостях. Поэтому, когда в коридоре неожиданно зазвучал торжественный голос диктора, все китайцы поднялись и, как по команде, двинулись вон из зала к громкоговорителям. Я досмотрел фильм в одиночестве, а затем пошел к себе в комнату. Ма сидел у радиоприемника. Он пустил его на всю мощь, воздух буквально сотрясаясь от властного и решительного голоса диктора.

Когда передача заявления окончилась, Ма выключил приемник и поднялся. Надо было что-то сказать, и я повторил несколько малопонятных мне фраз на память. Он мне их охотно растолковал.

— По-моему, это просто ничем не оправданная грубость и бестактность, — сказал я.

— В политической борьбе церемонии излишни, — заявил Ма. — За приглашением скрывается компромисс и предательство!

— Речь идет о единстве ради интересов революции!

— Есть только один язык революции — наш язык!

— Это значит добавлять к каждому слову «великий» или «революционный», — съязвил я, вспомнив фельетон Дэн То.

— Мы осуждаем тех, кто говорит, как ты.

В тот вечер Ма был необыкновенно напыщен.

И вот сегодня, 25 мая, снова торжественно вещало радио, и содержание передачи, чем больше я вникал в него, удивляло меня.

— Студенты и преподаватели Пекинского университета сегодня вывесили дацзыбао, обвиняющую в перерождении, в отступлении от идей председателя Мао ректора и партком Пекинского университета, которые вместо революционной линии председателя Мао проводили черную, контрреволюционную, буржуазную линию. Дацзыбао подписали семь человек...

Диктор, насколько улавливалось на слух, перечислил затем имена подписавшихся. Дацзыбао — газета больших иероглифов. Собственно, это афиша, но не государственная, а индивидуальная. В ней некто или группа единомышленников прокламирует свои взгляды, мнения и предложения. На дацзыбао идут большие листы бумаги, их причудливо склеивают в длинные полосы или в широкие простыни, часто пестрые.

Я вспомнил, как раньше, в 1957 году, во время борьбы с «правыми» элементами все «чистые» революционеры свидетельствовали свою революционность в дацзыбао, которые занимали и стенды, и стены, и целые здания, где их развешивали на веревках, как белье. Чтение таких дацзыбао — занятие трудное, и ему отдаются только в рабочее время. Но никогда еще не приходилось слышать, чтобы обыкновенная дацзыбао передавалась как сообщение государственной важности.

Суета в коридорах меня настораживала и возбуждала любопытство. Я пошел к окну. Университетский городок сиял огнями, студенты не спали, несмотря на поздний час, а ведь китайцы очень рано ложатся, и девять вечера — для них час поздний. После полуночи я вновь подошел к окну, а потом лег спать в уверенности, что, кроме меня, никто не ложится. В эту ночь Ма впервые не явился ночевать, и я оставался один.

Утро 26 мая в Пекине было пасмурным. Серый день, ветер, освежающая влажность после болезненно сухой зимы. Обычно я выходил завтракать позже китайских студентов и шагал в столовую по пустым аллеям и парку, встречая

только возвращающихся вьетнамцев. Сегодня же былолюдно, оживленные группы молодежи сновали по территории. Стены столовой, почты, кинозала покрылись свежими дацзыбао. Клеили все новые и новые, они уже громоздились в три ряда, и авторы становились на плечи друг другу, чтобы добраться до незнамого места на стене. Я остановился перед китайской студенческой столовой. Над входом длинной полосой висели дацзыбао, сверху шла крупная надпись: «Наш партком и администрация — черные с ног до головы!» — а за нею обособно. Первый абзац, который я прочел, обвинял партком в измене генеральной линии КПК, в проведении буржуазного, контрреволюционного курса, заодно с «преступниками из Бэйда», как сокращенно называют китайцы Пекинский университет. Вокруг молча стояли поглощенные чтением студенты.

Вдоль здания бегал молодой человек лет двадцати в невероятно застиранной и заплатанной одежде, с короткими, не по росту рукавами. Широко раскидывая кисти рук, он кричал, что «изменники» преследуют и унижают «трудящиеся массы», что его отчисляют за неуспеваемость «вопреки классовому принципу и генеральной линии КПК». Худое лицо его с тенями от проведенной без сна ночи оставалось неподвижным, и только рот судорожно дергался, когда он восклицал:

— Разве это не буржуазная, контрреволюционная политика? Пусть они ответят перед массаами!

— Это ревизионизм, — сказал стоящий у стены юноша.

— А разве я не говорил? — радостно подбежал к нему оратор. — Пусть преступники-ревизионисты ответят! Пусть они ответят! Ведь это же потрясающее небо и землю преступление!..

Остальные молчали.

— Вы один подписали? — спросил самый решительный юноша.

— Да. Но нас много и будет еще больше, — сказал оратор и снова побегал вдоль стены к новой группе любопытствующих.

Все студенты в этот день были еще с сумками в руках, потому что собирались идти на занятия.

Возвращаясь после завтрака, я шел уже по многолюдным аллеям. Вокруг витивствующих и жестикулирующих ораторов возникали скопления, кое-где шли споры, и тогда толпа брала в кольцо спорящих. Такое скопище студентов меня удивило. Вьетнамцы тоже читали дацзыбао.

— Сегодня китайские студенты не вышли на занятия, — сообщил мне один из них. — Они говорят, что у них культурная революция.

— А у вас занятия будут?

— У нас пока будут, — сказал он. — А как у тебя?

— Не знаю, — ответил я, и мне впервые пришла в голову невеселая мысль, что «культурная революция» затронет, наверное, и меня.

Так я познакомился с крестьянским пареньком из Вьетнама Нгуен Тхи Канем.

Придя к себе, я застал Ма. Вид у него был усталый, но возбужденный.

— Ты можешь объяснить мне, что происходит? — спросил я. — По пути в столовую мне бросилась в глаза надпись особо крупными иероглифами: «Долой черный партком!» Что это значит?

— Китай — страна социалистическая и революционная, — блестя глазами, сказал Ма. — У нас каждый может высказывать свое мнение. Китай — самое демократическое государство в мире! Некоторая часть наших студентов придерживается мнения, что партком и ректорат совершили политические ошибки. По этому они пишут дацзыбао и требуют снять с должности тех, кто за это ответствен. Такое возможно только в Китае!

— Да чтобы снять плохого директора вуза, вовсе не нужна революция!

— Но ведь это совсем не то, — возразил Ма. — Ведь речь идет не просто об ошибках и недостатках в работе. Это политическая борьба, классовая борьба, показательство обострения классовой борьбы в социалистическом обществе!

— Значит, дацзыбао пишут массы? — спросил я.

— Нет, так еще нельзя сказать. Сейчас их пишут студенты и пока беспартийная и некоммунистическая молодежь. Члены партии почти не участвуют. Мы читаем их дацзыбао, но это еще не значит, что они правы. Правда и истина выяснятся при обсуждении. Ведь они тоже имеют право на критику.

— В дацзыбао упоминается имя парторга Чэна. Что это за человек? Я с ним не встречался.

— Да, он не успел тебя принять. Товарищ Чэн — очень занятой человек, много работает, если бы ты приехал не один, а с группой иностранных студентов, возможно, он бы тебя принял. Осенью он принимал вьетнамцев, но их было более ста человек. Поскольку вас с Лидой было только двое, мы решили ограничиться приемом у товарища Лю, заместителя декана факультета.

— Да я вовсе не в претензии к нему. Просто мне хотелось узнать хоть что-нибудь о нем.

— Товарищ Чэн пришел к нам в университет в шестьдесят втором году. До этого он был политработником НОА. С шестнадцати лет участвовал в антияпонской войне, потом в гражданской войне, трижды был ранен, прошел путь от простого бойца до политработника. Товарищ Чэн — старый революционер и член партии, вступивший в нее на поле боя, он верный боец председателя Мао и лично видел его в Яньани, — словоохотливо откликнулся на мою просьбу Ма. — У нас в университете он выполнял тогда важное задание партии по искоренению современного ревизионизма и преклонения перед иностранщиной. Ты же знаешь, что у нас здесь раньше были ваши советники. Так вот товарищ Чэн успешно провел эту трудную и ответственную политическую борьбу. Тех товарищей, кто поддавался дурному влиянию, мы направили в деревню на перевоспитание физическим трудом, чтобы они прожили одной жизнью с народом. Это очень полезно для их сознания. Благодаря товарищу Чэну у нас теперь здоровый революционный коллектив.

— Значит, он верный боец председателя Мао? — не без иронии переспросил я.

— Да. Но и таких людей можно критиковать. Китай — демократическая страна. Кто прав, кто нет — решит после обсуждения собрание... Да, к твоему сведению, сегодня мы все читаем дацзыбао, поэтому занятия прекращены, а завтра будет обсуждение, — сказал он, выходя из комнаты.

* * *

Дни стали шумными. Гул голосов долетал ко мне в комнату. В аллеях толпились спорящие студенты, а стены зданий покрывались листами исписанной бумаги. Идя обедать, я уже должен был проходить сквозь плотную массу людей, среди беспокойно жужжащих голосов.

Ко мне подошел маленький завхоз Ван.

— Вы понимаете, что написано в дацзыбао?

Я кивнул.

— Партком просил меня уведомить вас, что дацзыбао — это метод культурной революции и это внутреннее дело Китая. Мы просим вас не читать их, — со своей обычной любезной улыбкой продолжал Ван.

— Постараюсь. — сказал я. — Хотя это довольно трудно — ваши аршинные дацзыбао расклеены буквально на каждом шагу. Я просто не могу не видеть их, когда иду обедать.

— И все же мы просим вас не читать дацзыбао. Они говорят только о внутренних делах, вас они не коснутся никоим образом. Читая дацзыбао, вы можете получить превратное, одностороннее представление о наших делах. Вам, конечно, интересна жизнь КНР и такое великое движение, как культурная революция. Через месяц или два мы организуем для иностранных студентов специальные

лекции, там вы сможете задавать вопросы и получать ответ на них. Возможно, вас даже допустят на эти лекции.

— Спасибо, — без энтузиазма поблагодарил я его.

В один из дней конца мая после обеда вместо строго предписанной университетским режимом тишины радиоузел начал трансляцию заседания парткома. Выступал парторг Чэн. Он требовал наказать демагогов, категорически отвергал обвинения в том, что он «черный», что он участник какой-то банды, что он против генеральной линии и так далее.

— Так могут говорить только карьеристы и незрелая молодежь, — сказал Чэн и с надрывом стал выкрикивать: — Что они понимают в революции?! Смотрите, моя преданность Мао Цзэ-дуну доказана кровью! Я до последнего дыхания верен нашему любимому вождю, мы все, весь партком преданы нашей партии! Мы сражались за освобождение, эпоха Мао Цзэ-дуна создана нами! Это мы строим новый, могучий Китай! Мы не боялись смерти и трудностей на поле боя! Да здравствует председатель Мао! Слава! Слава! Слава!

Я продолжал слушать. Выступавшие говорили об ошибках в работе, об их исправлении, о здоровой и конструктивной критике, о кучке демагогов и карьеристов, спекулирующих на революции.

— Коммунисты должны выступить перед беспартийной массой и дать отпор, — сказал кто-то под треск аплодисментов.

По аллеям шли студенты, но вместо книг и тетрадей они несли скамеечки и стулья. Было объявлено открытое партийное собрание университета. Оно продолжалось весь день, и снова без умолку всюду горланили радиорепродукторы. Хочешь не хочешь, а приходилось слушать. Кто-то предложил создать тройки из членов партии, чтобы счищать со стен «безосновательные» дацзыбао. Предложение было принято среди криков и шума. В одном из выступлений упомянули даже меня.

— Товарищи, — убеждал оратор. — В нашем университете много иностранцев. Есть наши друзья из Индонезии и Вьетнама, а есть и другие иностранцы. Есть даже один советский. Это человек из страны современного ревизионизма. Мы должны быть бдительными, нельзя вешать дацзыбао в открытых местах, где их прочтут враги Китая!

Взрыв криков последовал за его словами:

— Предлог! Обман! Контрреволюция!

— Пусть он ответит, пусть товарищ нам ответит! — закричал чей-то высокий хриплый голос. — Скажи, как говорил председатель Мао про дацзыбао? Отвечай, отвечай сейчас же! Ты знаешь или нет, что сказал председатель Мао?! Дацзыбао должны быть вывешены повсюду, чтоб их мог читать народ!

Смысл спора был ясен: представитель парткома под предлогом присутствия в университете иностранцев намеревался снять направленные против него дацзыбао, а противники отстаивали их.

Яростные споры шли и о том, как долго может находиться на стене уже вывешенная дацзыбао и кто имеет право снимать старые и вывешивать новые: стен, свободных от бумаги, в университете уже не хватало. Обклеено и исписано все, куда только может достать взгляд. Если на высоте третьего этажа знаки покрупнее, ниже, на уровне глаз, — убористый бисер. Прочесть все было уже физически непосильно...

Рев становился невыносимым, и я, все еще не придавая серьезного значения происходящему, злился из-за того, что мне не дают работать, и в конце концов ушел в город. Там шла обычная, ничем не возмущаемая жизнь.

В европейском кафе на Сидане мне подали кофе, по которому я так соскучился. Кофе, правда, был скверный, но я был рад и такому. Оглядывая зал, я заметил, что сидящий в углу юноша-китаец в больших очках кивнул мне и пригласил сесть за его столик. Я хоть и удивился этому, но подсел к нему. Он, как и все

китайцы, был одет в синее, но вместо обычного для них френча на нем была спортивного покроя куртка, узкие, по европейской моде, брюки, на пальцах сверкали перстни.

— Мы ведь с вами встречались в клубе, — сказал он по-английски.

— Вы ошиблись, — сказал я.

— Простите, я плохо вижу. Разве вы не чилиец? Тогда из какой же вы страны?

— Из Советского Союза.

— Не может быть! Как вы сюда попали? Транзитом? Ведь вы враг правительства!

Слово «правительство» он выделял и дальше.

— Какой же я враг Китая? — усмехнулся я. — Всю жизнь я занимаюсь изучением китайской культуры. А вы, узнав, кто я, не побойтесь разговаривать со мной?

— Нет, — ответил он. — Во-первых, я болен и очень плохо вижу, поэтому и принял вас за другого человека, а во-вторых, я не здешний, а из Гонконга. Я тут тоже гость. Жаль, что из-за болезни я не могу учиться.

Он извлек из карманов несколько антисоветских пропагандистских брошюр, изданных в Пекине на английском языке. Китай завален антисоветской литературой. Книжки, брошюрки и журналы выставлены повсюду, где бывают иностранцы: в гостиницах, в магазинах, на вокзалах, в отделах регистрации документов. Китайцы покупают их, а иностранцам такие издания на немецком, русском, английском, французском, японском и других языках навязывают обычно бесплатно.

Антисоветская пропагандистская литература прорабатывается всеми в порядке обязательного усвоения. Китайские студенты учат иностранные языки по пропагандистским брошюрам. Весной в парке я не раз встречал их, когда они монотонными голосами заучивали заданный текст. Бездумная зубрежка отрывков наизусть — существенная часть обучения китайского студента.

— Вот что мне дают читать, — продолжал мой собеседник. — Мне нельзя читать много, а по-английски я читаю лучше, чем по-китайски. Ваша страна сделала очень много для Китая, это знают все китайцы, не только здешние, но и у нас, в Гонконге.

Я заметил, что наша беседа привлекла внимание посетителей кафе и даже вызвала у них беспокойство. Столики вокруг постепенно пустели, официантки тревожно переговаривались в углу у стойки.

— Вы не спешите? — спросил юноша. — Мне хочется поговорить с вами.

Он принялся рассказывать о своей жизни в Гонконге, жаловался на низкую квоту для китайцев в тамошнем университете, куда принимают свободно только белых, а китайцев значительно меньше, посетовал на скуку в Пекине, — он явственно ощущает, что окружающие избегают общаться с ним, испытывают какой-то страх. В общем, жить ему здесь нерадостно и сложно.

— А вас здесь считают, наверное, врагом номер один, — говорил он. — Непостижимо, как власти вас пропустили сюда. Правда, сами китайцы в душе питают к Советскому Союзу и вашему народу чувство дружбы и благодарности, но боятся выказать его.

Он уверял меня, что о китайском народе нельзя судить по кучке политиканов, цепляющихся за личную власть.

— Что они сделали с Китаем! — горестно сказал он. — Ведь здесь стало жить куда хуже, чем в Гонконге! Никто не смеет сказать, что он думает, а все шпионят друг за другом. Как это тягостно, даже трагично... Отец мне говорил, что именно при помощи советских людей Китай быстро рос и жить в нем становилось все лучше и лучше. А сейчас здесь, как в пустыне. Я живу тут пятый год, и никто не хочет водить со мной знакомство, а мой единственный хороший друг сослан в деревню... Одиночество в Китае! Это ведь против всех правил и уклада нашей жизни. В Китае всегда так сильны были родственные связи и дружба между сверстниками. А я здесь совсем один, знакомлюсь только с

иностранцами. И чем дальше, тем хуже! А знаете, сколько в Пекине слоняется без работы молодежи, выпускников школ? Сотни тысяч. Кончив школу, они должны ехать в деревню. На год самое меньшее. Так решило правительство. А они не едут. Но раз у них нет справок о физическом труде, они не могут ни поступить в вуз, ни пойти на завод.

— Разве работа на заводе не физический труд? — удивился я.

— Но это же не деревня! Правительство считает, что физический труд важен не сам по себе, а потому, что надо жить в деревне вместе с крестьянами. Не есть мяса, не есть риса. Вы знаете, что туда нельзя брать с собой консервы и получать посылки с продуктами?

О том, как живет наша страна, он ничего не знал и забросал меня вопросами. Я понимал, что молодой националист из Гонконга не был убежденным другом нашей страны, но он с определенным интересом слушал мой рассказ о советской жизни.

Больше мы никогда не встречались.

* * *

Дни шли. Наступил июнь, а занятия в университете так и не возобновлялись. Студенты и преподаватели липли к обклеенным бумагой стенам зданий, как мухи к сладкому. Интерес к дацзыбао возрастал. Но среди толпы были уже не только воинственно-возбужденные, но и встревоженные лица. То тут, то там появлялись следы содранных дацзыбао. Их соскребали стальными щетками члены партии группами по три-четыре человека, выполняя решение партийной организации, особенно на тех аллеях, по которым мы с вьетнамцами ежедневно ходили в столовую. Но «свято место» пусто не бывает. На их месте немедля появлялись свежие студенческие дацзыбао, и вокруг них скапливалось особенно много людей.

На перекрестках аллей появились фанерные стенды, на них вывешивались каллиграфически написанные дацзыбао на плотной красной бумаге. В них выражалась поддержка партийному комитету, партбюро факультетов и лично партгруппе Чэну. Подписывали их не отдельные лица, а целые организации вроде: «Весь коллектив студентов и преподавателей астрономического факультета» или же: «Партгруппа 2-го курса физического факультета» и т. д. Были дацзыбао и от самого парткома и комсомольской организации. На видном месте висело постановление открытого партийного собрания. Я прочел его и увидел, какое большое значение придавалось моей особе. Один из пунктов решения гласил: «В связи с тем, что в университете обучаются иностранцы, в том числе из Советского Союза, необходимо строго соблюдать постановление Государственного административного совета об охране престижа нашей страны и не вывешивать дацзыбао критического характера в местах, открытых для иностранцев...»

Сбоку возле постановления на старых газетах крупными иероглифами под огромной шапкой «Слушаться только самых высоких указаний — указаний горячо любимого вождя председателя Мао!» было написано: «Полюбуйтесь, как они извращают указания председателя Мао! Председатель Мао нас учит: «Дацзыбао должны вывешиваться в общественных местах, доступных для широких масс...» Встанем на защиту указаний председателя Мао! Защитим ЦК партии! Долой черный партком! Долой черного бандита Чэна! Полюбуйтесь, как они борются против самых высоких указаний председателя Мао!»

Чтобы у читающих не было сомнений, жирная черная стрела прочеркивала текст и вонзалась в роскошную красную бумагу постановления парткома...

Вот те и на! Это было уже что-то новое: открытое выступление против парткома под демагогическим лозунгом «защиты ЦК». Да и вообще вся атмосфера, царившая в университете, говорила о том, что партком оказался бессильным остановить «революционеров», а занятия были сорваны.

«Революция», правда, пока не сказывалась на мне лично. Профессор Го пунктуально приходил на занятия. Теперь мы все чаще оставались вдвоем. Мой фудао

Ма стал явно манкировать своими обязанностями. Мне казалось, что он даже умышленно избегает меня, спасаясь от расспросов. Утром Ма исчезал до того, как я успевал открыть глаза, а появлялся поздно, вопреки всем правилам — после двух ночи, бесшумно, как кошка, крадясь в темноте и так же бесшумно укладываясь в постель.

Однажды, вернувшись после завтрака, я застал Ма в комнате.

— Ты сегодня свободен? — удивился я.

— Занят, очень занят. Но я специально дожидался тебя, чтобы передать тебе, — Ма явно чувствовал себя неловко, — что канцелярия по работе с иностранцами и факультет просят тебя не читать дацзыбао.

— Мне об этом уже говорил Ван. Пожалуйста, могу не читать.

— Вот и хорошо! Но я не знал, что он уже беседовал с тобой.

Поразительно! Впервые за три месяца я столкнулся с организационной неувязкой: такого не бывало, чтобы один китайский работник не знал, что говорит другой.

— Знаешь, как я сейчас занят? — извиняющимся тоном стал объяснять он. — В университете началось массовое движение, небывало массовое, оно проходит с небывалым энтузиазмом. Но иностранцы не должны в нем участвовать. Это наше внутреннее, чисто китайское дело. Поэтому мы просим тебя не читать дацзыбао и советуем не ходить в библиотеку.

— А как же мне менять книги? — спросил я.

— Менять их буду я. Около библиотеки проходят массовые митинги революционной молодежи. Поэтому мы и не советуем тебе туда ходить.

Поскольку второй запрет под видом «совета» касался моих занятий, я принял его не без раздражения.

— Ваши митинги мне ни к чему, а вот задержки с книгами досадны.

— Администрация университета, — убеждал меня Ма, — охотно шла на встречу твоим пожеланиям в пределах возможного. Мы создаем необходимые для работы условия. Теперь мы ограничиваем твою деятельность, но только потому, что это совершенно необходимо. Мы желаем тебе добра.

— Хорошо, — сказал я, и Ма тут же вышел.

Я решил последовать его совету и вести себя осторожно.

Митинги участились. Они собирали сотни две-три человек и проходили на покрытой угольной пылью площадке возле студенческих столовых, на стадионе, у эстрады самодеятельности, на ступенях библиотеки, перед главным входом административного корпуса и даже в столовых во время еды.

Активисты уже сорвали голос и хрипели, но чем глуше звучал сорванный голос, тем резче была жестикуляция и хлестче смысл сказанного. Поперек аллеи повесили транспарант: «Долой черное царство!» На асфальте громадным белым столбцом протянулся лозунг: «Долой черного бандита Чэна!»

Как-то в первых числах июня в часы полуденного сна в коридоре захрипели репродукторы, и после шума и треска на фоне гвалта и возни звонкий девичий голос закричал:

— Да здравствует культурная революция! Долой предательскую черную банду! Долой контрреволюционный партком! Все революционные товарищи, объединяйтесь! Председатель Мао учит нас: «Революция — не преступление, бунт — дело правое». Дорогие товарищи, революционная молодежь! Вы родились и выросли в самую великую эпоху — эпоху нашего любимого вождя Мао Цзэдуна! Вставайте и сплавивайтесь, боритесь за развитие и победу великой пролетарской культурной революции! Долой гнилую черную клику, долой ревизионистский буржуазный курс!..

Затем из репродуктора понеслись нечленораздельные крики, шум, топот, гам. Кто-то пронзительно завопил:

— Смерть Чэну! Смерть сволочам! Смерть! Смерть! Долой контрреволюцию!..

Вдруг что-то щелкнуло, и передача прервалась. Я выбежал в коридор. Мои соседи-вьетнамцы с взволнованными лицами стояли в дверях комнат. Сотрудники канцелярии сновали по коридору. Бак Нинь поздоровался.

— Ты слышал? — спросил он. — Это передавали революционные студенты. Говорят, они захватили радиоузел.

— Захватили?

— Да, заняли силой. А сейчас, должно быть, руководство выключило ток. Завтра все узнаем.

Действительно, на следующее утро я прочел огромное объявление парткома. «Группа обманутых демагогами и карьеристами студентов, — говорилось в нем, — не останавливаясь перед насилием и хулиганством, захватила радиоузел института и, в нарушение законов государства, самовольно повела антипартийную радиопередачу... Партком проведет расследование и накажет преступников... До окончания следствия радиоузел выключается...»

Я шел, направляясь в город, посредине главной аллеи, стараясь не убыстрять шаг. Шестизэтажный, облицованный керамической плиткой прямоугольник административного корпуса поднимался с правой стороны. Возле него, как обычно в последнее время, шел митинг.

— Внимание, товарищи! Иностранец! — раздался вдруг резкий выкрик.

Оказывается, на аллее, по которой я шел, были выставлены пикеты и пикетчик предупреждал собравшихся обо мне. Оратор умолк. Собравшиеся все повернулись в мою сторону и глядели в упор на меня.

— Советский! — донесся шорох голосов.

И вдруг их словно прорвало:

— Мао Цзэ-дун ваньсуй! Ваньсуй! Вань-ваньсуй!.. — нараспев проскандировало несколько голосов.

Толпа заревела, вторя.

Я невольно ускорил шаг и шел, глядя прямо вперед. Только отойдя метров на сто от толпы, я оглянулся. Лица всех по-прежнему были обращены в мою сторону, оратор уже заговорил снова, но из доносившихся до меня отдельных слов я так и не уловил смысла.

В воротах я, как обычно, поздоровался с дежурными. Но мне не ответили — кто отвернулся, кто потупился. Этого прежде не бывало: китайцы — народ вежливый.

* * *

Третье июня — день, который трудно забыть, — начался, как обычно. В пять тридцать, как всегда прежде, в коридоре зазвучало радио, а ведь несколько дней оно молчало вовсе. Но вставать мы не очень спешили. Ма проснулся с трудом — он накануне возвратился очень поздно и спал не больше двух-трех часов. Закончилась бодрая вступительная музыка. Сейчас будет обзор центральных газет. Так и есть. Я не очень вслушивался в смысл передачи. Вдруг Ма порывисто вскочил с постели и стал поспешно натягивать одежду. Я прислушался. Знакомые слова. Повторяется радиопередача от 25 мая, но тон диктора другой — сообщение о первой дацзыбао, провозгласившей «культурную революцию», идет, как обычная рядовая новость в обзоре центрального партийного органа — газеты «Жэньминь жибао»! Значит, сообщение напечатано.

— Ты слышишь? Важная новость! ЦК партии поддерживает революцию, — возбужденно говорит Ма и убегает, бросая уже на ходу: — Сегодня занятий у тебя не будет.

Волнение Ма меня смутило, любопытство было разожжено, но раз нет занятий, надо распорядиться этим свободным днем. Я решил отправиться по книжным магазинам. Почему бы не попытаться обойти все в один день? Ведь может быть неплохая добыча.

Путь в город, куда я отправился после завтрака, неизбежно вел мимо шестиэтажной коробки административного корпуса. Не без опаски и любопытства подходя к нему, еще издали я различил скопление людей на ступенях. Несколько ораторов размахивали руками, весь цоколь фасада уже был обклеен дацзыбао, и предприимчивые парни лепили свежие с лестниц под окнами второго и даже третьего этажей.

— Долой черный партком! Долой черное царство! Долой Чэна! Защитим председателя Мао! Да здравствует великая пролетарская культурная революция! Да здравствует председатель Мао! — скандировала толпа.

Каждый лозунг сперва хрипло выкрикивал кто-то один, а затем остальные повторяли мощным хором. На этот раз никто не обратил внимания на иностранца.

Возвратился я около семи часов вечера со сравнительно малым уловом — интересующих меня книг я так и не нашел. Лучи заходящего солнца били мне прямо в глаза, мешая рассмотреть сутолоку у ворот. Я хотел было войти, но двое юношей преградили мне путь.

— Кто такой?

В ту же минуту меня окружило человек тридцать. Я огляделся. Это были студенты младших курсов в заплатанной белесо-синей одежде, выцветшей от солнца и стирок.

— Я студент, иностранный студент, иду к себе домой в общежитие, в одиннадцатый корпус, — пояснил я.

— Ваш билет?

Студенческого билета у меня не оказалось при себе.

Возникла пауза, ребята переглядывались, не зная, как быть. Но тут из дежурки выбежал привратник — тот самый, что перестал отвечать на мои приветствия, — и сказал:

— Да, да, это наш студент, из Советского Союза. Он у нас один, и все мы знаем его в лицо!

— Из Советского Союза?! У нас в университете есть советский? — слышались недоуменные голоса. Все уставились на меня, не скрывая изумления.

— Да, я советский! Приехал к вам по международному соглашению.

— Проходите, — вежливо сказали мне. — Но не забывайте больше ваш билет.

Толпа послушно, с чисто китайской организованностью расступилась.

Аллея была пуста. Но издали доносился неясный гул, нарастающий с каждым моим шагом. Перед главным входом административного корпуса бушевала толпа.

— Долой! Долой! Снять! Снять! — слышались выкрики.

У всех входов в здание, которые были закрыты, видимо, изнутри, стояли пикеты.

Вдруг вслед за волной криков и угроз, выбрасывая кулаки над головами, студенты навалились на боковую дверь. Придавленные жалобно вопили, дверь выстояла, штурм не удался.

— Бингур! Би-нгу-у-эр! — раздался возле меня знакомый возглас продавца фруктового мороженого.

Чтобы задержаться и посмотреть, что произойдет дальше, я не спеша купил себе бингур, развернул и стал сосать. Рядом стояли с бингурами несколько безучастных студентов.

Вдруг раздался грохот, затем громкие крики и восторженный рев толпы. Неслось все это от главного входа. Все кинулись туда, и я за ними, но подойти вплотную к зданию не отважился.

Огромные, обитые медью парадные двери сбиты, и людской поток вливается в здание. Проходит несколько минут, и молодые ребята выволакивают из распнутых дверей пленников. Одного за другим их спускают со ступеней. Кого-то волокут за ноги, лицом вниз, кого-то, упирающегося, тянут за руки, кого-то, напротив, удерживают, чтоб не убежал... И около каждого пленника толкотня и

кипение, каждый норовит ударить, лягнуть, рвануть, толкнуть его, но так как желающих много, слишком много, то они мешают друг другу, и лишь кое-кто дотягивается до цели. Пленники бледны, растеряны, их лица перекошены от страха. У одного изо рта течет струйка крови... Все они — уже пожилые люди — беспомощны в цепких молодых руках. Я узнал парторга и нескольких парткомовцев. Их повели друг за другом в глубь университетского городка, к стадиону. Наконец прошла, видимо, последняя жертва, спустилась вниз по ступеням. За нею хлынули торжествующие, сияющие молодые люди, снова загремели победные клики:

— Да здравствует председатель Мао! Да здравствует победа великой пролетарской культурной революции!

Потрясенный этим зрелищем, я поспешил домой. Шел напрямик, сократив путь, и вышел к углу общежития. Там стояли несколько встревоженных сотрудников канцелярии, среди них Ван и жильцы моего этажа.

— Вы проходили мимо главного здания? — спросил меня Кун, серьезный человек лет тридцати, ведавший политработой среди вьетнамцев. — Что там происходит?

— Не знаю. Ведь я не должен видеть того, что там делается, — это внутреннее дело Китая, — сказал я с невинным видом.

— Ну, полно тебе! — дружелюбно, давая понять, что ему все ясно, сказал Кун. — Что с парткомом?

Он явно нервничал и с нетерпением ждал, что я скажу. Другие сотрудники старались казаться невозмутимыми и не вмешивались в наш разговор.

— Студенты ворвались в административный корпус, силой выволокли на улицу членов парткома и заняли здание, — громко сказал я.

Все сразу обернулись: они еще ничего не знали!

— Когда? Вы это сами видели? Что они делают? Что кричат? — засыпали они меня вопросами.

Но я еще не владел языком настолько, чтобы пулеметной очередью выстреливать слова в ответ. Однако на последний вопрос я ответил твердо:

— Они кричат: «Да здравствует победа великой пролетарской культурной революции!»

— Спасибо, — сказал Кун, и голос его дрогнул. — Вы идете отдохнуть?

— Да. До свидания.

За моей спиной началось взволнованное обсуждение событий.

В холле тоже толпились люди, а в коридорах — непрерывное хождение, хлопанье дверей.

— Товарищи! Товарищи! Поздравляем вас всех! — загремели вдруг громкоговорители. — Революционные студенты и преподаватели университета! Черный партком свергнут, черная банда Чэна разгромлена, черные элементы ответят перед массами! Мы защитили председателя Мао! Черному царству настал конец. Революционные студенты и преподаватели университета взяли власть в свои руки. Да здравствует победа великой китайской культурной революции! Да здравствует председатель Мао! Слава, слава, слава!

Радио щелкнуло и умолкло. Но тишины не наступило. Она уже не возвращалась более. В открытые окна доносилось монотонное многоголосое выкрикивание лозунгов, топот сотен ног, а когда я поднялся наверх, к себе, ударил первый барабан. Низкий, мощный звук поплыл неторопливо и мерно, разлился вокруг. Я лег и долго не мог уснуть. Ма не объявлялся. А барабан все бил и бил. Издали, из города, ему стал вторить другой, третий...

III

Четвертое июня. Бьют барабаны. Ночью, утром, весь день. То близко, то далеко. От них нельзя укрыться нигде. Сквозь бой барабанов прорываются только хрипловатые, истошные возгласы: «Да здравствует Мао Цзэ-дун!», «Защитим

председателя Мао!», «Слава великому кормчему!» И шествия. В университетском городке, на городских улицах, от митинга к митингу. Много раз проходили они мимо меня. С обочины тротуара разглядываю идущих. Все они очень молоды. Латаная, заношенная одежда. Шарканье ног об асфальт — многие босы, на других выдавшие виды кеды. Можно смотреть на этих ребят в упор, но не встретить ответных взглядов. Ни дружелюбия, ни ненависти, ни любопытства. Они безразличны.

Впереди они несут на носилках вчетвером огромный портрет председателя Мао. Портрет обрамлен красным бархатом, увит цветами и зелеными ветвями. За портретом идут знаменосцы. Знамена ярко-алого цвета и форма их необычна — это длинные узкие стяги на высоких древках, шелк их змееобразно вьется, он легок и подвижен, трепещет на ветру. Поэтому колонна людей под ними кажется гигантской тяжестью, хотя люди шагают в ней упругой поступью — они в расцвете юности. За знаменами следует оркестр. Барабан обязателен, прочее — по воле случая, но чаще всего к нему присоединяются звонкие китайские гонги. За оркестром послушно тянется колонна, иногда сбоку идут активисты. Они то и дело подносят к глазам листки с лозунгами. Лозунг выкрикивается хриплой скороговоркой, и колонна дружно подхватывает и хором повторяет его. Вслед за лозунгом вверх взлетают сжатые кулаки.

Университетские дацзыбао рассказывают о преступлениях «старого парткома». Главное из них — сопротивление «великой пролетарской культурной революции». Узнаю из них немало поразительных вещей: партком, оказавшись в кольце беснующейся толпы, просил по телефону о помощи. Обращался в райком — там отказали: сами бессильны. В горьком никто на зов не ответил: горьком тоже разогнан. Когда уже не было сомнений, что возникла опасность для самой жизни, руководство университета обратилось за защитой к полиции. Последовал ответ: «Мы не вмешиваемся в движение». Позвонили в гарнизон, искали помощи у военной силы — тоже напрасно: «Мы проводим линию масс». Наконец звонили в группу культурной революции при ЦК КПК — ответ тот же: «Мы проводим линию масс». А массами-то были в тот день несколько сотен взвинченных юных крикунов, докричавшихся до погрома, но остановить их не нашлось никого. Большинство студентов, не зная что к чему, оставалось 3 июня безучастными.

И вот аппарат власти парализован. Сила государственного принуждения явственно перешла на сторону беснующейся молодежи, размышлял я. А за ее спиной встали и полиция, и армия, и лицемерные слова о «линии масс» открывали лишь зеленую улицу погромщикам. Это был разгул, охраняемый и поощряемый могуществом государственного аппарата. Правда, пружины, запускавшие в ход движение, тогда еще не обнаруживали себя.

Поддержанные силой карательного механизма, победители выступили палачами своих жертв. Им доверили новую роль, функцию государственной важности: пресечь рост «уродов и чудовищ» в Китае, как назвал Мао Цзэ-дун тех, кто выступал против его политического курса. Изречение об «уродах и чудовищах», оправдание бесчинств «культурной революции», в первый же день было начертано золотыми знаками на красном фоне и вывешено на самом оживленном перекрестке аллея. «Уроды и чудовища», по Мао Цзэ-дуну, вырастают сами по себе, но сами по себе не исчезают, их надо беспощадно искоренять...

Четвертого июня по плану мне надо было отправиться в библиотеку Вэйда — Пекинского университета. Для этого у ворот моего Педагогического университета я должен был сесть в автобус и, проехав полчаса, выйти у ворот Вэйда.

Почти все работники канцелярии и даже сама заведующая Чжао, тщетно пытаясь скрыть беспокойство, с утра слонялись по холлу и коридорам, о чем-то перешептывались по углам. Здесь же бродили и несколько вьетнамцев. Увидев, что я собрался уходить, завхоз Ван сказал мне, что из университета никого не выпускают.

— Как так? По какому праву? — возмутился я, но меня успокоил один из вьетнамцев:

— Нет, нет, иностранцам можно. Их пускают.

Ван смутился.

— Правда? Я не знал,— стал оправдываться он.— Вы взяли с собой документы? Никогда не забывайте их!

— Взял, взял! — заверил я его.

На рубашке у меня красовался университетский значок, а в бумажнике лежал студенческий билет.

Еще издали я заметил у ворот толпу. Яростно жестикулировавшие парни и девушки пытались прорваться — одни внутрь, а другие наружу.

— У меня здесь брат, я его давно не видела,— убеждала молоденькая девушка, по виду работница.

— Нельзя. Все заняты революционной деятельностью,— отвечал пикетчик с красной нарукавной повязкой. Он был неумолим и держался с большим достоинством.— Мы никого не пропускаем.

— Долго ли так будет?

— Сколько потребуется для революции.

— Могу я пройти? — обратился я к строгому пикетчику.

— Пожалуйста. Иностранцев мы не задерживаем.

— А почему же вы никого не выпускаете? — не удержавшись, спросил я его.

Пикетчик строго взглянул на меня и отчеканил:

— Чтобы ни одна сволочь не ушла от расплаты перед революционными массами!

«Да, не поздоровится тем, кто ждет часа расплаты»,— подумал я, выйдя за ворота.

Следом за мной пытался выскользнуть из ворот какой-то тип с велосипедом. Таких, как он, я не раз видел за своей спиной, куда бы я ни шел. И вот сейчас его буквально сцапали «революционные» студенты и силой уволокли в дежурку, несмотря на сопротивление и крики, что он должен выполнить свой служебный долг. Это был явно филер, приставленный ко мне. И вдруг так попал впросак!

Я невольно рассмеялся. Да, государственный механизм расстраивается, и толпа юнцов с красными повязками не страшится работников самых грозных и прежде всесильных органов.

У ворот Бэйда тоже толпилась масса народа, стремившегося проникнуть внутрь. Я протиснулся и предъявил свой специальный пропуск.

— Библиотека не работает, вам нет смысла сюда ходить,— вежливо отказал мне пикетчик.

— Я хочу повидать своих советских друзей, которые здесь учатся.

Такая просьба озадачила его, и он обратился за советом к старшему, тоже студенту. Привратник же безучастно сидел в будке.

— Вы сюда ходили и прежде?

— Постоянно.

— Тогда проходите. Но мы пускаем вас в последний раз. У нас идет культурная революция.

— Неужели мне нельзя будет видиться с соотечественниками?

— Да, нельзя. Разве что только в канцелярии. Никого постороннего мы на территорию не пропускаем, потому что идет революция. Но сегодня мы делаем для вас исключение. Проходите!

И я официально в последний раз вошел в Пекинский университет.

В аллеях ветер гнал песок и пыль вперемешку с клочьями разноцветной бумаги, покрытой неразборчивыми иероглифами. Здания, залепленные до третьего этажа дацзыбао, шелестели под ветром, словно кроны деревьев.

«Смерть Лу Пину! Разоблачим преступников! Вскрыть гнезда старых контр-революционеров!» — кричали, вопили, проклинали, осуждали, грозили иерогли-

фы. Они были адресованы вполне определенным людям — ректору университета Лу Пину, членам парткома, профессуре. Их имена либо были обведены черной рамкой (знак прижизненного некролога человеку, которого отныне никто не посмеет считать живым), либо накрест перечеркнуты красным (зов к пролитию крови) или черным (угроза смерти)...

Посредине аллеи маршировали колонны. Среди восторженных юнцов, изможденных проведенными без сна ночами, мелькали бледные, как маски, немолодые лица с плотно сжатыми губами. На них я читал испуг и замешательство.

И здесь тоже бесконечная вереница имен, целые стены из красных и черных крестов и бранных слов под ними.

У входа в общежитие для иностранцев косо повисла свежая дацзыбао. «Ты выскочка из «интеллигентных» кровопийц, — читал я, — льстил черному бандиту Лу Пину, лез в партию, хвастался знанием иностранных языков, втерся через покровительство Лу Пина в канцелярию для работы с иностранцами, сам живешь в шикарных условиях иностранного общежития! Ты ублюдок и сукин сын буржуазного эксплуататорского класса! Ты карьерист, раб черной банды, лжекоммунист и враг идей Мао Цзэ-дуна! Раскайся! Мы тебя предупреждаем! Это самое последнее предупреждение!»

«А ведь до этого времени тех, кто жил с иностранцами, считали самыми верными и самыми преданными, — подумал я. — Что же происходит в Китае? Какая же это «культурная революция»? Самый настоящий переворот в политике...»

В нашей немногочисленной университетской колонии только и разговору было что о происходящих событиях. Рассказывали об избииении известного историка профессора Цзань Бо-цзяня, о расправе с ректором Лу Пином — его спасло от гибели только то, что избитый он попал в больницу, — об издевательствах даже над парторгом столовой для иностранцев, которого заставляли надевать мусорную корзину на голову и ходить на четвереньках.

* * *

Я возвратился к себе в Педагогический университет поздно вечером. Аллеи сияли гирляндами ламп, но были совершенно безлюдны. Зато со стороны стадиона доносился рев толпы. Я свернул на аллею, расположенную параллельно стадиону и шел, держась в тени деревьев. Поле стадиона, освещенное десятками мощных рефлекторов, было сплошь покрыто людьми. Они сидели на корточках или же прямо на земле. Мне удалось добраться почти до самого ярко освещенного помоста. Из-за молодого тополя я увидел на помосте нескольких человек. Один как-то особняком стоял в центре. Это был парторг Чэн. Двое юношей с торжественными лицами стояли за его спиной, еще несколько расхаживали по подмосткам. Вдруг один из них подошел к рампе и, повернувшись к Чэну, истошно завопил:

— Ты предал председателя Мао! Ты черный бандит! Ты царь черного царства нашего университета!

Следом за ним заревела толпа, голоса слились в сплошной гул, затем гул этот стал словно бы ритмически распадаться, и я отчетливо услышал, как тысячи людей скандируют: «Ша! Ша! Ша!» («Смерть! Смерть! Смерть!») Мне стало жутко.

Я перевел взгляд на тех, кто сидел поблизости. Они усталились на осужденного. Лица их были сосредоточены, даже озабочены, они почти не кричали. Они напряженно вглядывались и, казалось, хотели угадать собственную судьбу.

Вдруг по чьей-то команде скандирование оборвалось, и с эстрады донесся голос Чэна.

— Я сражался за революцию! Я пролил кровь за председателя Мао! — зывал он к толпе и, судорожными движениями засучивая рукава, протягивал руки, видимо показывая шрамы.

— Врешь! Врешь! — в ответ ему кричали молодые люди на эстраде и каждое слово сопровождали пощечиной.

— Я горячо люблю председателя Мао! Я пожимал ему руку в Яньани!

— Предатель! — слышалось в ответ, и раздавалась новая пощечина.

— Я боролся с советским ревизионизмом и преклонением перед иностранцами! — с отчаянием, срывающимся голосом кричал Чэн.

«Молодые революционеры» хохотали.

— Товарищи! Смотрите, как врут уроды и чудовища! А ну, склони-ка голову перед массами! — И один из парней с силой ударил Чэна по затылку.

Чэн качнулся, закрыл лицо руками и, трясясь, опустился на эстраду. Он повалился на бок и, раскинув руки, забился в истерике.

— Сволочь! Урод и чудовище! Черный бандит! — продолжали кричать над ним юнцы.

— Смерть! — выкрикнул какой-то паренек и, подбежав к корчившемуся Чэну, пнул его ногой.

— Смерть! Смерть! — заскандировала толпа, и активисты на эстраде дружно стали пинать его ногами.

Я почувствовал, как к горлу подступает тошнотворный комок, и побрел в общежитие. В голове стоял какой-то туман, на душе было муторно, отвратительно.

— Вернулись вовремя! — приветливо, словно ничего не произошло, окликнул меня привратник в подъезде общежития.

В холле сгрудились сотрудники канцелярии и о чем-то возбужденно говорили. Ко мне подошел маленький Ван.

— Что в городе? Нас не выпускают отсюда, — пытаюсь улыбнуться, заметил он.

— В городе ничего особенного не происходит, — начал я, и все с напряженным вниманием прислушивались.

Когда же я заговорил о том, что происходит в Бэйда, сотрудники плотным кольцом окружили меня и стали расспрашивать, кого там осудили и осуждают ли там мелких кадровых работников?

— Видимо, да, и многих. А в нашей канцелярии никого еще не осудили? Здесь нет «уродов и чудовищ»? — спросил я.

— Нет, нет, пока никого.

Мое сообщение их, видимо, испугало. Они и до того выглядели растерянными и подавленными.

Ма в комнате не было. Он, безусловно, был на стадионе. Я лег. Не умолкая, гремели барабаны. Я никак не мог избавиться от озноба.

Ма так и не ночевал дома. Утром он забежал на минутку, чтоб спросить, что я собираюсь делать.

— Вероятно, пойду в город. Ведь занятий нет, и я свободен.

— Занятия от нас не уйдут. Но пойти в город — очень хорошо, очень хорошо! Ты же видишь — в университете идет культурная революция!

— А многих осудили? — в упор спросил я, и Ма, до того державшийся самоуверенно, вдруг стушевался.

— Нет, немного. И почему ты говоришь — осудили?

— Если работника называют уродом и чудовищем, разве это не осуждение?

— Нет, ведь так говорят не все, а лишь некоторые. Их мнение должно быть подтверждено всем коллективом! Революционными массами!.. — Испытанные слова вернули Ма его прежнюю самоуверенность.

— А у нас на факультете обнаружили «уроды и чудовища»? Товарищи Лю и Го не пострадали?

— Нет, нет. Правда, у нас пока еще не началось по-настоящему... — сказал он и, явно не желая продолжать разговор на эту тему, выскочил из комнаты.

Собираясь идти завтракать, я вышел в коридор. Как обычно, здесь сновали студенты с полотенцами и маленькими ракетками: столы для пинг-понга занимали середину умывальных залов и утренняя разминка у китайцев начиналась обычно с пинг-понга. С третьего и четвертого этажей сбегали по лестнице вьетнамские студенты. Их веселые молодые голоса сложной мелодической модуляцией напоминали пение птиц. Вьетнамский язык еще музыкальнее китайского, в нем чуть ли не восемь тонов. Вдруг в этот привычный уже гомон вплелся новый звук — мягкий, но четкий топот ног, — и в коридоре появилось человек двенадцать совсем молодых ребят. Я почему-то обратил внимание на их невероятно худые руки. Двое из них, держа крепко за руки, вели пожилого привратника. Хотя шли они медленно и внешне держались спокойно, чувствовалось, что ребята возбуждены. Сюда, в общежитие для иностранцев они явно вошли впервые в жизни.

— Что за иностранец? — поравнявшись со мной, спросил один.

— Советский, — отвечал привратник.

Они прошли дальше, смерив меня с ног до головы взглядом.

— Он друг Китая? — услышал я тот же голос.

— Нет, — сказал привратник. — Он специалист по Китаю.

У двери комнаты, где жил заместитель заведующей канцелярией Ван, они остановились.

— Здесь? — спросил высокий бледный паренек с черными кругами под глазами.

— Здесь, — подтвердил привратник.

Ребята отпустили его и сгрудились возле двери Вана. Один осторожно постучал в нее.

— Вэй! — раздалось изнутри. — В чем дело?

— Выходи! — спокойно сказал кто-то.

— В чем дело? — распахивая дверь, спросил Ван.

И в ту же минуту к нему устремились руки, множество тонких рук с высоко закатанными рукавами вцепилось в его одежду, схватило за плечи, шею, воротник. В одно мгновение Ван оказался в коридоре, его окружили, подхватили под руки и повели.

— Пошли! Массы ждут тебя! Они будут спрашивать, а ты ответишь! Живее!

Быстрыми шагами в полном молчании они прошли по коридору и спустились по лестнице. Ван шагал молча, он только побледнел, ссутулился и, понуриив голову, глядел в пол. На нем был новый синий партийный костюм — наглухо застегнутый френч с накладными карманами, аккуратно отутюженные синие брюки, кожаные ботинки.

«Наверное, он догадывался, что ждет его, — подумал я. — Вот и оделся, словно на парад на площади Тяньаньмэнь...»

Все обитатели общежития, стоя у дверей своих комнат или около умывальной, глядели им вслед. Только из соседней со мной дежурки не вышел никто. Из любопытства я толкнул дверь — никого! Впервые на ночь и день я остался безнадзорным.

Университет с каждым днем все труднее было узнать. Лозунги под ногами, на асфальте, лозунги на полотнищах поперек аллеи, крупные надписи на разноцветных бумажных полосах вдоль зданий и множество индивидуальных и групповых дацзыбао. Пройти можно, только проталкиваясь через толпу студентов. Все читают, обсуждают, записывают в блокноты. Громадный лозунг поперек аллеи остановил взгляд: «Смерть черному бандиту Чэну!!!»

— Привет! — окликнул меня знакомый голос.

Ма успел уже позавтракать и шел навстречу.

— Что это значит? Неужели они хотят убить этого человека? — воскликнул я.

— Такие лозунги надо понимать фигурально, — спокойно ответил он. — Революционные массы возмущены черной бандой и ее соучастниками.

Я хотел было напомнить Ма, что раньше он был совсем другого мнения о парторге, но заметил, что к нашему разговору прислушиваются, и сказал только, что мне непонятны такие лозунги, ведь Чэн был парторгом шесть лет. Те, кто написал лозунг, просто кровожадные личности, которым незнакомы ни благодарность, ни гуманность.

При слове «гуманность» Ма рассмеялся.

— У тебя большие мозги, — снисходительно сказал он. — Ты классово ограничен и не понимаешь логики классовой борьбы, как и все эксплуататоры... Правда, я не хочу сказать, что ты сам эксплуататор, но психология у тебя та же. Мы делим врагов на тех, кто держит в руках оружие, и на тех, кто его не держит. Сейчас вторые для нас опаснее первых, первых мы уже не боимся. Но те враги, кто не держит в руках оружия, стараются, чтобы мы переродились. Поэтому они для нас очень опасны. Они насаждают в красном Китае ревизионизм и буржуазную идеологию. А наш великий вождь...

Я повернулся и ушел, так и не дав ему досказать дежурной фразы.

Быстро справившись с обычным для иностранцев завтраком — простоквашей в пузатом фаянсовом кувшинчике, четвертьлитровой бутылочкой молока, кусочком холодного мяса, овощным салатом и лепешкой юбин, поджаренной в масле, — я возвращался к себе в общежитие через парк. Здесь нет толчеи и гораздо тише, чем на аллеях. Навстречу мне шло человек восемь молодых ребят, с виду просто мальчиков, очень похожих на тех, которые утром явились к нам в общежитие за Ваном. Поравнявшись со мной, самый щупленький из них важно выступил вперед и, медленно произнося слова, чтоб понял иностранец, сказал:

— Мы активисты культурной революции со второго курса. Мы хотели бы поговорить с вами.

— О чем же? — спросил я.

— Мы хотим сказать, что мы стоим за революцию. Мы не пожалеем жизни ради революции! Мы защищали председателя Мао! Мы не боимся трудностей.

Тут все они заговорили наперебой, повторяя навязшие на зубах лозунги.

— И еще мы хотим спросить у вас: почему вас приняли в наш университет? — продолжал тот же паренек.

— Я приехал сюда в соответствии с международным соглашением.

— Это мы знаем. Но почему в наш университет?

— Так решили ваши руководители. Мне было бы куда удобнее учиться в Бэйда, а не у вас.

— Вот видите! — крикнул он, обращаясь к своим спутникам. — Это дело рук черной банды! В наш революционный университет они нарочно прислали ревизиониста!

Стоявший рядом юноша прервал его:

— Но ведь Бэйда тоже революционный университет?

— С кем вы встречались здесь? — продолжал строго первый юнец.

... Меня забавлял этот разговор. Ребята держались прилично, а их изможденный вид и потрепанная одежда вызывали даже сочувствие. Да, ели они не досыта — я знал, как питаются китайские студенты: чашка риса, пампушка, чай. Долгими часами сна они старались обычно возместить недостаток питания. Теперь они лишились и сна: они творят «культурную революцию»...

— С кадровыми работниками университета, — сказал я. — По приезде со мной беседовала заведующая канцелярией по работе с иностранцами Чжао, потом заместитель заведующего филологическим факультетом Лю...

— Чэн принимал вас? — перебив меня, спросил кто-то сбоку.

— Нет. — обернувшись к спрашивающему, сказал я. — Он был очень занят, не смог принять.

— Ничего, теперь у него будет много времени. Сейчас Чэн Цзинь-у держит ответ перед революционными массами за свои преступления. Он сохранил в университете советскую ревизионистскую систему и хотел выращивать из нас буржуазную смену. Но ему это не удалось. Его черные замыслы раскрыты! Вы здесь появились не случайно, — продолжал наступать паренек.

— Меня ваши внутренние дела совершенно не интересуют, — как можно спокойнее возразил ему я.

— Товарищи! Мы не можем терпеть ревизиониста в революционном университете! — вдруг выкрикнул кто-то сзади.

— Как вы относитесь к идеям Мао Цзэ-дуна? — спросил меня первый заговоривший со мной паренек.

— Я сторонник марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, а потому противник националистических идей.

Зная, что мне могут задать подобный вопрос, я заранее заготовил ответ. Расчет мой был прост: во-первых, не следует упоминать Мао Цзэ-дуна, а во-вторых, ответ должен быть бескомпромиссным — это их, безусловно, озадачит. Так оно и было. Ребята, не привыкшие к открытому осуждению святыни, растерялись.

— Вам следует серьезно заняться изучением идей Мао Цзэ-дуна. Вы с ними недостаточно знакомы, — после довольно долгой паузы посоветовал мне мой оппонент.

Я помолчал и, пожав плечами, двинулся вперед. Все расступились. Но едва только они оказались за моей спиной, как раздались крики и брань:

— Советский ревизионист!

— Сволочь! Долой ревизионистов!

— Товарищи, здесь же вопрос о международных соглашениях!.. — донесся до меня чей-то усовещающий голос.

Я обернулся, чтобы взглянуть, у кого же это проснулся здравый смысл, и как нельзя вовремя: вдогонку мне летел кусок кирпича, брошенный энтузиастом «культурной революции». Я уклонился от удара.

Нас разделяло шагов десять, не больше. Ребята смолкли, но продолжали глядеть на меня. С ними заговорил высокий парнишка:

— Этот вопрос касается всего коллектива университета и нуждается в обсуждении. А решать его надо в масштабе всей страны!..

— Революционное сердце не может терпеть живых ревизионистов! — успел расслышать я чей-то возглас.

Ребята снова заспорили, перекрикивая друг друга и яростно жестикулируя. Я предпочел идти своей дорогой.

«Революция» начала меня тревожить не на шутку. На стенде, на перекрестке аллей, где висели официозные красные дацзыбао парткома, теперь появился огромный лист белой бумаги с необычно крупными иероглифами. И вот что я прочитал на нем:

«Долой черное царство! С 1949 по 1966 год они помыкали нами, пили нашу кровь, предавали великого вождя председателя Мао, не слушали его слов! Они пошли против идей Мао Цзэ-дуна!.. Долой черное царство! Да здравствует великая пролетарская культурная революция! Защитим председателя Мао!»

Стена физической лаборатории в боковой аллее была занята, так сказать, тематической дацзыбао: «Преступления черной банды». Вместе с целой толпой студентов я принялся изучать ее. Мое присутствие вызвало у них перешептывания, но, видимо, они пришли к общему мнению: пусть иностранец читает, пусть правильно поймет «культурную революцию». Стена была заполнена жалобами и прошениями обиженных местными властями, в них говорилось о злоупотреблениях, о пороках.

Тут же висел длинный список мебели и прочего имущества в особняке парторга Чэна; подумать только: у него, кроме супружеской двухспальной кровати, была еще и софа для гостей! Студенты читали и возмущались. Сами они жили в узких комнатухах вчетвером и спали на двухэтажных деревянных нарах.

В центре всех этих жалоб, доносов и обвинений висело заключение «революционной группы расследования», которая поработала в столовой для профессоров и кадровых работников университета.

«Наши профессора и начальство из черной банды,— начиналось заключение,— каждый день имели выбор из ста блюд феодальной кухни, которую они лицемерно называли национальной...» Далее перечислялось число свинных и говяжьих туш, съеденных в профессорской столовой за прошлый месяц и за прошлый год — число немалое, несколько сотен,— тысячи кур и уток, сотни литров масла, десятки тысяч яиц.

Истощенные, бледные лица студентов искажались гневом. Переспрашивая друг друга, они лихорадочно записывали эти кричащие цифры. Толпа гудела от возмущения.

На одном из листов была изложена жалоба на «кровавое преступление». Речь шла о самоубийстве юноши, приехавшего из деревни, которого с легким сердцем отчислили за неуспеваемость.

У библиотеки соорудили высокий дощатый помост — не то трибуну, не то эстраду, не то эшафот. На фоне красных знамен на нем стоят выстроенные в шеренгу люди, опустив на грудь головы в ушастых бумажных колпаках. На многих бумажные наклейки, сплошь покрытые надписями. В вытянутых вверх руках они держат фанерные щиты с перечнем «преступлений». На груди у некоторых висят плакатики: «Черный бандит».

— Склони голову! — вдруг услышал я возглас за спиной и резко обернулся: к импровизированному эшафоту вели сравнительно молодого человека.

Двое держали его под руки, а третий ударял по затылку — человек этот не желал опускать голову, он стойко и упрямо выпрямлялся. Тогда конвойные остановились и стали осыпать осужденного бранью и бить куда попало. Избиваемый не сопротивлялся, он шатался из стороны в сторону, пытаясь устоять. Проходившие по аллее студенты сгрудились вокруг него.

— Контра! Сволочь! — неслись выкрики.

Человек упал, и его все наперебой стали пинать ногами, но он не издал ни стоны, ни крика.

От собравшейся у помоста толпы отделились человек пять и бегом помчались к избиваемому, крича:

— Его будут судить массы! Ведите его сюда!

Разъяренная толпа, только что с холодным ожесточением избивавшая беззащитного человека, при властном окрике мгновенно дисциплинированно расступилась. Жертва недвижно лежала на асфальте.

Человека подняли и потащили к помосту. Избитый из последних сил несколько раз пытался поднять голову, но, получив затрещины, беспомощно ронял ее снова. Я смотрел, как его втащили на помост и прислонили к заднику, обтянутому красной тканью. Он соскользнул на пол. Ему приказали встать на ноги и влепили несколько увесистых пощечин, но тщетно. Тогда подошел здоровенный детина — кто-то из ведущих активистов — и заработал солдатским ремнем. Удары ремня привели избитого в чувство, пошатываясь, он встал на ноги. На него натянули бумажный колпак клоуна и накинули бумажную хламиду. Двое юнцов начали быстро что-то писать на ней черной тушью. Еще один парень замазал его лицо белой краской, макая кисть в большую консервную банку,— в старом национальном театре злодеев гримировали белым.

Так невольно для меня, исключенного из жизни китайского общества

иностранца, «культурная революция» стала представляться бесконечным, не прерывающимся ни днем, ни ночью кошмарным спектаклем.

В тот же день я возвращался из клуба советского посольства.

У университетских ворот я хотел было предъявить пропуск.

— Не нужно,— сказал паренек с красной повязкой на рукаве.— Теперь вас знают все дежурные. Проходите, пожалуйста!

Это мне понравилось: может, «культурная революция» действительно ко мне не имеет никакого касательства.

Собрание перед библиотекой продолжалось. Осужденные по-прежнему стояли шеренгой у самого края рампы, держа в вытянутых руках над головой фанерные щитки с перечнем своих преступлений. Я остановился и глядел на эти странные фигуры, как будто явившиеся из другого мира, с непонятным мне самому равнодушием и душевной черствостью.

Время шло, и вдруг люди начали один за другим мешковато валиться на помост. Все глазели на них, но никто к ним не подходил, не трогал их — это, видимо, никого не удивляло. Но тут уж я не выдержал и спросил стоявшего рядом паренька с красной повязкой, что с ними.

— Они стоят так целый день. Человек же не может простоять долго, держа руки над головой,— вот они и падают,— охотно объяснил он мне, нарушая строгий запрет вступать в разговор с иностранцами.— Только их нечего жалеть. Ведь это черные бандиты и предатели. Они захватили власть в парткоме и насаждали здесь черное царство. Зато теперь пришло время, и революционные массы спросят с них.

А в это время на эстраду, освещенную ярким светом ламп, вышли молодые ребята с ремнями в руках и принялись самозабвенно хлестать упавших. Те поднимались, снова падали, фигуры «революционеров» прыгали вокруг них, пряжки ремней поблескивали в лучах света, а возбужденная толпа, требуя смерти, скандировала:

— Ша! Ша! Ша!..

Как замороженные смотрели китайские студенты на эстраду и не могли оторвать от нее взгляда. И я пытался понять их, окаменевших, сосредоточенных и потрясенных: ведь каждый из них подсознательно страшился того, что может попасть туда, может стать таким, одним из тех, ибо в КНР «революция» вечно и «не надо бояться хаоса». Ведь никто из них не знал, что готовит им будущее.

Живя в Китае, наблюдая поведение и нравы, я все больше укреплялся в мнении, что вежливость, послушание — качества, достигшие здесь всеобщего распространения. Но почему же так легко, с такой твердой верой в свою правоту, в высшую справедливость молодые ребята, не дрогнув, творили жестокий суд и расправу над людьми старшего поколения, издевались над ними, попирая человеческое достоинство, словно бы никогда не ведали о нем? Как легко, как бездумно поверили они в то, что творимые ими бесчинства и издевательства над людьми и есть революция, свержающая власть недостойного начальства, как легко поддались они фанатизму.

Почему одного жеста, одной передачи по радио, одной газетной статейки, думал я, оказалось достаточно для взрыва? Китай, конечно, не голодал в 1966 году, но больные ранней гипертонией, пожелтевшие от болезни печени, теряющие зрение люди — живая память недавних голодных лет, когда люди ели траву, листья и даже кору с городских тополей. И ведь за это никто еще не ответил. Напротив, в массе своей мелкое начальство, которое только и видят люди, оставалось незыблемым.

С них, с этих кадровых партийцев, думал я, спрашивали те, кого воспитали они сами, и спрашивали именем того, кому они всю жизнь служили. Они служили плохо, несмотря на верность и преданность, потому что не могли, не умели слу-

жить лучше. И они гибнут с ведома своего безмолвствующего сейчас вождя, который заранее, видимо, уже принял решение отдать их на жертвенный алтарь.

Охваченный этими мыслями, я быстро шел по аллеям, направляясь в общежитие. В ушах звенели отчаянные, клятвенные крики о любви к Мао Цзэ-дуну парторга Чэна — человека, пролившего кровь за победу революционного Китая, слепо, фанатично верившего каждому слову председателя Мао. Он верил в освобождение китайского народа, верил в социалистическое строительство, поверил в «измену» СССР, а теперь он должен был — и не мог, не хотел — поверить в собственную обреченность.

Но что же думают те, кто своими руками вершит бесчеловечную «культурную революцию»? Им чужды и смешны милосердие и человечность. Но им должен быть присущ хотя бы инстинкт самосохранения. Пусть ими движет слепая вера, сочетающаяся с жаждой деятельности (точнее, карьеры и власти). Но разве в судьбах своих жертв они не видят предостережения самим себе?

Не зная китайской жизни, китайских традиций, эта мысль может показаться странной, даже невероятной. Но если обратиться к прошлому этой страны, она станет понятной. В огромном многомиллионном Китае человека издревле подстерегали две неотвратимые опасности — голод и войны. От голода погибали миллионы. Урожайные годы все чаще сменялись бедственными. Правда, в голодные 1959—1961 годы умирало все же меньше, чем прежде, но я сам еще в 1966 году видел людей, никогда еще не евших досыта. Голод в Китае страшен, каждый человек здесь понимает, что может пасть его жертвой.

Издревле защита от голода была одна: вступление на государственную службу. Солдат, чиновник, служащий всегда сыт и одет, пока он на посту, а за место держатся здесь мертвой хваткой. Карьеризм молодежи даже трудно назвать карьеризмом — это скорее инстинкт самосохранения.

Но в стране сейчас ничего не делается для того, чтобы облегчить жизнь народу. Скучные ресурсы подчистую поглощаются ядерным вооружением. Жилищное строительство прекращено, сельскохозяйственное кредитование приостановлено. Первобытный ручной труд крестьян ничем не облегчается. Из крестьянства выжимается все, что только можно выжать, чтобы создать великодержавное могущество. Вот почему понадобилось самому Мао открыть предохранительный клапан — иначе «котел», именуемый Китаем, мог не выдержать давления все более сгущающихся паров. И вот, поощряемая свыше, ринулась в приоткрывшуюся щель молодежь.

IV

Буднями стали барабанный бой и толчея в аллеях. Странно было думать, проходя мимо залепленных дацзыбао аудиторий и лабораторий, что здесь кто-то когда-то занимался, что-то изучал, исследовал. Собрания — вот их назначение. Собрания шли безостановочно, с трансляцией и без нее, но всегда с хриплыми, возбужденными ораторами, бурной общей реакцией и резкими репликами.

Площадь перед библиотекой стала местом дискуссионных митингов. Они начинались с наступлением темноты и шли при свете юпитеров до поздней ночи. Словесные бои нередко переходили в обычную драку, и тогда толпа грозно рычала, а проворные активисты с глазами, воспаленными от проведенных без сна ночей, растаскивали спорщиков. Такие места назывались «боевыми площадками».

Суды с рукоприкладством и «уничтожением авторитета» происходили на стадионе.

А погода стояла отличная, и в аллеях расцвели мимозы. Университет наполнился пряным ароматом и самыми причудливыми переливами мягких красок.

Как-то возвращаясь после завтрака, я прогуливался по окаймленным цветущими мимозами аллеям. Со стадиона, где всегда кого-то мучали, за что конкретно — я уже не знал, да и как-то устал интересоваться, долетали вопли, но они теперь уже воспринимались как нечто привычное.

Но вдруг оттуда раздался такой исступленный рев, что я невольно шархнул в сторону и стал за дерево, и тут со стадиона вырвалась воющая, возбужденная толпа и с поднятыми кулаками, подстегиваемая собственным криком, бегом понеслась, не разбирая дороги, через цветочные бордюры и живые изгороди. Они бежали плотной массой, крича и задыхаясь. Они выкрикивали чьи-то имена, но я уже и не старался вникнуть в смысл, а плотно прижался к стволу дерева, чтобы остаться незамеченным. Так поступил не я один — все проходившие по аллее китайцы тоже быстро расступились. Бегущие пронеслись мимо, тяжело дыша, и ворвались в подъезд четырехэтажного жилого корпуса для преподавателей и их семей. Из открытых окон донеслись неясные крики, требованиа.

— Он член партбюро факультета и все дни не выходил из дому. Скрывается от масс. Его почему-то забыли сразу выволочить! — возбужденно рассказывал собравшимся возле дома любопытным щуплый подросток, прибежавший со стадиона.

«Выволочить» — стало излюбленным словечком активистов «культурной революции». Оно означало, что человека насильно тащат на публичную расправу.

— Победа! Еще одну сволочь выволочили! — прокричал звонкий юношеский голос из распахнутого окна на втором этаже.

Из подъезда, подгоняемый пинками активистов, державших ему за спиной руки, быстро вышел, согнувшись в три погибели, пожилой человек. Толпящиеся у подъезда «революционеры» плевали в него, норовя попасть в лицо. Не желая, чтобы его волокли, он сам из последних сил спешил к помосту на стадионе.

«Революционеры», оставшиеся в квартире «выволоченного», принялись за работу. Чей-то звонкий голос торжественно читал членам семьи «революционную» мораль и требовал «идейного перевоспитания».

— Вы должны помочь другим понять всю тяжесть совершенных преступлений, — доносилось из окна. — Если самые близкие родственники открыто обличают преступления, то это будет отвечать пылкости классового чувства. Классовые чувства должны быть сильнее, чем перешедшее из старого общества чувство родства. Во имя культурной революции и в соответствии с идеями председателя Мао вы должны выступить. Это спасет вас самих от ошибочных идей...

Пока один читал проповедь, другие ребята, с виду совсем мальчуганы, заклеивали окна квартиры бумагой, расписывая их крепкими ругательствами и проклятиями.

Теперь я понял, что означает такое заклеенное окно жилого дома — ведь я видел их уже немало.

* * *

Я старался выходить из общежития пореже и много читал у себя в комнате. Но, кроме посещения столовой, мне все же приходилось раза два в день наполнять свой термос кипятком в кубовой возле физической лаборатории сверхнизких температур. Небольшое здание лаборатории сияло люминесцентными лампами. Там всегда кто-то работал допоздна. Проходя как-то мимо двери лаборатории, я обратил внимание на приколотую к ней дацзыбао.

Лаборанты осуждали заведующего лабораторией за то, что он «выше головы ушел в физику», «забывает о политике», «перегружает научной работой» так, что «не остается времени на изучение сочинений председателя Мао».

На следующий день я увидел приколотый к этой дацзыбао листок из блокнота. То, что на нем было написано, буквально потрясло меня своей смелостью и высоким чувством человеческого достоинства.

«Я верю в физику, науку не только сегодняшнего дня, но и будущего, — писал ученый в ответ на обвинения дацзыбао. — Если сейчас мои знания нужны Китаю, то через двадцать пять лет они станут еще нужнее и важнее. А политику и идеи Мао Цзэ-дуна люди быстро забудут»...

На другой же день наружные стены лаборатории были сплошь залеплены новыми дацзыбао. Отповедь ученого, тщательно и крупно переписанная, красовалась в центре, окаймленная траурной рамкой. Рядом красивыми размашистыми знаками стоял ответ:

«...Иден Мао Цзэ-дуна — солнце человечества, вершина революционной науки нашего времени. Они сейчас побеждают в Китае и завоюют его через год, а через двадцать лет завоюют весь мир. Они навечно станут путеводным светом человечества! А тебя, ничтожное насекомое, люди забудут уже через десять дней»...

Я не был знаком, даже не видел никогда этого китайского физика, я только знал, что он учился в Советском Союзе и руководил в Педагогическом университете лабораторией сверхнизких температур. Но я собственными глазами читал и даже переписал в свой блокнот его полный отваги и достоинства ответ. И я знаю, что не забуду этого замечательного человека, пока буду жив сам. Судьба его мне неизвестна — жив он или растерзан толпой фанатиков, — но в лаборатории его свет погас.

* * *

Разоблаченных и осужденных «врагов революции» водили по университету. Это особое наказание. Его смысл, как мне разъяснили, — уничтожение человеческого достоинства. Так поступают только с теми, кто известен своей ученостью, образованностью или опытом руководящей работы, чтобы развенчать их, развевать ореол вокруг «старой», «черной» культуры — к ней «революционеры» относили все, что существовало до «идей Мао Цзэ-дуна». Но как это ни трагично, сама процедура «вождения» — это возрождение средневекового обычая. Вообще «культурная революция» возродила многие мрачные и невежественные обычаи средневековья, с которыми я знакомился в повестях XI—XIII веков.

Вот это страшное, дикое зрелище, виденное мною воочию.

...Окруженный четырьмя активистами, медленно идет человек. Он связан, и у каждого из них в руках по концу веревки. На нем островерхий бумажный колпак и нечто вроде бумажного плаща. Все это небрежно размалевано черными иероглифами, постоянно повторяющимися выражения «контрреволюционный элемент», «черная сволочь», «предатель», «черепаша», «подонок», «сукин сын» и прочее. Немного поодаль позади шествует с громадным барабаном барабанщик. Медленно и мерно он бьет в него, а в паузах осужденный высоким фальцетом выкрикивает:

— Я старый контрреволюционер! Я не понял идей председателя Мао! Я каждый день предавал революцию! Я гнул спину перед черной бандой! Я преданно проводил черную линию!..

За барабанщиком тянется процессия человек из пятидесяти. Время от времени они выкрикивают здравицы в честь председателя Мао и громко заявляют о своей решимости довести до конца «культурную революцию».

Я стоял на обочине, глядя на это шествие. В этот момент осужденный почему-то прокричал свое покаяние тише, чем обычно, тогда шедший рядом активист размахнулся и дал ему затрещину, прикрикнув:

— Громче!

Шествие следовало дальше, и голос осужденного звучал громче.

Китайский народ любит зрелища, он очень музыкален. Поэтому все, что делали «революционеры», было театральным, торжественным, заранее продуманным церемониалом, нечто вроде «революционного священнодействия».

Но были у них наказания и другого рода: трудовые команды. Тут не было никакой театральности. Наткнулся я как-то на такую команду у себя в Педагогическом университете. Я направлялся к северным воротам. Аллея шла вдоль жилого квартала и была почти безлюдна. Только на середине ее прохаживались конвоиры с красными повязками, большей частью девушки лет восемнадцати —

двадцати. Но поравнявшись с ними, я увидел, что в канавах по обеим сторонам аллеи копошатся какие-то люди. Это и была команда осужденных, они чистили канавы.

Это были старики и старухи, на груди у них висели на длинном шнурке дощечки с позорными надписями. Старые люди, присев на корточки, короткими ручными цапками прочесывали траву и кустарник, собирая пожухлые листочки, бумажки и прочий мусор. Подобное унижение седин до этого времени было просто немыслимо в Китае — я даже остановился в растерянности. Девушка-конвоир, поняв это по-своему, подошла ко мне и, любезно улыбаясь, сказала:

— Здесь проход разрешен, пожалуйста.

— Что это за люди? — спросил я.

— Это враги революции, тунеядцы и кровопийцы. Они недостойны называться людьми.

Я подошел к старухе со слезящимися красными глазами — на вид ей было за шестьдесят — и прочитал на болтавшейся у нее на груди дощечке: «Родственница контрреволюционного элемента».

— Но ведь сама-то эта старая женщина не контрреволюционер? — спросил я у девушки-конвоира.

— Как она может быть не контрреволюционером! — удивилась та. — Ее сын — крупный черный бандит. Он был врагом председателя Мао внутри партии!

Тут ко мне подошел паренек постарше, очевидно, начальник конвоя, и предложил проводить меня. Я последовал за ним.

Вдоль всей аллеи в канаве копошились старики. Все они были бледны, никто не говорил ни слова. В конце аллеи к нам подошла еще одна девушка-конвоир.

— Вот эта старуха плохо работает, — указав на одну из согбренных фигур, сказала она молодому начальнику. Тот подошел вплотную к осужденной и довольно вяло прикрикнул:

— Давай! Пошевеливайся!

В его голосе не было угрозы, а была только усталость. Он не ударил старую женщину, хотя для этого у него был повод, тогда как в те дни осужденных избивали и оплевывали без малейшего повода. Девушка-конвоир куда лучше усвоила «идеи Мао Цзэ-дуна»: на ее широком лице, кроме фанатичной веры в свою правоту, можно было прочитать недоумение. Ей очень хотелось примерно наказать строптивую старуху. Начальник понял, что ему следует объяснить ей свое поведение.

— Я сопровождаю иностранца, — сказал он. — Это советский стажер.

Видимо, он действительно постеснялся моего присутствия и воздержался от рукоприкладства при таком свидетеле. Но девушка была настроена воинственной.

— Какое это имеет значение?! Я не согласна! Мы должны делать культурную революцию, а не оглядываться на иностранцев, да еще на ревизионистов!

Начальник явно струхнул от такой острой критики и поспешно зашагал вперед, я последовал за ним. У первой боковой аллеи он остановился и предложил мне свернуть в нее: там трудовых команд не было.

Мне нужно было зайти в прачечную, а для этого я должен был пройти мимо начальной школы. Возле школьной ограды, за которой с веселым гамом резвились ребятишки, меня обогнали двое школьников, видимо, седьмого класса.

— Здравствуйте, советский друг! — сказал мне на ходу один из них. — Мы помним о нашей дружбе и любим Советский Союз!

Лицо его было серьезно, он смотрел прямо перед собой, а не на меня. Пробежав еще немного вперед, ребята оглянулись и крикнули по-русски:

— Дружба!

Это слово, сказанное молодыми китайцами, было мне тогда так дорого и необходимо.

Как-то возвращаясь к себе в общежитие, я увидел над входом плакат с надписью: «Антиревизионистское здание».

«Что-то новое. Но что это означает? Буду просто игнорировать», — решил я.

В вестибюле ко мне подошел сотрудник канцелярии.

— Вы читали надпись у входа?

— Читал.

— У вас есть замечания?

— Нет. Меня она не касается. Ведь я иностранец, и ваши внутренние дела не имеют ко мне ровно никакого отношения.

А все объяснялось просто. После того как руководство канцелярии по работе с иностранцами было изгнано, молодые сотрудники ее решили отмежеваться от него этой надписью и заняться революционной деятельностью. Они целыми днями заседали, плотно набиваясь в прежний кабинет заведующей, и приняли ряд «великих» решений. Об одном из них я узнал из объявления, вывешенного на стене: срочно установить доску с изречениями Мао Цзэ-дуна у входа в общежитие.

Объявление можно было понять как приглашение иностранцам участвовать в этом священнодействии. Но охотников среди них не нашлось.

Тогда сюда пригнали команду осужденных. Я возвращался из столовой, когда они начали рыть ямы. Было жарко. Под козырьком подъезда стоял молодой конвоир с красной повязкой и лениво болтал со стариком привратником. Я поздоровался и спросил конвоира, что за стройка здесь затевается.

— Мы вроем столбы, набьем доски, обтянем их красной материей, а поверх напишем золотыми знаками изречения председателя Мао, — словоохотливо сообщил он мне. — Это будет очень красиво, торжественно и величественно.

— А что за изречения?

Оказалось, что он забыл, какие именно слова вождя будут начертаны. Завтра сюда придут художники и напишут их. «Значит, ты не больно ретивый революционер, и хорошо», — подумал я.

— А кто эти люди? — задал я ему свой обычный вопрос.

— Контрреволюционеры и помещики, — отвечал конвоир.

В самом деле, у одного из землекопов на груди был нашит знак из белой ткани с надписью «помещичий элемент».

— Так, значит, вы помещик, — обратился я к осужденному. — Кем же вы были до «культурной революции»?

Пожилой человек, бледный и осунувшийся, в кургузой и нескладной робе, растерянно глядел то на меня, то на конвоира.

— Говори, говори! — милостиво разрешил ему конвоир.

— Я прежде был членом партбюро на историческом факультете, — робко ответил он.

— О, так, значит, помещиком вы были до Освобождения?

— Нет, до Освобождения я был в Восьмой армии.

— Так когда же вы были помещиком? — удивился я.

— Я им не был никогда, но мой отец имел больше двадцати му¹ земли и считался помещиком. Я с юных лет участвовал в революции..

Тут в разговор вмешался конвоир.

— Здесь говорится о его социальном происхождении, — ткнув пальцем в надпись на груди осужденного, сказал он. — Он вышел из враждебного народу класса. Поэтому во всей его деятельности сказывались привычки паразита — все то, что у нас в Китае называется ревизионизмом.

— А вы сами член партии? — осведомился я у конвоира.

— Нет. Но я принадлежу к молодому поколению эпохи Мао Цзэ-дуна! — самодовольно заявил он. — Ну-ка, живее поворачивайтесь! — прикрикнул он на свою команду и, обращаясь ко мне, заметил снисходительно: — Вам, иностран-

¹ Му — китайская мера площади — 1/16 гектара.

цам, трудно понять Китай. Вы нас никогда не понимали и не поймете. Вас в Советском Союзе, наверное, считают специалистом по Китаю. Конечно, конечно, знающих китайский язык иностранцев совсем немного. Поэтому вас и считают специалистом.— Он лукаво улыбнулся.— Знаете, что сказал про иностранных китаистов премьер Чжоу? Нет? Наш премьер Чжоу назвал их дипломированными лакеями американского империализма и современного ревизионизма. Их держат для того, чтобы они предсказывали, как и что будет происходить в Китае. Только ни одно их предсказание никогда не сбывается! Разве вы знали, что начнется культурная революция?

— Не знал,— честно сознался я.

— Вот видите! — Конвоир был горд и счастлив.— Эти люди, их даже и нельзя считать людьми, если они не исправятся, кричали о своих заслугах перед революцией. Но кому нужны их заслуги, если они не хотят усваивать идей председателя Мао? Ведь после победы революции они хотели жить в довольстве, ни в чем себе не отказывая.

— А разве революция не для того, чтобы людям жилось хорошо?

— Революция совершается во имя революции! Революция вечна, Китай всегда будет революционным. Хорошая жизнь — это жизнь ради революции и идей Мао Цзэ-дуна. Революция позволяет массам овладеть идеями Мао Цзэ-дуна, а это всего важнее!

— Значит, революция совершается ради идей Мао Цзэ-дуна? — иронически спросил я.

— Вам этого не понять — ваше сознание заражено современным ревизионизмом,— заявил он.

— А что значит такая надпись? — спросил я, не желая углублять спор, указал на осужденного с нагрудным знаком «контрреволюционный элемент».

— Я был членом партии и выступал против культурной революции,— сказал носитель знака.

— Он из тех, кто признал свою вину,— пояснил конвоир.— Прежде он считался профессором.

— Что же с ними со всеми будет?

— Мы еще не решили. Они осуждены, но окончательного приговора еще нет. Пока мы их исправляем физическим трудом, вы видите, что труд не тяжелый, но идейно он очень полезен, потому что наглядно показывает им самим величие идей Мао Цзэ-дуна. Это очень важное средство перевоспитания. Но мы перевоспитываем их не только трудом, но и сменой условий жизни. Мы выселили их из квартир, конфисковали имущество и наложили арест на зарплату. Теперь они живут все вместе, и мы охраняем их от гнева масс. Условия их жизни такие же, как и у многих крестьян.

— Но почему вы глумитесь над ними, топчете их человеческое достоинство, бьете, оплевываете, унижаете?

— У классового врага не может быть человеческого достоинства. Мы не считаем их людьми. У них были все возможности перевоспитаться и стать верными учениками председателя Мао. Но они не захотели делать этого. А унижать их мы вынуждены. Старое общество создавало культ вокруг никчемных знаний. Мы должны вытравить в массах всякое уважение к бесполезным знаниям старой интеллигенции. Вот почему мы их водим с барабаном и надеваем позорные колпаки. Пусть все видят, как они смешны и беспомощны! Грош цена их науке! А как они вели себя раньше, как нагло отказывались изучать сочинения председателя Мао. Они позволяли себе издеваться над нами,— новой революционной сменой! Не признавали того, что сочинения Мао Цзэ-дуна — вершина человеческой мысли!

Заведя разговор с этим пареньком, который мне показался не таким фанатичным, как прочие, я думал, что услышу какие-то нормальные человеческие рассуждения и слова, но я снова, увы, в который уж раз, хлебнул стандартной агитации.

* * *

Обычно я отправлялся обедать минут на двадцать позже вьетнамских студентов — их было все же около ста человек и всегда образовывалась очередь. Повар, знающий европейскую кухню, которого держали в столовой для иностранцев, превратился теперь чуть ли не в моего личного повара — я был его единственным клиентом. Но я предпочитал китайскую кухню и сохранил в своем рационе из европейской еды только молоко и простоквашу. Приходил я всегда в одно и то же время и сразу получал на подносе свой обед.

Однажды вьетнамцы ездили на экскурсию и опоздали к обеду. Когда я вошел в зал, возле раздаточной толпилось еще много народу. Я решил подождать и от нечего делать прошелся по темноватому коридору, заставленному корзинами с овощами, весами, разными ящиками. Другой конец коридора упирался в светлый зал бывшей столовой для кадровых партийных работников и профессуры. Я остановился на пороге. Здесь было много молодежи. Дежурные с красными повязками контролировали раздачу пищи. В дальнем углу зала появилось прорубленное в стене окно с надписью: «Для уродов и чудовищ и всей сволочи нашего университета». У окна стояли несколько человек с нагрудными знаками, в руках у них были алюминиевые миски. Это были осужденные. В зал входили все новые и новые и направлялись к раздаточному окну. Один вошел было обычной своей походкой, но кто-то из сидящих громко крикнул ему:

— Склони голову, сволочь!

Тот немедля согнулся, но было поздно — кто-то уже успел подставить ему подножку, другой пнул его в спину, а молодой парень, сидевший прямо напротив меня, не спеша поднялся и, выждав, пока к нему приблизится осужденный, плюнул ему в лицо.

Получив брошенную в миску порцию маринованной капусты и паровую круглую булочку маньтоу цвета дорожного асфальта, осужденные с видом побитых собак торопились прошмыгнуть к выходу, но и на обратном пути они получали со всех сторон пинки и плевки.

— Смерть дармоедам!

— Нечего кормить уродов и чудовищ!

Эти озлобленные выкрики перемежались торжествующими возгласами:

— Да здравствует великая культурная революция!

— Да здравствует председатель Мао!

Впрочем, бурная деятельность по перевоспитанию «уродов и чудовищ» не мешала «молодым революционерам» с аппетитом уписывать рис и лапшу. Мне же от всего этого стало так тошно, что когда меня позвал обедать наш повар Ли и поставил передо мной поднос, я долго сидел за столом, заставляя себя с усилием глотать кусок за куском.

По университету поползли слухи о самоубийствах, они стали буднями «культурной революции». Говорили, что работник разогнанного пекинского горкома КПК утопился в быстрых водах обводного канала, что преподаватель марксизма-ленинизма университета, простояв несколько суток у позорного столба, не вынес издевательств и бросился в колодец, и всякие другие мрачные истории. Но слухи и разговоры — это одно, а вот когда видишь такие вещи собственными глазами — совсем другое.

В один из дней, проходя мимо административного корпуса, у входа в который, как это обычно бывало, шел митинг, я обратил внимание, что участники его вели себя необычно: не слушали оратора, переговаривались, непрерывно двигались, старались заглянуть через головы впереди стоящих на что-то. Как оказалось, они подходили посмотреть на безжизненное тело истощенного, в обтрепанной одежде, совсем еще молодого студента. Студент этот был сиротой, и что особенно тревожило «революционеров» — он был из бедной крестьянской семьи. Еще в годы гражданской войны мальчика подобрал политработник На-

родно-освободительной армии, он прижился в новой семье, был усыновлен, получил образование и поступил в университет, чему немало способствовало влияние приемного отца. После Освобождения комиссар был демобилизован из армии и направлен в Пекинский педагогический университет. Он здесь работал и учился, стал видным деятелем в партийной организации, а теперь попал в число «больших черных бандитов». На собрании у юноши потребовали отказаться от своего приемного отца, но он не только не сделал этого, но всячески пытался оправдать осужденного.

— Мы были вынуждены осудить его самого,— распинался оратор со ступеней,— но не с легким сердцем мы пошли на борьбу с нашим братом по классу, обманутым классовым врагом. Мы хотели, чтобы он прозрел, но он упорствовал в своем заблуждении и поставил личную благодарность выше классовой. Он не хотел понять, что своей судьбой он обязан не предателю революционных масс, а нашему великому вождю председателю Мао, освободившему китайский народ и поднявшему нас на великую культурную революцию! Шесть часов мы обсуждали его на собрании и поняли, что он переродился во врага и не способен исправиться, не способен склонить голову перед массами и послужить примером для других, не способен отстаивать великие идеи председателя Мао! И вот доказательство, что все так и есть на самом деле! Он выбросился из окна в страхе перед массами и от ненависти к революции! Он хотел своей смертью повредить культурной революции, но вы все свидетели, что его злобный замысел сорвался! Он ни на волос не повредил революции, напротив, он доказал всем, что он враг. Теперь нет сомнений на этот счет. Своим самоубийством он доказал и другое — что враги культурной революции бессильны, даже своей смертью они не могут помешать тому, что идеи Мао Цзэ-дуна завоевывают семисотмиллионный китайский народ!..

Апломб и демагогия оратора на этот раз не воздействовали обычным образом на собрание. Оно шло без оваций и здравниц, без восторженного или возмущенного рева.

Я всегда питал к китайцам симпатию и охотно дружил со своими сверстниками. Но теперь, столкнувшись лицом к лицу с «культурной революцией», я невольно задумался и начал переоценивать ценности. Университетская молодежь забросила книги, оплевала седины, надсмехалась над знаниями и самой наукой; эти прежде такие милые, вежливые ребята стали насильниками и погромщиками. Может ли что-нибудь еще быть горше? И все же я пытался объяснить самому себе их поведение. Я говорил себе: они всего лишь инструмент, орудие злой воли. Вина за все творимое ими падает на тех, кто сознательно, в государственном масштабе развязал дикие инстинкты, сделал одних жертвами насилия, а других развратил насилием.

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

О ПОЭЗИИ МАРШАКА

1

В 1957—1960 годах было выпущено Гослитиздатом первое собрание сочинений С. Маршака в четырех томах.

Помню, как, просматривая первый том с дарственной надписью Самуила Яковлевича — книгу в шестьсот с лишком страниц, снабженную по всей форме солидного подписного издания портретом автора и критико-биографическим очерком, я, при всей моей любви к Маршаку, не был свободен от некоторого опасения. До сих пор эти стихи, широко известные маленьким и большим читателям, выходили под маркой Детиздата малостраничными, разноформатными книжками, которым и название-то — книжки — присвоено с натяжкой, — их и на полке обычно не ставят, а складывают стопкой, как гетрадки. Но эти детские издания пестрели и горели многокрасочными рисунками замечательных мастеров этого дела — В. Конашевича, В. Лебедева и других художников, чьи имена на обложках выставлялись обычно наравне с именем автора стихов.

Как-то эти стихи будут выглядеть здесь, под крышкой строго оформленного, приземистого тома, который не только можно поставить на полке рядом с другими, но и где угодно отдельно — будет стоять, не повалится? Не поблекнут ли они теперь, отпечатанные на серых страницах мелким «взрослым» шрифтом, вдруг уменьшившиеся объемом и лишенные обычного многоцветного сопровождения? Не случится ли

с ними в какой-то степени то, что так часто случается с «текстами» широко известных песен, когда мы знакомимся с ними отдельно от музыки?

Но ничего подобного не случилось. Я вновь перечитывал эти стихи, знакомые мне по книжкам моих детей и неоднократно слышанные в чтении автора, — страницу за страницей, и они мне не только не казались что-то утратившими в своем обаянии ясности, четкости и веселой энергии слова, нет, эни, пожалуй, даже отчасти выигрывали, воспринимаясь без каких-либо «вспомогательных средств». Стих, слово — сами по себе — наедине со мною, читателем, свободно располагали не только своей звуковой оснасткой, но и всеми красками того, о чем шла речь, и они не были застывшими отпечатками движения, действия, но являлись как бы самим движением и действием, живым и подмывающим.

Это свойство подлинной поэзии без различия ее предназначенности для маленьких или больших, для книжек с красочными иллюстрациями или изданий в строгом оформлении, для чтения или пения. Недаром строки по-настоящему поэтической песни заставляют нас иногда произносить их и просто так, когда песня уже спета, вслушаться в их собственно словесное звучание.

Первое собрание сочинений С. Маршака вышло тиражом триста тысяч. Количество подписчиков на то или иное издание — это своеобразный читательский «плебисцит», и его показатели в данном случае говорили об огромной популярности Маршака.

Трудно назвать среди наших современников писателя, чьи сочинения так ма-

Статья написана в качестве предисловия к новому изданию собрания сочинений С. Я. Маршака, подготовленного издательством «Художественная литература».

ло нуждались бы в предисловиях и комментариях. Дом поэзии Маршака не нуждается в громоздком, оснащенном ступеньками, перильцами и балясинками крыльце — одном для всех. Он открыт с разных сторон, его порог везде легко переступить, и в нем нельзя заблудиться.

Здесь невозможны такие случаи, как, скажем, при чтении Б. Пастернака или О. Мандельштама, по-своему замечательных поэтов, где подчас небольшое лирическое стихотворение требует «ключа» для расшифровки заложенных в нем «многоступенчатых» ассоциативных связей, намеков, иносказаний и умолчаний. Тем более что Маршак — как редко кто — сам себе путеводитель и лучший толкователь идейно-эстетических основ своей поэзии.

Но дело не в этом только, а скорее всего в том, что произведения разностороннего и сильного таланта Маршака никогда не были предметом сколько-нибудь резкого столкновения в критике противоположных мнений, споров, нападок и защиты.

Говоря так, я не беру в расчет стародавние попытки «критики» особого рода обнаружить и в детской литературе явления «главной опасности — правого уклона», и с этой точки зрения обрушившейся было на популярные стихи С. Маршака и К. Чуковского, но получившей в свое время решительный отпор со стороны М. Горького.

Высказывания литературной критики о Маршаке различаются по степени чуть более или чуть менее высоких оценок. И высказывания эти, чаще всего приуроченные к очередным премиям и наградам или юбилейным датам поэта, дело прошлое, уже приобретали характер канонизации, когда стирается граница между действительно блестящими и менее совершенными образцами его работы.

Литературный путь С. Маршака не представляется, как у многих поэтов и писателей его поколения, расчлененным на этапы или периоды, которые бы различались в коренном и существенном смысле. Можно говорить лишь о преимущественной сосредоточенности его то на стихах для детей, то на переводах, то на политической сатире, как в годы войны, то на драматургии или, наконец, на лирике, как в последние годы жизни. Но и здесь нужно сказать, что он никогда не оставлял полностью одного

жанра или рода поэзии ради другого и сам вел именно то «многопольное хозяйство», которое настойчиво пропагандировал в своих пожеланиях литературным друзьям и воспитанникам.

Маршак, каким мы знаем его с начала двадцатых годов, с первых книжек для малышей, где стихи его занимали как бы только скромную роль подписей под картинками, и до углубленных раздумий о жизни и смерти, о времени и об искусстве в лирике, завершающей его литературное наследие, — ни в чем не противостоит самому себе. В этом смысле он представляет собою явление исключительной цельности.

По внешнему признаку Маршак кончает тем, с чего обычно поэты начинают — лирикой; но эта умудренная опытом жизни и глубоким знанием заветов большого искусства лирическая беседа с читателем вовсе не похожа на запоздалые выяснения взаимоотношений поэта со временем, народом, революцией. Он начал свой путь советского писателя зрелым человеком, прошедшим долгие годы литературной выучки, не оставив, однако, за собой значительного следа в дооктябрьской литературе. Ему вообще не было нужды на глазах читателя что-то в своем прошлом пересматривать, от чего-то отказываться. Не связанный ни с одной из многочисленных литературных группировок тех лет, не причастный ни к каким манифестам, не писавший никаких деклараций в стихах или прозе, он, попросту говоря, начал не со слов, а с дела — скромнейшего по видимости дела — выпуска тоненьких иллюстрированных книжек для детей.

Почти полувековая работа С. Я. Маршака в детской литературе, художественном переводе, драматургии, литературной критике и других родах и жанрах — не знала резких рывков, внезапных поворотов, неожиданных открытий. Это было медленное, непрерывное — в упорном труде изо дня в день — накопление поэтических ценностей, неуклонно возрастающее с годами. Его слава художника, упроченная этой последовательностью, чужда дуновениям моды и надежно застрахована от переменчивости литературных вкусов.

Маршак освобождает своих биографов и исследователей от необходимости неизбежных в других случаях пространных толкований путей и перепутей его развития или

особо сложных, притемненных мест его поэзии. Если бы и нашлись места, требующие известной читательской сосредоточенности, то это относилось бы к Шекспиру, Блейку, Китсу или кому другому, с кем знакомит русского читателя Маршак-переводчик, которому заказаны приемы упрощения или «облегчения» оригинала.

Но при всей видимой ясности, традиционности и как бы незамысловатости приемов и средств Маршака, он, мастер, много думавший об искусстве поэзии, заставляет всматриваться и думать о себе не менее, чем любой из его литературных сверстников, и куда более, чем иные сложные и пересложные «виртуозы стиха».

И это обязывает, говоря о нем, по крайней мере избежать готовых, общепринятых характеристик и оценок. Чаше всего, например, при самых, казалось бы, высоких похвалах таланту и заслугам художника, у нас наготове услужливый оборотец: «один из...» А он таки просто один и есть, если это настоящий художник, один без всяких «из», потому что в искусстве — счет по одному. Оно не любит даже издавна применяемой «парности» в подсчетах и распределении его сил, о которой с огорчением говорил еще Чехов, отмечая, что критика всегда ставила его «в паре» с кем-нибудь («Чехов и Короленко», «Чехов и Бунин» и т. д.). В нашей критике в силу этого принципа парности долгое время было немислимим назвать С. Маршака, не назвав тотчас К. Чуковского, и наоборот, хотя это очень разные люди в искусстве и каждый из них сам по себе во всех родах и жанрах их разнообразной литературной работы.

Мои заметки — это даже не попытка критико-биографического очерка или обзора, охватывающего все стороны и факты жизни и творчества С. Я. Маршака. Это лишь отдельные и, может быть, не бесспорные наблюдения, относящиеся к его разнообразному наследию; отчасти, может быть, наброски к литературному портрету. Для многих из нас, близко общавшихся с ним, знавших Маршака — замечательного собеседника, видевших его, так сказать, в работе и пользовавшихся его дружбой, он — как бы часть собственной жизни в литературе, в известном смысле школа, которая была ценна не только для тех, кто встречался с ним зеленым юношей.

2

Я не сразу по-настоящему оценил высокое мастерство детских стихов С. Я. Маршака. Причиной было скорее всего мое деревенское детство, которое вообще обошлось без детской литературы и слишком далеко отстояло своими впечатлениями от специфически городского мира маршаковской поэзии для детей.

«Детский» Маршак раскрылся мне в полную меру достоинств этого рода поэзии через Маршака «взрослого», в первую очередь через его Роберта Бернса, в котором я почувствовал родную душу еще в юности по немногим образцам из «Антологии» Н. Гербеля; а также через столь близкую Бернсу английскую и шотландскую народную поэзию в маршаковских переводах; через его статьи по вопросам поэтического мастерства и, наконец, через многолетнее непосредственное общение с поэтом.

Нельзя было не сравнить того и этого Маршака и нельзя было не увидеть удивительной цельности, единства художественной природы стиха, выполняющего очень несходные задачи. В одном случае — веселая, бойкая и незатейливая занимательность, сказочная условность, рассчитанная на восприятие ребенка и не упускающая из виду целей педагогических, в лучшем смысле этого понятия; в другом — лирика Бернса — веселая или грустная, любовная или гражданственная, но простая и однослойная лишь по внешним признакам и насыщенная сугубо реальным, порой до грубоватости и озорства, содержанием человеческих отношений.

Но и тут и там — стих ясный и отчетливый в целом и в частностях; и тут и там — строфа, замыкающая стихотворное предложение, несущая законченную мысль, подобно песенному куплету; и тут и там — музыка повторов, скрытое искусство выразительной речи из немногих счетом слов, — каждая строфа и строка, как новая монета, то более, то менее крупная, вплоть до мелкой, разменной, но четкая и звонкая.

В прочной и поместительной строфе:

В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета,—

«спрятана» и вся «Песня о Жолуде», написанная Маршаком задолго до его перевода бернсовского «Джона — Ячменное зерно».

По мне она явно сродни стиху знаменитой баллады. Хотя здесь хорей, а там ямб, но это как раз самые любимые и ходовые размеры детских и недетских стихов и переводов Маршака. Правда, может быть, на это сближение наводит отчасти и содержание «Песни», близкое идее неукротимости произрастания, жизненной силы.

Конечно, это первый пришедший на память пример, указывающий на родство стиха Маршака в очень различных его назначениях. Но и на многих примерах самый пристальный анализ поэтических средств Маршака «детского» и «бернсовского», как и вообще Маршака-переводчика, я уверен, только подтвердил бы их исходное единство, к которому, разумеется, несводимо все разнообразие оттенков, зависящих от возрастающей сложности содержания.

Я лишь клоню к тому, что Маршак исподволь был подготовлен ко встрече с поэзией Бернса. Он сперва обрел и развил в себе многое из того, что было необходимо для этой встречи и что обеспечило ее столь бесспорный успех,— сперва стал Маршаком, а потом уже переводчиком великого поэта Шотландии. Но никак не хочу сказать, что работа над детскими вещами была лишь своеобразной школой, готовившей мастера для «взрослых» вещей. Ее значение прежде всего в ней самой — в наличии среди детских стихов настоящих шедевров этого рода поэзии, которым принадлежит любовь многих — одного за другим — поколений маленьких и признательная память взрослых читателей.

Подготовкой С. Маршака к выступлениям в детской литературе, периодом, когда складывались основы его, как говорится, эстетического кодекса, были годы, о которых он рассказывает в автобиографической книге «В начале жизни». По счастливой случайности стихи гимназиста Маршака, прибывшего в Петербург из г. Острогжоска, обратили на себя сочувственное внимание В. В. Стасова, а также Горького и Шаляпина, принявших непосредственное участие в жизненной судьбе юного поэта,— устроивших ввиду предрасположенности его к туберкулезу в ялтинскую гимназию на свой счет. Но этот период, так сказать, литературного «вундеркинства» Маршака еще далеко отстоял от появления его первых книжек для детей и приобретения литературного имени. Еще были годы ученья на родине и в Англии, куда он отправился юношей,— годы разно-

образной малозаметной литературной работы — от переводов до репортажа, но главное — годы непрерывного накопления знаний, изучения языков, отечественной и мировой поэзии, в которой он потом всю остальную жизнь чувствовал себя поистине — как дома.

Я не думаю, что мечтой его литературной юности было стать именно детским поэтом. Тут были и попутные увлечения Маршака организацией детского театра, и, может быть, даже чисто внешние, житейские поводы, как необходимость заработка, тем более что он отнюдь не означал пониженных требований к себе.

Вспоминаю, как на первых порах знакомства с Маршаком, когда я приехал в Москву в середине тридцатых годов, уступая его настоянию, я показал ему одну из моих *двух* книжек для детей, выпущенных Смоленским издательством. Я не придавал им серьезного значения, но все же волновался.

Призычным рабочим жестом отсунув очки на лоб и близко-близко поднося страницу за страницей к глазам, он быстро-быстро пробежал книжку, и надо сказать, это были памятные для меня минуты испытания. Это — как если бы я отважился «показать» И. С. Козловскому что-нибудь из моего «народно-песенного репертуара», имевшего в дружеском кругу почти неизменный успех.

Маршак уронил руку с зажатой в ней книжечкой на стол и глубоко вздохнул, точнее — перевел дух. Он был очень чуток к тому, что говорят о нем самом, и хорошо знал весомость своих приговоров предложенным на его суд вещам.— ему было нелегко выносить их. Он заерзал в кресле, нервно почесал за ухом и заговорил спеша, порывисто, умоляюще, но с непрекращаемой убежденностью:

— Голубчик, не нужно огорчаться. но это написал совсем другой человек, не тот, что «Страну Муравию»...

— Это написано до «Муравии».

— Все равно, голубчик, все равно. Здесь нет ничего своего, все из готовых слов.

Я очень жалел, что вдруг так уронил себя в его глазах книжечкой и, стремясь как-нибудь увернуться от его жестоких слов, переменить разговор, сказал, что, мол, ладно, о чем тут говорить: ведь это же так — собственно — по заказу, для... Я тогда не то чтобы вполне разделял понятия моих

литературных сверстников, изнуренных непробиваемостью редакционно-издательских заслонов и не считавших зазорной невзыскательность в выполнении «заказной» работы, будь это хотя бы и стихи для детей, но и не видел в таких понятиях особого греха. А главное, я не предполагал, с каким огорчением и еле сдерживаемым возмущением могут быть восприняты Маршаком эти мои слова: «для... по заказу», тем более что они относились к стихам, предназначенным для детского чтения.

В дальнейшем я имел возможность много раз убедиться, что строжайшим правилом всей его литературной жизни было безоговорочное отрицание того допущения, будто в искусстве одно можно делать в полную силу, а другое, как говорится, по мере возможности. Это было для него неммыслимо так же, скажем, как для человека искренней и глубокой веры по-настоящему молиться лишь в церкви, а в иных местах наспех и как-нибудь. Конечно, не всякая задача в равной степени может волновать, но всякая, самая скромная неукоснительно требует честности и хотя бы профессиональной безупречности выполнения. Это было для Маршака законом, которого он не преступал, касалось ли дело заветного, годами вынашиваемого замысла или телефонного заказа из газеты сделать стихотворную подпись под карикатурой, отозваться фельетоном на подходящий факт международной жизни или написать по просьбе издательства «внутреннюю» рецензию на рукопись.

Маршаку очень было по душе свидетельство одного мемуариста о том, как П. И. Чайковский отчитал молодого композитора, пожаловавшегося ему на судьбу, что вот, мол, приходится часто работать по заказу, для заработка.

— Вздор, молодой человек. Отлично можно и должно работать по заказу, для заработка, например, я так и люблю работать. Все дело в том, чтобы работать честно.

Но успех С. Маршака в детской литературе основан был, конечно, не на одной его истовой честности в работе над тем, за что он взялся, — без этого вообще ничего доброго не может выйти. Здесь сыграл свою решающую роль подготовительный период, школа усвоения лучших образцов классики и фольклора, всего того здорового, демократичного, жизнелюбивого, что всегда отли-

чает подлинно великую поэзию, будь то Пушкин или русская народная сказка и песня, Бернс или английская и шотландская народная баллада. В те дореволюционные годы молодому поэту так легко было нахлебаться всяческой модной усложненности, невнятицы и изысканности, которые могли бы подготовить для него только судьбу эпигона, последыша искусства, чуждого большой народной жизни и, естественно, опрокинутого революцией.

Но и одной защищенности от модных влияний, развитого вкуса и здоровых страстей было бы недостаточно для того, чтобы успешно заявить себя в этой все же специфической области литературы. Детская литература в досоветские времена, кроме немногих общеизвестных хрестоматийных образцов в наследии Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Чехова, да еще кое-кого из не первостепенных авторов, была объектом приложения по преимуществу дамских сил, совсем в духе того, как об этом безжалостно писал Саша Черный:

Дама сидела на ветке,
Пикала: — Милые детки...

Детская поэзия была заведомо прикладной и не шла в общелитературный счет. Здесь нужен был еще особый склад дарования и отчасти педагогического мышления, знание психологии ребенка и подростка, умение видеть в них не отвлеченного «маленького читателя», а скорее собственных детей или детей своего двора, которых знаешь не только по именам, но и со всеми их повадками, склонностями и интересами.

Трудно даже вообразить в детской поэзии голос таких галантливейших сверстников Маршака, приобретших известность гораздо раньше его, как Ахматова, Цветаева или Пастернак. Высокая культура стиха, мастерство их поэзии неоспоримы на своем месте в истории нашей литературы. Но эта поэзия отмечена, при всем очевидном своем новаторстве, некоторым традиционным знаком «бездетности» ее «лирических героев». Она обладает развитой силой слова в выражении чувств, обращенных к возлюбленному или возлюбленной, в живописании тончайших переживаний любви, ее обретений и утрат, но мир интересов и понятий того, кто, как говорится, является плодом любви — счастливой или несчастливой,—

мир ребенка для нее как бы не существует. Так же и с тонким чувством природы, вообще предметным наполнением этой поэзии, — там сколько угодно памяти детства и «детскости» в способах видения мира, но не той, какая доступна детям.

Я назвал бы в этом ряду поэтов не менее сложного, чем даже Пастернак, О. Мандельштам, но вдруг обнаружил, чего никак нельзя было предположить, что он выпустил в первой половине двадцатых годов несколько детских книжек в стихах. Однако при всем том, что талантливый поэт, даже выступая в несвойственном ему роде, не может не обронить нескольких удачных строф, стихи эти оставляют впечатление принужденности и натянутости. Как будто оставлен был этот взрослый добрый и умный человек на весь день в городской квартире с маленькими детьми в отсутствие их родителей и умаялся, стремясь занять их стихами о свойствах и назначениях предметов домашнего обихода: примус, кран, утюг, кастрюли и т. д., сочинил даже целую сказку о двух трамваях — Кликке и Траме, но все это по необходимости, без подлинной увлеченности. Есть и «полезные сведения», и юмор, и подмывающий ритмический изгиб:

Мне сырому, неученому
Простонавшей стать легко,
Говорило кипяченому
Сырое молоко...

Но все это скорее способно привлечь взрослых выразительностью исполнения, чем заинтересовать ребят. Попытки эти никак на дальнейшей работе поэта не отразились.

У Есенина — поэта, в противоположность Мандельштаму, феноменальной популярности у взрослых читателей — не было, кажется, и попыток заговорить с детьми на языке своей поэзии, и вообразить этот разговор, пожалуй, еще труднее.

Не помню, чтобы из Д. Бедного что-нибудь закрепилось в детском «круге чтения», хотя, казалось бы, это поэт подчеркнуто простой и эбседоступной речи, к тому же большой знаток народного языка, фольклорной поэзии, и не только из книжных источников. Его стихотворная речь имела в виду самого простого, даже неграмотного, но зрелого жизненным опытом человека — рабочего, крестьянина, красноармейца, — постигающего прежде всего политическую остроту этой речи.

У Маяковского детские стихи были одной из форм его целенаправленной агитационной поэзии, но с маленьким читателем он говорил слишком рассудочно и с натугой человека, как бы подбирающего слова малознакомого ему языка. Здесь он далеко не достигал своего уровня мастерства.

Все это говорится, чтобы подчеркнуть особую сложность и трудность искусства детской поэзии, если ее рассматривать не как «прикладную отрасль» литературы, а в одном ряду с поэзией, как таковой.

Если сказать, что детская поэзия прежде всего не терпит, например, неясности, неотчетливости или усложненности содержания, то вряд ли это будет ее особым условием, которое было бы вовсе не присущим вообще поэзии. Но здесь, в поэзии, обращенной к читателю на первых ступенях постижения им мира через образную силу родного языка, условие это является неперменным. Детям не свойственно тщеславие того рода, которое часто заставляет взрослых притворяться заинтересованными и даже восхищенными тем, что им, на поверку, попросту непонятно. В чем другом детям свойственно и притворство и лукавство, но не в этом: они не способны удерживать внимание на том, чего не понимают. Их не увлечет «подтекстом», если «текст» сам по себе оставляет их равнодушными.

Так же и с отвлеченностью или беспредметностью содержания, которых не выносит детская поэзия. Она всегда — в стихах ли, в прозе ли — непременно что-то сообщает, о чем-то повествует, как всякая сказка, заключает в себе какую-то историю, случай, даже анекдот. Например, анекдот о том, как «лама сдавала багаж» и что обнаружилось на месте его назначения, он и не выдает себя за доподлинную быль, но занят последовательным изложением обстоятельств, при которых «маленькая собачонка» вдруг превратилась в большую собаку.

Читатель детской книжки умеет ценить в ней, так сказать, безусловность информации. Если речь о цирке, то какие там восхитительные чудеса представляются, хотя бы и с явными преувеличениями в стиле цирковой афиши; если — о зоопарке, то должны быть «портреты» натуральных зверей с их характерными повадками; если о пожаре, то как он возник, какую представляет опасность и как с ним справляются пожарные.

Дидактичность и элементарная познава-

тельность — в самом назначении детской книжки, но эта книжка — не замена другим средствам обучения и воспитания. Пленить своего читателя назойливым нравоучительством или одним только сообщением ему полезных вообще сведений она так же не в состоянии, как и «проблемный» роман, который преподносит нам «в образной форме» материал, принадлежащий обычным средствам технической или иной пропаганды. Но в последнем случае дурная тенденциозность все же не столь безоговорочно отвергается, как в первом, где читатель свободен от многих условностей «взросло-го» восприятия. И он несравненно более чуток и неподкулен в отношении малейшей фальши, натянутости и упрощенности подлаживающейся к его «уровню» стихотворной или прозаической речи. Она отталкивает его так же, как дурная манера иных взрослых в обращении к детям — шепелявить и сюсюкать.

Во многих смыслах детская книжка — это взыскательнейший экзамен для поэзии вообще, насколько она обладает своими изначальными достоинствами ясности, существенной занимательности содержания и непринужденной энергии, естественной, как дыхание, мерности и «незаметности» формы.

«Сказки» Пушкина, хотя они не предназначались для детей, Маршак считал наивысшим образцом детской поэзии. Эта часть пушкинского наследия, прямо идущая от русской народной сказки, была для него не менее дорога, чем «Евгений Онегин» или лирика великого поэта. Его наблюдения над стихом «Сказок» поражают зоркостью, обращенной к таким предельно простым случаям, где, казалось бы, уже совсем нечего искать:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

Его восхищал лаконизм этих строчек, где разом, без отрыва пера от бумаги, нарисовано вверху огромное небо, а внизу огромное море. Он отстаивал неслучайность того, что небо помещено в верхней, а море в нижней строчке. Это верно, и невольно приводит на память строку ребячьего описания моря, отмеченную Чеховым: «Море было большое».

Как часто Маршак цитировал строки из «Сказки о царе Салтане», о выходе из бочки младенца-богатыря Гвидона, исполнен-

ные веселой энергии, «пружинистости» действия:

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он.
Вышиб дно и вышел вон.

Здесь «ударность» последней, прекрасно «инструментированной» строчки: «Вышиб дно и вышел вон» — действительно звучит подобно заключительному возгласу считалки в детской игре.

Ритмическую «счетность» своих стихов для малышей Маршак даже подчеркивает разбивкой, при которой на строку приходится одно, два коротких слова.

Его «Мяч» с точностью передает ритмику ударов, падений и подскакиваний мяча от начала до конца игры, а четверостишие «Дуйте, дуйте, ветры, в поле...» дает как бы четыре полных оборота крыла ветряной мельницы.

Стих Маршака «работает», усложняясь с возрастом читателя, следуя за ним от простенькой считалки и песенки детского сада, от сказки, которую ребенок постигает на слух в чтении старших, и к открытию им первоначальной радости самостоятельного чтения и освоения — ступенька за ступенькой — все более значительного содержания.

Солнечно и радостна возникающая из многих слов картина радуги:

Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем —
Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.
Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота...

Быстро проносятся один за другим двенадцать месяцев «Круглого года» — каждый со своими «опознавательными» знаками — и завершаются двенадцать ударами часов Кремлевской башни. Все они еще предстанут в более сложной образной оснастке перед подросшим читателем детской поэзии Маршака и зрителем пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», но до этой встречи подрастающего читателя со своим поэтом будет еще и «Пожар», и «Почта», и «Багаж», и «Рассеянный», и «Детки в клетке», и «Цирк», и «Мистер Твистер», и «многое множество», по любимому выражению Маршака, разных русских и иноземных,

смешных и серьезных сказок и рассказов в стихах, песенках, шутках и прибаутках. «Детский» Маршак — это целый обширный, многоголосый и многокрасочный мир поэзии. Стих его не боится слов простых, обычных; напротив, в нем не помещаются слова бьющей на эффект «поэтической» окраски; он избегает «редких» эпитетов, излишней детализации.

«Подлинная, проникнутая жизнью поэзия, — пишет Маршак в одной из своих статей о мастерстве, — не ищет дешевых эффектов, не занимается трюками. Ей недосуг этим заниматься, ей не до того. Она пользуется всеми бесконечными возможностями, заложенными в самом простом четверостишии или двустишии, для решения своей задачи, для работы».

Это сказано о стихах Пушкина и Некрасова, и это в первую очередь нужно отнести к неперменным требованиям поэзии для детей. Сюда следует отнести, в частности, требование ритмически выраженной в стихе пунктуации, без чего невозможна естественность, «ладность» поэтической речи.

Маршак любил приводить строчку Плещеева:

И смеясь, рукою дряхлой гладит он... —

где запятая перед словом «рукою» не спасает — все равно ритмически получается: «Смеясь рукою!..»

Но стих детской поэзии вовсе не чуждается юмора, веселого, удачного словесного озорства и даже рискованной лихости:

По проволоке дама
Идет, как телеграмма.

Эти строчки Маршака, очень понравившиеся Маяковскому, в свое время вызвали протест со стороны педагогического педанства: телеграмма и дама-канатоходец, конечно же, «идут по проволоке» совсем по-разному и т. п. Но ведь и строчки ершовского «Конька-Горбунка»:

Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села, —

с очевидной дерзостью меняют местами эти населенные пункты, — конечно же, село располагалось неподалеку от столицы, а не наоборот. Пушкин не мог не оценить «веселое лукавство» этих глубоких по смыслу

строчек. Есть литературное предание, что первая строфа «Конька-Горбунка» была написана Пушкиным. Так это или не так, но строфа как бы подготавливает только что приведенные строчки размашисто-условным, в духе народного балагурства определением места действия:

Не на небе, на земле...

Рискованное двустишие Маршака представляется вдруг вылетевшим из уст ребенка, который уже слышал от старших, что телеграммы идут «по проволоке», и, увидев в цирке канатоходческий номер, «обобщил» даму с телеграммой.

Безупречная смысловая ясность и отчетливость, строгий отбор на слух и вес каждого слова, навык «забывания гвоздя по самую шляпку» с успехом применены были Маршаком в его работе на взрослого читателя в годы Отечественной войны. Не раскрывая книги, можно по старой памяти газетных страниц тех дней привести хлесткие сатирические стихи, построенные опять-таки из немногих счетом слов и повторов:

Кличет Гитлер Риббентропа,
Кличет Геббельса к себе:
— Я хочу, чтоб вся Европа
Поддержала нас в борьбе.
— Нас поддержит вся Европа! —
Отвечали два холопа... и т. д.

Стихи-плакаты:

Лом железный соберем
Для мартена и вагранки,
Чтобы вражеские танки
Превратить в железный лом!

Это четверостишие открывается и закрывается одними и теми же словами. Но стоит, не меняя ни одного слова, переставить строчки четверостишия:

Чтобы вражеские танки
Превратить в железный лом,
Для мартена и вагранки
Лом железный соберем! —

и мы видим, что, при полной сохранности «смысла», вместо энергии и движения здесь уже только изложение, стих утрачивает «пружинистость» и становится «полубезработным» — содержание лишается силы. Вот что означает гребование, чтобы в строфе нельзя было ничего переставить или подвинуть.

Поэзия Маршака возвращена на доброй русской пушкинской основе, и поэтому она оказалась способной обогатить и нашу детскую литературу множеством прекрасных образцов мировой поэзии, детскими песнями, сказками, шутками и прибаутками разных народов. В наибольшем объеме представлена у него Англия — «Дом, который построил Джек», «Шалтай-Болтай», «Гвоздь и подкова» и множество подобных чудесных вещей. Но и другие страны и народы, советские и зарубежные, перекликаются в детской поэзии на русском языке под пером Маршака.

Одна эта заслуга — в духе русской пушкинской традиции «усвоения родной речи» (выражение Белинского) разнообразных иноязычных богатств поэзии — могла бы составить поэту прочную славу в нашей литературе.

Иногда трудно в поэзии Маршака провести четкую грань между «оригинальным» и переводным, между мотивами русского фольклора и фольклора иноязычного. Например, сказку «Король и пастух» он называет переводом с английского, но сюжетом она полностью совпадает со «старинной народной сказкой», изложенной в стихах М. Исаковским под заглавием «Царь, поп и мельник», едва ли даже предполагавшим, что она может быть иною, чем русской.

Часто Маршак даже не указывает, какому из «разных народов» принадлежит то или иное произведение народной поэзии, которому он сообщает новую жизнь на русском языке, сохраняя, впрочем, характерные приметы его иноязычной природы. Маршак указывает, что в основу его драматической сказки «Двенадцать месяцев» «положены мотивы славянской народной поэзии», но, точнее, она, как выражаются ученые люди, восходит к чешской народной сказке, в свое время пересказанной Боженой Немцовой и изложенной Маршаком сначала в прозе.

Окончательное претворение фольклорных мотивов сказки в драматургической форме явилось произведением вполне самостоятельным и оригинальным, полным света, добрых чувств и глубокой мысли. Недаром оно впервые было поставлено на сцене МХАТа и имеет одинаковый успех как у юных, так и у взрослых читателей и зрителей.

Мировая литература знает много случаев, когда замечательные произведения, перво-

начально рассчитанные не на детей, становились впоследствии любимыми детскими книгами, например, «Дон-Кихот», «Робинзон Крузо», «Путешествие Гулливера». Реже случаи, когда произведения, адресованные именно детскому читателю, становились сразу же или позднее книгами, в равной степени интересными и для взрослых. Здесь в первую очередь можно назвать сказки Андерсена.

«Двенадцать месяцев» Маршака — один из таких случаев. По видимости неприятная история, где судьба знакомой по многим сказкам трудолюбивой и умной девочки-сироты, гонимой и гравимой злой мачехой, сказочным образом перекрещивается с судьбой ее ровесницы — своевольной, избалованной властью девочки-королевы, — вмещает в себе, как это часто бывает в настоящей поэзии, ненароком и такие моменты содержания, которых автор, может быть, и в уме не держал. Таким мотивом звучит в этой пьесе мотив власти, не ведающей себе пределов, положенных даже законами природы, и уверенной, как эта маленькая капризница на троне, что она может в случае надобности издавать свои законы природы. Увлекательно, непринужденно и весело показывает действие пьесы-сказки провал этих притязаний девочки-деспота, ограниченных, правда, детским желанием иметь в новогодний праздник подснежники.

То, что мы называем детской литературой, детской поэзией, часто смешивая эти понятия с представлением о «валовой» продукции Детиздата, в сущности, застаёт нас всех еще на самой ранней поре нашего бытия. Впервые поэзия звучит для нас из уст матери напевом полуимпровизованной колыбельной, называющей нас по имени, или сопровождаемой счетом на пальцах детской ручонки коротенькой сказочкой о том, как «сорока-ворона кашку варила, деток кормила...».

Здесь еще и сорока с вороной идет одно и стихи заодно с прозой.

Но без этого первоначального приобщения младенческой души чуду поэзии даже самая драгоценная память человеческая — память матери — была бы лишена тех слов и мотива, которые с годами не только не покидают нас, но становятся все дороже. И мы тем более и явственнее — с признавательной нежностью — слышим их в своем сердце, чем шире, разнообразнее, богаче за

всю нашу жизнь были наши встречи с поэзией и музыкой. Потому что те простейшие слова и мотивы есть не что иное, как первообраз искусства, они — из самой его природы и несут в себе главные и, в сущности, неизменные признаки и свойства подлинного искусства: его ясность и прямоту, немногословность и живописность, его доброту и шутку, легкий упрек и наставление.

Этим и определяются, в самом общем смысле, особые эстетические и нравственные требования, которые ставит детская поэзия перед теми, кто пытается заявить себя в этом роде искусства. Разумеется, эти требования отнюдь не противопоказаны никакому другому искусству, рассчитанному хотя бы и на самый зрелый вкус и высокий уровень понимания, но, повторю еще раз, здесь они неприменимы.

Ни «Сказки» Пушкина, ни даже некрасовские «Стихотворения, посвященные русским детям», как и другие образцы классики, не относились к собственно детской поэзии — она еще не выделилась в литературе в самостоятельный род. К тому же круг детского чтения усвоил и закрепил за собою столько целых вещей и отрывков из произведений классики, вовсе не имевших его в виду.

Все это дает повод иным из нас считать детскую литературу как бы не вполне законным литературным родом.

Но одним из самых бесспорных и всемирно признанных достижений советской литературы за ее полувековую жизнь, ее расширением средств своего влияния на читателя является как раз этот ее род — развитая детская литература во всем ее жанровом многообразии.

В становлении и развитии этого рода литературы С. Я. Маршаку по праву принадлежит особое место как критику, редактору детской литературы, собирателю и воспитателю ее разнообразных сил и талантов. Здесь едва ли найдется имя поэта или прозаика, которое не было бы в свое время замечено, поддержано или даже выведено им в люди.

Но прежде всего, говоря без обиняков, С. Я. Маршак первым в русской литературе посвятил главную часть своей большой жизни, выдающегося поэтического таланта именно детской литературе, которая до него не имела далеко того безусловного общелитературного значения, какое имеет ныне.

При этом не только не беда, что он, так сказать, не поместился целиком в собственно детской литературе и при высоко развитом профессионализме литератора не остался «профессионально детским» писателем, а наоборот, это лишь свидетельство широты и подлинности его художнических прав в художественной литературе.

Это никак не могло помешать творческой сосредоточенности Маршака в пределах детской поэзии и драматургии, критике и редакторской деятельности. Он был человеком, как принято выражаться, полной самоотдачи в искусстве, с какою бы его ветвью он ни был связан. Годы и десятилетия отдавал он напряженному до истовости труду, накапливая по крупице все то поэтическое богатство, которое мы теперь именуем Маршаком — «детским», и никогда не ставил эту свою работу, с какими бы то ни было оговорками, ниже любой другой, даже если это была работа над переводом классических образцов мировой поэзии.

Я начал речь о детской поэзии Маршака с признания, что оценил ее по-настоящему, обратившись к ней внимательнее после встречи с Бернсом в его переводах. Русская и мировая народная поэзия, Пушкин и Бернс и многое другое в отечественных, западных и восточных богатствах поэтического искусства, с ненасытностью детства и юности усвоенное на всю жизнь, — вот что определило его художническую взыскательность и подготовило мастера стихотворной беседы с детьми. И там лишь практически закрепились его пристрастия к немногословной, ясной и емкой смыслом строфе, чтобы в ней уже ничего нельзя было ни убавить, ни прибавить.

3

С усвоенным и развитым в работе над стихами для детей навыком доведения строки и строфы до полной, необратимой отчетливости Маршак приступил к своему Бернсу, поэзия которого была главной любовью всей его литературной жизни и явилась счастливейшей возможностью приложения его особого «переводческого» дара.

Я умышленно ставлю это слово в кавычках. Маршак много переводил, переводы составляют, пожалуй, большую половину его стихотворного наследия. Но он не любил слова «перевод», особенно «перевод-

чик», всячески избегал их и обычно свои новые переводы называл новыми стихами, когда читал их при встрече с друзьями. Он не принимал слов самого Пушкина о Жуковском, что тот был бы переведен на все языки, когда бы сам меньше переводил.

Жуковского он ценил очень высоко, вычитывая из него при случае на память целые страницы, так же и других русских мастеров поэтического перевода — И. Козлова, М. Михайлова, В. Курочкина.

Он был до мелочей привередлив и настойчив по части обозначений при печатании его переводов — часто вопреки принятому в данном издании единообразию, — фамилия его должна была стоять сверху, слово «перевод» заменялось по-старинному обозначением: «Из Роберта Бернса», «Из Вильяма Блейка» и т. п.

В литературной жизни не редкость, когда мастер недостаточно ценит наиболее сильную сторону своего дара и очень чувствителен к тому, что преимущественное внимание читатели и критики относят к этой именно стороне.

С известными оговорками можно сказать, что и у Самуила Яковлевича была эта слабость недооценки своего редкостного дара приобщать русской речи образцы иноязычной поэзии на таком уровне мастерства, когда становится немислимой иная русская интерпретация данного произведения, скажем, Бернса.

На правах дружбы я позволял себе подтрунивать над его невинной привередливостью по части обозначений «перевод» или «Из...», но всегда, и особенно теперь, когда подо всем, написанным его рукой, подведена черта, считал и считаю, что он имел-таки право на эти претензии в отношении своей работы.

«Чтобы по-настоящему, не одной только головой, но и сердцем понять мир чувств Шекспира, Гёте и Данте, — говорится в статье Маршака «Искусство поэтического портрета», — надо найти нечто соответствующее в своем опыте чувств... Настоящий художественный перевод можно сравнить не с фотографией, а с портретом, сделанным рукой художника. Фотография может быть очень искусной, даже артистической, но она не пережита ее автором».

Сонеты Шекспира — наиболее удаленный от нашего времени образец мировой поэзии, явившейся нам в русской интерпретации Маршака. И надо сказать, неувловимый хо-

лодок классической удаленности все же в какой-то степени набегают на эти превосходные творения Шекспира.

И Маршаку в работе над этими переводами действительно нужно было иметь «нечто соответствующее в своем опыте чувств». Нет необходимости подробно объяснять, какой опыт чувств взыскательного мастера живет, к примеру, за строчками-переводами семьдесят шестого сонета.

Увы, мой стих не блещет новизной,
Разнообразьем перемен неожиданных.
Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?

Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова,
И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово.

Все это оттого, что вновь и вновь
Решаю я одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моя любовь,
И то же сердце, те же силы трачу.

Все то же солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной.

Это все к тому, что Маршак не любил слов «перевод» и «переводчик».

Действительно, обозначение «перевод» в отношении поэзии чаще всего в той или иной мере отталкивает читателя: оно позволяет предполагать, что имеешь дело с некоей условной копией поэтического произведения, именно «переводом», за пределами которого находится недоступная тебе в данном случае подлинная прелесть оригинала. И есть при этом другое, поневоле невзыскательное чувство читателя — готовность прощать этой «копии» ее несовершенство в собственно поэтическом смысле: уж тут ничего не поделаешь — перевод, был бы только он точным, и на том спасибо.

Однако и то и другое чувство могут породить лишь переводы убого-формального, ремесленного толка, изобилие которых, к сожалению, не убывает со времен возникновения этого рода литературы.

Но есть переводы другого ряда, другого толка.

Русская школа поэтического перевода, начиная с Жуковского и Пушкина и кончая современными советскими поэтами, дает блистательные образцы переводов лучших произведений поэзии иных языков. Эти переводы прочно вошли в фонд отечественной поэзии, стали почти неразличимыми в ряду ее оригинальных созданий и вместе с

ними составляют ее заслуженную гордость и славу.

И нам даже не всякий раз приходит на память, что это переводы, когда мы читаем или слушаем на родном языке, к примеру, такие вещи, как «Будрыс и его сыновья» Мицкевича (Пушкин); «Горные вершины...» Гёте (Лермонтов); «На погребение сэра Джона Мура» («Не бил барабан перед смутным полком...») Вольфа (И. Козлов); песни Беранже (В. Курочкин) и многие, многие другие.

При восприятии таких поэтических произведений, получивших свое, так сказать, второе существование на нашем родном языке, мы меньше всего задумываемся над тем, насколько они «точные» в отношении оригинала.

Я, читатель, допустим, не знаю языка оригинала, но данное произведение на русском языке волнует меня, доставляет мне живую радость, воодушевляет меня силой поэтического впечатления, и я не могу предположить, что в оригинале это не так, а как-нибудь иначе, я принимаю это как полное соответствие с оригиналом и отношу мою признательность и восхищение к автору оригинала наравне с автором перевода — они для меня как бы одно лицо.

Словом, чем сильнее непосредственное обаяние перевода, тем вернее считать, что перевод этот гочен, близок, соответствует оригиналу.

Памятные слова на этот счет сказал И. С. Тургенев, касаясь вопроса о качестве одного из переводов «Фауста»: «Чем более перевод нам кажется не переводом, а непосредственным, самобытным произведением, тем он превосходнее... Такой перевод не может быть неверным...»

И, конечно, наоборот: чем менее иллюзии непосредственного, самобытного произведения дает нам перевод, тем вернее будет предположить, что перевод этот неверен, далек от оригинала.

Здесь я не многое могу добавить к тому, что сказано было в моей рецензии на книгу «Роберт Бернс в переводах С. Маршака» много лет назад. Прежде всего хочется сказать, что эти переводы обладают таким очарованием свободной поэтической речи, будто бы Бернс сам писал по-русски, да так и явился без всякого посредничества перед нашим читателем. И наш советский читатель уже успел узнать, и полюбить, и

запомнить многое из этой книги, представляющей собрание поэтического наследия Р. Бернса, задолго до ее выхода в свет по первоначальным публикациям переводов С. Я. Маршака в журналах и отдельных его сборниках. Это — классическая баллада «Джон — Ячменное зерно» — гимн труду и воле к жизни и борьбе людей труда, поэтически уподобленным бессмертной силе произрастания и плодоношения на земле. Это — гордые, исполненные дерзкого вызова по отношению к паразитической верхушке общества строки «Честной бедности» или «Дерева свободы» — непосредственного отклика на события Великой французской революции. Это — нежные, чистые и шемяще-трогательные песни любви, как «В полях под снегом и дождем...» или «Ты меня оставил, Джеми». Это — восхитительный в своем веселом озорстве и остроумии «Финдлей» и, наконец, эпиграммы, которые вполне применимы и в наши дни ко всем врагам трудового народа, прогресса, разума, свободы и мира.

И понятно, что тот успех, который приобрели переводы С. Я. Маршака из Бернса в широких кругах советских читателей, объясняется не только поэтическим мастерством их исполнения, о чем будет еще сказано, но и прежде всего самим выбором оригинала.

Бернс совсем не напоминает неприятельного идиллика сельской жизни, смиренного «поэта-пахаря», писавшего «преимущественно на шотландском наречии», как считали либеральные биографы. Зато вот как зорко рассмотрел и безошибочно угадал поэтическую силу Бернса его величайший современник Гёте, переживший шотландского поэта на несколько десятилетий. (Слова эти записаны Эккерманом, автором книги «Разговоры с Гёте».)

«Возьмите Бернса. Что сделало его великим? Не то ли, что старые песни его предков были живы в устах народа, что ему пели их еще тогда, когда он был в колыбели, что мальчиком он выросал среди них, что он сроднился с высоким совершенством этих образов и нашел в них ту живую основу, опираясь на которую мог пойти дальше? И далее. Не потому ли он велик, что его собственные песни тотчас же находили восприимчивые уши среди народа, что они звучали навстречу ему из уст женщин, убирающих в поле хлеб, что ими встречали и приветствовали его веселые товарищи в

кабачке? При таких условиях он мог стать кое-чем!»

И лорд Байрон, скептический и высокомерный в отношении именитых современников, записал в своем «Дневнике» спустя много лет после смерти шотландского поэта:

«Читал сегодня Бернса. Любопытно, чем он был бы, если бы родился знатным? Стихи его были бы глаже, но слабее — стихов было бы столько же, а бессмертия не было бы. В жизни у него был бы развод и пара дузлей, и если бы он после них уцелел, то мог бы — потому что пил бы менее крепкие напитки — прожить столько же, сколько Шеридан, и пережить самого себя...»

Бернс — народный певец, поэт-демократ и революционер, он дерзок, смел и притязателен, и его притязания — это притязания народа на национальную независимость, на свободу, на жизнь и радость, которых единственно достойны люди труда.

Советскому поэту на основе достижений отечественной классической и современной лирики удалось с блистательным успехом довести до читателя своеобразие исполненной простоты, ясности и благородного изящества бернсовской поэзии. Переводы С. Я. Маршака выполнены в том словесном ключе, который мог быть угадан им только в пушкинском строе стиха, чуждом каких бы то ни было излишеств, строгом и верном законам живой речи, пренебрегающей украшательством, но живописной, меткой и выразительной.

Небезынтересно было бы проследить, как развивался и совершенствовался «русский Бернс» под пером различных его переводчиков, как он по-разному выглядит у них и какими преимуществами обладают переводы Маршака в сравнении с переводами его предшественников. Позволю себе взять наудачу пример из «Джона — Ячменное зерно». Вот как звучит первая строфа баллады у М. Михайлова, вообще замечательного мастера, которому, между прочим, принадлежит честь одного из «первооткрывателей» Бернса в русском переводе:

Когда-то сильных три царя
Царили заодно.
И порешили: «Сгинь ты, Джон —
Ячменное зерно!»

Очевидно, что лучше бы вместо «царей» были «короли», что наверняка более соот-

ветствовало и оригиналу; неудачно и это «заодно», вынужденное словом «зерно»; слова, заключенные в кавычки, по смыслу — не решение, не приговор, как должно быть по тексту, а некое заклинание. Кроме того, Михайлов рифмует через строку (вторую с четвертой), тогда как в оригинале рифмовка перекрестная, и это обедняет музыку строфы.

У Э. Багрицкого:

Три короля из трех сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгинуть, юный Джон —
Ячменное зерно.

Здесь «короли» вместо «царей», это лучше, но что они «из трех сторон» — это попросту неловко, сказано ради перекрестной рифмовки; «заодно» здесь приобрело иное, чем у Михайлова, правильное звучание; формула же решения королей выражена недостаточно энергично, лишними, не теми словами выглядят «должен» и «юный».

У Маршака:

Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон —
Ячменное зерно.

Кажется, из тех же слов состоит строфа, но ни одно слово не выступает отдельно, цепко связано со всеми остальными, незаменимо в данном случае. А какая энергия, определенность, музыкальная сила, отчетливость и в то же время зазывающая недосказанность вступления.

Этот маленький пример с четырьмя строчками показывает, какой поистине подвижнический и вдохновенный труд вложил поэт в свой перевод, чтобы явить нам живого Бернса.

Может показаться, что не слишком ли скрупулезно и мелочно это рассмотрение наудачу взятых четырех строчек и считанных слов, заключенных в них. Но особенностью поэтической формы Бернса как раз является его крайняя немногословность в духе народной песни, где одни и те же слова любят, повторяясь, выступать в новых и новых мелодических оттенках и где это повторение есть способ повествования, развития темы, способ живописания и запечатления того, что нужно. Особенно наглядна эта сторона поэзии Бернса в его лирических миниатюрах, и Маршаку удастся найти конгениальное выражение этой силы средствами русского языка и стиха.

дней жизни. Но некоторые стихи он пытался переводить еще в юности и вновь обратился к ним в свою зрелую пору. Поэзия Бернса была для Маршака счастливой находкой, но не случайным подарком судьбы: чего искал, то и нашел. Прирожденный горожанин, детство и юность которого не ступали босыми ногами по росяной траве, не знали трудовой близости к природе, не насытили память запахами хлебов и трав, отголосками полевых песен, он обрел в поэзии Бернса ее «почвенность», реальность народной жизни, то, чего ему решительно недоставало для приложения своих сил. И он вошел в поэтический мир шотландского поэта, чтобы раскрыть этот мир и для нас в наибольшей полноте и цельности. Но расслышать, почувствовать особую прелесть поэзии неродного языка можно только при условии крепких связей с родным. В двестишести «Переводчику» Маршак формулирует строгий завет переводческого дела:

Хорошо, что с чужим языком ты знаком.
Но не будь во вражде со своим языком.

Он часто повторял, что успех поэтического перевода определяет не только знание языка оригинала, но в первую очередь знание и чувство языка родного.

4

Взыскательность, обостренный слух к особенностям и тончайшим оттенкам слова родной речи были у С. Я. Маршака удивительными и ничего общего не имели с пуристической нетерпимостью к порождаемым живой жизнью языка цепким неологизмам, метким и выразительным «местным речениям», когда они оправданы незаменимостью. В статье об «Иване Денисовиче» А. Солженицына («Правда», 30 января 1964 года) он пишет:

«Автор владеет тем подлинным народным языком, богатства которого еще далеко не исчерпаны литературой. Нельзя заменить в его повести слово «удовольненный» словом «удовлетворенный» или «довольный». Невозможно заменить слово «глушь» словом «глухота» в том месте повести, где один из заключенных, глухой Сенька Клевшин, «сквозь свою глушь» слышит обрывки долеющего до него разговора».

В его работе «Ради жизни на земле» есть поражавшие меня наблюдения над языком «Теркина». По совести, я сам далеко не

всегда предполагал за тем или другим словом, оборотом стиха этой вещи такие оттенки значения, которые обнаруживал этот человек иного возраста, иной жизненной и литературной школы, чем я. Да, книга, страница прозы или стихов были для него ближайшей реальностью, но через эту «книжность» он, как, может быть, никто из современников, умел распознавать и угадывать реальность живой жизни и более всего любил и ценил в поэзии подлинность этой натуральной «сырой» действительности.

Мало ли у нас литераторов, отмеченных знаком «книжности», постигающих и принимающих действительность лишь в ее сходстве с образчиками, какие дает книга, и глухих к тому, что является из самой действительности, чтобы в свою очередь стать «книгой», но «книгой», какой до нее не было.

Маршак, при всей его приверженности классическому наследию, верности лучшим традициям искусства поэзии, был полон холодного презрения к поэзии книжной, изоэренной, рассчитанной на вкус немногих знатоков и ценителей. Но его невозможно было подкупить и той «общедоступностью», которая достигается потрафлением дурному вкусу, ходовой банальностью или всплесками новаторства ради новаторства.

Он многое мог и умел, но еще более знал и понимал в поэзии. Она была поистине «одной, но пламенной страстью» всей его жизни.

Его подвижничество — иначе трудно назвать, — неусыпное трудолюбие и преданность работе, поразительная обязательность высокого профессионализма были и остаются для многих из нас строгим напоминанием и упреком, благородным образцом «несения литературной службы».

В собрании сочинений С. Маршака читатель может встретить наряду с блестяще выполненными вещами вещи более слабые или отслужившие свое, уже принадлежащие времени, но он не найдет ни одной строки, написанной небрежно, не в полную меру сил, заведомо «проходной».

У Томаса Манна есть очень верные слова о том, что перед каждым зрелым художником в определенный период встает реальная опасность не успеть. Не успеть многого из того, на что он еще способен.

Редко бывает так, чтобы писатель завер-

шил все начатое, исчерпал свои замыслы и планы и, как говорят в народе, убрался с полем, прежде чем перо выпадет из его рук.

Самуил Яковлевич Маршак сознавал эту опасность не успеть, хотя не любил говорить об этом, и очень спешил в последние свои годы, отягченные не отступавшим от него недугом. Спешил писать и даже спешил печататься, спешил прочесть в кругу друзей новую строфу или страницу, чуждый олимпийского безразличия к мнениям и суждениям. Жизнелюбец, подвижник каждодневного литературного труда, он нуждался в живом сегодняшнем печатном или устном отклике на свою работу. Это сообщало ему силы, скрашивало нелегкие дни его вынужденного затворничества — в стенах своей рабочей комнаты, в палате больницы или санатория.

В статье «Право на взаимность» он пишет: «Искусство ждет и требует любви от своего читателя, зрителя, слушателя. Оно не довольствуется почтительным, но холодным признанием. И это не каприз, не пустая претензия мастеров искусства. Люди, которые вложили в свой труд любовь, имеют право на взаимность. Требовательный мастер вправе ждать самого глубокого и тонкого внимания к своему мастерству».

Одной из особенностей литературной судьбы Маршака, как уже было сказано, является то, что период лирического освоения мира, сосредоточения сил на этом жанре, представляющем, так сказать, привилегию молодости, — этот период пришелся у него на годы, когда обычно слабеет или вовсе затухает жар поэтической мысли. Эту пору лирической активности поэта отделяет от его юношеских опытов более чем полу-столетие, в течение которого читатели узнали, признали и полюбили Маршака — автора популярнейших книжек для детей, Маршака — драматурга, сатирика, первоклассного переводчика, публициста и литературного критика.

В этой лирике С. Маршак опирался на богатейший опыт всей своей жизни в литературе, в первую очередь, — конечно, на опыт переводческой работы, сделавшей достоянием русской поэзии столько образцов западной классики.

Обращение к лирико-философскому жанру в поздней зрелости, точнее сказать в старости, у Маршака отмечено глубиной и ясностью мысли, юношеской энергией интонации, непринужденной живостью юмора

и если грустью, то не расслабляющей и безнадёжной, но по-пушкински светлой и умудренной, мужественно приемлющей неизбежное.

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровой осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.

Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему,—
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

«Наперекор всему» — этот гордый девиз человеческого духа целиком совпадает со словами «несмотря ни на что», которыми Томас Манн в своей статье о Чехове отдает дань восхищения творческой энергии русского писателя, под гнетом смертельного недуга не опускавшего рук и продолжавшего работать.

Старость — не радость, но и ее должно переживать, не роняя достоинства, не впадая в жалобную растерянность, отчаянное озлобление, и даже уметь с удовлетворением воспользоваться некоторыми преимуществами этого возраста. Иго старости опустошает душу и низводит человека до уровня биологического вида тогда, когда он переживает самого себя, то есть утрачивает интерес к безостановочному развитию жизни, к лучшим стремлениям новых поколений, не видит в них продолжения порывов своей наиболее деятельной поры.

В русской поэзии примером такого ужасного завершения долголетней жизни человека, отнюдь не заурядного, отмеченного умом, образованностью и талантом, служит старческая лира князя П. А. Вяземского, некогда друга Пушкина, человека, близкого декабристским кругам, затем отнесенного судьбой в реакционный лагерь, достигнувшего высоких чинов члена государственного совета, сенатора. В зрелости и старости он не только был враждебно непримирим к освободительным идеям, развивавшимся в обществе и революционно-демократической литературе, он отвергал даже «Войну и мир» как произведение, «измельчающее» величие победы русского оружия в 1812—1814 годах.

Незадолго до кончины, восьмидесятилетний старец, он со своеобразным самоуничижительным упоением подводит итоги своего жизненного пути:

Запоминаются с первого раза взвешенные, обдуманые и чеканно выраженные наблюдения и предупреждения поэта относительно «секретов» мастерства. Музыка — первооснова поэзии, но для нее губительна та музыка, что вылезает

...наружу, напоказ,
Как сахар прошлогоднего варенья.

Маршак — самозабвенный поборник строгой отделки стиха, однако он против окостенения формы, против «чистописания»:

Но лучше, если строгая строка
Хранит веселый жар черновика.

А какой бесповоротной, убийственной формулой звучит двустигшие, заостренное против одного из глетворных соблазнов литературной жизни:

Ты старомоден. Вот расплата
За то, что в моде был когда-то.

Лирика Маршака обнаруживает некоторые совсем скрытые до последней поры возможности его поэзии.

Так, в стихах для детей не просматривалось собственное детство автора, — точно бы он сам носил тогда, как его герои и читатели, пионерский галстук. Мотивы природы, смены времен года выступали в условной, отчасти подчиненной интересам спортивного сезона форме.

В лирике Маршак впервые обращается к памятным впечатлениям детства, решающего периода почти для всякого художника в смысле накопления тех запасов, к которым он обращается всю остальную жизнь, лишь пополняя их позднейшими приобретениями, но никогда полностью не исчерпывая и не меняя целиком.

Я помню день, когда впервые —
На третьем от роду году —
Услышал трубы полковые
В осеннем городском саду...

И помню праздник на реке,
Почти до дна оледенелой,
Где музыканты вечер целый
Играли марши на катке...

Поэт благодарен тем давним впечатлениям, открывшим для него... «звуковой узор»,

Живущий в пении органа,
Где дышат трубы и меха,
И в скрипке старого цыгана,
И в нежной дудке пастуха;

«звуковой узор», в котором

Жизнь обретает лад и счет.

Юные читатели, как известно, не жалуют вниманием описания природы, также и автор популярнейших книжек для детей не навязывал им этой обязательной «художественности». Но оставшись лицом к лицу со старостью, с испытаниями недугов возраста, он переживает повышенное чувство мира природы.

Возраст один у меня и у лета,
День ото дня понемногу мы стынем...
Все же и я и земля, мне родная,
Дорого дни уходящие ценим.
Вон и береза, тревоги не зная,
Нежится, греясь под солнцем осенним.

Неожиданно появляются в этих стихах Маршака и березка-подросток, глядящаяся в размытый след больших колес, и кусты сирени, что «держат букеты свои напоказ, как держат ребята игрушки», и озаренные летним утренним солнцем «стены светлые, и ярко-желтый пол, и сад, пронизанный насквозь жужжаньем пчел».

И какими освобождающими от бремени годов, болезней и горьких раздумий являлись стихи, в которых это время вдруг запечатлено, выражено с победительной насмешкой над ним, над самим собой:

Вечерний лес еще не спит,
Луна восходит яркая.
И где-то дерево скрипит,
Как старый ворон наркая.

Все этой ночью хочет петь.
А неспособным к пению
Осталось гнутья да скрипеть,
Встречая ночь весеннюю.

Нельзя, между прочим, не заметить в скобках, что такая сложная, требующая немалого напряжения психофизиологических сил форма жизнедеятельности, как творчество, оказывается возможной не только тогда, когда этих сил уже явная нехватка, но и при том, что предмет творческого выражения могут быть самое тяжелое состояние духа, отвращение к жизни, отчаяние, как это мы видели на примере поздней лирики П. А. Вяземского. По содержанию этих его стихов, казалось бы, уже не стоит делать никаких усилий даже для того, чтобы пить утром кофе, одеваться и т. п. А между тем этот одолеваемый безнадежной хворостью, от «смерти только смерти» ждущий старик, напрягая память и воображение, вызывает

к жизни в определенном ладу и ряду слова и строки, добивается их послушного построения, наибольшей выразительности, находя в этом труде некую горькую усладу.

В этом смысле Маршак в своей прощальной лирике яснее и понятнее. Он ищет в ней опоры, достойного примирения с неизбежным, обращаясь в окружающем его мире картин и идей к самому дорогому для него в жизни, как бы ни близка она была к финалу. И хотя он говорит:

Мир умирает каждый раз
С умершим человеком,—

но он не хочет на этом поставить точку, он хорошо знает, что только человечество в целом есть человек, что на месте выпавшего звена цепь жизни смыкается, он верит, что

Не погрузится мир без нас
В былое, как в потемки.
В нем будет вечное сейчас.
Пока живут потомки.

Нужно ли говорить, что Маршак не мог не чувствовать той мощной душевной опоры, какую давало ему сознание огромной общественной значимости его работы в литературе, связь с многомиллионной армией читателей, наибольшую часть которых составляли те, кому принадлежит будущее.

В ритмике, языке, интонациях негромкой, сосредоточенной речи, в стремлении к афористической завершенности лирических ми-

ниатюр Маршака нетрудно заметить следы опыта его переводческой работы. Можно даже сказать, что он обнаружил в себе лирика в практическом, рабочем соприкосновении с высокими образцами мировой лирической поэзии, в первую очередь — Бернса и сонетов Шекспира.

Но этот опыт здесь смыкается с живой потребностью личного высказывания, исповеди сердца и проповеди самых дорогих для поэта нравственных и эстетических заветов. Это сообщает лирике Маршака самостоятельную ценность, как принято у нас выражаться, «самовыражения», если, конечно, не придавать этому слову, как некоторые, значения греховности.

Искренность этого лирического самовыражения особо скрепляется тем, что носитель ее не молодость, более подверженная соблазну подражания вдруг возникающей моде, а возраст, которому уже незачем казаться чем-нибудь,— ему важнее всего быть самим собой. Это одно из бесспорных преимуществ старости — пусть не очень веселых.

Как это нередко бывает, Маршак долго болел, слабел, а умер почти что внезапно, как бы уронив перо на полустроке и сообщив особую знаменательность незадолго до того написанной прекрасной строфе:

Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, точно птицы.
И я остался автором одной
Последней недописанной страницы.



Ж Н И Ж Н О Е О Б О З Р Е Н И Е

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лазарев. Путь военной литературы.— **А. Кондратович.** Юноша из Острогжска.— **Ф. Светов.** Специфика иллюстративности.— **В. Швейцер.** Памятник Пушкину.— **А. Л. Штейн.** Рыцарь театрального реализма.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Яшков, С. Осокин. Морские богатыри.— **В. Выгодский.** Метод и практика.— **Н. Трифонов.** Дилетантизм и неряшливость.— **И. Миндлин.** Реформация католицизма.

Литература и искусство

ПУТЬ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Л. Плоткин. Литература и война. «Советский писатель». М.—Л. 1967. 358 стр.

«Великая Отечественная война в русской советской прозе» — такой подзаголовок дал Л. Плоткин своей книге. Его книга — одна из первых литературоведческих работ, посвященных не литературе военных лет, а литературе о Великой Отечественной войне. Это существенная разница, если даже взять только количественную сторону дела. Книги, написанные в дни войны, сегодня уже составляют лишь часть — и часть не очень значительную — литературы о Великой Отечественной войне. И замечание автора, что исследователю в данном случае приходится иметь дело с «поистине необъятным материалом», ни в коей мере не преувеличение.

Конечно, некоторые читатели книги Л. Плоткина могут припомнить те или иные произведения, которые, по их мнению, в такой работе надо было бы «упомануть» или «разобрать». Но вряд ли следует ставить Л. Плоткину в упрек, что он этого не сделал, — его работа не библиографический справочник и не обзор. Автор интересовался, как он заранее предупреждает читателей, произведения, «наиболее характерные для процессов, происходящих в советской литературе». На мой взгляд, в книге «Литература и война» такие произведения

русской прозы не упущены, да и сверх того немало книг «упомянуто» и «разобрано». Исследование ведется Л. Плоткиным широко. Время от времени он отодвигает художественную литературу в сторону и углубляется в книги мемуарные, исторические (вроде «Описания одной битвы» А. Клюге, «Катастрофы на Волге» И. Видера, «Солдат, которых предали» Гельмута Вельца), приводит архивные документы. Эти отступления — на пользу делу, они создают еще одну дополнительную «площадку» для обзора художественной прозы, мы видим ее не только изнутри, но и извне.

Помимо русской прозы, автор привлекает книги зарубежных писателей — как создателей литературы «потерянного поколения», так и тех, кто писал уже после второй мировой войны, полемизирует с современными зарубежными критиками, которые искаженно трактуют опыт нашей литературы. Коротко говоря, работа Л. Плоткина, как принято в таких случаях выражаться, богата материалом. Кроме того, — что тоже немаловажно — в ней правильно распределено авторское внимание: книгам более значительным, сыгравшим видную роль в литературном развитии («В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой,

«Звезда» и «Двое в степи» Э. Казакевича, военные романы К. Симонова, «Пядь земли» и «Июль 41-го года» Г. Бакланова, «Последние две недели» А. Розена, «Пропавшие без вести» Ст. Злобина и другие), уделено больше места — правда, за одним исключением: более подробного разбора, по-моему, заслуживал и роман В. Гроссмана «За правое дело».

Пожалуй, лишь одно ограничение, принятое автором, кажется мне искусственным: он рассматривает только русскую прозу, не принимая во внимание того, что сделано на эту тему в литературах других народов нашей страны. И хотя «нельзя объять необъятного», но все же некоторые книги, написанные на белорусском, украинском, литовском и других языках, а именно те, что «наиболее характерны» для процессов, идущих в общесоюзном масштабе, нельзя было обойти. Речь о повестях Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Богомолова не полна без развернутого анализа книг В. Быкова и А. Адамовича, а значение «Бабьего Яра» А. Кузнецова будет яснее, если рядом с этим романом поставить книги И. Мераса, М. Рольникойте.

Вероятно, не все читатели согласятся с конкретными оценками, которые Л. Плоткин дает многочисленным произведениям, попадающим в поле его зрения. Но и по этому поводу — из-за расхождений в оценке какой-либо книги — не стоит затевать полемику, если, конечно, подобная неточность или ошибка не влечет за собой искажения «силовых линий» литературного движения. Для того типа исследования, которое избрал Л. Плоткин, важны прежде всего и главным образом система оценок и критерии, предлагаемые автором как исходные.

Время производит перераспределение лавров и расставляет все по своим местам — так было всегда. Но в тот период, о котором пишет Л. Плоткин, особенно в первое послевоенное десятилетие, и процент ошибок был много выше средней нормы, и сами отклонения от истины были чересчур значительны. Вот почему, принимаясь за анализ литературного процесса этих лет, приходится самым тщательным образом проверять оценки, имевшие хождение в критике. Некоторые из них в силу инерции дожили и до наших дней, правда, то, что лет пятнадцать—двадцать назад звучало как безапелляционный и грозный приговор, сегодня преподносится в качестве оговорки.

Л. Плоткин во многих случаях свои выводы подтверждает сегодняшним, более зорким и широким анализом. Это относится в первую очередь к разбору повести Э. Казакевича «Двое в степи», которая, как доказывает автор, «утверждала и поэтизировала» высокие и незабываемые нравственные устои советского человека, который остается верен себе, в какие бы страшные и необычайные условия ни ставила его жизнь. Он остается верен себе не потому, что таковы принудительные веления извне, а в силу свободных в высшем смысле побуждений, по свободному выбору своей совести. Негативная критика повести именно в этом, главным, пункте не прошла бесследно для писателя. Разбирая «Весну на Оudere», Л. Плоткин вполне резонно замечает: «История с повестью «Двое в степи» сыграла свою роль, писатель постарался запечатлеть жизнь без тех осложняющих красок, которые принесли ему так много огорчений».

Кстати, о связи критики с литературным творчеством наглядно свидетельствует следующий пример, в котором писатель и критик — одно лицо. Объясняя истоки неудачи, которую потерпел М. Бубеннов во второй книге «Белой березы», Л. Плоткин справедливо напоминает его разносную статью, посвященную роману В. Гроссмана «За правое дело»: «Эстетика общих мест и общих предписаний в статье Бубеннова достигла своего крайнего выражения. К чему она приводила на практике, можно было видеть на примере второй книги «Белой березы».

Весьма интересно ведется автором анализ последних романов Г. Бакланова и А. Розена в сочетании с воспоминаниями о первых днях войны генерала армии И. Тюленева, бывшего пограничника полковника В. Шевченко, маршалов И. Баграмяна и А. Гречко.

Жаль, что этот плодотворный принцип непредвзятого прочтения старых книг не выдержан автором до конца, что иной раз и он использует, чуть-чуть «освежив», затасканный и изрядно обветшавший критический репертуар. О драматической диалогии А. Толстого «Орел и орлица» и «Трудные годы» он, например, пишет: «Несмотря на всю яркость и талантливость пьесы, писателю не удалось до конца раскрыть подлинные противоречия личности Грозного и его эпохи». Так неудача, которой даже боль-

шой художник должен был заплатить за попытку модернизировать прошлое вразрез с исторической правдой, выглядит как неполная удача.

Вот другой пример. Л. Плоткин заявляет: «...Некрасов в таких рассказах, как «Вторая ночь», отошел от верных путей, им самим найденных». Нельзя не удивиться тому, что автор, помянув одну лишь «Вторую ночь», почему-то во множественном числе употребляет слово «рассказ». Что это вообще значит: «такие рассказы, как «Вторая ночь» — что у В. Некрасова много похожих друг на друга рассказов или многие его рассказы знаменуют отход «от верных путей»? Этот критический стиль сегодня выглядит анахронизмом. Но дело не только в стиле. Мне кажется, что, если бы Л. Плоткин сейчас внимательнее перечитал рассказ «Вторая ночь», он обнаружил бы в своих суждениях бросающееся в глаза противоречие: так, правильно заметив вначале, что «в рассказе утверждается мысль: над смертью никогда нельзя смеяться...» (хотя эта мысль и не исчерпывает содержания произведения), затем, не связав даже концы с концами, критик делает неожиданный и не соответствующий действительности вывод, что писатель стал на «дорогу, которая ведет к пацифизму».

Нет необходимой точности в характеристике состояния нашей литературы перед войной — и все по той же причине: некритическое отношение к расхожим определениям. С одной стороны: «Все представления о возможном ходе событий, если враг нападет на нас, при соприкосновении с суровой реальностью не подтвердились». С другой стороны: «Советская литература задолго до 22 июня 1941 года была в известной степени подготовлена к исполнению своей исторической миссии в дни грозных испытаний». Что значит это «в известной степени»? И кому она известна, эта степень? Если автору, то почему он не пытается ее определить? Вообще эти туманные и бессодержательные оговорки — бич нашей критики, в том числе и данной книги.

О романе «В окопах Сталинграда» Л. Плоткин, например, скажет, что он «сыграл в известной мере принципиальную роль в развитии военной прозы», не чувствуя, как не склеиваются слова «принципиальная роль» и «в известной мере». Продолжая рассуждения об «оборонной теме» в предвоенной литературе, критик указывает

на несостоятельность романа П. Павленко «На Востоке» и повести Н. Шпанова «Первый удар», отмечая при этом, что авторы их «отразили те представления, иллюзии и самообольщения, которые имели место в нашем обществе». И затем делает уже более широкий вывод: «Однако если в художественной литературе тема будущей схватки с фашизмом не нашла более или менее убедительного решения, то в публицистике дело обстояло иначе. Появлялись книги понастоящему прозорливые и дальновидные». О, эта критическая магия превращения единственного числа в множественное: Л. Плоткин имеет в виду две действительно заслуживающие доброго слова книги Эрнста Генри «Гитлер над Европой?» и «Гитлер против СССР», больше он ничего не называет, и это понятно. Публицистика, так же как художественная литература, отразила «те представления, иллюзии и самообольщения, которые имели место в нашем обществе». Очень хорошо, что критик вспомнил книги Эрнста Генри, но само противопоставление публицистики художественной литературе выглядит по меньшей мере странным, тем более что и художественная литература того времени дала произведения, которые справедливо было бы в этом ряду вспомнить, — например, «Декабрьский дневник» А. Суркова, стихи А. Твардовского о финской кампании, книги Бориса Лапина, С. Днковского.

«Сейчас наступило время от классификации материала и от непосредственной его оценки перейти к некоторым обобщениям. Накоплен такой огромный и интересный материал, что уже есть возможность по крайней мере поставить вопрос о некоторых особенностях советской военной прозы вообще и в частности о своеобразии ее на нынешнем этапе, о плодотворных и ошибочных ее тенденциях» — так обозначил Л. Плоткин свою главную задачу, добавляя при этом, что не претендует на более или менее исчерпывающее решение проблемы. Задача не только интересная, но и трудная, поэтому оговорка автора не вызывает возражений.

В самом деле, очень быстро, почти сразу же после окончания войны, книги, написанные в дни сражений, стали рассматриваться как особый, внутренне заверченный этап развития нашей литературы. Иначе и не могло быть: столь очевидна неповторимость литературных произведений той поры, столь

отчетливо проступает специфический и общий для всего искусства военных лет круг проблем. Однако сейчас, когда прошло двадцать с лишним лет, ясно видно и другое — связь этого периода с последующим развитием литературы, то стимулирующее воздействие, которое оказала литература Великой Отечественной войны на литературу самых первых послевоенных лет и особенно последнего десятилетия.

Как же решает Л. Плоткин эту трудную задачу? Вот основной итоговый вывод автора: «Воссоздание правды о войне надо рассматривать как некий процесс. Историческая и художественная правда об Отечественной войне дается советской литературе постепенно, и мы видим, как истина о великих и грозных событиях середины века в коллективных усилиях наших художников становится все более глубокой и многогранной, как от эмоционального и зачастую иллюстративного подхода литература движется к аналитическому принципу, стремясь проникнуть в сокровенную суть действительности, затронуть большие и острые вопросы нашей жизни вообще, постигнуть источник нашей силы и могущества, столь блистательно проявившиеся на полях сражений, и наши недостатки, которые тоже не могли не сказаться в дни жестоких испытаний».

Естественно, что такого рода обобщающие характеристики по необходимости слишком абстрактны и неполны. Но, сделав на это скидку, нельзя не сказать, что и в ходе анализа иные решающие факторы отодвинуты Л. Плоткиным на периферию или вовсе обойдены молчанием. Не только итоговая характеристика, но и рассуждения автора подчинены схеме, согласно которой эволюция военной темы объясняется стремлением наших писателей «все глубже, полней и всесторонней» воссоздать «картину войны». И тогда возникает «пункт А» — «чисто эмоциональное и иллюстративное изображение» войны вначале (интересно, какие произведения имеет в виду автор — сталинградские очерки В. Гроссмана, «Спутники» В. Пановой или «В окопах Сталинграда» В. Некрасова?), от которого литература движется к «пункту Б» — к аналитическому принципу, к социально-историческому и философскому осмыслению» ее. Надо ли говорить, что согласно этой схеме книги, написанные в районе «пункта А», не могут выдержать сравнения с позднейшими произведениями. О романе «В окопах Сталинграда» так и гово-

рится: «В нем была сделана заявка на многое такое, что могло проявиться полностью лишь позднее». Конечно, автор — опытный литературовед и человек, наделенный живым восприятием искусства, — тут же отмечает, что и в первые послевоенные годы «созданы были значительные произведения, которые не утратили своей ценности и теперь». Но власть умозрительной схемы так сильна, что нередко она одолевает живое восприятие литературы.

Главу о литературе первых послевоенных лет заключает такая фраза: «Они (книги той поры. — Л. Л.) основаны были на живых впечатлениях, в них затрагивались острые моральные проблемы». И все! Эта неточная и обедненная характеристика возникла из стремления возвысить литературу более позднего времени, из прямолинейного представления о прогрессе в искусстве. На самом деле развитие литературы шло куда более сложным и трудным путем.

Чтобы познать закономерности этого развития, надо прежде всего отрешиться от убеждения, что эмоциональное и иллюстративное изображения войны или социально-историческое ее осмысление могут существовать как самостоятельная цель — вот раньше из-за недостатка опыта или неблагоприятных обстоятельств войну изображали так, а потом увидели, что это не полная правда, и стали изображать иначе. Проблематика и характер произведений о войне зависели в первую очередь от уровня общественного сознания, от тех задач, которые на том или ином этапе вставали перед обществом и которые художник, даже обращаясь к материалу историческому — а война постепенно становилась таким материалом, — не мог не воспринимать как задачи жгуче современные. Для того, чтобы определить особенности, скажем, военной повести середины пятидесятых годов, необходимо вспомнить, что в это время в общественном сознании пробивало себе дорогу более зрелое понимание гуманизма, связанное и с развенчанием культа личности, и с преодолением концепции человека-винтика, и с угрозой термоядерной войны, заставившей остро осознать ответственность каждого за будущее. Кстати, если опираться на такого рода фундамент, вероятно, не составило бы труда определить и истинную проблематику и пафос того же рассказа «Вторая ночь».

Предложенная Л. Плоткиным схема эволюции военной темы далеко не всегда дает

возможность вести проблемный анализ — в сущности, ему то и дело приходится переходить к рецензированию. «...Не все в этой книге в одинаковой мере художественно полноценно. Роман написан живым, ясным и простым языком, однако встречаются в нем неуклюжие и невыразительные места», — пишет критик о «Весне на Одере». Или в другом месте: «...Все же в книгах Симонова иногда преобладает «нейтральный» язык, лишенный выразительности и индивидуального своеобразия. Этот недостаток мог бы быть преодолен, если бы автор более тщательно и требовательно работал над словом». Для масштаба, который задан в работе «Литература и война», подобного рода замечания — вне зависимости от того, справедливы они или нет, — просто излишни. Но сохранились они не случайно, потому что стихия рецензионности довольно сильна в книге.

Не все слабости, о которых здесь шла речь, принадлежат, так сказать, «персонально»

Л. Плоткину. Некоторые из них — и на них следовало обратить особое внимание — реликты отмирающей критической методологии. Но она еще жива и даже так жизнестойка, что проникает и в столь серьезную работу, как книга Л. Плоткина. А как бы ни были велики высказанные здесь претензии, «Литература и война» заслуживает такой оценки — это серьезная книга. Может быть, и претензий высказано так много именно потому, что автор самым замыслом своим, своим «замахом», лучшими главами и страницами книги заставляет предъявлять к нему требования, как говорится, по большому счету. Нельзя забывать, что исследователю пришлось иметь дело с материалом необычайно сложным и острым, на его пути было немало препятствий и подводных камней. И его опыт (и то, что ему удалось, и то, что у него не получилось) не может быть не учтен всеми, кто занимается литературой о Великой Отечественной войне.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

ЮНОША ИЗ ОСТРОГОЖСКА

Василий Кубанев. Идут в наступление строки. Стихи. Фельетоны. Дневники. Письма. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж. 1967. 400 стр.

Ранней весной 1942 года вернулся с фронта в свой родной Острогожск Василий Кубанев. Был он тяжело болен и после короткой побытки дома оказался в больничной палате. Там он и умер вскоре.

Мать и младшая сестренка да еще несколько знакомых проводили Кубанева на кладбище, но война и там его нашла: той же весной во время одного из налетов вражеской авиации бомба ударила как раз по тому месту, где похоронили Василия, и разверзла громадную воронку.

В те дни в Острогожск заехал друг Кубанева Борис Стукалин. Потрясенный горем, он долго стоял у черного края воронки. В тот же вечер в блокноте Стукалина появились два стихотворения Кубанева, записанные со слов его сестры Маши, — «все, что сохранила ее детская память».

С этого и начал Борис Стукалин свои долгие, многолетние поиски написанного поэтом. Так возникла эта книга, буквально вырванная из забвенья, потому что не было у Василия Кубанева ни имени, ни славы, напечатал он всего лишь несколько стихотворений и статей в местных газетах, и кто

бы его теперь вспомнил... А Василия Кубанева помнят и знают, его имя в одном ряду с Всеволодом Багрицким и Павлом Коганом, с Михаилом Кульчицким и Николаем Майоровым, со всеми, кто рано погиб, не вернулся с войны, но успел оставить свой поэтический завет будущим юношам, и эти юноши уже пишут о тех юношах с уважительной благодарностью:

На всю жизнь вошел ко мне он в душу.
Как наставник, друг и Человек.

Эти наивно-почтительные строчки — о Василии Кубаневе. А было наставнику и Человеку, когда он заносил на бумагу свои последние строчки, двадцать лет от роду. Только. И никаким он не был наставником, хотя, покинув школьную скамью, тут же напечатал в острогожской «Новой жизни» «Беседы о воспитании», и одна женщина приняла автора «Бесед» за умудренного житейским опытом человека; и как же она была удивлена и разочарована, явившись в редакцию и увидев Васю, приятеля ее дочери, не отличавшегося, по ее мнению, образцовым поведением. И Человеком с

большой буквы как-то неловко его называть: величием и недоступностью веет от этих слов, а уж чего совсем не было у Васи Кубанева, как и у его сверстников. товарищей по перу, оружию и одинаково печальной судьбе, так прежде всего сознания своей исключительности или необычности.

Очень точно сказал о себе сам Василий Кубанев: «Время, время — лучший судья. Проходит всего лишь несколько дней — и я сам вижу, что плохо в последних моих стихах. Проходит еще несколько дней, и я уже знаю, почему это плохо, а еще через неделю — нахожу и способы избежать этого в дальнейшем».

Он не всегда видел, что плохо, а от влияний, совершенно неизбежных и даже обязательных в пору ученичества, поскольку они — от увлеченности и восхищения образцами, вообще не освободился. Он словно пробовал разные поэтические инструменты, и мы слышим то трубный голос Маяковского, то тихую иронию Светлова, то звонкий стих Багрицкого. Это хорошие образцы, и многие юноши тридцатых годов, как и Кубанев, находились под их властным влиянием, под их сенью искали себя. Можно с полным правом утверждать, что не будь школы, влияния, образца, которые и научают требовательности, уважению к слову, а значит, воспитывают горчайшее, но трижды необходимое талант чувство неудовлетворенности собой (оно и есть самый первый, наипервичный признак таланта), то не было бы и этих слов «я сам вижу, что плохо в последних моих стихах» — слов, которые талантливый человек повторяет чаще, чем какие-либо другие.

Видимо, Василий Кубанев повторял их часто, потому что писал он много, как, наверное, пишут только в юности, и планы у него были грандиозные, какие тоже рождаются лишь в прекрасную пору еще ни на что не растрченных сил: он мечтал написать не один роман, а серию романов, стыдливо называя свой гордый замысел почти конспиративно — «Целое». Но именно он тревожился: «Ты не очень доверяй моим планам и замыслам. То есть доверяй им не больше, чем любым планам и замыслам. Они могут совсем не осуществиться. И тогда как горько будет твое разочарование во мне. Ведь я кажусь тебе, может быть, хорошим лишь в свете моего будущего. А если оно иным будет, чем ты представляешь

его?.. Не надо, не фантазируй. И представляй меня как можно хуже. Это будет лучше».

Можно ли в свете таких слов посмертно награждать юного поэта завышенными оценками? Не будем лукавить перед памятью павших: талантливые ребята, они были все же на подступах — и порой дальних — к своей поэтической зрелости. Совсем не случайно их еще в сильной мере волнует тема — свое призвание. Почти у каждого из них об этом много стихов, строчек. Но если все еще мучает сомнение (смогу ли я?). то относительно целей поэзии, смысла работы в ней — никаких сомнений нет. Убежденность в том, что поэзия — дело серьезное. слышится в самом ритме кубаневских строк:

Стихи не приказанье,
Прошедшее по ротам,
Не стильное фырчанье
По звездам, как по нотам,
Не просто упражненье,
Не любопытный опыт,
Отнюдь не угожденье
И не мотивный ропот...
И не из-за границы
Придуренное диво,
И вовсе не страницы
Кушеточного чтива.
Стихи не прибаутки,
Не дудкины погудки,
А нечто вроде возгласа
У пограничной будки.

Серьезность взгляда на предстоящее дело жизни, побуждающая к высокой зыскательности — к себе, к товарищам, к окружающему миру, к классикам даже, к образцам! — особенно чувствуется при чтении дневника Кубанева. Нисколько не преувеличу, если скажу, что кубаневский дневник по напряжению мысли, все время стремящейся понять суть фактов и явлений, по разнообразию интересов и свежести наблюдений — на одной линии с дневниками Сергея Чекмарева, Нины Костериной, Марка Щеглова, чрезвычайно популярными у молодежи, и не только у нее. Больше того, стихи Кубанева воспринимаются в сборнике как часть дневника. Что является лирическим комментарием — стихи к дневнику или дневник к стихам — сказать трудно: так они слитны и неразделимы. За тем и за другим видна бурно формирующаяся, стремительно растущая личность — талантливая, зыскующая истины, идеала, по-юношески ненавидящая всякое зло и всякую фальшь, критически проверяющая каждую мысль и каждую собственную строчку и, конечно, часто сры-

СПЕЦИФИКА ИЛЛЮСТРАТИВНОСТИ

Виталий Закруткин. Сотворение мира. Роман. Книга вторая. «Октябрь», №№ 6 и 7, 1967.

Прошло более десяти лет с тех пор, как была опубликована первая книга романа «Сотворение мира». Срок для нашего быстротекущего времени немалый. И действительно, сколько всего произошло за эти годы — и в мире (и даже в уже известной нам вселенной!), и в нашей стране, и в отечественной литературе!

Читателю, незнакомому с романом В. Закруткина, может показаться такое начало рецензии слишком торжественным, «глобальным», а на самом деле я просто нахожусь уже в стихии этого произведения, где ничего не стоит перенести читателя из глухой деревушки Огнищанки в Париж или на побережье Средиземного моря, а потом в Благовещенск или еще дальше в дальневосточную тайгу, к духоборам, в чьих избах в начале тридцатых годов еще висят портреты царя и царицы, о судьбе которых в этой глухомани никто и не подозревает. И правда, погружившись в стихию романа В. Закруткина, привыкнув легко и свободно перемещаться в пространстве, читатель уже не удивляется, когда ему на одной странице предлагают послушать неуклюжие признания в любви молодого агронома Андрея Ставрова красавице Еле, а на другой он слышит зловеющий шепоток Троцкого, плетущего свои интриги в Алма-Ате, а потом на Принцевых островах, или бормотание ван дер Люббе, «сознающегося» в поджоге рейхстага якобы по приказу коммунистических руководителей.

Десять лет назад в большой статье о первой книге романа «Сотворение мира» Г. Владимов¹ писал, что почти необозримая широта охвата фактов повредила произведению В. Закруткина, привела «к уменьшению реалистической полноты и цельности каждой из составных частей». И действительно, стремление автора непременно осветить разнообразные международные события, упоминания десятков исторических имен не имели, по сути дела, никакого отношения к тому, что происходило с героями романа — жителями деревни Огнищанки. Связи их с участниками Генуэзской конференции или деятельностью Савинкова были весьма условны: один из родственников

¹ «Деревня Огнищанка и большой мир» («Новый мир», № 11, 1958).

огнищанского фельдшера — дипкурьер, он разъезжает по разным странам и пишет родным подробные отчеты об увиденном из окна вагона, а тем временем женщина, которую он любит, умирает в России от туберкулеза; другой, еще более дальний, родственник того же фельдшера (муж женщины, в которую влюблен дипкурьер) — казачий хорунжий, мыкает горе в белой эмиграции; третий — сын бежавшего от крестьянского гнева огнищанского помещика, становится нацистом, а девушка, которую он в юности любил, выходит замуж за первого председателя колхоза в Огнищанке.

«Может быть, в одной из следующих книг романа разрозненные линии как-то свяжутся или пересекутся, — писал с надеждой Г. Владимов и добавлял: — Но справедливо ли это по отношению к читателю первой части романа?»

Надо сразу же сказать, что по отношению к читателям второй книги романа «Сотворение мира» совершена такая же несправедливость, читатель поставлен в столь же трудное положение: разрозненные сюжетные линии все еще не связаны и не пересекаются. Но тем не менее кое-что все-таки изменилось: если первая книга романа размещалась в семи журнальных номерах, то вторая занимает только два номера. Внял ли автор пожеланиям своих читателей или просто, так сказать, «рука устала» — во всяком случае вторая книга «Сотворения мира», несомненно, компактнее. Но уступив в количественном отношении, автор остался неколлективно верен своим принципам построения романа: как уже говорилось, действие столь же свободно переносится с одного материка на другой, от подробностей частной жизни героев автор легко и бездумно переходит к событиям всемирно-исторического значения.

Это своеобразие, или, скажем иначе, специфика, романа В. Закруткина, несомненно, усложняет и его читательское восприятие, и его критический анализ. Поэтому попробуем для начала обратиться хотя бы к главному герою романа Андрею Ставрову, который в первой книге был всего лишь подростком, а теперь уже юноша, взрослый молодой человек и находится в центре внимания автора.

Сын сельского фельдшера, выросший в Огнищанке в трудные голодные годы начала советской власти, Андрей Ставров втягивается в крестьянскую работу, он любит ее, любит землю и поэтому идет в сельскохозяйственный техникум и хорошо там учится. Правда, больше ничем эта его любовь к земле не подтверждается, а только неоднократно декларируется: непосредственно в работе мы Андрея увидеть не успеваем. Он показан главным образом в любви: сначала к прелестной девочке — соученице по школе, потом к ней же — красавице, студентке музыкального училища Еле Солодовой. Он думает о ней бесконечно уже на первых страницах второй книги: «Образ Ели, подобно туманному свечению, почему-то расплылся в красках, сверкании и шумах города, в котором Андрей был один раз в жизни...» Он влюбляется в нее «с каждой новой встречей все больше», доходит «в своей неистовой безответной любви до странной робости перед этой красивой, кокетливой девушкой», его захлестывает «горячее, томящее и сладостное чувство любви к ней», он постоянно — «словно наяву» — видит «пристальный, улыбочивый взгляд ее светлых глаз, круглый, капризный подбородок» и прочее.

Правда, проявляются эти «ненстовые», но довольно обыкновенные для влюбленного молодого человека чувства несколько неожиданно: то Андрей, угодив в лесу под дождь, разделся и «голый, охваченный диким восторгом, стал приплясывать, громко и радостно напевая: «Рата-тата-тата! Рата-тата-тата! Рата-тата-тата! Рата-там!» Он пел, прыгал, рычал, бил себя ладонями по животу и по бедрам, ржал, как взыгравший от озорства конь-стригун. Каждой кровинкой он чувствовал свое молодое, сильное, мускулистое тело, ощущал каждый голчок сердца, раздув ноздри, вдыхая запахи земли и сатанея от невыразимого счастья, от этой сияющей радуги, от хрипловатого, призывного крика кукушки и воркования горлиц...». А другой раз, встретив Елю «в пустынном переулке», загородил ей дорогу и сказал «сквозь зубы»: «Видел на днях твоего розовошекого борова (приятель Ели Юра, с которым она ходила в кино.— Ф. С.) — Хорош. Это про его морду сказано: мурло мешанина. Впрочем, для тебя он, видимо, будет самой подходящей партией... Вы друг друга стойте... У вас с этим боровом будет удобная, чистая кварти-

ра. Он будет аккуратно приносить тебе зарплату, которую вы в трогательном согласии вместе будете тратить. Вечерами он будет играть тебе на балалайке и петь о душистых гроздьях белой акации... Подштанники у него будут голубые в лиловую полоску... Ты будешь ежедневно жарить ему прогорклые котлеты, нянчить голозядых, сопливых детей, штопать его дырявые заграничные носки и с тихим упреком говорить ему, что у него носки дурно пахнут... А потом... потом пройдут годы, и люди у тебя спросят, как спросил у кого-то поэт,— помнишь? — «что же дали вы эпохе, живописная лахудра?» Еля, натурально, плачет: «Как тебе не стыдно!.. Почему ты так зло обижаешь меня?» На что наш герой проникновенно заявляет: «Потому, Еля, что я боюсь за тебя... И еще потому, что я люблю тебя. Слышишь? Люблю так, как не полюбит тебя уже никто и никогда...»

Что ж, любовь — это область тонкая, у разных людей проявляется по-разному, а натура героя романа, очевидно же, буйная, темперамента ему не занимать, во всяком случае именно темпераментом автор объясняет лесные безумства героя в костюме Адама или то, что, взревновав, он оскорбляет не только предполагаемого соперника и Елю, но даже ни в чем не повинных, еще не родившихся ее детей. (В первой книге романа, в отрочестве, Андрей проявлялся не менее «буйно» и психологически неожиданно: то он резал себе руку ржавым ножом, чтобы привлечь к себе Елино внимание, то подбрасывал ее отцу анонимное письмо о ее, Елином, якобы недостойном поведении.)

Автор романа «Сотворение мира» очень дорожит сложностью натуры героя. Более того, он, несомненно, любит его, гордится им: Андрей Ставров, по мысли романиста, сильный и достойный человек. Но в чем же эта сила, достоинство проявляются? Верно, страстный человек, ничего не скажешь, способен «взыграть от озорства», может даже оскорбить и обругать. Ну, а в деле, в работе, отстаивая свое мнение, принципы? Ведь Андрей Ставров — взрослый человек, вокруг него рушится старый мир, строится новый, он комсомолец, участник этого сотворения мира, о котором роман В. Закруткина и написан!

Но как только доходит до дела, в котором герой мог бы хоть как-нибудь проявиться, Андрей Ставров мнется или пасует. Он

способен прикрикнуть на мать, когда на семейном совете они обсуждают, остаться ли им, Ставровым, в Огнищанке, вступить в колхоз или уехать из деревни: «Ты свою истерику прекрати... Будут колхозы, не будут, я все равно вернусь к земле...» Но это разговор семейный. А вот когда в техникуме начинают обсуждать серьезные проблемы коллективизации, что не может не волновать студентов и преподавателей, Андрей Ставров свою определенность утрачивает и отношение к происходящему сформулировать не может: сначала он откровенно сочувствует словам уважаемого им преподавателя Родиона Гордеевича Кураева, сказавшего сомнение в успехах артельного земледелия («Родион не срейфил, крыл начистую все, что думает. Молодец, мне такие по душе»), а потом, когда накануне выпускного вечера сотрудники ГПУ «арестовали и увезли» Кураева и еще четырех студентов (за то, что они якобы яростно боролись против коллективизации) и преподаватели техникума ходили мрачные и встревоженные, Андрей и ухом не повел: у него свои заботы — приехала дальняя родственница Тая, влюбленная в него, пришла на вечер Еля — танцы, провожания, поцелуи... И в этом, естественно, ничего удивительного или неправдоподобного нет: молодой парень, влюбленный сумасброд, без царя в голове... Но ведь в «Сотворении мира» у Андрея Ставрова совсем другая роль, скорее, так сказать, идеологическая, он олицетворяет собой, по мысли автора, светлые и положительные стороны поколения, да и сам говорит о себе, как сказано автором, «дерзко», явно противореча, впрочем, тому, как он в романе показан: «Нет, я привык думать головой, а не ногами».

И тем не менее, с ф е р а Андрея Ставрова, несмотря на все уверения автора, конечно же, глубоко личная, любовная. Здесь он в своей тарелке — ревнует, озорует и сатанеет. Чтобы покончить с этим, остановимся только на истории женитьбы Андрея. Уехав после окончания техникума, несмотря на громкие декларации о любви к земле, вслед за родными на Дальний Восток, он путешествует по таежным поселкам, готовит докладные записки, но главным образом «развивает» свои отношения с Елей: пишет ей «бесконечное письмо», ему кажется, что «из глубины бездонного неба в окружении трепетно мерцающих звезд сейчас явится перед ним милое, такое желан-

ное ее лицо, что он услышит ее голос...». Но писем и такого рода абстрактных ощущений, само собой разумеется, недостаточно для темперамента Андрея — надо и повидаться: он садится в поезд и вместе с отцом и приятелем едет через всю страну обратно на запад, в «заветный город». Андрей входит в дом и направляется прямо... в спальню. «На широкой кровати, слегка прикрывшись тонкой простыней и закинув за голову руки, спала Еля. Губы ее чуть вздрагивали во сне, темные волосы разметались по подушке... Ну, а дальше все развивается стремительно: «Выйдешь за меня замуж?» Еля никак не может сразу решиться, раздумывает, перебирает в памяти все, что знает об Андрее: «Никогда нельзя угадать, что он выкинет». И правда, есть что вспомнить и о чем задуматься! Но Андрей настойчив, торопит, вспоминает Елину собачонку, ее «раздавил автомобиль». «Смотри, — нехорошо усмехаясь, сказал Андрей, — если ты не поедешь со мной, я тоже могу оказаться под колесами». Аргумент серьезный, Еля соглашается, они едут к ее родителям, те рады, молодые идут в загс, а потом гулять, задумывают искупаться в озере: «Андрей и Еля разделись, взявшись за руки, пошли к воде. Оба они, стыдясь и радуясь, старались не смотреть друг на друга, а если и смотрели, то незаметно, украдкой. Первый раз в жизни Андрей увидел Елю почти обнаженной: ее покатые оголенные плечи, чуть прикрытую черным грудь, округлый живот, крепкие стройные ноги. «Давай, я понесу тебя», — задыхаясь, сказал Андрей. «Зачем?» — не глядя на него, спросила Еля. «Не знаю, мне хочется взять тебя на руки...» — «Я тяжелая...» — «Ничего...» — «Нет, правда, не надо...» Но Андрей уже нагнулся, правой рукой обнял ее ноги, а левой обхватил шею и осторожно понес в воду. Она действительно была тяжелой, рослая, прекрасно сложенная девушка, но он нес ее, прижимая к себе, нес, как самую драгоценную, самую радостную для него ношу...»

Я процитировал этот отрывок для того, чтобы читатель мог представить себе стилистику романа, а также отчетливее ощутить контраст переходов от такого рода подробностей частной жизни к событиям историческим. Как видим, этот интерес к «подробностям» весьма специфичен, более того, он традиционен: читателю уже приходилось сталкиваться с повышенным интересом некоторых авторов к, так сказать, водным

процедур; читатель уже не в первый раз встречается с влюбленным героем, который обязательно «поднимает» и «несет» героиню, доказывая тем самым, видимо, свою незаурядную мужественность — «ноша»-то «тяжелая», но... «драгоценная, самая радостная...» и т. п. Но если, рассказывая о любви героя, автор романа «Сотворение мира» старается быть как можно более внимательным к мелочам и подробностям противоречивых психологических состояний героя и для изображения этих состояний пользуется, по известному выражению, методом «карты-двухверстки», то, повествуя о международных событиях, он следует лишь методу «глобуса».

Стиль романиста здесь решительно меняется: мы уже не встретим даже попытки проникнуть, скажем, в социальную или иную психологию упоминаемого деятеля, проанализировать — художественно или публицистически — происходящее; автор ошарашивает читателя kaleйдоскопом сведений, которые просто перечисляются: «Государству очень нужны были инженеры. Еще в декабре 1925 года на Четырнадцатом съезде Коммунистической партии был взят курс на индустриализацию страны. Прошло зсего два-три года, и уже строились Днепротэс, Туркестано-Сибирская железная дорога, Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Бобриковский и Березниковский химические комбинаты, металлургические комбинаты — Кузнецкий в Сибири, Магнитогорский на Урале, Криворожский на Украине, огромные автомобильные заводы в Москве и в Горьком, машиностроительные — в Краматорске и в Горловке. В глухой тайге, в холодной тундре, в сыпучих песках жарких пустынь и среди скалистых гор стали появляться тысячи строителей, возникали города, все пришло в движение...» Или: «Покорные приказу невидимых хозяев, шумно зашевелились бежавшие в свое время за границу националисты, жаждавшие расчленения Советского Союза и рагующие за отделение Грузии, Армении, Азербайджана, Украины...»; «Не отставал от земляков «самостийников» и ...Павло Скоропадский»; «снова зашевелились и белогвардейские организации в Харбине, в Мукдене, в Цицикаре...»; «белогвардейские эмиссары отправились для закупки оружия во Францию, Германию, Голландию»; «в Шанхае был сформирован новый ударный офицерский полк...»; «Белогвардей-

ские муравейники зашевелились в Азии, Африке, в Америке и в Европе»; «на одной из центральных улиц Москвы террорист-белогвардеец Иуда Штерн среди белого дня тяжело ранил выстрелами из пистолета советника германского посольства...»; «30 января 1933 года президент Германии престарелый фельдмаршал Гинденбург после долгих секретных переговоров с фактическими хозяевами страны монополистами-миллионерами подписал указ о том, что канцлером республики назначается вождь германской национал-социалистской партии Гитлер...» и т. д. и т. п. Причем упоминаемые в романе факты и события не «фон» или некий «второй план», оттеняющий или объясняющий действие или жизнь героев (как уже говорилось, к обстоятельствам их реальной жизни все это не имеет ни малейшего отношения), — это совершенно самостоятельная струя романа В. Закруткина, которая должна свидетельствовать о масштабности замысла, его эпичности.

Впрочем, порой автор прерывает однообразное нанизывание такого рода «масштабных» сведений и предпринимает попытки хоть как-то беллетризовать сообщаемые читателю общезвестные факты. Так посвяляется в романе поезд, остановившийся «на захудалой, словно вымершей станции», «неприятная степь», «станционный домишко», верблюд, «тощие собаки с поджатыми хвостами» и «четыре заснеженных вагона». «В поезде ехал к месту своей ссылки Лев Троцкий». («Нет, Лев Троцкий не думает сдаваться. У него давние связи с верными учениками и соратниками не только в Советском Союзе, но и в Германии, Франции, Австрии, Испании, в разных странах Латинской Америки. И вот он сидит у окна охраняемого чекистами вагона, всматривается в пустынную, заснеженную степь и, посверкивая стекляшками пенсне, декламирует жене и сыну стихи Омара Хайяма: «Я в этот мир пришел — богаче стал ли он? Уйду — великий ли потерпит он урон? О, если б кто-нибудь мне объяснил: зачем я, из праха вызванный, стать прахом обречен?» И, резко повернувшись, говорит убежденно и зло: «Нет. Это он обречен стать прахом. Он!» Жена и сын не спрашивают, о ком идет речь. Они хорошо знают, что «он» — это Сталин. Сталина Троцкий ненавидит слепой, свирепой ненавистью».)

Разумеется, подобная беллетризация ничего не меняет в природе стилистики «эпи-

ческой» части романа В. Закруткина — перед нами все то же нанизывание сведений, но уже, так сказать, несколько окрашенное авторским отношением.

Само по себе это отношение к герою предыдущего эпизода понятно, оправдано и не может быть иным. Речь здесь идет о другом — о примитивности, художественной несостоятельности его воплощения. Но в романе есть места, эпизоды, сцены, в которых и само авторское отношение вызывает желание возражать, уточнять, спорить. Вот один из центральных героев романа — председатель уездного исполкома Долотов (участник Октября и гражданской войны, лично знакомый с Лениным) разговаривает с секретарем укома троцкистом Резниковым, только что, в самом конце 1927 года, вернувшимся из Москвы. Разговор резкий (Резников: «Сталин ведет партию к буржуазному перерождению!.. Он типичный термидорианец!» Долотов: «Ты Сталина не тронь... Мы знаем, почему Сталин стал вам поперек горла...»). Собеседники непримиримы. Тогда Резников достает из папки «лист тонкой папиросной бумаги с бледными строками, отпечатанными на пишущей машинке», и говорит: «Вот, дорогой Долотов, слушай, что писал Ленин, обращаясь к партийному съезду...» Резников читает вслух известное под названием «Завещание» письмо Ленина (оно цитируется в романе) и добавляет: «Это не мои слова, это слова Владимира Ильича Ленина». «Покажи-ка мне бумагу», — говорит Долотов и прячет ее в карман френча. — «Как к тебе попала копия этого письма, если было вынесено решение не распространять его, а ты к тому же не был делегатом съезда?» Резников бледнеет, просит вернуть бумагу, но Долотов уходит, хлопнув дверью. «Ишь, сволочь, Сталина ругает, — подумал Долотов, — обвиняет его в перерождении, во всех смертных грехах. Понимает, гад, что Сталин их на чистую воду выводит...»

Как видим, поверхностная, беглая беллетризация всем известного факта борьбы партии с троцкистской оппозицией приводит здесь автора к весьма сомнительному эффекту. Я уже не говорю о недостоверности этой сцены: старый член партии Долотов не может не знать, что на только что закончившемся XV съезде партии было принято решение о публикации этого ленинского письма, поэтому его действия не более как шантаж: ведь нет ничего уди-

вительного в том, что «Завещание» оказалось в папке секретаря укома, хотя он и не был делегатом съезда, и что этот секретарь показал письмо коммунисту Долотову. (Письмо было напечатано в 1927 году в Бюллетене № 30 XV съезда ВКП(б). М.—Л.) Да и Резникову в этой ситуации пока еще нечего «бледнеть». К тому же странно реагирует проверенный ленинец Долотов на услышанные им, разумеется не в первый раз, ленинские слова о личных свойствах Сталина...

Но удивительнее всего здесь, конечно же, отношение самого автора ко всем известному факту (несмотря на принятое съездом решение о публикации ленинского письма, его хранение, а тем более распространение действительно преследовалось): ведь в романе В. Закруткина человек, который откровенно идет против такого принципиально важного партийного решения и пытается его скрыть, — герой положительный. Более того — это один из центральных героев, во всяком случае симпатии автора к нему очевидны и никаких сомнений не вызывают..

Разумеется, природа эпического, которая художественно органично связывает повествование о событиях исторических и рассказ о частной, сугубо личной жизни, не имеет ничего общего с таким, как в романе В. Закруткина, поверхностно-случайным объединением вещей необъединяемых. Мудрено найти общую мысль в пристальном интересе автора к «сложностям» натуры Андрея Ставрова, проявляющимся лишь в безумствах любви, и в настойчивом стремлении еще и еще раз напомнить о заслугах Сталина. Связи здесь, разумеется, никакой нет. Зато есть общий принцип в изображении: никакими художественными законами не сдерживаемый авторский произвол так же не оправдан в характеристике молодого агронома, как и в обращении с историческими фактами...

Несмотря на всю субъективность самого процесса художественного творчества, существуют вполне объективные законы искусства. Книга иллюстративная не только не дает эстетического удовлетворения, она, разрабатывая заранее заданную идею, извращает жизненную правду, тшится оправдать то, что оправдать невозможно, и выдает черное за белое. Причем одно дело, когда нам рассказывают историю о молодом человеке, пляшущем в лесу или оскорбляющем ни в чем не повинную девушку, а дру-

гое — когда автор, пользуясь теми же приемами, берется за освещение вопросов истории и политики, затрагивающих жизнь всего народа, всей страны.

Работа в художественной литературе — дело ответственное, предполагающее нрав-

ственные цели. Задачи же произведения иллюстративного совсем иные — и роман «Сотворение мира», к сожалению, еще одно подтверждение этой общеизвестной истины.

Ф. СВЕТОВ.

★

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

Марина Цветаева. Мой Пушкин. Подготовка текста и комментарий А. Эфрон и А. Саакянц. Вступительная статья Вл. Орлова. «Советский писатель». М. 1967. 275 стр.

Слово «Пушкин» возникло у Цветаевой в том раннем, еще досознательном детстве, когда все только запоминается, чтобы быть понятным и осмысленным много спустя. Одновременно появился зрительный образ: черный великан с наклоненной головой, возвышающийся над всем и вся. Первое детское понятие Цветаевой — не поэт, не гений, не стихи даже, а Памятник-Пушкину, нечто необыкновенное и удивительное, произносимое и ощущаемое, как одно слово. Памятник-Пушкину так непременно существовал на Тверском бульваре — месте ежедневных прогулок маленьких Цветаевых, — что не возникало сомнения в его вечности и бессмертии. Он так притягивал воображение своей чернотой, громадностью и загадочностью, что неизбежно оказался необходимым действующим лицом детства поэта Цветаевой, как родной дом в Трехпрудном или Таруса, где Цветаевы жили летом. Памятник Пушкину стал для ребенка живой принадлежностью семейного быта, чтобы затем презрительно в Пушкина — часть цветаевского бытия.

И, наверное, именно потому, что для Цветаевой даже памятник Пушкину на Тверском бульваре был человеком, пусть непохожим на других, но настоящим, живым человеком, взрослая Цветаева никогда не могла примириться с мертвечиной, с годами накапливавшейся у его подножия. «Поэты, поэты, еще больше прижизненной славы бойтесь посмертных памятников и хрестоматий!» — этот вопль обиды за Пушкина, придавленного и подавленного тем самым чугуном, в котором его отлили и «этот чугун на поколения навалили», выражает сущность отношения Цветаевой к поэзии и самой памяти Пушкина. Обращаясь к нему — в прозе ли, в стихах ли, — она всегда выходила за рамки «хрестоматийного» Пушкина, преодолевала привычные представления о нем, стремилась вернуть читателю непосредственное ощущение его личности и поэзии и ввести Пушкина в свое время таким, каким он был в своем — среди друзей, недругов, читателей...

Цветаева любила Пушкина во всем многообразии его человеческой личности, как абсолютно законченный в своем совершенстве и неповторимости мир. Он был для Цветаевой так же огромен и необъятен, как явления природы. Он и есть явление природы — Гений. Это чувствовали уже те, кто соприкасался с живым Пушкиным. Они знали о его человеческих слабостях и недостатках. И все же... «когда Пушкин вошел... для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии», — вспоминал И. А. Гончаров. А много десятилетий спустя Осип Мандельштам, никогда не видевший Пушкина, возвращался мыслями к тому же образу: «Пушкина хоронили ночью. Хоронили тайно. Мраморный Исаакий — великолепный саркофаг — так и не дождался солнечного тела поэта. Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели полозья саней, увозивших для отпевания прах поэта. Я вспоминаю картину пушкинских похорон, чтобы вызвать в Вашей памяти образ ночного солнца...» Необъятный и неисчерпаемый, как солнце, — таким был Пушкин и для Цветаевой.

В книге собраны прозаические работы Цветаевой о Пушкине — «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев», ее стихи и отдельные высказывания о поэте.

Стихи Цветаевой о Пушкине вместили в себя не только внутренний портрет поэта, но и образ времени, и разное отношение к Пушкину. «Есть три Пушкина. Пушкин — очами любящих (друзей, женщин, стихоло-

вующих) Пушкина, преодолела привычные представления о нем, стремилась вернуть читателю непосредственное ощущение его личности и поэзии и ввести Пушкина в свое время таким, каким он был в своем — среди друзей, недругов, читателей...

бов, студенчества), Пушкин — очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин — очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки — посмертные отзывы) и, наконец, Пушкин — очами будущего — н а с». Эти слова, написанные за два года до цикла «Стихи к Пушкину», оказались как бы программой его.

Бич жандармов, бог студентов,
Жельчь мужей, услада жен...

Это стихотворение — резко полемический диалог между любящим — Цветаевой — и «старомозглым Плюшкиным». Оно оказалось цветаевским вариантом пушкинского «Поэт и чернь», где Поэт — не просто Пушкин, а Пушкин сквозь призму цветаевского понимания и любви.

Цветаева не стесняется говорить о своем родстве с Пушкиным, не считает нужным, изображая скромность и почтительность, смотреть на него снизу вверх. Она прямо называет себя его «товаркой»:

Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.

Святость поэтического ремесла исключает субординацию. К тому же, будучи уверенной, что поэтический дар — нечто врожденное, от человека не зависящее, Цветаева говорила о нем спокойно, как о чем-то объективном, чему необходимо подчиниться и что надо оправдать работой. В одном из ее писем сказано: «Все настоящие знали себе цену — с Пушкина начиная (до Пушкина! Или м. б. — кончая, ибо я первая после Пушкина, кто так радовался своей силе, так открыто, так — бескорыстно, так непереубедимо!)»

Она могла позволить себе эти слова, потому что не пренебрегла своим даром, не положила на него, а работой, огромным трудом его искупала и оправдывала. Недаром в стихотворении «Станок» Цветаева говорит о тяжелейшем — до скрипа зубового — труде поэта, свергая его с подобных невесомых «небес поэзии»:

Знаем, как «дается»!
Над тобой, «пустяк»,
Знаем — как потелось!

«Каждая помарка — как своей рукой»...
Тяжесть их была Цветаевой слишком

знакома, потому что она — как любой настоящий художник — труд ставила наравне со вдохновением. В одном из очерков она признавалась: «...мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним — в двадцать тысяч». Здесь надо заметить, что Цветаева с огромным уважением относилась к любому труду, ценила любое мастерство. Слово «ремесло» было для нее высоким и уважительным, недаром один из своих сборников она так и назвала — «Ремесло». «Сохрани, Боже, нас, пишущих, от хулы на ремесло... — писала она, — ...ремесло да станет вдохновением, а не вдохновение ремеслом». И Цветаева прославляет не абстрактное «творчество» Пушкина, а его труд, работу. Необычайно высоко поднимая значение того, что он сделал, она настаивает на почти физической основе этого огромного духовного дела. Вы думаете,

Преодоленье
Косности русской —
Пушкинский гений?

Но что может сам по себе гений, понятие отвлеченное — дух? Нет, это прежде всего —

Пушкинский мускул!
На кашалотье
Туше судьбы —
Мускул полета,
Вега,
Борьбы.

Может показаться, что Цветаева здесь отошла от своих взглядов на поэтическое творчество. Ведь она считала — неоднократно это повторяла, — что произведение искусства рождается вне воли и желания художника, а лишь от потребности самого явления быть явленным устами того или иного поэта: «Вещь, путем меня, сама себя пишет». И еще многократно — о творческом процессе как состоянии наваждения, о «сошествии стихий» на поэта. Казалось бы, при чем же здесь «потелось», «скрипелось негрскими зубами», «мускул» и т. п.? А при том, что в последней строфе стихотворения «Преодоленье...» появляется крыло серафима, может быть, того самого, из пушкинского «Пророка» — «и шестикрылый серафим...»:

То — серафима
Сила — была:
Несокрушимый
Мускул — крыла.

И, следовательно, вся эта сила, мощь, мускулатура оказываются силой и мощью крыла, в котором для Цветаевой сплетаются вдохновение и ремесло, стихии и труд, — в общем, чудо. «Настоящее чудо поэта», как сказала она по другому поводу.

«Волей чуда — весь Пушкин», «Раз сегодня: не смог, завтра смогу (Пушкин. Чудо)» — утверждала Цветаева в очерке о Валерии Брюсове «Герой труда», противопоставляя чудо творчества Пушкина волевому творчеству Брюсова. Без понятия чуда для нее не существовало настоящей поэзии. И Пушкин был этим воплощением чуда. Того чуда, присутствие которого она сама всегда ощущала во время работы.

«Мой Пушкин» — сказано вызывающе. Но это определение самым непосредственным образом относится ко всему, что Цветаева написала о Пушкине. Мой Пушкин в отличие от вашего, всех — пушкинистов, читателей, почитателей, знатоков и любителей. Мой — такой, каким я его увидела в раннем детстве и с каким прошла по жизни. Этот Пушкин менялся по мере изменения самой Цветаевой, ее взросления и становления. В самом раннем стихотворении «Встреча с Пушкиным» это всего лишь романтический «курчавый маг», Пушкин «Цыган» и стихов о Наполеоне, которым Цветаева самозабвенно увлекалась в те годы. Но уже и здесь Пушкин — живой: простой, все понимающий, веселый и грустный; как мальчишка, сбегавший с горы за руку с девчонкой — Цветаевой. А почти двадцать лет спустя он, такой же живой, необычайный, ни на кого не похожий: «скалозубый, нагловзорый», «африканский самовол — наших прадедов умора» — предстает уже в качестве вождя:

Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили...

Но не только эпоха в русской словесности и истории, а и «связь времен» олицетворяется для Цветаевой Пушкиным, принявшим эстафету от величайшего русского преобразователя Петра I и передавшим ее последующим поколениям.

И вот, не спросясь повитух,
Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух...

Себя Цветаева считала наследницей Пушкина — не по признаку «пушкинской

школы», которой не признавала («Там, где налицо многообразие, школы, в строгом смысле слова, не будет»), а по отношению к миру и поэзии. Сама человек и поэт крайностей. Цветаева не соглашалась уступить Пушкина тем, кто путем некоторых натяжек и умолчаний пытался представить его певцом «золотой середины» — «бонной в штанах», как сказал Маяковский. Цветаева защищала Пушкина от таких «доброжелателей», тем самым отстаивая и собственную поэтическую позицию:

Что вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеим

Низостию двуединой
Золота и середины?

Книга эта столько же говорит о самой Цветаевой, сколько и о Пушкине. Мой Пушкин — это ведь и она сама, читающая, думающая, по-своему понимающая поэта. Очерки «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев» были созданы в юбилейном пушкинском 1937 году. Написав «очерки», знаешь неточность и недостаточность такого жанрового определения. Это какой-то новый жанр, самой Цветаевой однажды названный «лирической прозой». Их с одинаковым успехом можно читать как литературоведческие статьи и как воспоминания о детстве — так тесно переплелось здесь ощущение детства, первого, самого непосредственного восприятия искусства с мыслями большого поэта о жизни, о поэтическом творчестве, об умении читать и понимать поэзию.

Для Цветаевой закономерно обращение к детству — и не только в прозе о Пушкине, а вообще во всей ее прозаической работе, особенно интенсивной в тридцатые годы. Это было время, может быть, самое трудное в ее трагически-тяжелой жизни, и ощущение безысходности, возможно бессознательно, заставляло вернуться к тому светлему, что у нее было, началу всех начал — детству. Свет детства и свет Пушкина наполнили цветаевскую прозу о нем. И, хочется думать, помогали ей пережить собственные невзгоды.

«Мой Пушкин» — путеводитель по пушкинской лирике, где в роли Вергилия — Цветаева: та, маленькая, из далекого детства, рассказывает и показывает, а взрос-

лая и умудренная ее иногда останавливает, дополняет и комментирует. В одном месте Цветаева прямо признается: «Но не могу. от своего тогдашнего и своего теперешнего лица, не сказать...» От стиха к стиху, которые мы читаем вместе с этими двумя Цветаевыми, нам все больше раскрываются и Пушкин, и обе они. И как бы мимоходом нас вводят и в семью Цветаевых и какими-то почти незаметными, и почти случайными штрихами перед нами оказываются нарисованными контуры портретов близких и домочадцев, и даже взаимоотношения между ними, и отдельные черточки быта. Все это создает особую атмосферу этой вещи, где высокое сплетается с бытовым, а детски-наивное и смешное перебивается серьезными размышлениями о сущности человеческого бытия.

В «Пушкине и Пугачеве» окружающий быт отсутствует, а непосредственное детское восприятие используется для того, чтобы резко подчеркнуть контраст между Пугачевым «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта». Сталкивая Пушкина с двумя Пугачевыми, созданными его гением, Цветаева получает возможность углубиться в проблему добра и зла в ее философском понимании, приблизиться к корням поэзии и сущности поэта, ввести читателя в творческую лабораторию Пушкина. Мысль о бунтарской природе поэта и его кровной — поверх любых условностей: происхождения, быта, воспитания — связи с судьбой народа — важнейшая в «Пушкине и Пугачеве».

Это — литературоведческое исследование, необычное лишь отсутствием какой бы то ни было наукообразности. Цветаева, как всегда, пишет от своего имени и о своем понимании вещей. Она не навязывает своих выводов, а убеждает своей убежденностью и страстностью и делает это как истинный поэт — субъективно и поэтично. Силой логики поэзия становится у Цветаевой литературоведением, а литературоведение силой поэтического восприятия и отражения превращается в поэзию. Живой Пушкин, освобожденный от штампов учебников и хрестоматий, сходит к нам со страниц этой книги.

Если в стихах о Пушкине Цветаева действует силой эмоции, натиском страсти, то в прозе эмоция как бы сливается с логикой. Цветаева берет читателя в плен и с первых же слов ведет его за собой, до конца не давая вырваться из-под власти этой своей

эмоционально-логической убедительности. И лишь потом, как бы очнувшись, можешь начать соглашаться или спорить. Это тем более удивительно, что Цветаева нигде не настаивает на своей непогрешимости и окончательности своих выводов. Она воспринимает Пушкина как поэт и дает возможность читателю прочесть его как бы ее глазами.

Цветаева не только тонко анализирует со своей теперешней — взрослой — точки зрения свои тогдашние — детские — чувства, ощущения, мысли при чтении Пушкина, не только комментирует их в свете своей судьбы, своего понимания жизни и поэзии, — она временами заставляет читателя как бы перевоплотиться в себя, шести-семи-летнюю девочку, и вместе с собою взглянуть на пушкинские творения изнутри, становясь попеременно то тем, то иным действующим лицом их. Это уже именно не сопереживание, а соучастие — вот как с пушкинскими «Бесами». «Все страшно — с самого начала: луны не видно, а она — есть, луна-невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и — о, сладкое обмирание! — и м! Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в саях и не пролетал над саями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в саях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом ты — летишь. Но, помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною — той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним — Бесов, и над Пушкиным и Бесами — сама летит».

Так, читая цветаевскую прозу о Пушкине, побываешь немножко и бесами, и луной, и детьми из «Утопленника», и собакой из «Вурдалака», и Гриневым, и всеми защитниками крепости, и даже Машей, которую Цветаева совсем не любит, и самим Пушкиным. Это делается прямо, но как-то почти незаметно. Вот Цветаева сперва подсказывает Гриневу, как ему поступить, потом уже как будто действует за него, а там одним местоимением «мы» дает возможность и читателю к себе присоединиться. «Подсказывала ли я и тут... Гриневу поцеловать Пугачеву руку? К чести своей скажу — нет... Именно любовь к нему при-

казывала мне в его силе и славе и зверстве руки не целовать... Кроме того: раз все вокруг шепчут: целуй руку! целуй руку! — ясно, что я руки целовать не должна. Я такому круговому шепоту отродясь цену знала. Так что и Иван Кузьмич, и Иван Игнатьевич, и все мы, не присягнувшие и некоторые повисшие, оказались — правы». Это включение себя и читателя в ход пушкинского повествования, психологическая точность наблюдений за собой-ребенком-читателем и в то же время необычайная чистота и глубина прочтения пушкинских текстов — все это, по-видимому, и есть та чара, которая захватывает в цветаевской прозе.

Глубокое чувство нравственной высоты поэта и поэзии характерно для работ Цветаевой о Пушкине. Пушкин был первым поэтом Цветаевой, и его судьба, детское увлечение его памятником, а затем и его поэзия формировали ее нравственный мир. Пересмотрите очерк «Мой Пушкин». «С пушкинской дуэли во мне началась сестра», «...в подзащитные выбрала поэта: защищать поэта — от всех». «Памятник Пушкина, опережая события, — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения» — это ведь Цветаева сознательно так резко формулирует, потому что идет 1937 год и фашизм уже вполне реально навис над миром.

С Пушкина начались в ребенке любовь и понимание чувства человеческого достоинства и гордости. Сколько уроков помогает извлечь Цветаева из сцены Онегина и Татьяны в саду, сцены, которая впервые поразила ее шестилетней девочкой. «Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества». Пушкинская Татьяна для Цветаевой — героиня огромной нравственной чистоты: «Все козыри были у нее в руках, чтобы отместить и свести его с ума, все козыри — чтобы унижить, втоптать в землю той скамьи, сровнять с паркетом той залы... Все козыри были у нее в руках, но она — не играла».

Или возьмите «Пушкин и Пугачев», пушкинскую «Капитанскую дочку» — первую встречу ребенка со злом. Восстанавливая свое первое восприятие Пугачева, вспоминая психологическую к нему подготовленность, Цветаева тонко подводит к мысли, что для ребенка, привыкшего к сказочным зверствам, Пугачев не оказался злодеем: «Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот — не обещав, обратное обещав, хорошим — оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось — добром». И дальше, говоря о том, что, зная мелкого Пугачева, Пушкин-художник, создавая Пугачева «Капитанской дочки», от этого своего знания отказался, она имеет в виду именно нравственную природу искусства: «...художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает. Пушкин, художеством своим, был обречен на другого Пугачева».

Это необходимо отметить потому, что, постоянно утверждая в своих теоретических работах мысль о наднравственности искусства, об автономности его законов, Цветаева приходила к выводу о том, что художник не властен над искусством и не несет ответственности за нравственное направление своего произведения. Однако в своих работах о Пушкине — более поздних по времени — Цветаева, то ли пересмотрев свои прежние теоретические взгляды, то ли просто вступив с ними в противоречие, что нередко случается с художниками, прославила великую нравственную и воспитательную силу пушкинского искусства.

Возможно, историки и литературоведы увидят в цветаевском толковании Пушкина что-то, не совпадающее с сегодняшней научной точкой зрения. Но не будем судить поэта по этим законам. Поэта — настоящего, большого поэта — надо постараться понять изнутри, потому что это огромный, сложный мир. Цветаева называла это «доброй волей к вещи» и сама редко умела войти во внутренний мир другого поэта, чему свидетельство — и ее книга «Мой Пушкин».

В. ШВЕЙЦЕР.

РЫЦАРЬ ТЕАТРАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

Т. Князевская. Южин-Сумбатов и советский театр. «Искусство». М. 1966. 200 стр.

Книга Т. Князевской «Южин-Сумбатов и советский театр» напоминает советским читателям о выдающемся деятеле нашего искусства. Автор вводит в литературный обиход много неопубликованных и даже неизвестных ранее архивных материалов.

Каким же предстает А. И. Южин в книге Т. Князевской?

Книга начинается с беглого обзора деятельности Южина на посту руководителя Малого театра в предреволюционный период. Положение его было достаточно сложным. Южин был убежденным и последовательным сторонником той формы театрального реализма, основы которой заложил Щепкин. Но в течение многих десятилетий традиция не могла сохраниться в полной неприкосновенности. Неизбежны были споры, связанные, например, с театром Станиславского. (Отметим, что различие между Малым и Художественным театрами автор книги не уделяет должного внимания.) Т. Князевская показывает, что Южин, прилагая усилия к тому, чтобы укрепить и развить сценический реализм, трактовал его как слияние «быта и романтики». При этом он понимал под «бытом» правду жизни, а под «романтикой» — укрупненность и подчеркнутость изображения. С таким пониманием реализма можно, конечно, поспорить, но Южин считал именно такое искусство наиболее близким к действительности и наиболее доступным массам.

В начале XX века в русском театре приобрели значительное распространение различные декадентские веяния. Южин противостоял этой тенденции, не боясь упреков в консерватизме и отсталости. Любопытное обстоятельство сообщает Т. Князевская: режиссеров-декадентов навязывал Малому театру не кто иной, как сам проовещенный бюрократ Теляковский, озабоченный тем, чтобы вверенные ему императорские театры не отставали от моды.

Южину не могло удастся возратить Малому театру его былое значение, хотя в составе труппы были еще тогда большие артисты, донесшие великое реалистическое мастерство до этого и до более позднего времени. Для всякого театра важен репертуар, на котором он основывает свои искания. В предреволюционный период живой дух сценического творчества могли бы поддер-

жать лишь такие пьесы, которые цензура и министерство двора как раз не пропускали на сцену императорского театра. Даже идущие в других театрах пьесы Горького Малому театру были недоступны. В этих условиях Южин вынужден был довольствоваться пьесами, сохранявшими бытовые, внешне реалистические формы, но не имевшими серьезной ценности.

В главе «Поиски своего места в революции» Т. Князевская показывает, как революция вывела Малый театр из этого тупика. И роль Южина как руководителя театра была в этом творческом возрождении очень большой. Когда он убедился, что советская власть с уважением относится к театру, что она заинтересована в сохранении и развитии Малого театра, он начал искренне сотрудничать с ней.

Интересны страницы книги, описывающие взаимоотношения Южина с Луначарским; документы и воспоминания показывают, как Луначарский терпеливо и настойчиво убеждал Южина и других деятелей русского театра в правильности культурной политики советской власти. Все выдающиеся художники старшего поколения (за исключением, кажется, одного — Л. В. Собинова) — и Южин, и Станиславский, и Немирович-Данченко — боялись, что государственное руководство повредит театру. Опасаться этого их заставлял горький опыт многолетней зависимости от невежественного и беспринципного царского чиновничества. И Луначарский это учитывал, выбирая провозглашение известной автономии театров; они ведь всегда страдали от засилья чиновников, и перспектива артистического самоуправления им до крайности польстила, вспоминал он в 1927 году.

Книга показывает, как под влиянием общения с новым зрителем Южин выбирал пьесы для новых спектаклей, чтобы ответить на запросы революции. Однако новых пьес было очень мало, и Малый театр — впрочем, как многие другие в то время — вынужден был прибегать к пересмотру и переакцентировке старых спектаклей и ролей. Интерпретируя старые классические роли — например, роль Телятева в пьесе Островского «Бешеные деньги», — Южин острее прочерчивал теперь линию социальной сатиры.

Однако работу над классическим реперту-

аром Южин не противопоставлял усилиям найти и поставить современную пьесу. Наоборот, он тесно связывал обе задачи. «Для того чтобы в будущем, когда творчество пролетарского драматурга поставит театру требование дать героя рабочего, театр мог дать подлинную героическую фигуру со всей полнотой и богатством его переживаний,— говорил Южин на одном из диспутов о театре 1920 года,— необходимо, чтобы театры имели в своих рядах ту несметную силу талантливых актеров, которые в вечные и незабываемые образы отделили Гамлетов, Макбетов, Орлеанских дев и Чацких, Дмухановских и Фамусовых».

Наиболее интересна в книге глава «Южин и «Театральный Октябрь»».

В тридцатые — сороковые годы наша театральная пресса грубо третировала Мейерхольда и представляемое им «левое» направление, не останавливаясь перед передержками и фальсификацией. К счастью, это давно позади. Наметилась даже другая крайность: люди, пишущие об истории советского театра, изображают ее порой идиллически, сглаживая острую борьбу, которая шла между различными художниками, изображая всех сколько-нибудь значительных деятелей нашего театра почти одинаковыми, притом иконописными красками.

Т. Князевская пытается внести сюда трезвую ноту, опираясь на достоверные факты.

«В сентябре 1920 года,— пишет Т. Князевская,— театральные круги Москвы восторженно встретили возвращение из белогвардейского плена В. Э. Мейерхольда, человека с большим режиссерским именем и авторитетом, страстного искателя новых путей в искусстве, вступившего после Октября в члены Коммунистической партии». Т. Князевская пишет об огромной талантливости Мейерхольда, о блеске его фантазии, о его партийной страстности. Но Мейерхольд был художником противоречивым, и автор книги не сглаживает острых углов.

Опираясь на документы, Т. Князевская объективно излагает программу Мейерхольда. При этом она отмечает и то, что он предлагал дополнить «Октябрь» в политике «театральным Октябрем», который так же уничтожил бы старый театр, как революция уничтожила старое общество. Вся старая театральная культура, представленная в Малом и Художественным театрами, объявлялась буржуазной и потому подлежащей ликвидации. Ее предлагалось заменить чи-

сто «пролетарским» театром, основанным на физкультуре, кубизме, футуризме, биомеханике и т. д.

А. И. Южин принадлежал к тем людям, у которых убежденность соединялась с терпимостью. Защиту традиций Малого театра он вел с удивительным талантом, последовательностью и тактом, вступая в равный спор с любым противником.

Удачным местом книги является описание диспута, происходившего зимой 1920 года в Эрмитаже. В нелегкой обстановке, созданной представителями «левого» театра, Южин выступил с большой, прекрасно аргументированной речью, в которой доказывал силу и жизненность классической традиции театрального реализма. Он говорил, что единственный путь доказательства правоты того или иного театрального направления — путь свободного творческого соревнования перед лицом советского зрителя.

Книга Т. Князевской не лишена, конечно, недостатков — и весьма существенных. Приводя чрезвычайно интересный материал, исследователь часто не может его обобщить. Так, например, мы не находим здесь серьезной попытки вскрыть исторические судьбы Малого театра, сильные и слабые стороны Южина как актера и режиссера. Упрощенный подход обедняет и анализ эстетических споров в исследуемый период.

В слишком общей форме предстает «реалистический лагерь» — Южин. Станиславский, Немирович-Данченко; дело обстоит далеко не так просто, и тот же Мейерхольд, случалось, вступал в соревнование с академическими театрами — кто вернее, реалистически прочтет старую драму. А, например, такой спектакль, как «Горячее сердце» в МХАТе, почти весь, особенно же в гротескных эпизодах, мог быть показан театром Мейерхольда.

Признание этой сложности не уменьшило бы силу противопоставления реализма антиреализму или ирреализму, а углубило бы смысл этих понятий и тем помогло бы отстаивать реалистическую традицию. Чрезмерность обобщенных характеристик причиняет ущерб книге не только с теоретической точки зрения; однообразен и способ изложения, изобилующего общими фразами.

И все же работа Т. Князевской, посвященная одному из интереснейших периодов советского театра, заслуживает положительной оценки.

Поэтому странное впечатление произво-

дит отклик журнала «Театр» на книгу Т. Князевской. Рецензия В. Айзенштадта на нее (см. № 4 за 1967 год) называется «В споре с автором». Но рецензент не разбирает концепции книги по существу и не спорит с ней. Главное место в рецензии занимает полемика с автором по вопросу, который касается даже не самого Южина, а пьесы Луначарского «Кромвель».

В связи с этой пьесой рецензент обвиняет Т. Князевскую в возвеличении Кромвеля и даже делает эту проблему центром своей рецензии. Он пишет: «Прямо прогиворечит замыслу драматурга утверждение Т. Князевской, что «Кромвель в пьесе Луначарского — это... вождь... все подчиняющий своей железной воле, единолично направляющий ход истории».

Однако вот мысль Т. Князевской в ее подлинном виде. Подчеркиваем выпущенные рецензентом слова и фразы:

«Оливер Кромвель в пьесе Луначарского — это героическая личность, это вождь, до конца сознающий свою историческую миссию, все подчиняющий своей железной воле, единолично направляющий ход истории и поэтому одинокий в своем величии, угнетаемый тяжкими сомнениями в правильности своего пути, не имеющий наследников и преемников своего дела».

Как видим, все приобретает иной смысл. К тому же Т. Князевская, разбирая исполнение Южиным роли Кромвеля, ставит ему в заслугу именно то, что у него этот персонаж свободен от идеализации. Можно соглашаться или не соглашаться с Т. Князевской в ее понимании образа Кромвеля в пьесе Луначарского, но прежде всего спорить надо добросовестно.

А. Л. ШТЕЙН.

★

Политика и наука

МОРСКИЕ БОГАТЫРИ

- П. Болгари, Н. Зоткин, Д. Кооненко, М. Любчиков, А. Ляхович. Черноморский флот. Воениздат. М. 1967. 342 стр.
 С. Захаров, М. Захаров, В. Багров, М. Котухов. Тихоокеанский флот. Воениздат. М. 1966. 288 стр.
 И. Козлов, В. Шломин. Северный флот. Воениздат. М. 1966. 296 стр.
 Н. Гречанюк, В. Дмитриев, Ф. Криницин, Ю. Чернов. Балтийский флот. Воениздат. М. 1960. 375 стр.

К Военно-Морскому Флоту, к морякам в нашем народе издавна сложилось особое любовное отношение. И дело тут не только в романтике и трудностях суровой службы. Флот наряду с армией всегда был могучей силой, охраняющей рубежи нашей отчизны от посягательств захватчиков.

Накануне пятидесятилетия Советских Вооруженных Сил Воениздат закончил выпуск своеобразной серии книг, каждая из которых охватывает историю одного из четырех наших флотов от первых русских плаваний на соответствующих морях и океанах до наших дней. Подобных изданий в советской исторической литературе еще не было.

Во всех четырех книгах рассказывается, как зарождалось отечественное мореплавание. Вопреки утверждениям иных американских историков, будто «Советская Россия, на протяжении веков будучи гигантской сухопутной черепахой, вдруг ринулась в море...», в рассматриваемых работах убедительно

показывается, что наш народ издавна является народом-мореходом и что русские моряки исходили вдоль и поперек воды мирового океана, внося огромный вклад в его изучение и освоение еще задолго до появления США как государства.

На основе анализа многочисленных исторических документов авторы приходят к выводу, что отечественное мореходство насчитывает не менее полутора тысячелетий. Морской промысел, судоходство и судостроение составляли исконное занятие наших предков. Черное море, по которому часто плавали славянские суда, арабские источники с середины X века называют Русским. Славянские летописи сообщают о девяти крупных походах киевских князей в IX—X веках на южное побережье Черного моря, в некоторых из них принимало участие до двух тысяч судов. С образованием Новгородского княжества (VIII—IX века) стали регулярными плавания по Балтийскому и

Каспийскому морям. В XI веке предприимчивые новгородцы прокладывают путь на север; преодолевая огромные трудности, они начали плавать по Белому морю и Ледовитому океану и осваивать их побережье.

Началом русского тихоокеанского мореходства следует считать 1 октября 1639 года, когда томский казак И. Ю. Москвитин с отрядом, выйдя на побережье Охотского моря, совершил по нему первое плавание. А спустя девять лет отважный С. И. Дежнев с группой товарищей прошел из Ледовитого океана проливом, отделяющим Азию от Америки. Затем наши отважные мореплаватели открыли с запада Америку, Алеутские и ряд других островов.

Высокие мореходные и боевые качества кораблей наших древних предков признавали многие западноевропейские исследователи. Так, английский историк Фр. Джен в конце XIX века писал: «Русский флот, начало которого хотя обыкновенно относят к сравнительно позднему учреждению, основанному Петром Великим, имеет в действительности большие права на древность, чем флот британский. За столетие до того, как Альфред построил британские корабли, русские суда сражались в отчаянных морских боях; и тысячу лет тому назад первейшими моряками того времени были они, русские».

Двадцатого октября и 4 ноября 1696 года Петр I издает указы о создании русского регулярного флота. В том же году Россия приступила к строительству Азовского флота, а в 1783 году был создан Черноморский флот. Еще раньше, в 1693 году, началась постройка военных кораблей на Соломбальской верфи (Архангельск).

Большое внимание в рассматриваемых книгах уделено описанию славных побед русского флота. За двухсотлетний период существования русского регулярного флота наши моряки провели двадцать четыре крупных морских сражения, из которых выиграли почти все (кроме Цусимского).

Наш народ законно гордится революционными традициями русских моряков, смело выступавших против царизма. Только в период 1905—1907 годов на флоте произошло двадцать организованных выступлений и шесть вооруженных восстаний. Читатель узнает из книг много интересных подробностей о знаменитых революционных выступлениях моряков «Потемкина», «Очакова», «Памяти Азова» и др.

В дни Великого Октября, когда решалась судьба социалистической революции, В. И. Ленин придавал флоту исключительное значение, называл его в числе трех главных сил революции. Балтийский флот выделил в распоряжение Военно-революционного комитета более десяти тысяч вооруженных моряков и одиннадцать боевых кораблей.

Фигура матроса в черном флотском бушлате, перепопсанном пулеметными лентами, навсегда сохранится в памяти народа как символ бесстрашия и преданности делу революции. Авторы рецензируемых книг рассказывают много интересного о боевых делах моряков на многочисленных фронтах гражданской войны, в партизанских отрядах, на Черном и Балтийском морях, на Тихом океане, на Волге и Амуре.

Двадцать девятого января 1918 года В. И. Ленин подписал декрет о роспуске старого и создании нового, Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Авторы показывают, как с того исторического ленинского декрета вот уже полвека несет наш флот неусыпную вахту на морских и океанских рубежах страны. За этот срок он прошел большой путь от скромных отрядов кораблей до стратегического наступательного вида Советских Вооруженных Сил.

Большое внимание в книгах уделено строительству и развитию советских флотов в годы между гражданской и Великой Отечественной войнами. 21 апреля 1932 года были созданы Морские силы Дальнего Востока (нынешний Краснознаменный Тихоокеанский флот), а 1 июля 1933 года сформирована Северная военная флотилия, положившая начало созданию Северного флота.

Страна строила для своих флотов новые базы, корабли, создавалась морская авиация и береговая оборона. С конца двадцатых годов до Великой Отечественной войны на советских верфях было заложено 533 боевых корабля (без катеров). Из них к началу Великой Отечественной войны было сдано флоту 314 кораблей, в том числе 4 крейсера, 7 лидеров, 30 эскадренных миноносцев, 18 сторожевых кораблей, 38 тральщиков, минный заградитель, 8 речных мониторов, 2 больших охотника и 206 подводных лодок. 10 крейсеров, 45 эскадренных миноносцев и 91 подводная лодка находились в постройке. К началу войны в составе всех наших флотов насчитывалось около шестисот ко-

раблей различных классов, большинство которых было построено в годы советской власти.

В период Отечественной войны советские моряки приумножили славу нашего флота. Они уничтожили более 1300 транспортов противника общим водоизмещением свыше трех миллионов тонн, потопили более 1200 вражеских боевых кораблей и вспомогательных судов.

Обстановка сложилась так, что нашим Балтийскому, Черноморскому и Северному флотам пришлось вести борьбу не только с военно-морскими силами и авиацией противника, но и принимать активное участие в битвах на суше. Около полумиллиона посланцев наших флотов доблестно сражались у стен Москвы и Сталинграда, у черноморских твердынь и в Заполярье. Гитлеровцы окрестили их «черными дьяволами». В дневнике одного убитого на мурманском участке фронта нашли такую запись: «Все можно вынести, только не атаки моряков. Эти люди с развевающимися по ветру лентами, в полосатых тельняшках страшнее самолетов и пушек...»

Конкретно и подробно рассказывая о ходе боевых операций, не скрывая жертв, ошибок и неудач, авторы вместе с тем приводят многочисленные примеры беззаветного выполнения моряками своего долга.

Вот некоторые из них.

В один из первых дней войны маленькое сторожевое судно «Пассат», переоборудованное из рыболовного траулера, сопровождая два безоружных судна, встретилось с пятью немецкими эсминцами. Командир «Пассата» В. Л. Окуневич смело вступил в бой. Когда на «Пассате» после ряда попаданий снарядов произошел взрыв и корабль начал погружаться в воду, комэндор единственного уцелевшего на корме сорокапятимиллиметрового орудия продолжал вести огонь до тех пор, пока не скрылся под водой.

На том же Северном флоте другой сторожевой корабль, «Туман», стоя в дозоре у острова Кильдин, подвергся внезапной атаке трех больших кораблей противника. Личный состав вел огонь по врагу до тех пор, пока горящий корабль не пошел ко дну. Когда вражеским снарядом был сбит флаг корабля, раненый матрос Семенов взял его в руки и поднял над головой. Герой получил вторую рану. Тогда ему на помощь пришел радист Блинов. До последней мину-

ты на гибнущем корабле развевался военноморской флаг родины.

Золотыми буквами в историю войны вписаны имена черноморца Ивана Голубца, который сбросил за борт с горящего судна глубинные бомбы и ценой своей жизни спас группу кораблей и базу от сильного взрыва боезапаса; балтийца Евгения Никонова, который, попав тяжелораненым в плен, выдержал нечеловеческие пытки фашистов и погиб на костре, не выдав военной тайны; тихоокеанца Михаила Янко, направившего, подобно Николаю Гастелло, свой горящий самолет на военные объекты противника. Более пятисот моряков стали Героями Советского Союза, сотни тысяч были награждены боевыми орденами и медалями.

В связи с двадцатилетием победы родина увековечила подвиги моряков в минувшей войне, наградив все четыре советских флота орденами Красного Знамени.

Краснознаменные морские богатыри и ныне бдительно стоят на страже советских границ. У наших флотов есть все необходимое, чтобы с честью выполнить свои задачи. Их боевая мощь воплощена в новых кораблях, скоростной реактивной авиации. Одним из сильнейших видов оружия являются наши ракетные атомные подводные лодки.

В книге, посвященной Северному флоту, рассказывается о первом в истории кругосветном походе в подводном положении группы советских атомных подводных лодок, который был завершен в канун XXIII съезда партии. В сложных условиях они прошли вокруг Южной Америки, через пролив Дрейка, несколько раз пересекали экватор. В продолжение полуторамесячного похода оборудование, приборы, вооружение действовали безотказно. Личный состав показал высокие морально-политические и боевые качества, хорошую морскую выучку, умело преодолел трудности плавания.

Никогда еще наш флот не располагал такой ударной мощью, какую имеет сейчас, и никогда раньше его готовность к отражению агрессии с моря не была такой высокой, как в настоящее время. Авторы убедительно показывают, что в результате технического перевооружения наш флот в последние годы получил возможность перейти к качественно новому виду боевой подготовки — отработке задач в удаленных районах мирового океана, где раньше господствовали флоты империалистических держав.

Все четыре книги хорошо иллюстрирова-

ны многочисленными фотографиями, оригинальными схемами. В каждой работе помещены хронологические таблицы важнейших событий по истории флота, списки Героев Советского Союза, гвардейских и награжденных орденами кораблей, частей и соединений флота. Кроме того, имеется указатель имен, встречающихся в книгах.

Книги с пользой прочтут самые широкие круги наших читателей, интересующихся славной историей отечественного флота.

В. ЯШКОВ,
контр-адмирал.
С. ОСОКИН,
капитан 2-го ранга.

★

МЕТОД И ПРАКТИКА

Методологические проблемы экономической науки. Под редакцией И. И. Кузьминова, В. А. Невзоровой, В. М. Сальникова. «Мысль». М. 1967. 381 стр.

Выход в свет этого сборника не случаен. Стремление марксистской политической экономии к все более глубокому постижению закономерностей социалистического способа производства заставляет экономистов постоянно возвращаться к методологическим проблемам своей науки.

В сборнике опубликованы материалы научной сессии кафедры экономических наук Академии общественных наук при ЦК КПСС, проведенной в 1966 году. В докладе И. И. Кузьминова, открывающем сборник, правильно подчеркивается значение фундаментальных теоретических исследований, того, что В. И. Ленин называл «общей теорией политической экономии»¹, для успешного развития социалистической экономики. В этой связи в сборнике рассматривается широкий круг важных вопросов: основное производственное отношение социализма, характер экономических законов, их познание и использование в практике хозяйственного руководства, проблемы методологии планирования, сочетание централизованного планирования с повышением активности и самостоятельности коллективов предприятий, вопросы материального стимулирования и использования стоимостных рычагов на современном этапе и т. д. Рамки рецензии дают нам возможность высказать свою точку зрения только по некоторым из этих вопросов.

Нам представляется, что не один раз сформулированная в сборнике (в выступлениях И. И. Кузьминова, М. Н. Савова, К. И. Попова и других) характеристика основного производственного отношения социализма как отношения товарищеского сотрудничества и социалистической взаимо-

помощи свободных от эксплуатации работников является скорее этической, чем строго научной характеристикой и не дает возможности подвергнуть это отношение необходимому теоретическому анализу. Эта характеристика уже подвергалась критике в нашей экономической литературе, встретила она оппозицию и на страницах сборника (в выступлениях В. П. Каманкина, Г. Т. Ковалевского, М. Ф. Ковалевой). Напротив, выведение основного производственного отношения социализма из социалистической собственности на средства производства дает возможность широко применить Марксов метод экономического анализа к исследованию как всей системы производственных отношений социалистического способа производства, так и его основного производственного отношения (на это обстоятельство указывает в своем выступлении Г. Т. Ковалевский). Маркс неоднократно указывал на то, что отношение между наемным трудом и капиталом, обусловленное частной капиталистической собственностью на средства производства, определяет весь характер капиталистического строя, образует его господствующее производственное отношение.

Немалые споры ведутся до сих пор вокруг вопроса о предмете политической экономии. На наш взгляд, правы те экономисты (среди авторов сборника к ним относятся Л. Б. Альтер и Я. М. Жуковский), которые считают объектом политико-экономического анализа общественное производство как диалектическое единство производительных сил и производственных отношений, а не одни только производственные отношения, хотя бы и в «неразрывной связи» с производительными силами.

В 1845—1846 годах Маркс и Энгельс в совместной работе «Немецкая идеология»

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 363.

впервые разработали фундаментальной важности метод исследования общественных явлений, требующий различать в любом из них вещественное содержание и общественную форму. Применяв этот метод к анализу общественного производства, Маркс и Энгельс представили его как диалектическое единство, в котором производительные силы образуют вещественное содержание, а производственные отношения — общественную форму. Понимаемое таким образом общественно-определенное материальное производство Маркс в 1857 году и объявил предметом политической экономии¹.

Определение общественного производства в качестве предмета политической экономии позволяет совершенно четко ответить, входят ли производительные силы в круг вопросов, рассматриваемых политической экономией. Да, входят, и прав Л. Б. Альтер, который показывает объективную связь между исключением производительных сил из предмета политической экономии и отрицанием математических методов исследования экономических процессов, что «неизбежно ограничивает степень познания экономических законов и возможности их практического использования».

Буржуазная политэкономия в силу присущего ей антиисторизма, стремления представить экономические законы капитализма как вечные законы природы не смогла, даже в лице ее лучших представителей, «расщепить» категорию общественного производства, так же как и другие экономические категории. Напротив, понимание общественного производства как единства производительных сил и производственных отношений позволило представить исторический процесс как процесс последовательного перехода от одной общественной формации к другой. Именно в этом смысле В. И. Ленин отмечал, что предметом марксистской политической экономии являются «общественные отношения людей по производству», «общественный строй производства»².

В «Капитале» Марксом дан классический анализ «процесса капиталистического производства» (именно таков заголовок первой книги «Капитала!»). Каждую экономическую категорию (товар, деньги, капитал, процесс труда и т. д.) Маркс рассматривает

под углом зрения диалектического единства вещественного содержания, в конечном счете отражающего развитие производительных сил, и общественной формы, отражающей производственные отношения капитализма. «Предметом для меня является не «стоимость» и не «меновая стоимость», а *товар*»¹, — подчеркивает Маркс. Именно товар как единство потребительной стоимости (вещественное содержание) и стоимости (общественная форма) образует элементарную «экономическую клеточку» буржуазного общества и в этом своем качестве составляет исходный пункт теоретического анализа в «Капитале».

Тот, кто исключает производительные силы из предмета политической экономии, фактически исключает из сферы экономического анализа основное противоречие всякого способа производства, в том числе и социалистического, — противоречие между производительными силами и производственными отношениями, представляющее собой источник развития общественного производства, а в конечном счете источник развития всего общества в целом.

На первой фазе коммунистического общества уровень развития производительных сил и вытекающая из него степень обобществления производства таковы, что еще нет полного тождества между индивидуальным и общественным трудом. Недостаточно высокая степень обобществления производства находит свое выражение в том, что планирование общественного производства еще не в состоянии вполне адекватно отразить объективный процесс развития производительных сил. Именно в этом проявляются неантагонистические противоречия между производительными силами и производственными отношениями в экономической области при социализме. В этих условиях индивидуальный труд еще должен доказать свою общественную природу, доказать путем реализации своего продукта, путем превращения товара в деньги. Иными словами, в условиях социализма существует объективная необходимость товарного производства.

Марксистское понимание предмета политической экономии с необходимостью приводит, следовательно, к характеристике социалистического общественного производ-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 709.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 195; т. 3, стр. 53.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 372.

ства как планомерного товарного производства. С точки зрения такого понимания отчетливо видна неправомерность противопоставления плановых и товарно-денежных, рыночных отношений при социализме (такое противопоставление, например, отчетливо проявилось в выступлении Е. С. Русанова, утверждавшего, что «для социалистического общества главное — производство потребительных стоимостей, а не вообще стоимости, как таковой»). Мы совершенно согласны с М. Ф. Макаровой в том, что «современное понимание реально существующего социалистического производства как товарного требует органического сочетания плана и закона стоимости или планирования на основе закона стоимости, или, точнее, хозрасчетного планирования».

Анализируя вещественное содержание товарно-стоимостных отношений, Маркс пришел к выводу о том, что «экономия времени, равно как и планомерное распределение рабочего времени по различным отраслям производства остается первым экономическим законом на основе коллективного производства»¹. На первой фазе коммунистического общества закон экономии времени, планомерный сознательный контроль общества над своим рабочим временем, с необходимостью осуществляется в форме закона стоимости, и в этом смысле закон стоимости является регулятором социалистической экономики. М. Ф. Макарова права, когда она пишет о том, что «нежелательные отклонения от намечаемых планов происходили не вследствие стихийного дей-

ствия закона стоимости (якобы внутренне ему присущего), а в результате планового нарушения закона стоимости».

Таким образом, из самого существа предмета и метода марксистской политической экономии вытекает давно назревшая необходимость «восстановить в правах» закон стоимости как важнейший закон социалистического товарного производства. Только максимальный учет требований этого закона позволяет на первой фазе развития коммунистического общества осуществить цель коммунистического производства — «полное и свободное развитие каждого индивидуума»¹.

Как мы видим, даже наиболее абстрактные методологические вопросы находятся в неразрывной связи с самыми актуальными проблемами социалистической экономики. Так, от правильного понимания природы товарно-денежных отношений при социализме непосредственно зависят размах и глубина в осуществлении важнейшей экономической реформы, которую проводят сейчас социалистические страны.

В сборнике представлены различные точки зрения по одним и тем же вопросам, и это активизирует читателя, побуждает его сознательно занять определенную позицию. (Не избежал этого и автор рецензии.) Глубокая разработка методологических проблем экономической науки позволяет ей сыграть свою роль теоретического фундамента социалистической экономики.

В. ВЫГОДСКИЙ,

кандидат экономических наук.



ДИЛЕТАНТИЗМ И НЕРЯШЛИВОСТЬ

А. Елкин. Луначарский («Жизнь замечательных людей»). «Молодая гвардия». М. 1967. 304 стр.

«Вы прожили тяжелую, но яркую жизнь, сделали большую работу. Вы долгое время, почти всю жизнь, шли плечом к плечу с Лениным и наиболее крупными, яркими товарищами...» Так писал в 1932 году А. В. Луначарскому М. Горький, советуя ему взяться за создание мемуаров. Великий писатель не раз подчеркивал в письмах к Луначарскому, что книга о его жизни очень нужна, особенно для молодежи, «плохо знакомой с историей старых большевиков».

Нельзя не приветствовать намерения издательства «Молодая гвардия» дать биографию выдающегося деятеля социалистической культуры. Однако реализация этого замысла в книге А. Елкина вызывает чувство огорчения и недоумения.

Всякая биография требует прежде всего точности и достоверности сообщаемых сведений. К сожалению, книга А. Елкина в значительной своей части не удовлетворяет

¹ «Архив Маркса и Энгельса», т. IV М. 1935, стр. 119.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 605.

этим элементарным требованиям. Вот показательный пример.

Говоря о деятельности Луначарского в годы гражданской войны, автор останавливается на его взаимоотношениях с рядом современников, в том числе и с В. Г. Короленко. При этом сообщается, что Короленко напечатал ряд писем, содержащих осуждение революции, «в заграничной белоэмигрантской прессе» и что Луначарскому рассказал об этом В. И. Ленин. «Анатолий Васильевич в скором времени вошел в переписку с Короленко. Написал ему шесть больших и подробных писем о задачах Октябрьской революции. От Короленко он получал ответы...» (стр. 153).

Здесь все поставлено с ног на голову. Дело происходило совсем иначе. В 1920 году во время своей поездки на Украину Луначарский по совету Ленина посетил в Полтаве Короленко и имел с ним длительные беседы на острые политические темы (об этом посещении Луначарским старого писателя, так же как о их полемике на страницах газет в 1917—1918 годах А. Елкин почему-то совершенно умалчивает). Разгоревшийся спор решено было продолжить в форме писем, с тем чтобы опубликовать переписку в печати. Короленко (а не Луначарский!) написал в период между июлем и октябрём 1920 года шесть писем о том, что его волновало и мучило в современной действительности. Луначарский же не выполнил своего намерения, и задуманная переписка не осуществилась.

Сам Луначарский объяснял это тем, что до него дошли не все письма Короленко и что, несмотря на предпринятые попытки, он так и не получил остальных. Так или иначе, но Луначарский дал ответ на «этические нарекания и укоризненные советы» своего оппонента только в позднейших статьях 1921—1923 годов и в пьесе «Освобожденный Дон-Кихот». Что же касается писем Короленко, то они были напечатаны в Париже лишь в 1922 году, то есть после смерти писателя. Как видим, все это мало похоже на рассказанное А. Елкиным. Он легко мог бы установить истину, если бы обратился к статьям Луначарского о Короленко, вошедшим в первый том собрания сочинений критика, и к имеющимся там комментариям.

На странице 22 А. Елкин пишет о Луначарском: «Он хотел обойти все источники, чтобы знать о них не понаслышке». Не будем придирааться к малоудачному слово-

употреблению автора: несомненно, он хотел здесь сказать, что в поисках истины Луначарский стремился познакомиться со всеми источниками. Сам А. Елкин «обходит источники» совсем в ином, менее похвальном смысле.

Обратимся к другому примеру — к рассказу о том, как Луначарский попал в вологодскую ссылку. По Елкину получается, что Луначарский уехал в Вологду, узнав о решении выслать его в Вятскую губернию. Наш биограф рисует даже такую картину: «Анатолий Васильевич мучительно думает», «преступить закон» или нет. Все это сплошной вымысел. Как свидетельствуют документы, хранящиеся в Вологодском областном архиве, Луначарский приехал в Вологду 2 февраля 1902 года, а приговор о вятской ссылке состоялся лишь 15 мая этого года. Никаких мучительных раздумий не было, так как в данном случае не было и нарушения закона: жандармы не допускали Луначарского в Москву, но не возражали против его переезда в далекую Вологду.

Сообщения о таких фактах в жизни Луначарского, каких не было в действительности, в книге нередки.

На странице 300 сказано, что Луначарский был на так называемом «совещании двадцати двух большевиков», происходившем в Женеве в августе 1904 года. На этом совещании, созданном для выработки программы борьбы за III партийный съезд, как известно, присутствовало девятнадцать человек. Остальные трое поставили свои подписи под воззванием «К партии» заочно, в том числе и Луначарский, который впервые приехал в Женеву только в декабре 1904 года.

Неточности и ошибки сопровождают изложение биографии Луначарского, можно сказать, от колыбели до могилы. Дата рождения Луначарского указана на первый взгляд верно — 23 ноября 1875 года, но и тут получился конфуз. В подстрочном примечании к этой дате сообщается: «Здесь, как и по всей книге, даты до 20 февраля 1918 года даны по старому стилю...» (стр. 300). Между тем 23 ноября — это правильная дата рождения Луначарского, но по новому стилю, что соответствует 11 ноября старого стиля.

А вот что говорится о последнем этапе жизни Луначарского: «В 1933 году Луначарский был назначен полномочным представителем СССР в Испании. Но по дороге

туда он тяжело заболел и вынужден был остановиться в Париже». В действительности Луначарский уехал во Францию в июле 1933 года уже больным, «на лечебу», по его собственному выражению. Назначение же его полпредом в Испанию состоялось только 11 августа 1933 года. Известие об этом застало больного Анатолия Васильевича за границей.

Приведем еще пример. На странице 24 рассказывается о том, как Луначарский в 1925 году увидел на судебном процессе провокаторшу Серебрякову, которая за четверть века до этого выдала полиции его и других участников московской социал-демократической организации. «Неужели это она, которой он, его жена, сестра Владимира Ильича Анна Ильинична и Владимирский пожимали руку, доверяли в те далекие годы нелегальную литературу?»

Оставим и на сей раз в стороне неуклюжую стилистику («она, которой он...»). Но при чем здесь жена Луначарского? Луначарский женился в 1902 году, а здесь речь идет о событиях 1898—1899 годов, когда он даже не был еще знаком со своей будущей женой А. А. Малиновской, жившей в то время в Вологде.

В книге, особенно в разделах, относящихся к дореволюционному времени, царит чрезвычайная хронологическая путаница. Эта путаница в сконцентрированном виде представлена в завершающих книгу «Основных датах жизни и творчества А. В. Луначарского». Вот какие сведения мы там находим:

«1893 — Отъезд за границу для учебы в Цюрихском университете... 1897 — Возвращение на родину, революционная работа, арест, заключение в Лукьяновской и Таганской тюрьмах... 1904 — Первая встреча с Лениным в Париже... Возвращение в Россию... 1906 — ...Уезжает за границу...»

В приведенной выписке что ни строчка, то ошибка.

Луначарский кончил гимназию и уехал в Цюрих не в 1893, а в 1895 году. Об этом можно было узнать из книги «Столетие Киевской первой гимназии» (1911 год). В помещенных здесь «Именных списках воспитанников гимназии» Луначарский упоминается среди выпускников 1895 года. Следовательно, ранее этого года он не мог оказаться в Цюрихском университете.

Полная неразбериха с датировкой арестов и тюремной эпопеи Луначарского. На стра-

нице 31 сообщается, что «он был освобожден из тюрьмы в начале 1898 года» и тогда же отправился в Калугу. Но Луначарский впервые был арестован только в ночь на 13 апреля 1899 года, как это явствует из «Дела о деятельности Московского комитета РСДРП», находящегося в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. По Елкину получается, что заключение Луначарского в киевской Лукьяновской тюрьме предшествовало его пребыванию в московской Таганской тюрьме и все это относится к 1897 году. В действительности Луначарский находился в Таганской тюрьме в 1899 году до 8 октября, а в Лукьяновской — в 1900 году. В этом же году он попал и в Калугу.

Неверно датируется и такой важнейший факт в жизни Луначарского, как его знакомство с Лениным. На странице 40 рассказывается, что их первая встреча состоялась в Париже весной 1904 года. На этом основании наш биограф с увлечением декламирует о набухающих почках каштанов, о «тревожно и дурманяще» распускающихся липах в Сен-Жерменском предместье, о «тихих весенних сумерках». Но все эти красоты оказываются совершенно неуместными, потому что встреча состоялась зимой, в начале декабря 1904 года, когда Владимир Ильич приехал ненадолго в Париж из Швейцарии. Весной же этого года Луначарский был еще в Тотьме (срок его ссылки окончился 15 мая 1904 года).

Из хронологической таблицы А. Елкина следует, что Луначарский в том же 1904 году возвращается из-за границы в Россию. Но Луначарский, уехав за границу осенью 1904 года, вернулся в Россию лишь в ноябре 1905 года в связи с событиями первой русской революции. Следующий его отъезд в Западную Европу состоялся не в 1906 году, как опять неверно сообщается в книге, а в 1907-м.

Чем объяснить такое нагромождение фактических ошибок, превышающее всякие допустимые пределы, переходящее из количества в качество? Помимо свойственной автору небрежности — еще и тем, что автор книги легкомысленно-некритически относится к различным мемуарным источникам и свидетельствам.

Известно, что и сам Луначарский часто путал даты в своих автобиографических и мемуарных высказываниях. Но ведь обязанность биографа — обратиться к документам.

опубликованным и неопубликованным, и тщательно проверить заявления как самого Луначарского, так и других лиц. Этой первой обязанности А. Елкин не выполнил. К документальным материалам, особенно архивным, он обращается очень редко.

Во многих же случаях даже не требовалось специальных архивных разысканий, чтобы избежать допущенных ошибок.

В хронологическом указателе под 1911 годом сообщается: «Отходит от группы «Вперед». Но сам Луначарский в «Воспоминаниях из революционного прошлого», которые достаточно широко использует А. Елкин, говорит о своих связях с группой «Вперед» и в парижский период своей жизни (1911—1915), и в швейцарский (1915—1917).

Совсем негрудно было установить, что статья «Чему учит нас Короленко» напечатана не в 1906-м, а в 1903 году, что Луначарский был избран действительным членом Академии наук СССР не в 1929 году, а 1 февраля 1930 года, что известное выступление Луначарского на пленуме оргкомитета Союза советских писателей с докладом о социалистическом реализме состоялось не в марте 1933 года, а 12 февраля. Кстати, некоторые из этих ошибок перекочевали в биографию из предыдущей книжки А. Елкина о Луначарском (1961), несмотря на то, что они были тогда же указаны рецензентами.

Путаница в книге происходит не только с датами, но и с именами, и с названиями. Упоминаемый в записке Ленина художник П. Ю. Киселис получил фамилию Кекелиса (стр. 228), а популярный в девяностые годы журнал «Образование» переименован в «Обозрение» (стр. 39). Куйбышевский профессор Яков Аронович Роткович превратился в «исследовательницу Я. Роткевич» (стр. 201), а талантливейшая деятельница в области методики преподавания литературы Мария Александровна Рыбникова стала Рыбниковым (стр. 131). Невольно вспомнишь список крепостных Собакевича, в котором фигурировала Елизавет Воробей.

Не приходится доверять и библиографическим данным А. Елкина. Памфлет «Три кадета», вопреки его заявлению (стр. 53), не переиздавался.

Книга А. Елкина получилась чем-то вроде монтажа больших и малых отрывков из мемуарных и автобиографических очерков самого Луначарского, из воспоминаний его современников, из некоторых работ исследователей его жизни и творчества. Использо-

зуемые автором выдержки сами по себе часто интересны и, конечно, дают представление о разных этапах и разных сторонах деятельности первого наркома просвещения. Однако организован весь этот материал далеко не лучшим образом. Цитаты приводятся не всегда точно, в них делаются неоправданные и неуместные сокращения.

Например, на страницах 188—189 воспроизводится рассказ Луначарского о его беседе с Владимиром Ильичем, посвященной вопросам политики Советского государства в области искусства. Эта беседа заканчивается здесь следующими словами Луначарского: «Значит, резюмируем так,— сказал я,— все более или менее добропорядочное в старом искусстве—охранять. Я думаю, что это довольно точная формула». Между тем в первоисточнике, в статье Луначарского «К столетию Александринского театра», это резюме оказывается не столь тощим. После приведенной выше первой фразы там идет еще несколько очень существенных для характеристики ленинской политики в области искусства положений: «Искусство не музейное, а действенное—театр, литература, музыка—должны подвергаться некоему не грубому воздействию в сторону скорейшей эволюции навстречу новым потребностям. К новым явлениям относиться с разбором. Захватничеством заниматься им не давать. Давать им возможность завоевывать себе все более видное место реальными художественными заслугами. В этом отношении елико возможно помогать им». Следующие же далее слова: «Я думаю, что это довольно точная формула», произнес, по свидетельству Луначарского, не он, а Ленин. Вряд ли бы Владимир Ильич дал такую оценку резюме Луначарского, если бы оно ограничилось одной фразой, как это получилось у А. Елкина. Сокращение, допущенное последним, привело к несомненному обеднению и искажению этой важной беседы.

Совершенно бессмысленным оказалось стихотворение Луначарского «К юбилею 9 января». Излагая и цитируя это произведение, А. Елкин доходит до предсмертных слов старика рабочего, павшего жертвой кровавой расправы. «Послушай, спи,—говорит он товарищу»,—читаем мы с недоумением на странице 51. У Луначарского нет ничего похожего. «Послушай, сын»,—говорит старый рабочий, обращаясь именно к сыну, а не к какому-то мифическому товарищу, и весь смысл его слов—это уве-

ренность в том, что народ проснется от прежнего сна.

А. Елкин справедливо констатирует, что Луначарский черпал «знание философии, литературы, искусства... не из вторых рук» (стр. 22). К сожалению, наш биограф не следует этому хорошему принципу. Он берет материал для книги сплошь и рядом именно из вторых рук, не особенно затрудняя себя.

Вот пример. Из трех страниц (277—279), посвященных драматургии Луначарского — биограф здесь не очень щедр, — две целиком заимствованы из рецензии, помещенной в № 1 «Вопросов литературы» за 1965 год (стр. 197—200). Краткие аннотации пьес, большая цитата из неопубликованного письма Луначарского в редакцию «Литературной энциклопедии», критика высказываний ленинградского театроведа А. Альтшуллера — все это взято отсюда без всякого упоминания об источнике.

Впрочем, замечания о пьесе «Королевский брадобрей» принадлежат самому А. Елкину, и он сообщает о ней чрезвычайно любопытные вещи: «Финал пьесы — портной спокойно и брезгливо отворачивается от трупа короля». Тут что ни слово, то открытие.

В пьесе Луначарского эпизодическая фигура портного появляется только в сцене третьей. В заключительной же сцене действуют лишь король и его брадобрей Аристид. Перерезав горло королю, Аристид отнюдь не отворачивается от его трупа, а в гордой позе наступает на него ногой. И какое уж тут спокойствие! Вспомним последнюю ремарку: «Слышит шорох, сразу вбирает голову в плечи, съезживается и, пугливо озираясь, крадется к потаенной двери, в которую и исчезает».

Но оставим в стороне этот литературоведческий экскурс А. Елкина. Наш биограф, судя по всему, больше озабочен не научными, а чисто литературными достоинствами своей книги. «Не стремление к внешней эффективности ведет перо Луначарского», — заявляет на странице 73 А. Елкин. Можно посетовать, что автор спутал эффективность с эффективностью. Но главная беда в том, что он и в этом случае не следует традициям Луначарского: авторучку А. Елкина явно ведет, говоря его словами, «стремление к внешней эффективности».

С первой же страницы бросается в глаза неодолимая страсть автора к украшательству. Здесь на протяжении нескольких строк и эпиграф из полярного исследова-

теля Роберта Скотта, и модное в наши дни упоминание о Сент-Экзюпери, и «пепел Клааса»... А какие сногшибательно-«эффективные» и изысканные названия дает А. Елкин своим главам и главкам: «Солнце в двойной короне», «Обелиски, принявшие любовь и ненависть»...

Известно, что Луначарский очень сочувственно отнесся к возникновению серии «Жизнь замечательных людей» и выступил в «Известиях» с положительной рецензией на первый выпуск этой серии — книгу А. Дейча о Гейне. В этой рецензии он, между прочим, высказался неодобрительно о входившей тогда в моду манере беллетризировать биографии, «спутывать правду с вымыслом и давать таким образом какую-то недосогверную биографию».

А. Елкин усиленно прибегает к такой беллетризации. Самое невинное здесь — это всякие пейзажные картинки вроде «киевских рассветов в дурманящем запахе просыпающихся садов» (стр. 16). Впрочем, даже в пейзажных и бытовых зарисовках нашему автору удается напутать. «Святили воду на Неве под рождество», — сообщается на странице 23. Между тем, как известно, так называемое «водосвятие» совершалось не под рождество, а на крещение (6 января).

Смело придумывает наш биограф и переживания Луначарского. Читатель узнает, какие именно «видения» эсплывали «в мятушемся, воспаленном мозгу» наркома в 1917 году (стр. 130) или что чувствовал он, проходя в 1905 году по Анничкову мосту («теплая волна благодарности неизвестно кому захлестнула душу» — стр. 65).

А. Елкин легко сочиняет целые диалоги между реально существовавшими людьми. В одном из них он заставляет издателя З. Гржебина авторитетно благословить Луначарского на создание «Диалога об искусстве», который был написан еще в Тотьме, задолго до знакомства с Гржебиным (стр. 59—60). При этом люди начала XX века изъясняются у А. Елкина на жаргоне, возможном лишь в современных нам редакциях («Ну, я по литделама», — говорит на прощание Гржебин, забывая только прибавить: «Пока!»).

Вряд ли можно порадоваться такому произвольному смешению двух разных жанров: беллетристического повествования и биографии, в которой точность и достоверность не

могут быть заменены никакими литературными бантиками.

Лежащая на всей книге печать небрежности проявляется и в чрезвычайной неряшливости языка. Вот несколько примеров в дополнение к приведенным выше: «во времена предреволюционной эпохи...» (стр. 8), Спенсер — «проводник непознаваемости объективного мира» (стр. 13), «перенестись с 1897 года в год 1925-й» (стр. 24) и т. д.

Но, может быть, особенно колоритный пример встречается на странице 84: «Нелепо было бы думать, что Луначарский... вдруг неожиданно повернул на 360 градусов и с легкостью стал исповедовать идеи прямо противоположные». Нет, наш биограф не силен и в геометрии.

Право, А. В. Луначарский заслуживает лучшей, более квалифицированной, добросовестно и грамотно написанной биографии.

Н. ТРИФОНОВ



РЕФОРМАЦИЯ КАТОЛИЦИЗМА

М. П. Мчедлов. Эволюция современного католицизма. «Мысль». М. 1967. 224 стр.

Автор этой книги был специальным корреспондентом «Литературной газеты» на всех четырех сессиях XXI Вселенского (второго ватиканского) собора католической церкви, проходившего в 1962—1965 годах¹.

Собор, наподобие гигантского махового колеса, должен был сдвинуть с мертвой точки ту историческую окаменелость, какой представляется католицизм. Впрочем, еще Маколей отмечал значение опыта, накопленного католической церковью за века ее существования и позволяющего ей совершать сложные исторические маневры. Жизнь учит. Кажется, Лютер, имя которого впервые без проклятий упоминалось на соборе, говорил, что нельзя птицам мешать летать над головой, но можно мешать им над головой вить гнезда. Проблемы, обсуждавшиеся на соборе, — те самые птицы, которые летали над крышами Ватикана на протяжении десятилетий, а ныне уже вьют гнезда в его святых местах, в покоях самого папы.

Вселенский собор заседал в самом большом ватиканском храме — храме святого Петра. В нем принимало участие 2500 церковных сановников. На четырех сессиях — с 11 октября 1962-го по 8 декабря 1965 года — имело место 2200 выступлений на латинском языке; во время голосований электронные машины сосчитали в общей сложности около миллиона голосов «за» и «против».

Перед автором книги стояла трудная за-

дача: в небольшом по объему исследовании дать анализ документов собора, его дебатов, решений и на этой основе уяснить особенности современной эволюции католицизма.

В начале книги рассмотрена история «нового курса» католической церкви, выясняется, как и почему началась переоценка ценностей. Далее показано, что, несмотря на серьезные разногласия между «новаторами» и «консерваторами», между обновленцами и традиционалистами, длительное время отвергавшими «новый курс», собор должен был прийти к выводу, что спасение — в обновлении, то есть в том, что В. И. Ленин называл «подчищением» религии. М. Мчедлов правильно отмечает: какие бы вопросы ни рассматривались на соборе — о церкви, о священной литургии, о средствах пропаганды и т. д., — во всем чувствовалось веяние времени, везде соборные отцы пытались приспособить свои институты, каноны и доктрину к современности.

Так, большое место на соборе занял женский вопрос. И надо сказать, что даже крайние «консерваторы» не посмели возразить против того, чтобы католическая церковь выступила теперь за эмансипацию женщин, за расширение диапазона их социальной активности.

В центре внимания собора оказались такие вопросы, как миссионерство, без которого нельзя заполучить новую паству в Азии и Африке, и «вопрос вопросов» — современное экуменическое движение, то есть стремление создать единый фронт религий в борьбе против растущего неверия широких масс. Католическая церковь протянула руку примирения не только православной и

¹ Проблемам современного католицизма посвящены еще две недавно вышедшие книги: Л. Н. Беликович. Кризис современного католицизма. «Наука». М. 1967, и С. Маркевич. Тайные недуги католицизма. Перевод с польского. Политиздат. М. 1967.

другим христианским церквям, но она готова пойти на соглашение и с исламом, и с буддизмом, и, что является особенно сенсационным, с иудаизмом, отказаться от обвинения евреев в «богоубийстве», осудить как традиционный антисемитизм, так и тот, который ныне называют «зоологическим».

Для того, чтобы наш читатель лучше понял новые явления в католицизме, автору стоило бы, по нашему мнению, уделить больше внимания личности папы Иоанна XXIII. В нашей литературе редко встречаются тщательно нарисованные исторические портреты. А между тем не только история, но и публицистика не может без них обойтись. Иоанн XXIII был и в старости деятелем, полным энергии, и, несомненно, заслуживает такого портрета, который помог бы читателю ясно увидеть этого незаурядного человека. Выходец из крестьянской среды, ежегодно посещавший свою деревню, папа, который мог запросто со своим шофером распить кружку пива, человек, который, будучи патриархом Венеции, заказал мессу Игорю Стравинскому, он резко отличался от заскорузлого в старых предрассудках князя Пачелли — Пия XII, занимавшего папский престол в годы, совпавшие с наиболее трагическими событиями XX века.

Анджело Джузеппе Ронкалли (светское имя Иоанна XXIII) раньше других почувствовал тупик, в котором оказался Ватикан в середине XX века. С этим и было связано то внезапное «озарение», которое, по его словам, осенило его во время молитвы в церкви святого Павла 25 января 1959 года, подсказав созыв Вселенского собора. Собор должен был прийти к тому, что достаточно отчетливо сформулировано М. Мчедловым: «С точки зрения собственно религиозных вопросов можно сказать, что в целом католицизм вступает в период своеобразной реформации, но с одной только оговоркой. Если социально-политический кризис в XVI в. вызывал реформацию, направленную против католицизма и приведшую к возникновению протестантизма, то ныне внутрицерковная, пусть даже половинчатая реформация проводится по инициативе самой католической церкви».

Но как ни велико значение инициативы, проявленной Иоанном XXIII, сумевшим в период своего кратковременного понтификата (1958—1963 годы) положить начало «новому курсу», важнейшие причины эво-

люции католицизма в XX веке находятся за пределами церкви.

Одна из них — компрометирующая связь Ватикана в предвоенные и военные годы с фашизмом. Невозможно вычеркнуть из памяти человечества то, что с такой силой запечатлено в пьесе западногерманского писателя Рольфа Хоххута «Наместник», где, как отмечает М. Мчедлов, правильно поставлен «вопрос о моральной и политической ответственности католической церкви и ее главы Пия XII за ряд зверств нацизма». Католицизму надо было хотя бы задним числом осудить фашизм и от него отгородиться.

Другая причина — это атомно-водородная бомба, создавшая реальную угрозу самому существованию человечества. Чем агрессивнее становится империализм, чем больше он разворачивает наступление на демократию, тем реальнее становится угроза атомной войны. Чтобы сохранить влияние на умы, Ватикан должен был выступить против этой угрозы. Папа Иоанн XXIII понял необходимость объединения всех сил, которые отвергают войну и борются за мир.

К заслугам Иоанна XXIII необходимо также отнести отход от открытого антикоммунизма и «жесткой» политики по отношению к социалистическим странам. Католическая церковь не могла не считаться с теми «ножницами», что образовались между ее доктриной и широкими массами в век победоносного утверждения социализма. Переход от анафемы коммунистам к диалогу с ними был наиболее последовательно выражен в энциклике Иоанна XXIII «Мир на земле», оценивая которую французский исследователь-марксист Жан Канапа писал, что глава церкви приближался здесь к некоторым аспектам анализа современной ситуации, содержащегося в документах Московских совещаний коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 годов. В энциклике впервые было проведено различие между «заблуждением» и «заблуждающимися». Отвергая заблуждение, каким, по его мнению, является всякое антирелигиозное и даже нерелигиозное учение, Иоанн XXIII признает закономерность становления коммунизма.

Отход от открытого осуждения коммунизма явился осью, вокруг которой, правда со скрипом и с остановками, вращалась машина Вселенского собора. Несмотря на

смерть Иоанна XXIII и на довольно явное тяготение нового папы Павла VI в начале его понтификата к политике своеобразного центризма, собор отдал предпочтение позиции, впервые сформулированной Иоанном XXIII.

В некоторых вопросах новый папа идет даже дальше своего предшественника. Это касается, в частности, социальной доктрины католицизма. Ссылка М. Мчедлова на энциклику Иоанна XXIII «Мать и наставница», где подтверждалось, что «право частной собственности на средства производства имеет непреходящее значение», выглядит сегодня уже несколько устаревшей: в энциклике Павла VI «Прогресс народов» (март 1967 года) получает признание и другое право — на отчуждение частной собственности в интересах общества. Равным образом признается здесь право народов на свержение тиранических режимов, осуждается колониализм и т. д.

Преувеличивать значение этих сдвигов, конечно, не стоит, но и недооценивать их также нет оснований. Они свидетельствуют о силе прогрессивных тенденций в современном мире, о правильности политики европейских компартий и, в частности, той политики диалога с католиками¹, которая

¹ О том, какое место занимает проблема диалога в общественном мнении Италии, можно судить по многочисленным откликам, которые получила там статья Ц. Кин «Щит и крест» («Новый мир», № 5, 1966). Иные из них трудно принять всерьез. Так, газета «Джорнале де Бергамо» высказывала подозрение, что статья в «Новом мире» инспирирована итальянскими коммунистами. А орган неонацистов «Соколя де Италия» утверждал, что соглашение католиков и коммунистов по вопросам школьного дела в одном из муниципалитетов является результатом воздействия статьи в советском журнале. Любопытно выступление газеты «Оссерваторе романс», органа Ватикана, перепечатанное многими другими католическими газетами. Не поспеившись на обширные выдержки из статьи Ц. Кин, газета пришла к выводу, что ничего нового в ней нет, так как те же мысли уже были высказаны в сочинениях В. И. Ленина и в теоретическом журнале итальянских коммунистов «Ринашита». С этим наблюдением мы, понятно, спорить не станем. — *Ред.*

утвердилась после осуждения мировым коммунистическим движением сектантско-догматического подхода к указанной проблеме. Эта дальновидная политика получила подтверждение и дальнейшее развитие на недавней конференции европейских коммунистов в Карловых Варах.

Коммунисты, разумеется, отвергают тезис о мирном идеологическом сосуществовании марксизма и религии. Понятно, что политика диалога не может иметь ничего общего с линией на интеграцию социализма и религии, проводимой значительной частью современной социал-демократии. М. Мчедлов с полным основанием обвиняет в «близорукости, несовместимой с марксизмом», тех «твердокаменных» атеистов, которые не видят реальных процессов, происходящих в католицизме и других церквях; такого же осуждения заслуживают и те, кто безмерно преувеличивает опасность того, что диалог перерастает в «братание», и за пределами реального предвидения умудряется рассмотреть угрозу «тотальной капитуляции коммунистических партий» перед религией. По существу нормальным зрением не обладают ни «близорукие», ни «дальнозоркие»; и те, и другие пребывают все в той же позиции сектантского атеизма, оберегающего свою «чистоту» и «непорочность», но весьма далекого от подлинно марксистского взгляда на религию.

Коммунисты, верные завету В. И. Ленина, не выдвигают «религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не принадлежащее», они отчетливо понимают, что борьба с религией не исключает, а предполагает «братание» между неверующими и верующими трудящимися в борьбе против империализма, за мир, прогресс, социализм. «Марксистско-ленинская политика, — справедливо пишет М. Мчедлов, — осуществляемая братскими компартиями, исходит из того, что философские или религиозные различия не являются помехой для совместной борьбы трудящихся за эти цели».

И. МИНДЛИН.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

НЕЗАБЫВАЕМОЕ. Воспоминания о Великой Отечественной войне. Карельское книжное издательство. Петрозаводск. 1967. 356 стр.

Карельский фронт не был ни ударным, ни знаменитым, хотя и на нем происходили операции значительные и события драматические. Но такими событиями отмечены лишь начальная и последняя фазы войны, а между ними — два с лишним года фронт был почти недвижим, «замерз», как писали тогда очеркисты. Шла внешне неэффективная, но трудная, тяжкая позиционная борьба на протяжении более тысячи километров — от диких скал Заполярья до Ладоги. «Враг не знал покоя, — вспоминает Маршал Советского Союза К. А. Мерещков, — ни в пасмурные, серые дни короткого северного лета, ни в лютую стужу тягучей полярной зимы... Советские воины совершали дерзкие налеты в тыл, ходили в глубокую разведку, проводили местные операции... Широко развернулось на фронте снайперское движение».

Оборона, пережеваемая острыми боевыми схватками, была в тех местах столь упорной, что стойкость воинов Карельского фронта правительство отметило особой медалью «За оборону Заполярья», столь же почетной, как и медали за оборону городов-героев.

И все же фронт как был, так и остался скромным, негромким. Писали и пишут о нем не так часто и много, как о других фронтах. Тем приятнее было узнать, что в ряду праздничных изданий, посвященных славному юбилею Советской Армии, вышла книга и о воинах Севера, «часовых Заполярья». Инициатива этого издания принадлежит Петрозаводскому институту языка, литературы и истории Академии наук СССР, а также партийному архиву Карельского обкома КПСС (составители — Е. Гардин, П. Кузьмина, К. Морозов, М. Суханов).

Сборник задуман и сделан с желанием дать возможно более полное представление о том, что происходило в годы войны на карельской земле. Потому наряду с воспоминаниями о фронте (особенно интересны здесь статьи генерал-полковника В. А. Фролова, полковника запаса А. В. Евсеева, бывшего подпольщика-радиста Л. Ф. Кирова и других) в сборнике нашел себе место специальный раздел, в котором идет речь о работе труженников тыла.

Материалы сборника разнообразны: на-

пример, поблизости от содержательной обзорной статьи П. С. Прокконена, всю войну работавшего на посту Председателя Совета Народных Комиссаров Карело-Финской ССР, можно увидеть совсем небольшой рассказ поездного диспетчера Е. И. Меккелева, удостоенного за самоотверженную работу во время войны звания Героя Социалистического Труда. В сборнике выступают политработники и лесорубы, разведчики и снайперы; жаль, правда, что некоторые из этих статей суховаты, жаль, что составители ограничились воспоминаниями людей, живущих и сейчас в Карелии.

Во время войны на Карельском фронте гремели имена снайпера Николая Горбатенко, разведчика Петра Жулеги, пулеметчика Николая Дубинина. Всей стране стал известен подвиг одиннадцати гвардейцев, которые первыми переправились через Свирь. Что с ними сейчас? Наверно, можно было бы разыскать кого-либо из этих знаменитых в ту пору людей; ветераны фронта их отлично помнят.

А в целом получилось издание, которому обеспечена хорошая встреча и за пределами Карелии.

К. Алексеев.

★

БОРИС ЧЕТВЕРИКОВ. Навстречу солнцу. Роман. Воениздат. М. 1967. 624 стр.

Борис Четвериков работает в литературе почти полвека, на его счету десятки книг, среди них несколько историко-литературных романов — лучшее, что создал писатель. Последний большой роман Б. Четверикова «Навстречу солнцу» привлечет внимание читателей обилием малоизвестного или полузабытого фактического материала, добытого писателем в архивах и восстановленного собственной памятью участника и очевидца гражданской войны в Сибири.

Обилие материала подсказало жанр: перед нами роман-хроника. Автор рассказывает о падении самодержавия и о колчаковщине, о работе подпольщиков в тылу белых и о наступательных операциях Красной Армии, завершившихся разгромом Колчака. Описывая эти события, автор выводит на своих страницах Ленина и Дзержинского, Фрунзе и Тухачевского, Блюхера и Вострцова. И с другой стороны — царя Николая, Колчака, Пепеляева, Дутова, Семенова и

прочие фигуры лагеря контрреволюции. Персонажей много, и это всегда таит угрозу для хроникального произведения: сюжетные связи могут ослабиться, провиснуть, а психологическая обрисовка героев стать беглой, эскизной. В таких случаях получается, как говорится, ни то ни се, ни история, ни искусство.

Б. Четвериков в основном избежал этой опасности, но не везде: некоторые фигуры так и остаются эпизодическими, фигурами фона. Мало удачна длинная и легковесная детективная история Чибирева — Танасевича (один большевик, другой — ярый враг, но оба внешне так похожи друг на друга, что Чибирев под видом помещика Танасевича проникает в белогвардейское логово и становится ценным агентом нашей разведки). Вместо этого хотелось бы побольше узнать о партизанском движении в Сибири и Забайкалье или о таких легендарных героях войны, как Вострецов, Мамонтов, Азин... Вообще вражеский стан показан в романе с большей характерностью и выразительностью, чем революционный народ, и это нельзя не признать известной слабостью романа.

Главное же достоинство романа — в описании нелегкой судьбы Бориса Авдеева. Юноша, далекий от политики, с наивными представлениями о жизни, волей истории попадает в жестокий водоворот событий, которые и бьют его, и по-своему формируют, приводят к возмужанию, зрелости, к пониманию своего места в борьбе народа, в революции. Видно, в этом образе есть автобиографические черты, во всяком случае этот образ правдив и типичен.

Страниц, посвященных Борису Авдееву, много, он главный герой, придающий повествованию цельность, собранность, и серьезному читателю следить за его судьбой интереснее, чем за приключениями Чибирева или пробегать по сугубо иллюстративным местам романа, в целом интересного и полезного.

В. Страхова.

★

А. Н. ГЕЛАСИМОВА. Записки подпольщицы. «Мысль». М. 1967. 304 стр.

«Записки подпольщицы» А. Н. Геласимовой являются прямым продолжением ее первой книги «Плечом к плечу», опубликованной в 1958 году Хабаровским книжным издательством. Книга знакомит читателя с борьбой за становление советской власти в сложной международной и внутрисоветской обстановке Дальнего Востока. Двадцатилетняя учительница А. Геласимова начала в то время свою революционную деятельность, была избрана депутатом Хабаровского Совета рабочих и солдатских депутатов, а затем в качестве политкомиссара партизанской дивизии участвовала в гражданской войне.

«Записки подпольщицы» написаны в форме дневника, главное достоинство которого — достоверность. С такой скрупулезной

точностью и вместе с тем эмоциональностью можно писать только о том, что сам видел, сам пережил. С последовательностью летописца автор восстанавливает все этапы подготовки к массовому восстанию, дает картину восстания, описывает героическую борьбу почти безоружных партизан с колчаковской армией.

Автору удалось показать огромную организаторскую роль большевистского подполья, нарисовать живые портреты его людей.

Жаль только, что в этой книге, и увлекательной и правдивой, повествование иногда затруднено излишними подробностями, в частности слишком детальным изложением выступлений некоторых ораторов.

Е. Городецкая.

★

МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ. Друзья в небе. «Советская Россия». М. 1967. 300 стр.

Михаилу Васильевичу Водопьянову есть о чем рассказать. Один из первых Героев Советского Союза, летчик с многолетним стажем работы в Арктике, участник двух войн, он — «живая история» советской авиации. Выдающиеся, вошедшие в историю авиации перелеты, в которых он участвовал, портреты летчиков, которых знавал, примечательные события, о которых довелось услышать от очевидцев, — все это зримо возникает со страниц книги, подкупающей своей непосредственностью, простотой, мужественностью, юмором.

Летная биография автора началась еще во время гражданской войны, когда девятнадцатилетний красноармеец Водопьянов назначен был подвозить бензин для «Ильи Муромца», богатыря тогдашней авиации, установившего рекорды грузоподъемности, продолжительности и дальности полета.

С тех пор советская авиация достигла грандиозных успехов. М. Водопьянов рассказывает о поисках, трудностях и достижениях наших конструкторов и их ближайших помощников, отважных летчиков-испытателей. Притом автор меньше внимания уделяет «острым» случаям в воздухе, а стремится очертить характеры воздушных асов.

Читатель узнает много нового о таких прославленных авиаторах, как Чкалов, Серов, Каманин, Ляпидевский, Покрышкин, узнает также об огромных заслугах несправедливо забытого выдающегося деятеля советской авиации Я. В. Смушкевича. Интересны и страницы, посвященные возникновению АДД — авиации дальнего действия, инициатором создания которой был автор книги. Умалчивая о своей роли в этом большом деле, он живо описывает подвиги своих соратников Э. Пусэпа и А. Штепенко, с ним вместе участвовавших в первых ответных бомбовых ударах по фашистской Германии.

На заключительных страницах своей книги маститый авиатор делится впечатлениями о полете — уже в качестве пассажира —

на современном реактивном лайнере. Из уст человека, начавшего летную работу еще на «Илье Муромце», исходят любопытные сопоставления. Еще бы! Скорость сто километров в час — и почти тысяча...

На протяжении многих лет я знаю М. Водопьянова как замечательного летчика и товарища, и ныне мне особенно приятно поздравить его с правдивой, увлекательной книгой.

А. Таланов.

★

ЕЛЕНА БЛАГИНИНА. *Окна в сад. Книга стихов. «Советский писатель». М. 1966. 123 стр.*

Елена Благинина — поэтесса, давно известная своими многочисленными книгами для детей. Новая книга ее стихов обращена уже не к детям, а к взрослому читателю. Это первая ее книга лирики. По объему она невелика, в размер ладони, но книга эта весома по-другому: перед нами — плотно спрессованные годы жизни. Обычно, говоря о достоинствах книги, отмечают, что в ней нет проходных строк. Книга Е. Благининой — насквозь «проходная», в том смысле, что через каждую ее строку проходит человеческая судьба. Это определило и композицию книги, и ее, если можно так выразиться, «лирическую хронологию». Границы «лирических владений» намечены поэтессой очень четко: две важнейшие, определяющие вехи, а между ними — вся жизнь, со

Всем началом, всем концом —
Альфой и омегой.
Первым вешним деревом
И последним снегом.

Елена Благинина смотрит на мир своими глазами, и именно поэтому ее маленький сборник заслуживает пристального внимания. Мы могли бы кое-где упрекнуть поэтессу в литературных реминисценциях — так, в «Сороках» явственно чувствуется интонация Некрасова, а «Братские могилы» и «Слова» — слишком «цветаевские» по всему строю. Но реминисценции эти (которых очень немного) потому так и режут ухо, что на всем протяжении сборника мы слышим характерный, свой голос. «Окна в сад» Елены Благининой — это окна в жизнь, вот почему, дочитав последнюю строчку, чувствуешь, как свежо на душе.

Светлана Соложенкина.

★

НИКОЛАЙ ХОХЛОВ. *За воротами слез. «Молодая гвардия». М. 1967. 255 стр.*

«За воротами слез» — далеко не первая книга, написанная Н. П. Хохловым. Однако если читатель не читал ни одной из них, он все равно знаком с ее автором, вот уже более десяти лет являющимся корреспондентом «Правды», а потом «Известий» в странах Африки и Азии. Его корреспонденции — в расширенном или несколько изме-

ненном виде — и легли в основу книги «За воротами слез».

Книга рассказывает об Африке наших дней, хотя временами переносит читателя в не столь уж далекую историю колониальных захватов. Большинство африканских стран вот уже семь лет идет по пути независимого развития, между тем сдвиги во всех областях жизни африканского общества не столь уж заметны: голод, болезни, невежество, зависимость от бывших метрополий остается. Почему? «Суть в том, — пишет Н. Хохлов, — что новое суверенное государство, говоря образно, выплачивает дань тому же империализму... Колониализм держится ненационализированными банками и предприятиями, идеологией чистогана...»

В 1960—1967 годах автор книги путешествовал по многим странам Черного континента, посетил десятки городов. Но особое место в его жизни заняла Республика Конго. «В Республике Конго я впервые присутствовал и на торжествах, связанных с провозглашением независимости. С центрального телеграфа этого города послал первый африканский репортаж. В этом же здании был арестован».

Бывшее Бельгийское Конго играет важную роль в судьбе всего континента. Его экономика более мощная, чем экономический потенциал нескольких других африканских стран, вместе взятых. Вот почему монополисты Запада не могут смириться с потерей своих доходов в этой стране.

Новая книга Н. Хохлова расширяет представления читателя о прошлом и настоящем Африки.

В. Молчанов.

★

А. РУБАКИН. *Рубакин (Люцман книжного моря). «Молодая гвардия» («Жизнь замечательных людей»). М. 1967. 175 стр.*

Николай Александрович Рубакин — одна из весьма примечательных фигур в истории русской культуры начала века: Писатель, просветитель, библиограф, человек энциклопедически образованный, он оставил заметный след в нашем издательском деле и в деле распространения книги.

С полным основанием можно назвать Н. А. Рубакина пионером в области научно-популярной литературы в России, ибо то, что предпринималось в этом направлении демократическими деятелями XIX века, не шло далее единичных опытов. Его многочисленные книги, посвященные различным отраслям знания, написанные простым, живым языком, доступным для понимания самого неподготовленного читателя, распространялись в дореволюционной России огромными по тому времени тиражами. Они переводились на иностранные языки, их переиздавали и в советское время. Рубакин попытался научно обосновать изучение книги и читательских интересов. Его книга «Введение в библиологическую психологию» — первый капитальный труд в этой об-

ласти. Несомненно, многие практические рекомендации Рубакина не утратили своей актуальности и в настоящее время.

Рисуя человеческий облик Н. А. Рубакина, рассказывая о его плодотворной и многообразной деятельности, его сын — профессор, доктор медицинских наук А. Н. Рубакин — не обходит молчанием и некоторые его слабости и недостатки, личные и литературные. Автор книги пользовался не только личными воспоминаниями и наблюдениями, но изучил обширный литературный и документально-архивный материал. Написанная с любовью и вместе с тем с научной обстоятельностью и объективностью, книга воскрешает облик замечательного популяризатора науки, неутомимого труженика, внесшего большой вклад в развитие русской культуры.

Л. Сухаревский,
доктор медицинских наук.
О. Димин.

★

АНТ. ЛАДИНСКИЙ. Последний путь Владимира Мономаха. Исторический роман. «Советский писатель». М. 1966. 476 стр.

«Последний путь Владимира Мономаха» — заключительная часть трилогии А. Ладинского из жизни Киевской Руси. Первые две книги этой трилогии — «Когда пал Херсонес» (1959) и «Анна Ярославна — королева Франции» (1961) — хорошо знакомы любителям исторических романов.

Роман написан как воспоминания Владимира Мономаха на склоне дней на далеком зимнем пути из Чернигова в Переяславль. К сожалению, автор не успел завершить окончательную отделку романа (он умер в 1961 году), но и в настоящем своем виде это произведение читается с интересом.

Опираясь на биографию Владимира Мономаха (его жена Гита была дочерью английского короля Гаральда, сестра Евпраксия вышла замуж за короля Германии Генриха IV, мать Владимира была гречанкой), автор развернул широкое полотно средневековой жизни и быта, перенося читателей из Древней Руси то в Англию, то в Германию, то в Византию. Юность Гиты ведет читателя в Данию, Фландрию, Норвегию.

Создавая образ Владимира Мономаха, человека и государственного деятеля, автор широко привлекает материал древнерусской литературы: сказания «Повести Временных лет», Галицко-Волынскую летопись, «Слово

о полку Игореве», «Киево-Печерский патерик», «Хождения Даниила», «Моления Даниила заточника», «Повесть об ослеплении Василька», не говоря о произведениях самого Владимира Мономаха — Устав, автобиография, письмо Олегу, молитвы. При этом А. Ладинскому удается воссоздать колорит эпохи, не впадая ни в модернизацию, ни в стилизованную архаику — ошибки, свойственные многим авторам исторических романов.

Роман А. Ладинского — художественное произведение, и естественно, многое в нем вымышлено. У автора почти не было документального материала, чтобы нарисовать судьбы простых людей: отрока Андрея Злага и Любавы, дочери кузнеца Косты, трагическую участь полонянки Светы, нелегкий жизненный путь горбатой старухи-ворожеи. Но вымысел А. Ладинского не противоречит исторической правде, и роман оставляет поэтому ощущение достоверности. В нем впечатляюще передан образ мысли и жизни людей той далекой поры.

Как правильно отметил в предисловии к роману известный советский историк А. Каждан, в трилогии А. Ладинского звучит гуманистическая идея единства человечества, идея интернационализма. И, пожалуй, в истории Киевской Руси нет деятеля, который бы в своем жизненном пути, государственной и писательской деятельности так глубоко воплотил этическую тему, как Владимир Мономах. Вполне понятен поэтому и тот глубокий интерес, и та искренняя симпатия, с которой автор относится к своему герою.

Владимир Мономах показан автором на широком фоне, его судьба тесно связана с жизнью его современников: от королей, князей и священников до воинов, ремесленников и простых смердов. Читатель узнает, как жили, трудились, воевали, любили, ненавидели люди той далекой поры. А лучшие из них больше жизни и собственного счастья любили свою родину. И не случайно А. Ладинский завершает свой роман строкой из поэтического летописного сказания о траве емшан: «Лучше лечь костями в своей земле, чем прославленному жить на чужбине».

Глубоко выстраданная автором в его нелегкой и сложной судьбе мысль о любви к отчизне делает роман А. Ладинского заметным явлением советской исторической прозы.

В Кузьмина.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Коммунист. Календарь-справочник. 1968. Составитель Н. Григорьева. 284 стр. Цена 53 к.

А. Кудрявцев, Л. Муравьева и И. Сиволап-Кафтанога. Ленин в Женеве. Женевские адреса Ленина. 200 стр. Цена 99 к.

П. Лафарг. Воспоминания о Марксе. 32 стр. Цена 4 к.

Б. Лейбзон. мелкобуржуазный революционизм (Об анархизме, троцкизме и маоизме). 160 стр. Цена 22 к.

Развитие революционной теории Коммунистической партии Советского Союза. Сборник статей. 454 стр. Цена 1 р. 12 к.

И. Щедров. Гроза над Красной рекой. Репортажи из Демократической Республики Вьетнам. 232 стр. Цена 52 к.

«ЭКОНОМИКА»

В. Бадер. Социалистический продукт. 192 стр. Цена 77 к.

Р. Иванова. Экономические стимулы специализации колхозного производства. 128 стр. Цена 30 к.

Теория и практика хозяйственной реформы. Сборник статей. Под редакцией Л. Гатовского. 174 стр. Цена 74 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Баруздин. Повести о женщинах. 284 стр. Цена 45 к.

Д. Вааранди. Хлеб прибрежных равнин. Стихи. Перевод с эстонского. 110 стр. Цена 31 к.

М. Ганина. Зачем спилили каштаны. Рассказы. 272 стр. Цена 41 к.

В. Инбер. Страницы дней перебирая... (Из дневников и записных книжек). 358 стр. Цена 42 к.

А. Межиров. Подкова. Книга стихов. 87 стр. Цена 24 к.

Д. Павлова. Частный случай. Роман. 295 стр. Цена 60 к.

С. Рабаданов. Сердце земли. Стихи. Перевод с даргинского. 80 стр. Цена 16 к.

Б. Сарнов. Рифмуется с правдой. Книга не только про стихи. 352 стр. Цена 85 к.

С. Смирнов. Страницы народного подвига (Брестская крепость. Сталинград на

Днепре. Рассказы о неизвестных героях). 704 стр. Цена 1 р. 57 к.

Я. Хелемский. Вторая половина дня. Книга лирики. 144 стр. Цена 38 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Авдеенко. Лунная радуга. Повести. 236 стр. Цена 36 к.

В. Песков. Край света. Очерки. Оформление и фотографии автора. 208 стр. Цена 43 к.

«ИСКУССТВО»

К. Ирд. Постараемся поймать чудо. Статьи о театре. Перевод с эстонского. 323 стр. Цена 1 р. 8 к.

М. Лифшиц и Л. Рейнгардт. Кризис безобразия. От кубизма к поп-арт. 201 стр. Цена 1 р. 2 к.

М. Морозов. Шекспир. Бернс. Шоу... Вступительная статья и составление Ю. Шведова. 326 стр. Цена 1 р. 36 к.

«ПРОГРЕСС»

К. Гёсслер. О сущности жизни. Перевод с немецкого. Общая редакция и предисловие А. Ильина. 304 стр. Цена 1 р. 25 к.

Б. Данэм. Герои и еретики. Политическая история западной мысли. Сокращенный перевод с английского. Редакция и вступительная статья И. Панцхавы. 504 стр. Цена 2 р. 42 к.

Х. Люмер. Бедность. Ее корни и пути устранения. Перевод с английского. 136 стр. Цена 43 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Аграновский. Призвание. Заметки писателя. 304 стр. Цена 45 к.

Г. Баklang. Карпухин. Повести и рассказы. 200 стр. Цена 26 к.

К. Воробьев. Повести. Рассказы. 360 стр. Цена 73 к.

Все это становится явью. Рассказывают делегаты XXIII съезда КПСС. 160 стр. Цена 62 к.

А. Злобин. Дом среди сосен. Рассказы и повести. 176 стр. Цена 42 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин**, **И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров**
(ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 20/II 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/II 1968 г.
Формат бумаги 70×108^{1/2}. 27,97 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 05220. Заказ 4314. Тираж 140.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636